



Е. ОЛИЦКАЯ МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

I

ПОСЕВ

Как озаглавить мне мои воспоминания?

Больше двух третей моей сознательной жизни прошли под страшным ярлыком «враг народа». Я не принимала этот эпитет, но болью в душе он отзывался всегда. Я – враг народа! Возможно, все враги народа считают себя его друзьями, а может быть, и благодетелями. И друзья, и враги, не движимы ли они страстным желанием осчастливить свой народ, каждый по своему плану, каждый на свой манер. И те, и другие считают, что они, и только они, владеют истиной, обеспечивающей счастье народное. Во имя этого счастья, во имя прекрасного будущего, требуют они от своего народа неисчислимых и бесконечных жертв.

Враг ли я, друг ли я своему народу? Могу ли я сказать, что я дочь моего народа? Что я верила, боролась, страдала вместе с ним? Что я отражала его чаяния и надежды? Как радостно было бы такое сознание! Но, увы! Полностью слиться с моим народом мне не удалось, в силу внешних, не зависящих от меня, обстоятельств.

Чтобы жизнь моя стала ясной, понятной, я начну мои воспоминания с детства, и прежде всего упомяну о моих родителях, которых считают людьми исключительными.

И еще хочу оговориться, мои записки не представляют «объективной истины». Я записала то, что отпечатлелось в моей памяти и так, как оно запечатлелось.

1. ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Отец и мать

Случилось так, что отец мой, сын богатых евреев-коммерсантов, еще не закончив среднего образования, стал народовольцем. Способный к рисованию, он в совершенстве овладел резьбой и работал в паспортном столе Народной Воли в Киеве, то есть подделывал нелегальные документы, вырезал печати и т.п.

Он был судим по процессу «193-х», но по недостатку улик и по молодости лет отделался легкой ссылкой в Александровск-на-Днепре.

Отец любил вспоминать эти годы. Рассказывала нам и бабушка, мать отца, как ее допрашивал об отце следователь. Мы, детвора, восторженно слушали о том, как отец, предчувствуя возможность обыска, вынес в красном кожаном саквояже все компрометирующие материалы. На следствии он

заявил, что в саквояже он выносил украденную у матери картошку. Мы гордились бабушкой, которая сокрушенно твердила следователю: «Ах, ты! Воровал! А я-то удивлялась, что картошки много расходуется».

В восторг нас приводило и то, что наша старенькая бабушка последние, зашитые в подушку, нелегальные документы благополучно переправили отцу в тюремную камеру, где он их и уничтожил. С восторгом слушали мы рассказы отца о том, как мужественно и смело вели себя заключенные по процессу 193 в тюрьме. Как пели они в камерах революционные песни, как на простынях подтягивались к высоким тюремным окнам, заглядывали в тюремный двор и вели разговоры с соседними камерами, несмотря на беснующийся надзор.

Из Александровска отец бежал, нелегально переправился за границу, добрался до Швейцарии, где поступил в Цюрихский университет на агрономический факультет. Там он работал в русском землячестве и был связан по работе с русскими революционерами-эмигрантами.

Моя мать происходила из старой дворянско-помещичьей семьи Халютиных. Многие члены этой семьи гордились своей родословной, записанной в какую-то «12-ю» книгу. Один из родичей мамы, Зеленый, раскопал даже самое происхождение фамилии Халютиных. Сыны небезызвестного палача Малюты Скуратова разделились на два лагеря. Одни с гордостью носили имя своего отца, другие подали на высочайшее имя просьбу об изменении фамилии и по высочайшему указу стали именоваться впредь Халютиными.

Родители моей матери были очень состоятельными людьми и, когда мать, окончив гимназию, выразила желание поехать за границу и поступить на медицинский факультет (в России тогда женского медицинского института не было), не стали возражать и разрешили ей ехать учиться в Швейцарию, в Цюрих.

Там встретились мои родители, там и полюбили друг друга. Мать моя, кончила медицинский факультет, сдала экзамен на доктора медицины. Отец закончил сельскохозяйственный институт, отработал практику и получил звание агронома. Широкое поле деятельности среди русского народа грезилось ему. Тоска по родине томила. Но родители знали точно: на русской границе отца неизбежно арестуют. Для сохранения связи между собой они решили закрепить свои взаимоотношения церковным браком. Отец бел еврей, мать русская, православная, бракосочетание осложнялось. Выхода не было – отец принял крещение.

На родине телеграмма молодых вызвала страшный переполох:

- Боже, какой шокинг! Еврей!

Одну тетюшку окончательно потрясло то, что при крещении отец принял имя Лев Степанович:

- Почему Степан? Какое плебейское имя!

До конца жизни тетюшка, очень любившая потом отца, упорно называла его Лев Борисович.

Во второй семье драма была не меньше: «Женился на русской! Крестился! Отказался от веры отцов!»

А молодые совершали свое брачное путешествие вплоть до русской границы. На границе, как они и предполагали, отец был арестован и по суду получил год одиночного заключения (который он и отбыл в Петербурге, в Крестах) и десять лет под надзор полиции. Мать тогда же была отправлена на поруки родителей в их поместье Марьевку Воронежской губернии с лишением права въезда в столичные города сроком на 10 лет.

Время шло. Что было делать родителям со своей блудной молодежью. Медицинская работа была моей матери воспрещена, так как заграничного диплома для права практики в России было недостаточно, нужно было сдать государственный экзамен при одном из столичных учебных заведений, куда въезд ей был воспрещен.

Положение отца было не лучше. С политической неблагонадежностью ни на какую работу по специальности в государственных учреждениях он не мог рассчитывать. Какой помещик взял бы к себе в управляющие агронома с такой блестящей репутацией, как год тюремного заключения с последующей десятилетней поднадзорностью.

На совещании глав семей было решено свить для деток гнездышко. Для них был куплен небольшой участок земли где-то на Кавказе. Непокорных детей и это не устроило. Ни сады, ни виноградники, не доходность участка не привлекали отца. Ему нужен был простор русских полей, с темным отсталым русским крестьянином, которому он понесет культуру духовную и культуру аграрную, с которым он будет толковать о правилах севооборота, которого он будет снабжать

отборными семенами и племенными производителями, с которым, наконец, он будет читать газеты и книги и которого будет просвещать и лечить его жена.

Клочок земли на Кавказе очень быстро был продан. На вырученные деньги приобретено небольшое поместье в 250 десятин земли в самом центре России, в черноземной полосе, в Курской губернии.

Мечты и действительность

От станции Полевая Курско-Харьковской железной дороги, где поезд останавливается на 2 – 3 минуты, вьется проселочная дорога по слегка холмистой равнине. Узенькие деревянные мосточки через речушку, носящую название Полная. По обеим сторонам необозримые заливные луга. Лесок на болоте. Овражек в бобовниках и поля, поля... Вытянется в одну улочку деревенька – штук 20 – 30 крытых соломой хатенок с торчащим на окраине журавлем колодца, парой-другой пчелиных колодок на окаймляющих сельцо деревьях – и опять поля. Русская чересполосица бежит по обе стороны дороги. Чередуюсь узкими лентами до самого горизонта, перемежались полосы ржи, гречихи, овса, проса... И опять деревенька. На 1-ой версте столб у дороги, серый, покосившийся от времени. К столбу прибита дощечка, такая же серая, и на ней при желании можно прочесть: «Сорочин Верх», «Любимово тож». Столб стоит на перекрестке. Дорога направо ведет к хутору – всего-то 12 дворов. Маленькие, кособокие, соломой крытые хатенки виднеются на склоне овражка, за выгоном. Дорога налево ведет в усадьбу помещика. Ворота в усадьбу всегда открыты настежь, одна створка соскочила с петель. От ворот, вокруг усадьбы не то вал обвалившийся, не то вал засыпавшийся, а вдоль него старые вековые деревья: тополя, березы, осины. Лихо въезжает таратайка в ворота, огибает хозяйственные постройки: конюшню, скотный двор, сараи и амбарушки низенькие, все соломой укрытые и, развернувшись у кружка из акации и шиповника, останавливается перед господским домом, маленьким, низеньким, тоже под соломенной крышей. У крыльца высокий серебристый тополь, а за домом сад.

Почему моя мать, выйдя из таратайки, села на чемодан и заплакала, я никогда не могла понять. Но всегда именно так описывала она свой первый приезд в Сорочин. И, как это ни странно, мне было жаль не ее, а отца. Моя мать, так и не полюбила наш милый старый Сорочин с его покосившимся домом, с его запущенным садом, заросшим крапивой, чернобыльником и полынью. Своих рук, если не считать домашнего хозяйства, она почти и не приложила к нему. То ли после родового имени Марьевки он казался ей убогим, то ли сельское одиночество угнетало ее. Часто, помню, говорила мама о том, что если бы капитал, вложенный в нашу деревушку, был бы просто отдан под проценты в банк, доходы наши не уменьшились бы.

Не меркантильные соображения руководили моей матерью, много, очень много горьких разочарований пришлось пережить родителям в нашем Сорочине. Ведя хозяйство, отец не руководствовался вопросами выгоды и доходности. Он увлекался сельским хозяйством. Он старался по мере материальных возможностей вести его по последнему слову науки. Каждую свободную копейку он вкладывал в хозяйство. Возводились новые конюшни, скотные дворы, только дом наш отец не удосужился перестроить. Зато его племенные жеребцы, бык и свиньи удаивались первых премий на выставках, а полевое хозяйство не имело себе равных в уезде.

Настойчиво, шаг за шагом сближался отец с крестьянами, читал с ними газеты, толковал о хозяйстве, о погоде, о видах на урожай и о политике. Крестьяне уважали и любили отца, но переступить бездну, разделяющую крестьянина и помещика, не могли ни они, ни он.

Помню, днями, а то и неделями, отец ходил угрюмый и подавленный. Крестьянский скот снова потравил его клеверище. Каждый раз он грозно уверял, что не спустит при повторении потравы, назначал штраф за потраву по рублю с головы, грозил подать в суд, но, так как у стоящего перед ним крестьянина никогда не было этого лишнего рубля, и он молча стоял перед отцом и мял в руках картуз, отец записывал его в какую-то книгу. Бедный папа! Мы часто смеялись над его грозным видом. Мы отлично знали, что он никогда не подаст в суд на крестьянина и никогда не взыщет записанных в книгу рублей.

Во имя папиного хозяйства вся наша семья во многом себе отказывала. Не было отказа в питании, стол у нас всегда был сытный и здоровый, не было отказа в воспитании и обучении детей, если не считать гувернанток немок и француенок, от которых маме пришлось отказаться, когда родился младший брат, а мне исполнилось 5 лет. Не было отказа в книгах и журналах. Живя круглый год в деревне, папа выписывал целый ряд газет и журналов, не говоря о сельскохозяйственной литературе.

В доме у нас стояли шкафы, до отказа заставленные научными книгами, беллетристикой и журналами.

Отношение отца к крестьянам, его тяга к крестьянству накладывали на нашу жизнь особый отпечаток. У папы не было знакомства среди соседей-помещиков, он общался только с крестьянами. Свообразные отношения были у нас дома и с прислугой. К нам, детям, ближе всего стояла, конечно, няня. Я хорошо помню лицо и фигурку нашей, согнутой годами, старушки-няни. Все в доме уважали и любили ее. Она нянчила старшую сестру, брата, вторую сестру и меня. Мама была очень привязана к ней. Одной из радостей нашего детства был большой окованный железом нянин сундук. Чего только не таил он в себе! Сама крышка его была предметом радостей и восторгов. Когда няня поднимала крышку своего сундука, мы облепляли его, как мухи. Вся крышка сундука была изнутри оклеена картинками. Тут были и куклы в нарядных платьях, и изображения разных зверей, и просто красивые конфетные бумажки. Почтительное и уважительное отношение было у нас к единственной няниной фотографии. Няня была снята на ней в кругу своей семьи. Уже не молодая, сидела она в своем вечном синем чепчике в центре большой семейной группы. Няню окружали 22 ее сына. Что понимала я, девочка? Но 22 сына внушали мне восторженное почтение к няне. Няня рассказывала нам чудесные сказки, но самой любимой, самой диковинной сказкой няни была сказка о ее жизни. Няня в юности была крепостной, и крепостной у очень злой барыни. Кочергой в припадке злости, перебила барыня няне нос, он так и остался у няни кривой. Всегда, когда рассказ нянин доходил до того места, как барыня за какой-то тайком съеденный няней соленый огурец взялась за кочергу, я с ужасом вглядывалась в лицо няни, и казалась она мне сказочной героиней.

Когда няня умирала, мы уже жили в городе. По ее желанию проститься с нами, папа поехал за нами в город. Увы! Зимняя дорога была очень плоха и, приехав в деревню, мы не застали няню в живых.

Переезд в Курск

Вопрос о переезде в город встал, когда сестра и брат достигли школьного возраста. Мне тогда было около 5 лет. Я не помню сама. Но по рассказам знаю, что вопрос о воспитании детей решался в нашей семье трудно. Папа настаивал на том, чтобы детей воспитывать самим, дома – учить и приобщать сельскому труду. «Пусть растут, как растут крестьянские дети, с той разницей, что мы сами сможем влиять на них и учить», - говорил папа. Мама решительно настаивала, чтобы детей отдать в гимназию, не предопределяя их судьбу. «Как будто такое решение не предопределяет», - возмущался отец. Но в этом вопросе мать не пошла на уступки, и переезд в город состоялся.

Семья наша разбилась на две части: отец со стариками родителями, разорившимися к тому времени (дед проиграл все состояние на скачках), остался в деревне. Каждую субботу приезжал он к нам в город, проводил с нами воскресенье, а в понедельник уезжал обратно. Мы с мамой жили в городе весь учебный год, а каникулы – рождественские, пасхальные, летние – проводили в деревне.

Хотя я была уже большой девочкой, воспоминания у меня сохранились отрывками. Я помню, какой большой казалась мне при переезде наша городская квартира и каким маленьким деревенский домик.

Деревню я любила больше, чем город: жилось мне в ней вольготней и привольней.

Японская война прошла для меня мало замеченной. Единственное, что врезалось в память – это огромные плакаты, очень нравившиеся нашему конюху Тихону. На плакатах были нарисованы карликовые, уродливые фигурки япошек и богатырские фигуры русских удалцов. На каждом из плакатов под картинкой были напечатаны стишки, воспевающие подвиги наших богатырей и унижающие японцев. Многие из них мы, дети, знали тогда наизусть и громко распевали к ужасу матери. С дедушкой мы играли в войну, в разведчиков и шпионов, и без конца побеждали японцев. Позже, когда я узнала об исходе войны, я совершенно недоумевала вместе с Тихоном, как же могло случиться, что маленькие японцы, живущие на таких же маленьких, как они сами, островах, смогли победить такого колосса как Россия. И с самых детских лет во мне появилась недоверчивость, враждебное отношение ко всяким и всяческим плакатам, и кажутся они мне грубой и обязательно таящей в себе ложь агиткой.

Революция 1905 года

Из революции 1905 года ясно стоит в моей памяти только один день. Утром, напившись чаю, старшие брат и сестра ушли в школу на занятия. Вторая моя сестра Аня и жившая тогда у нас

гувернантка вышли гулять на улицу. Не успели мы пройти и квартала по главной улице города, как навстречу нам стали попадаться бегущие люди, сначала одиночки, затем все большие группы. Фройлейн, явно чем-то встревоженная, велела нам вернуться домой. Схватив нас за руки и все ускоряя шаг, она почти волокла нас. У порога нашего дома нас догнала старшая сестра. Она сказала, что гимназия закрыта и учащихся распустили по домам.

Мама нас встретила встревоженная и, расцеловав нас, повторяла без конца:

- Ну, где же Ася? Где Ася? (Так звали мы старшего брата.)

Сестра Аня и я чувствовали, что происходит нечто необычное. Мы залезли на окно и, усевшись на подоконник, стали смотреть на улицу.

Улица была полна народу, все новые и новые группы людей подходили к зданию крестьянского банка, расположенного против нашего дома. Там и сям над головами людей взвивались красные флаги. Внезапно Аня закричала:

- Смотри! Вон папа!

И я увидела отца: он стоял в толпе, размахивая снятой шляпой над головой. Вслед за отцом и другие стали размахивать шляпами. Мы звали маму, но пока она подошла, толпа людей вместе с отцом куда-то удалилась. Улица опустела.

Не успели мы слезть с подоконника, как мимо окон промчался брат. Запыхавшийся, без фуражки влетел он в комнату. И мама кинулась к нему. Брат стал рассказывать, как он с товарищами бежал переулками домой, спасаясь от каких-то громил, которые идут по главной улице пьяные, бросают камни, бьют окна.

Мы не успели как следует расспросить брата, как в комнату вбежала Акулина:

- Барыня! – говорила она, - народ к нам в коридор набился, запереть парадное, что ли!

- Не запирай, - ответила мама.

- Да куда же, барыня, их и так полным-полно, поглядите сами!

Вместо мамы я стремительно бросилась к двери. Действительно, весь наш коридор, вся лестница на второй этаж были полны людьми. Мама тут же настигла меня и забрала обратно в комнату.

В квартиру нашу из коридора тоже заходили какие-то люди, приглашенные матерью. Нам, детям, мама запретила выходить в коридор, запретила залезать на подоконники.

Акулина ходила за мамой по пятам. «Барыня, родимая, хоть иконы на окна поставьте, все соседи повывставляли». Мать, взволнованная отсутствием отца, обрывала ее: «Я иконами ни от кого закрываться не буду, да и икон у нас нет». – «Барыня, я свои с кухни принесу. Ведь булыжники с мостовой рвут и в окна мечут. Евреев бьют, а где иконы, не трогают».

Что Акулина трусиха, мы знали давно. А мама была храбрая! Мама не велела ставить иконы, она говорила о чем-то с людьми, заходившими из коридора, и сама заходила в коридор.

С улицы, действительно, несся какой-то непонятный, нарастающий шум. Видя, что мать занята разговорами, мы снова забрались на подоконник. Опять по улице проходила толпа, но как непохожа она была на первую. Мне бросились в глаза и запечатлелись в памяти мужские фигуры в фартуках, с взъерошенными волосами и возбужденными лицами. И тут один из толпы, действительно державший булыжник в руках, запустил его в нашу сторону. Дзынь! Зазвенело оконное стекло. Булыжник упал на пол, а мы скатились с подоконника под возмущенный окрик матери.

Булыжник был небольшой, серый, но мама не дала нам его рассмотреть, она загнала нас в задние комнаты, окна которых выходили во двор.

Потом шум на улице затих. Люди из нашего дома ушли. Еще несколько позже вернулся отец, и долго они говорили с матерью о том, что громил организовала черная сотня, что она подпоила мясников и вывела их на улицу, что в еврейских кварталах они буйствовали, что казачьи отряды появлялись лишь в тех кварталах, из которых громилы уже ушли. И разгоняли они манифестантов, а не громил, что даже отца один из казаков слегка задел нагайкой. Может быть, именно тогда я впервые услышала имена Маркова и Пуришкевича.

Уже значительно позже, когда я стала осмысливать революционное движение и интересоваться им, я все допытывалась, какое же участие принимали мои родители в революции 1905 года, мне почему-то было стыдно спросить их об этом. Мне казалось, что они не принимали в ней достаточно активного участия и что им будет стыдно в этом признаться мне. Так я и не спросила. А самой мне все думалось, что есть какая-то неувязка между их революционной молодостью и поведением во время революции 1905 года. А может быть, меня, подростка, они не хотели посвящать в конспиративные дела тех лет.

Я знала из разговоров о каких-то собраниях, какие-то собрания проводились у нас на квартире, у отца в деревне были спрятаны какие-то ящики с нелегальной литературой, какой-то ящик со шрифтом был зарыт там под березой. Но всего этого было мне недостаточно. Конечно, мысли эти возникли у меня позже, но зарождались, складывались они, также как взгляды и убеждения, с самых детских лет под влиянием окружавшей меня жизни, прежде всего отца и семьи, царивших в ней убеждений, слышимых мной разговоров.

Поступление в гимназию

В период революционного подъема в нашу гимназию прибыла целая плеяда молодых, только что окончивших высшие курсы учительниц. Они внесли освежающую струю в жизнь всей гимназии. Поселились они все вместе, сняв общую квартиру, где у каждой была своя комната. Свою квартиру они называли «коммуна». На них косилось начальство гимназии, косились черносотенно настроенные священники, преподаватели Закона Божьего.

Моя мать была членом родительского комитета. Она познакомилась с учительницами. Старшая сестра восторженно отзывалась о них. Порой, когда учительницы заходили в гости к маме и в столовой за чаем велись какие-то таинственные, так мне по крайней мере казалось, разговоры, я подсматривала в щелку двери и настороженно ловила отдельные фразы.

Говорилось ли там о совместном обучении девочек и мальчиков, о вредности ли экзаменов и балльной системы, о черносотенных ли выходках учителя закона Божьего Чиканова, о муштре и обязательной форме, о шпионской деятельности синявок, что я понимала в этих разговорах! Что отпечатлялось в моей душе, детской памяти! Первым вопросом, осознанным мной сквозь мою детскую призму, был вопрос о равноправии женщин.

В нашей семье не было различия в воспитании нас, трех девочек и брата. Вместе вышивали мы какие-то салфеточки, вместе играли в куклы, разбойников, катались с горы на салазках, играли в снежки.

Друзьями нашими во всех играх были деревенские ребяташки, девчонки и мальчишки наравне. Разницы между нами не существовало. При переезде в город, с появлением городских детей, мне привелось услышать новые замечания: «Мальчику – можно, а девочке – нельзя». «Ведете себя, как мальчишки» и т.д.

Сразу же девочки «цирлих-манирлих», как мы их называли, нам не понравились. Куда пленительней был образ мальчишки сорви-голова. Вырастая в деревне, в широком мире полей и лугов, среди деревенских друзей, я и не умела даже приноровить свой голос, свои движения к комнатным размерам. Дома мама нас не стесняла, мы озорничали вовсю. Первые уроки благопристойного поведения я получила, поступив в гимназию. Начались мои столкновения с благопристойностью не очень удачно для меня.

В 1907 году я держала экзамены в старший подготовительный класс курской Марлинской женской гимназии. В том же классном помещении Аня держала переходный экзамен из старшего подготовительного в первый. Мама ожидала нас обеих в коридоре. Шел экзамен Закона Божьего. Вызвав меня к столу, батюшка велел мне прочитать молитву «Отче наш». Я затараторила ее уверенно и так громко, что эхо звенело по всему классу. Законоучитель засмеялся, погладил меня по голове и отпустил на парту.

Счастливая выскочила я к маме в коридор. И каково же было мое удивление, когда сестра, вышедшая следом, шепнула маме: «Катя-то провалилась, всю молитву переврала». Мама встревожилась. Я недоумевала: «Врешь, батюшка меня по голове погладил и молодцом назвал».

Вскоре объявили результаты экзаменов. Выдержали все. Законоучитель подошел к маме и благодушно сказал ей, что я действительно переврала всю молитву: «Ну уж так громко, да так уверенно, что как не пропустить». К сожалению, первая удача оказалась последней. Дальше пошли тернии на моем пути.

Мои коротенькие косенки, как мама ни затягивала их, заплетая, как ни завязывала, упорно расплетались, и я всегда сидела лохматая. По три раза в день мне их переплетала классная дама, твердя: «Благовоспитанная барышня не должна ходить растрепанная». Я вовсе не хотела быть благовоспитанной барышней, да и плести мои косы она не умела. Мама и Акулина затягивали мои упрямые вихри так, что голова у меня трещала, и то они рассыпались. Синявка же легонько переплетала пряди и завязывала ленту красивым бантом. Но стоило мне разок-другой тряхнуть

головой, как все ее труды рассыпались по плечам. Это было не худшее. Худшее начиналось на переменах.

Я и сейчас помню, какой восторг я испытывала, скользя на животе по перилам лестницы вниз. Устраивались у нас в классе и гонки, которые носили название «кругосветных». Надо было выбежать по окончании урока из класса, скатиться по лестницам к раздевалкам, перебежать коридор на другой конец здания, взлететь по лестницам наверх, пересечь снова все коридоры, большой зал и добежать до своего класса. Сколько раз во время этих гонок влетала я головой в живот или колени синявкам и даже начальнице!

А игра в «кошки-мышки» или в каменную стену! Уж эти-то игры я знала хорошо. В них мы играли с деревенскими ребятами на выгуле. Я твердо знала, что играть надо честно, с полным напряжением сил, не поддаваясь никому. И что же! Когда я пнула коленкой кошку, противозаконно пытающуюся поймать мышку, меня вывели из круга, заявив, что я вовсе не умею играть прилично, что благовоспитанные девочки не лягаются как лошади. Когда я, играя в «каменную стену», ударом наотмашь, разрывая стену, ушибла руку одной из девочек, меня вывели из круга, потому что я – сорванец. Наконец, когда меня поставили петь в хоре и я, вольно вздохнув дала полную силу всем своим голосовым связкам, меня выставили из хора.

Нельзя было в разговоре со старшими, пожимать плечами, выражая недоумение, нельзя было сказать «черт его дери», нельзя от души расхохотаться, нельзя ходить, топая ногами, размахивать руками. Надо быть благовоспитанной, а не сорванцом. О, Боже мой! Конечно, я была за равноправие, и с каким восторгом я приезжала в мой родной Сорочин. Вот мы вылезаем из поезда, вот уселись на линейку, выехавшую за нами на станцию. Безбрежная ширь полей, ширь неба. Ветерок свежий треплет волосы, пой полным голосом, чтобы грудь разрывалась, что хочешь и как хочешь, без мелодий, без мотива, во что горазд. И пели же мы! Пели так, что теперь мне трудно представить, как это пение выдерживали и конюхи, и лошади, и линейка.

Акулина

Встал передо мной вопрос о равноправии и с другой стороны. В городе с нами жила всегда наша прислуга Акулина. Она убирала комнаты, варила обед, стирала белье и жила на кухне. В то же время она являлась неременным членом нашей семьи. Всего она прожила у нас 22 года, и поступила к нам еще с моего рождения. Жила она у нас со своим сыном Колей, товарищем наших детских игр.

История Акулины была такова: черноглазую, полногрудую, напропалую веселую шестнадцатилетнюю девушку выдали замуж за пропойцу, и чуть ли не с первых дней он начал бить ее «смертным боем».

Старалась она к нему всячески приспособиться, но не смогла: то бил он ее под пьяную руку за то, что много зубы скалит, то за то, что больно грустна и тиха.

Выдержала Акулина эту замужнюю жизнь ровно два года, а на третий, когда муж чуть не зарезал ее ножом, убежала, вырвав из мужниных рук нож. Нож она вырвала, схватив его за лезвие и перерезав себе сухожилия так, что всю жизнь пальцы ее на правой руке не сгибались и не разгибались до конца. Выкрыв потом у заснувшего мужа сынишку, Акулина ушла жить в люди.

Тяжелая жизнь выпала на долю этой молодой женщины. Откуда черпала она неисчерпаемый запас бодрости и веселья! Где была Акулина, там были шутки и смех. Нашими детскими сердцами она владела полностью, да и как могло быть иначе, такой затейнице в плясках, шутках, песнях, гаданьях и прибаутках – да не овладеть детскими сердцами! Но она овладевала и сердцами взрослых. До нас Акулина сменила ряд хозяев. В одном доме жена приревновала ее к мужу, в другом – надоели требования ее мужа, чтобы ему ее выдали, в третьем... Это ее приключение я расскажу подробнее:

- Поступила я на работу к начальнику станции, - рассказывала она нам. – Немолодой он был, одинокий, холостой. Хозяйство небольшое, работы немного – ни кур не держал, ни коровы, ни свиней. А жил хорошо, богато жил, и Колю моего любил, ласкал. И веселый был, шутник тоже, но баловства ни-ни, этого себе не позволял. Живи да и только.

- Так чего же ты от него ушла? – торопили мы много раз слышанный рассказ.

- Как-то забывчива я была. То то забуду, то это не сделаю – все сходило. Одно он требовал, чтобы к обеду всегда была рюмка водки. А я забывала вовремя купить. Хватить к обеду за бутылку, а она пустая. Как-то тоже так случилось, он и говорит: «Научу я тебя, Акулина, не забывать, раз слов не слушаешь – всю жизнь помнить будешь». Я спрашиваю: «А как же вы меня научите, если у меня память такая?» - «Тогда сама увидишь». Я не поняла даже, шутит он или всерьез страшает, только ко

вниманию приняла. Как обед собирать, так проверяю, есть ли водка. Нет – бегом на станцию. Там лавчонка была и приказчики веселые ребята были, по правде сказать, бегать-то туда я любила. Дома все одна да одна, а на станцию сбегаешь, все развлечение. Долго я после этого разговора продержалась, месяц, наверно, а то и больше, а тут – забыла, что хочешь, забыла поглядеть. Пустую-то бутылку на стол поставила, а сама на кровать на кухне прилегла, да и заснула. Просыпаюсь – кто-то меня за плечо трясет. Подскакиваю – барин! В руках пустая бутылка из-под водки. Сует он мне ее в руки. «Ты что же это, опять пустой бутылкой угощать хочешь! А ну, марш на станцию. Слетай мигом, а то мы спешим». Я за бутылку и – бегом, только платочек на голову набросила. Бегу, думаю, хорошо, что с гостем да веселый, а не то попало бы мне. Бегу, разгорячилась, день жаркий был, только пот рукой вытираю. Народу в лавке, как на грех, много. Протиснулась к прилавку, прошу – Афанасий Иванович, дайте, за ради Бога, поскорее бутылочку водки, а он как-то странно мне в глаза глянул. Подает бутылку и говорит приказчику: «Дай-ка мне, Семен, зеркальце, я красотке подарить хочу». Не успела я опомниться, как под самый нос мне зеркальце подводят. Глянула я, Господь мой Спаситель, лицо мое все как есть сажей измазано, где кружки, где подтеки, живого места нет. Не помню, как я из магазина выскочила, и зеркальце в руке, и бутылку к груди прижимаю, а за собой только слышу смех да хохот. Прибежала домой сама не своя. И бутылку, и зеркальце в кухне на столе бросила, и у себя в горнице заперлась. Бросилась на кровать и реву, разливаюсь. Уж как они там отобедали, не знаю. Три раза ко мне стучали, только я не отперла. Так они и на работу ушли. Сынок Коля жметесь ко мне: «Мамка, мамка, чего ты?» А я только сажу по лицу руками растираю. Ну уж, думаю, погоди ты. Три дня терпела. И он ничего, молчит, только ухмыляется, черт, охальник. Три дня вытерпела, но думаю – вовек не забуду и ты, начальник, попомнишь. На третий день, только он, пообедавши, прилег отдохнуть, да как следует расхрапелся, взяла я уголек из печи поаккуратнее да всю его морду и расписала. Сама дрожу, а не отступаюсь. Фуражку его начальническую захватила и бужу. У самой от страха зуб на зуб не попадает. Все равно бужу: «Барин, а барин, на станции что-то стряслось – срочно вызывают». Вскочил он, глянул на меня, а на мне, видать, лица нет. Схватил фуражку и за дверь. Только выговорил: «Пассажирскому время».

Тут Акулина смолкала, а мы настойчиво требовали продолжения. Мы так ясно представляли себе, как начальник станции появился на перроне с размалеванным Акулиной лицом. Мы требовали продолжения, мы гордились поступком Акулины. Но Акулина заключала ворчливо:

- Чего-чего, выгнал он меня с Колей в один момент, вот чего.

Живя у нас, Акулина не прекращала шутить и озорничать. Романов у нее было не счесть числа. Стражники, ломовые, извозчики сменяли один другого. Увлечения были и легкие и серьезные. Поплакать она тоже любила. Слез, как и смеха, у нее было море разлитое, причем она очень легко переходила от одного к другому. Раз или два в год к нам являлся ее законный муж и требовал ее к себе. В этих случаях ее отчаяние и страх были так глубоки, что мы, дети, ходили потерянными целыми днями. Жила Акулина у нас без паспорта. Муж имел право затребовать ее к себе. Отец и мать всегда как-то улаживали этот вопрос, но до самой революции Акулина жила под страхом бесправия русской женщины, дрожала за свою судьбу и за судьбу своего сына.

Отношение к религии

Еврейское происхождение отца, жизнь с нами бабушки и дедушки наложили свой отпечаток на нашу семью. Религии для отца в обычном понятии этого слова не существовало. Мать как-то по-своему верила в Бога, но детьми мы этого не ощущали. На Рождество, на Пасху, в какие-то двенадцатые праздники к нам в деревню заезжали поп с дьяконом. Приезды эти вызывали некоторую суматоху. Бабушка и дедушка уходили в свою комнату: мы, вся детвора, стремились сбежать, но отец с матерью ловили нас и требовали нашего присутствия. Войдя в дом, поп здоровался, а потом сразу, облачившись, становился перед иконой, висевшей в углу в столовой, и быстро и протяжно произносил какие-то молитвы, дьячок вторил ему, подтягивая. Понять слова произносимой молитвы я не могла. По окончании молитвы начиналось крестоцелование. Руки у священника были жирные, потные, крест почти утопал в них и все мы, дети, с отвращением прикладывались к кресту плотно сжатыми губами. После исполнения всех формальностей поп снимал облачение, появлялись дедушка и бабушка, и все садились к столу. Попу и дьякону подносили по рюмке водки, подавался обед или закуска. Посидев полчаса, поп уезжал. Кажется, отец давал ему еще какие-то деньги. С родителями мы мало говорили, но крестьянство попов не

любило. Акулина, да и другие крестьяне рассказывали нам много комических рассказов об их алчности и скупости. Вот стишок, который был очень популярен среди наших крестьян:

Неизвестного прихода
Был такой сердитый поп,
Что дьячка четыре года
Бил подряд кадилом в лоб.
Но дьячок раз рассердился,
Ленту взял,
Чтобы поп, листая книгу,
Той страницы не сыскал.
Книжку поп берет под мышку,
На амвон идет
И, развертывая книжку,
Говорит: - Господь речет.
По листам пальцы скакали,
Поп страницы не сыскал,
Но при каждой он странице
Возглашал: - Господь речет.
Тут дьякон к нему идет.
- Батька, что ж Господь речет?
«Господь речет, что ты скотина,
Распроклятый сущий вор,
Всех нечистых образина
И всех демонов собор.
Зачем ленту эту спрятал,
Чтобы черт тебя упрятал!
Я святого потерял».
Тем обедню и скончал.

А мужики и бабы стоят да крестятся, добавляя от себя: каждый рассказчик.

Часто слышали мы от крестьян о скаредности попов, о том, как попы отказываются крестить, хоронить, причащать, если им не принесут подношение: яиц, масла и т.п. Под влиянием таких рассказов складывалось мое отношение к духовенству. Говела я первый раз в жизни, когда мне исполнилось 8 лет. При поступлении в школу к заявлению о принятии в гимназию должна была быть приложена справка о говении, и мама повела меня с Аней в церковь на исповедь к священнику. Я явно трусила, я приставала к маме с вопросами, что мне говорить священнику, в каких грехах каяться. У нас дома не постились никогда, не постились и перед исповедью. Никакой торжественностью не был обставлен дома и наш обряд говения. Справка для школы нужна, хочешь в школу – надо говеть. Все же мама надела на нас новенькие платья, завязала в косы новые ленты. В кулачок мне мама сунула полтинник и строго велела отдать его после исповеди батюшке.

Храм Божий, с его тишиной и полусветом, с высокими сводами, с коленапреклонными молящимися не мог не произвести воздействия на душу ребенка. С зажатым полтинником в руке, вслед за сестрой, я подошла робким шагом к священнику. Сам он рукой наклонил мою голову и покрыл ее епитрахилью. Сперва он ждал от меня исповеди, задавал мне какие-то вопросы, но я онемела. Тогда он сам произнес в поучение какие-то молитвенные слова, закрестил меня и разрешил идти. Стремительно вырвалась я из-под покрова и опрометью бросилась к маме. Я уткнулась лицом в ее юбку, прижалась к ее коленям и вдруг почувствовала, что полтинник по-прежнему крепко зажат в моем кулаке. Никакие уговоры отнести полтинник батюшке не помогли. Отнесла его Аня. На другой же день, во время причастия, мне было стыдно приблизиться к священнику, и вино и просфору я проглотила со страхом.

Второй и последний раз в жизни я говела, тоже ради справки, при переходе из третьего класса в четвертый. На этот раз мы говели в деревне. Ближайшая церковь находилась в селе, лежащем в пяти верстах от нашего Сорочина, и служил в ней тот самый поп, который приезжал к нам по праздникам

славить Христа. Чтобы вовремя попасть в церковь, нам надо было выехать из дома очень рано, до рассвета. Обычно мы вставали поздно, и вся прелесть весеннего утра была нам незнакома.

Все началось необычно. Мама нас разбудила в 2 часа ночи, когда еще весь дом спал. При мерцании ночника мы тихонько оделись и вышли на крыльцо. Лошадка, запряженная в пролетку, уже ждала нас. На дворе едва серело и было прохладно. Мама в этот раз не ехала с нами. В пролетку уселись я с сестрой и Акулина. Тихон, кучер, шевельнул вожжами, и лошади тронули. Было зябко. Мы с сестрой прижались друг к другу и еще сонными глазами озирались вокруг. Все было ново, таинственно, причудливо. Давно знакомые предметы казались неведомыми приведениями, неожиданно выплывающими из тьмы и тумана. Как необыкновенно хорош наш русский простор в эти предрассветные часы! Гладь полей, необъятный купол неба над нами. Глаз скользит, ничто не задерживает его, ни во что он не упирается, ни обо что не спотыкается. Только рассвет, только тени и краски, неуловимые и изменчивые, да шорохи, да дуновение ветра и шелест трав. Такая тишина до первого солнечного луча, до первого птичьего голоса. А когда лучи солнца осветят восток, когда, наконец, над линией горизонта начнет выплывать кругло-огненный шар, какой гаммой красок вспыхнет эта ширь! Как меняется весь этот мир вокруг тебя, как сейчас же находит отклик в тебе самой! Тайна природы, тайна мироздания, его богатство, сила, могущество захватывают тебя, и в ком есть хоть капля поэзии, не может не слиться с просыпающимся к жизни миром, не ощутить своего единства с ним, с его тайной, великой тайной природы!

Очарованная, оглушенная этим сельским утром подъезжала я к сельской церквушке. Зашла в нее, а таинство продолжалось. Высокие своды церкви тонули в полумраке. Скупое горели свечи, в их мерцании царские врата искрились золотой резьбой, а почерневшие лики на старых иконах, казалось, хранили какую-то тайну. Неведомо как – царские врата открылись, поток яркого света хлынул из алтаря, и вышел на амвон жирный поп, и в руках его было Евангелие с лентой-закладкой, а ко мне подходил наш дьяк с тарелочкой, на которой лежали медяки. Я положила свой пятак в общую кучу и ни во что уже не верила. Хотелось мне поскорее уйти из этого храма, и я думала о том, что можно заразиться, принимая причастие из общей ложечки.

В гимназии, в классе на задней парте сразу за моей спиной сидела рослая и тупая девочка. Однажды, во время урока я услышала презрительный шепот: «Выкрестка, у, выкрестка». Я сразу поняла, что это слово относится ко мне. Первым порывом моим было обернуться к ней и со всего размаха хлопнуть ее книгой по голове. Я, вероятно, так бы и сделала, но меня удержала Рая, моя лучшая подруга, еврейка, сидевшая рядом со мною на парте. Она сжала мою руку и шепнула: «Дура она – и все!» С Раей мы об этом больше не говорили, дома я тоже не рассказала никому о переживании моем, неясном, смутном, но тягостном. Года через три, а то и четыре, я много спорила с Раей о том, имел ли право мой отец креститься. Рая доказывала, что он не имел права отречься от своего гонимого народа. Я возражала, что принадлежность к народу не является фактом рождения, что папин народ не чуждое ему еврейство, а русский народ, в частности русское крестьянство. Но уверена в своей правоте я в то время не была. В споре с Раей мне хотелось видеть отца безупречным.

В семье нашей мне часто приходилось слышать разговоры о деле Бейлиса, о волне погромов, прокатившейся по югу России. Себя я считала русской, но, зная о юдофобстве, на вопрос о моей национальности всегда подчеркивала – папа еврей, мама русская.

Анка Большая

У моего отца была сестра, тетя Ида. Жизнь ее сложилась неудачно. Муж бросил ее с двумя маленькими дочерьми – Фаней и Аней. Девочки изредка гостили у нас в деревне. Были они значительно старше нас и, по существу, я их мало знала. Выросши, Фаня удачно вышла замуж за директора Бельгийской трамвайной компании и жила в Курске. Мы изредка ходили с мамой к ней в гости. Я смущалась у них и не любила туда ходить. Младшую сестру Фани, в отличие от моей сестры Ани, мы называли Анкой Большой. Жила она в Киеве, где училась и куда мама с папой высылали ей деньги, кажется по 25 рублей в месяц. И вот, я и Аня уловили из разговоров старших, что с Анкой что-то произошло, что от нас что-то скрывают. И когда мы узнали, что Анка приезжает к нам в Курск, наше любопытство было разожжено.

Анка приехала, молодая, красивая, ласковая, веселая. Но все шло не так, как обычно, когда родные приезжают в гости. Во-первых, мы установили, что Анка приехала не в гости, а «насовсем». Во-вторых, она вовсе не хотела жить в Курске. И, наконец, она сразу же заявила, что свою сестру Фани она знать не хочет и к ним не поедет.

Нас с сестрой Анка очаровала. Красивая, нарядная, она имела массу безделушек, которые любила показывать нам и которые мы очень любили рассматривать. В присутствии взрослых Анка была замкнута и холодна, но стоило им оставить нас одних, как она становилась мила и приветлива. Мы с сестрой терялись в догадках: одевалась Анка, понашему, замечательно. У нее были блестящие шелковые платья, обнажавшие шею и холеные руки в кольцах и браслетах. В чудных темных волосах ее были воткнуты резные гребешки, шпильки и пряжки, какие мы видели только в витринах магазинов. Ее туалетный столик был уставлен массой безделушек, пудрениц и флаконов с духами. Нам с сестрой она казалась королевой и мы никак не могли понять, почему она бедная, почему папа и мама должны помогать ей жить.

У нас в доме Анка прожила недолго. Почему-то для нее была снята отдельная комната.

- Ты взрослая, - говорила ей мама, - никто не хочет осуществлять над тобой надзор. Живи, как хочешь, как знаешь, но проживи этот год здесь. Одумайся, разберись во всем, этого я и Лева от тебя требуем.

- Вы видите, - отвечала Анка покорно, но строптиво, - я приехала.

Анка ежедневно приходила к нам обедать и очень часто после обеда забирала нас к себе.

Месяца через два или три Анка внезапно уехала. Мама отказалась проститься с ней, отказала ей в материальной помощи. С нами, детворой, Анка простилась очень нежно. Мне она подарила на память маленькую мраморную статуэтку Венеры. Статуэтку эту я очень берегла, до самого ареста она всегда стояла на моем столике. Я не могу установить, эмблемой чего была для меня эта маленькая статуэтка, но я твердо знаю, что она была эмблемой чего-то вольнолюбивого, дерзновенного. Мне неясно, как воспринимали наши головы романтическую историю Анки. Решающими были, конечно, Анины фантазии и наблюдения. В наших беседах с сестрой Анка была героиней романа. Юноша, карточку которого мы у нее видели, был сыном очень богатых родителей. Он страстно влюбился в Анку, но родители не разрешали ему жениться на ней. Денег они ему давали много, и он все тратил на подарки Анке. Все взрослые не хотели понять, что Анка его тоже любит, - ни мама, ни папа, ни Фани. Все требовали, чтобы она рассталась с ним и уехала к нам в Курск. Он же просил ее не уезжать, а когда она уехала – вернуться. Мы с сестрой были на стороне влюбленных, нас возмущали преграды, которые ставили взрослые на их пути. Отъезд Анки мы рассматривали как мужественный и дерзновенный.

Противоречия жизни

Город рождал во мне массу противоречий, и я мечтала о деревне. В школе меня тяготил рутинный режим, начальница, классные дамы, законоучитель, неожиданно для меня оказавшийся перекрещенным из попа в батюшку, уроки чистописания и рукоделия, казавшиеся мне совершенно непереносимыми. Только группу молодых учительниц мы обожали и превозносили до небес. Моей любимицей была Анна Васильевна Холявкина, преподававшая у нас географию. На ее уроках я сидела, как зачарованная, с ней мы путешествовали по разным концам света. Благодаря ей, я знала и любила предмет. Никогда никому в классе не приходило в голову шуметь на ее уроке или намочить мел, чтобы он не писал, или насыпать тертый мел в чернильницу, чтобы чернила шипели. Молодых учительниц мы любили и знали, что им трудно дышится в школе, что они на подозрении у начальства.

В деревне жилось легко и бездумно. Моими друзьями были деревенские ребята. Мы уходили с ними на выгон, бегали купаться на речку, качались на качелях, ездили верхом или уезжали с папой на дрожках в поле.

В детские годы ничто не мешало моей дружбе с Аксютой, Марфушей и Ганей. С годами отношения стали осложняться. Мы становились учеными, у нас появились другие интересы: к книгам, рассказам, стихам более сложным, чем деревенские частушки и прибаутки; в то же время обнаружилось, что мы не умеем сделать свирель, метко стрелкнуть из рогатки. Друзья наши вдруг начали стесняться нас, называть барышнями.

Первое огорчение, глубоко поразившее меня, произошло на Пасху. Религиозной, как я уже говорила, наша семья не была, но праздники Рождества и Пасхи у нас праздновались всегда. Самые приготовления доставляли нам уйму радостей. Начинались они за неделю. Пеклись куличи, в огромных макитрах стиралась сырная пасха. Заготавлилось все в больших количествах. Готовилось не только для семьи, но и для рабочих, прислуги. Каждый рабочий, кроме подарка в виде отреза на платье, или рубахи, шарфа, платка, пояса и т.п., получал свой отдельный кулич, кусок пасхи и пяток

крашеных яиц. Яиц крашивались корзины. Все мы усаживались за столом, где стояли стаканы с разведенной краской. Вареные яички опускались в стаканы и вынимались красные, синие, желтые, зеленые. Когда нам надоедали одноцветные, мы начинали красить половину одной краской, половину другой, или выписывать на яичках узоры, буквы «Х» и «В». Иногда к нам присоединялся папа, он разрисовывал их масляной краской. Только его яички удостаивались названия «писанок». Самые красивые из папиных писанок мама брала и прятала в кивот, где они, высыхая, сохранялись долгие годы.

Весеннее пасхальное утро такое радостное! Мы, нарядно одетые, являемся в столовую, стол уже накрыт. Расставлены куличи, пасха, на большом блюде лежит копченый окорок с узорными бумажками вокруг кости. Крашеные яички разложены по зелени овса, специально выращенного на блюде. Мы получаем подарки, христосуемся, завтракаем, и начинается веселье. Мы катаем яички, бьемся ими друг с другом, выбирая крепкие битки. Единственное условие, которое ставит нам мама, каждый, у кого разобьется яичко, должен его съесть. Бросать разбитое яичко нельзя ни в коем случае.

Увы! Яички бьются ежеминутно, а мы сыты по самое горло, и нам уже надоели подарки, на улице такое солнце! Выбрав из корзины самые лучшие битки, проверив их на зуб и набив ими полные карманы, мы спешим на выгон к ребятам.

И мы и они празднично одеты, и мы и они веселы и горды своими битками. Но при первой же схватке выясняется, что правило игры у них другое. Хозяин разбитого яйца должен отдать его победителю, тому, чей биток оказался крепче. Что возразить против такого правила? Нам оно казалось справедливым. Мой биток при первом столкновении разбит, я очень огорчена, но с радостью отдаю его Петьке. Вытаскиваю из кармана следующий и бьюсь с Сенькой. У него всего одно яйцо, но он гордится и хвалится своим битком. Ура! Мой оказался крепче, Сенькино яйцо разбито. Но что это? Сенькино лицо вытянулось, он сует мне свой разбитый биток, ему больше биться нечем. Я не беру разбитое яйцо, мы все, баричи, окружаем Сеньку и уговариваем, и просим его оставить разбитое яйцо у себя. Но он тверд в соблюдении правил игры, и все деревенские ребята поддерживают его. Тогда я дарю Сене свой биток, а разбитое яйцо сую его двухлетней сестренке. Игра возобновляется, но я уже не решаюсь вступить в бой. Победа отравлена, мне жаль моего битка, я с завистью смотрю на разгоряченные, возбужденные лица ребят, опоражниваю свои карманы, раздаю ребятишкам такие, я верю, хорошие битки и стремительно ухожу домой.

Лето. Милое свободное лето. Яблони гнутся под сочными плодами. Мы подбираем паданки и трясем деревья, чтобы паданок было больше. Мы набиваем карманы сливами, садимся на завалинку у дома и поедаем их. У нас идет игра, кто плюнет дальше косточкой. Мама с завтраками, обедами только докучает нам, мы сыты. Но что это? Мы слышим душераздирающий крик из сада. Опрометью мы кидаемся туда.

Под яблоней лежит, корчится и благим матом орет Гриша Бармаков, а над ним вопит наша Акулина. Мы ничего не понимаем, но мама уже опережает нас. Вдвоем с Акулиной они поднимают Гришу и несут его в комнаты. Нас гонят прочь. Мы топчемся у входа затихшие, потрясенные. Спешно посылают конюха за родителями Гриши. Приходит его отец, со снятой шапкой он проходит мимо нас в дом, лицо его нахмурено. Что делается там, за дверями? Обратно Бармаков выходит с сыном на руках. Гриша уткнул голову в плечо отца, слышно, как он всхлипывает.

- Благослови вас Бог, барыня, поправится, анафема, я его, окаянного взгрею.

- Утром я зайду его перевязать, - говорит мама, - пусть спокойно лежит и рану не развязывает.

Бармаков уходит, мы налетаем на маму:

- Что случилось?

Оказывается, Акулина застала в саду гурьбу наших деревенских друзей. Гриша залез на дерево и трусил яблоки, остальные внизу подбирали. Все они при виде Акулины шарахнулись в кусты и мигом исчезли. Гриша же, заторопившись, сорвался с ветки, напоролся на сук и вместе с ним свалился на землю. Нам было ужасно жаль Гришу. Мы возмущались Акулиной. Кто просил ее подкарауливать ребят, яблок жалко, что ли? Вот теперь, если Гриша умрет, она будет виновата. Акулина уверяла, что так ему и надо:

- Все яблоки пошибали, ветки переломали.

Вечером за ужином родители обсуждали происшествие. Оба они были хмуры и недовольны. На вопрос, будут ли родители Гриши бить его, будут ли крестьяне бить ребят, даже большого Гришу, отец сердито ответил:

- Тех, кто убежал, вряд ли, а вот Гриша лупцовку получит, - вору, мол, да не попадайся, - и прибавил, - не сегодня, так завтра вся ватага будет в саду.

Несколько дней мы или вовсе не заходили в сад, или, прежде чем зайти, поднимали дикий крик, чтоб ребята, если они там, успели удрать.

В разговорах взрослых я часто слышала «наша земля», «крестьянская земля», «земля ничья», «земля Божья». Мне очень хотелось осмыслить эти слова, но они никак не укладывались у меня в голове. До меня не доходило, что речь шла не о земле, как таковой, а о форме землепользования. Не раз во время прогулок я останавливалась, набирала в пригоршни горсть земли, рассматривала ее и недоуменно пожимала плечами: «Наша земля!» Я ничего не могла себе уяснить, но как-то не по себе мне было.

Бедный мой папа! Как тяжело было ему переживать все то, что не доходило до нас, или скользило, чуть задевая наши души. В лесу порубка. Отец ходит злой. Лесок у нас был маленький, на болоте, заросший кустарником. Печи наши всегда топились хворостом, в хворосте отец никогда не отказывал крестьянам, но годные для стройки деревья он берег.

Крестьяне рассуждали иначе. Не охота с хворостом возиться, да и на оглоблю, на постройку лесина нужна, а рядом лесок господский. Господский, но он же и Божий. Сумей украсть – Бог простит.

Четвертым классом заканчивалось низшее образование. В 5 классе нужно было держать переходные экзамены. Они будоражили, утомляли, поэтому особенно радостно, счастливо, свободно, весело чувствовала я себя, подъезжая летом 1913 года к нашей деревне. Возбужденная, вошла я в наш домик. Теперь сбросить с себя городские платья, умыться и в сад.

Весело болтая, переодевались мы с сестрой у себя в комнате. Неожиданно вошла Аксюта. Сперва я даже не узнала ее. Она стала такая большая. В длинной цветастой юбке, такой же рябой кофточке с короткими рукавами, в платочке, уголком повязанном на голове. Свежая, здоровая, улыбающаяся. Ее синие глаза так и лучились нам навстречу, а из-под улыбающихся губ сверкали крепкие, белые, ровные зубы. Какая прелесть! Обе мы бросились к ней навстречу. Аксюта!

- Здравствуйте, барышни, а я вам воды умыться принесла. Здесь вот все приготовлено: и мыло, и полотенце.

Нам было не до умыванья. Мы усадили Аксюту, и началась болтовня о всех деревенских новостях. Я с восторгом смотрела на Аксюту и не скрывала своего восторга перед ее крепким, пышущим здоровьем. Она и сама была довольна собой. Она с удовольствием показывала нам свои полные загорелые руки.

- А вы, барышни, такие худые да бледные, руки-то как палочки тоненькие.

Аксюта была ровесница моей сестры, ей исполнилось пятнадцать лет, цветущая деревенская девушка, отец ей уже и жениха подобрал, кто-то сватался за нее. Аксюта была горда этим:

- Тят сказал, молода, погоди маленько!

О, Боже, мы считали себя еще девочками, а Аксюту уже сватали! Внезапно Аксюта вскочила, спохватилась:

- Умывайтесь, барышни, а я побегу самовар ставить. Вы уж сами себе сольете.

- Конечно, сами, но ты куда, какой самовар?

- Да я, барышни, теперь у вас в услужении, с самой весны барин меня в дом взял.

Аксюта – у нас в услужении! Аксюта – наш друг и товарищ всех наших игр!

Кто-то раньше убирал нашу комнату, мыл полы, выносил помои, случалось стелил наши постели – ничего этого мы не замечали. Делала ли это мама или Акулина, или другая женщина... Все шло само собой, по раз заведенному порядку. Теперь в услужении у нас Аксюта, наша ровесница, наша подруга...

Раз в неделю от нас в Сорочин папа посылал лошадь на станцию за почтой. Мы еще не получали писем, но ожидание писем взрослыми настораживало и нас. И мы тоже ожидали возвращения с почты. В один из таких почтовых дней папа, получив с почты письмо, протянул его мне. Недоуменно вертела я в руках конверт. Все интересовались, от кого письмо, но я ускакала с ним в нашу комнату.

Маленький листок бумаги с голубенькой незабудкой в уголке. Прекрасным ровным почерком писала мне Нина Демидова. Я запрыгала от восторга. Мы учились вместе в приготовительном классе,

она была одной из первых учениц. Мы дружили. Когда отца Нины перевели куда-то в другой город, мы, расставаясь, поклялись, что будем писать друг другу. Прошли годы, и вот Нина сообщала мне, что она прекрасно учится, что дома у них все благополучно. Не помню, что еще стояло в письме, но заканчивалось оно предложением нам вместе помолиться за наш народ и за великого императора нашего.

Я была оскорблена, задета в лучших своих чувствах. Нина стала черносотенкой! Как смела она писать мне такое!

Совершенно не помню ни моего отношения к Николаю II, ни к черной сотне до этого письма. Но эту вспышку помню хорошо.

Сейчас мне захотелось вспомнить о второй моей подруге, и втором, уже вполне сознательном соприкосновении с Николаем II.

Так же как с Ниной, мама советовала мне дружить с Раей. Рая поступила в первый класс, я перешла из старшего подготовительного в первый. Раина мать была яркой социал-демократкой, она часто бывала у моих родителей и часами спорила с отцом. Муж ее, врач-гинеколог, мало интересовался политикой. Жили они вблизи нас. Еще до школы родители сводили нас, детей, пару раз вместе, но дружбы не получилось. В классе отношения наши тоже не налаживались. Может быть, именно поэтому мы сторонились друг друга, что родители твердили нам о дружбе.

Я была старая гимназистка, лентяйка и шалунья, и чувствовала себя в классе, как рыба в воде, участвовала во всех играх и проказах. Рая была новенькая, любила читать, много читала и сразу по развитию и успехам заняла первое место в классе. Ничто не объединяло нас.

Однажды на большой перемене, во дворе во время игры, между нами произошло столкновение. Не помню точно, в чем оно состояло, но обвинили мы друг друга в нарушении правил игры. Спор перешел в драку. Наверное ее начала я, и наверное Рае попало бы, так как я была сильнее, но нас растащили подруги. Я со своими сторонниками ушла в другой конец двора, Рая осталась в окружении своих друзей. В общем, класс раскололся на две части. Во враждебной нам группе были все лучшие ученицы, и они поклялись нам не подсказывать. Мы действовали хуже, мы выбрасывали из парт их ранцы, прятали их одежду в раздевалках, бросали им вслед презрительные замечания.

Вся гимназия узнала о расколе в первом классе. На уроках класс был возбужден, занятия не шли. Классная дама тщетно старалась примирить нас. Около недели длилась ссора. Не помню, что примирило нас, но за примирением началась дружба, крепкая, горячая, на долгие годы. Мы были разные, но мир осваивали вместе, может быть, наша разность помогла нам.

Мы часто спорили, но в конце концов приходили к общему решению. Спорили, как я уже упоминала, о крещении моего отца, спорили во время войны о варварстве немцев. Я вместе со всеми возмущалась тем, что немцы разрушают памятники старины. Рая утверждала, что смешно говорить о зданиях, когда человек убивает человека. Но в основном, в нашей ненависти к насилию в нашей любви к свободе мы были едины.

Вместе преклонялись мы перед революционерами, были полны презрения и ненависти к царскому правительству. К этому времени мы уже прочли Степняка-Кравчинского – «Домик на Волге», «Андрей Кожухов», «Подпольная Россия», «Штундист Павел Руденко». С захватывающим интересом читали мы «То, чего не было» Репшина-Савинкова.

Каково же было наше возмущение, когда мы узнали, что в Курск приезжает Николай II и мы, учащиеся, должны встретить его!

В школах началась подготовка. Мужские учебные заведения тренировались ежедневно. Мальчиков заставляли строем маршировать по улицам. Их готовили к параду. Нам, девочкам, большие начитывали всякие проповеди. Кроме того мы должны были уметь строиться по росту и стройно кричать «Ура». Ни на одной репетиции мы с Раей не были. Но когда нам объявили, что мы, гимназистки, будем цепью окаймлять площадь, по которой проедет царь, и будем приветствовать его криками «Ура!», мы приняли другое решение. Да, мы пойдем на площадь, мы станем в цепь, но кричать мы будем «Долой Николая Романова!», чего бы это нам ни стоило! В решение свое мы посвятили двух-трех самых близких подруг.

Я хорошо помню этот тревожный день. К восьми часам утра нам велели явиться в гимназию. Родители пытались удержать нас дома, но мы пошли. Улицы, по которым должен был проехать царь, были оцеплены строем городских, жандармов и солдат. Штатские стояли шпалерами вдоль улицы по тротуарам. Охрана пропускала только учащихся в форме. В гимназии царило волнение. Передавали, как государь посетил госпиталь с ранеными, как он благословил детей воспитательного дома,

встречавших его на вокзале. Мы только крепче сжимали друг другу руки. Наконец, нас вывели на площадь. Царь находился в дворянском собрании и должен был через площадь ехать к дому губернатора. Вся площадь была оцеплена учащимися, стоявшими в два ряда. Вдоль рядов бегали начальники, синявки, инспекторы, то и дело ровня строя. Время шло, мы устали, нам уже надоело ждать, настроение спало, начались разговоры и болтовня. Наконец откуда-то долетел слух «едет, едет».

Все головы повернулись в ту сторону, откуда должен был ехать царь. Мы еще ничего не видели, но уже слышали пока отдаленный и все нарастающий гул, приближающийся к нам. «Ура» затихало вдаль и нарастало, приближаясь. Вот, наконец, показалась машина. Медленно, медленно она шла мимо рядов учащихся. В машине во весь рост стоял царь. В серой солдатской шинели, с обнаженной головой. Фуражку он держал в руке и поводил ею, приветствуя учащихся. Какое знакомое лицо, но гораздо проще, серее и человечнее.

Чем ближе подъезжала машина, тем ближе перекачивалось «ура», как бы сопровождая ее, сливаясь с нею в одно. Вот она уже вплотную подъехала к нам, от нас до машины каких-нибудь два шага, все мы, не отрываясь, смотрим на царя, «ура» катится уже по нашим рядам, вслед машине поворачиваются наши головы. Нам видна уже только спина человека в серой шинели.

Как это могло случиться, как это случилось? Я кричала «ура» вместе со всей толпой, я кричала «ура» Николаю II. Понурия голову, ушла я с площади.

Последние годы гимназии

К тому времени, как я перешла в старшие классы, одна за другой оканчивали гимназию сестры, братья мои и моих подруг. Все они ехали учиться в университетские города. Приезжая домой на каникулы, они привозили с собой новые интересы, запросы и настроения, тогда наши школьные дела отступали на второй план.

Старшая моя сестра училась в Москве на Высших женских курсах. Она была очень способной девушкой, но первый год на курсах для научных занятий у нее почти пропал. Ее захватила волна общественных событий.

В годовщину смерти Л.Н. Толстого московское студенчество организовало демонстрацию под лозунгом «Долой смертную казнь». Демонстрации разгонялись. Часть юношей и девушек была окружена полицией, загнана в какой-то двор, арестована и препровождена в дом предварительного заключения. Многие из них были избиты нагайками, многие помяты лошаадьми. В числе задержанных оказалась и моя сестра. Узнав об ее аресте, мама, бросив нас на Акулину, поспешила в Москву. Папа был вызван из деревни телеграммой. Но переполох был напрасен. Никаких серьезных последствий для большинства молодежи не было. Через месяц почти все они были освобождены и вернулись в университет. Приехав на каникулы, сестра со смехом рассказывала, как в группе задержанных оказались курсистки и студенты, никогда не интересовавшиеся политикой. Девушки в бальных платьях и туфельках завитые и напомаженные, шедшие с бала со своими кавалерами, захваченные демонстрацией, силой течения толпы, они были занесены в переулок, где их окружили казаки. Они отчаянно плакали в тюрьме, а их родители, люди с положением, подняли шум, и совершенно сбитые с толку следователи притушили все дело, так как разобрать, кто шел с бала, а кто с демонстрации, не было никакой возможности. Все уверяли, что просто возвращались с бала.

В последующие годы сестра вся отдалась своим курсовым занятиям, хотя по настроению, безусловно, принадлежала к передовому студенчеству.

Жизнь моего старшего брата сложилась несколько иначе. Окончив гимназию, он поехал в Петербург, в Военно-медицинскую академию. Он попал на первый курс как раз в тот год, когда там проходили студенческие волнения. Среди года учащиеся академии узнали, что ряд лучших профессоров удаляется из академии из-за их политической неблагонадежности. Студенты объявили забастовку и выставили требование о возвращении старых профессоров. Все лекции вновь назначенных профессоров срывались. Шли митинги протеста, устраивались обструкции. Правительство ответило арестом отдельных студентов и закрытием академии. Студенчество других учебных заведений поддержало медиков сходками и демонстрациями. Но все же студенчество академии было распущено. Все программы пересмотрены. Учебное заведение передано в военное ведомство, военизировано. Всем студентам было предложено вновь подать прошения о приеме. Студенчество объявило новой академии бойкот. Время шло, правительство не уступало. Постепенно в канцелярию стали поступать заявления студентов о приеме их обратно. В числе подавших

заявление был и мой брат Ася. Отец и мать молчали, мне казалось, что они огорчены поступком Аси. Я же была в полном отчаянии. Я боготворила брата и примириться с таким его поступком не могла. Я не хотела его видеть, о нем слышать. На лето брат не приехал домой – по новому статусу академии лето студенты проводили в лагерях. Когда через два года он приехал домой на две недели, в военной форме, красивый и убежденный в своей правоте, я сдалась. Моя любовь к нему победила, но какой-то червячок сомнения грыз сердце.

Аня вовсе не интересовалась политикой. С курсов на каникулы домой она вернулась веселая, нарядная. Ее обласкала мамина сестра Маруся. На ней был чуть ли не котиковый жакет и лисий горжет. Рассказы ее вертелись вокруг театров, вечеринок, шума столичного города. Во мне они не вызвали большого интереса. Зато брат моей подруги Оли своими рассказами о студенческой жизни, о сходках, землячествах, демонстрациях совершенно вскружил наши головы.

На следующий год мы собирались ехать на курсы. Вольная жизнь высшей школы со светлыми идеалами, свободолобивыми порывами, протестом против пошлости и подлости повседневной жизни манила нас. Гимназия нам опостылела. Мы рвались из нее. Еще один последний год. Но куда же мы пойдем, куда направим свои стопы. Пора было определить свои стремления и симпатии.

Я училась неважно, склонности к чему-то определенному не имела, разбрасывалась в чтении. Теперь мне приходилось призадуматься. Я знала, что без медали в высшие школы Москвы и Петрограда не попасть. Приходилось приналечь на науки. К отцу я приставала с вопросами о том, куда мне идти учиться дальше. Я не знала еще, кем хочу стать. Пусть отец мне укажет, в каком из университетов самая широкая всеохватывающая программа. Отец, конечно, расхваливал сельскохозяйственный факультет, там самая широкая программа, так читают и естественные, и экономические, и юридические дисциплины.

Мы рвались из гимназии, мы охотно перескочили бы через этот последний год. А какой он был хороший! За долгие школьные годы нас подобралась дружная компания из четырех девочек. Она так и называлась «квартетик». К ней примыкала группа мальчиков, тоже из четырех человек, и наши сестры. Все вместе мы организовали клуб «бездельников». Заседания клуба происходили по субботам и воскресеньям на квартире одного из членов по очереди. Чего только ни происходило на этих собраниях! Как дети, мы играли в фанты, в шарады, воробья, и тут же обсуждали прочитанные книги, устраивали литературные суды, вели споры о материализме, о равноправии женщин, о революции и эволюции. Мы без конца пели и танцевали.

Помню одно заседание клуба «бездельников», закончившееся большим конфузом. Было решено, что каждый из нас напишет стихотворение и опустит его в ящик, подписаны листки не будут. Лучшее стихотворение получит премию. Не помню, чье стихотворение было премировано, но когда выбор был совершен, Леночка заявила:

- Эх, вы, я переписала стих Шекспира, а вы его забаллотировали!

Когда начинался съезд студентов на каникулы, деятельность клуба приостанавливалась. Мы ходили совсем смятенные, ведь возвращались героини нашей первой любви, к тому же они привозили с собой самые новые, самые дерзновенные мысли и планы. Они уезжали – снова функционировал клуб, на заседаниях его подводились итоги святкам. И спорам, и толкам опять не было конца.

Ребенком я очень мало читала в противоположность Ане, которая просто глотала книги. Для Ани мамой был установлен подбор книг, разрешенных ей для чтения, мне было разрешено читать все, лишь бы я читала. Поэтому дома все были удивлены и рады, когда я вдруг потребовала у отца книгу по политэкономии. Жили мы в деревне. Подходящей книги у отца не было. Он перерыл весь свой шкаф и принес мне «Политэкономия в связи с финансами» Ходского. Папа был уверен, что я заброшу книгу из-за сухости изложения. Я прочитала ее запоем и не один раз. Так же увлекла меня книга с изложением философии Ницше. Ее я читала зимой в учебное время, и я читала ее, не отрываясь, пока не прочла всю. Три дня я не ходила на уроки в гимназию – я читала. Мама не протестовала: «Катя читает».

Конечно, преувеличением было бы сказать, что я ничего не читала. Всех русских классиков за время учения в гимназии я перечла, я прочла кое-что из переводной литературы, но из всей массы книг, имевшейся у нас дома и прочитанных сестрой, целый ряд так и выпал из моего поля зрения: не были мною прочитаны Герцен, Чернышевский и Бокль «История цивилизации в Англии», книга, которую упорно советовала нам прочитать мама. Только в самые последние годы набросилась я на чтение, но тут уже у меня не хватало времени. Решив во что бы то ни стало получить медаль, открывающую мне дорогу на курсы, я вынуждена была налечь на занятия.

Газеты мы, молодежь, почти не читали. Мы знали, что выходят газеты разных направлений: от самых черносотенных, вроде «Курской... (пропуск. – Ред.), органа Маркова-второго, до либеральных «Русское слово», «Русские ведомости» и т.д.

Отец выписывал целый ряд газет. Вечерами в деревне или вовремя своего приезда в город он часто за вечерним чаем читал их маме вслух, обсуждая и комментируя. В нашей семье и в Раиной, когда собирались взрослые, мы слушали их разговоры о происходящих событиях, мы были в курсе общественной жизни, не читая газет. Не влекли нас буржуазные газеты – нам хотелось нелегалщины. Достать ее в Курске мы не могли, но мы знали о ней из рассказов наших друзей-студентов и тянулись к студенческой жизни.

За гимназическим порогом начиналось вступление в жизнь. Нам мечталось это очень абстрактно в виде борьбы за счастье и справедливость – «Иди к униженным, иди к обиженным, по их стопам...» Мы читали «Буревестник» - Горького, декламировали «Каменщик, каменщик в фартуке белом...», «Лес рубят, молодой, нежно зеленый лес...» Мы пели студенческие песни – «Гаудеамус», «Варшавянку», «Смело, друзья, не теряйте...» и другие.

Мы рвались из гимназии. Зато и отпраздновали же мы наш выпуск! Получив аттестаты, прямо из гимназии почти всем классом отправились мы в ресторан-кафе, куда был закрыт вход учащимся. Мы заняли все до единого столика, но этого оказалось мало нашему стремлению нарушить все каноны жизни и оповестить всех, что мы начинаем жить, что мы вырвались из гимназических цепей!

В Курске по двум главным улицам из конца в конец города проходила трамвайная линия. Двигался курский трамвай очень медленно, насчитывал всего пять или шесть вагончиков и курсировал от Московских ворот до Херсонских. Ворота эти были когда-то поставлены курским дворянством в честь приезда государя. Увлекая по дороге всех окончивших с нами гимназию, дошли мы до московских ворот и стали толпой. Все подходившие вагоны заполняли мы, учащиеся. Раз пять прокатились мы от ворот до ворот, не вылезая и лишая возможности остальную публику сесть в вагон. Мы прощались с гимназией, подругами, учителями, с которыми хорошо ли, плохо ли прожили восемь лет.

2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

В Петрограде

Мечты наши осуществились осенью 1916 года. Мы были приняты на курсы. Оля и я – в Сельскохозяйственный институт им. Пр. Стебута в Петрограде, Лена – на математическое отделение Бестужевских курсов. Огорчило нас то, что Рая, из-за процентной нормы для евреев в столичных городах, поступила в Харьков на медицинский факультет. Впервые разлучились мы, впервые должны были начать самостоятельную жизнь, вырвавшись из-под родительского крова. Аня ехала с нами в Петроград на 2 курс исторического факультета. Оля и я решили поселиться вместе. Немного огорчало нас то, что вслед за Олей собиралась ехать Олина мать с младшей дочерью Соней. Нам было поручено снять квартиру из двух комнат: одну комнату для нас троих, вторую – для Олиной мамы и ее сестры. Огорчило нас и то, что Олин брат Жорж, студент Петроградского университета, не жил в Петрограде – он был на фронте, и все мечты о том, как он покажет нам город, не сбывались. Мы, правда, везли с собой его инструкцию о том, что мы должны смотреть в первую очередь. Сам он обещал приехать в отпуск в октябре и пробродить тогда с нами по городу. Он дал нам адрес своей квартирной хозяйки, где мы могли остановиться на первое время.

Материальная сторона жизни не тревожила нас. Мама с папой обещали высылать нам с Аней по 25 рублей в месяц каждой. Олины родители были люди хорошо обеспеченные, Леночка ехала в семью своей матери.

Сутки, проведенные в вагоне, были преддверием новой жизни. Питер ошеломил нас с первых шагов, с вокзала. Мы не выезжали из Курска, не видели ни одного большого города. Пока извозчик вез нас с Московского вокзала до Васильевского острова, мы жадно смотрели на стройные серые здания, на одетые в гранит берега Невы, на изумительные мосты, нависшие над нею.

Хозяйка квартиры встретила нас приветливо, но комнату она могла предоставить нам только на две недели и нам сразу же нужно было приступить к поиску квартиры. Целыми днями бродили мы по улицам Петрограда, высматривая на подъездах розовые билетки, извещающие прохожих о том, что в доме сдается квартира. Ничего подходящего мы не находили. Приближалось время начала занятий, оканчивался срок квартиры, предоставленный нам хозяйкой, близился приезд Олиной мамы, - но мы

не унывали. Однажды нам подвернулась чудесная квартира, владельцы сдавали ее по сходной цене. Мы с Олей сняли бы ее, но Аня встала на дыбы:

- Вы сумасшедшие! Это не жилье, а магазин! Дверь в помещение прямо с улицы, не окна, а настоящие витрины, посередине перегородка, не достигающая до потолка и до противоположных стен, перед ней нечто, напоминающее прилавок. Ни кроватей, ни стола, ни стульев. За перегородкой – темнота.

С шутками и смехом хотели мы взять эту квартиру, с шутками и смехом отказались от нее. В тот же день мы нашли, наконец, подходящую квартиру. В двух небольших комнатах стояли три кровати, два стола, один табурет и пианино. Оля играла на рояле и очень любила музыку. Вопрос был решен.

Нам пора было посетить курсы. С трепетом, с захватывающим интересом шли мы с Олей 1 сентября на выборгскую сторону. Мы долго блуждали по улицам, не находя нужного переулка. Наконец, нам показали большое серое здание. Обычные входные двери. Широкая площадка, широкая лестница на второй этаж. Ни души. Оглядываясь по сторонам, мы подошли к одной из дверей. На ней белая бумага, приколотая кнопками – «Лавочка закрыта». Недоуменно переглянулись мы. Какая лавочка? Почему лавочка? Куда нам теперь деваться? За нашими плечами хлопнула входная дверь. Две девушки переступили порог ее. Я крикнула навстречу им злым голосом:

- Не ходите, лавочка закрыта.

- Нет, это вы не уходите, товарищи, - ответили приветливые звонкие голоса, - мы ее сейчас откроем.

Какой музыкой прозвучало мне это обращение «товарищи». Мы с Олей товарищи этих замечательных девушек!

Все оказалось очень просто. Мы стояли у дверей студенческой лавочки. Эти девушки работали в ней. Они пришли открывать ее, но, так как кроме нас никого не было, они принялись посвящать нас во все подробности студенческой жизни. Лекции начнутся с 5 числа. Канцелярия открыта, вход в нее со двора. Студенческая столовая – выше по ступенькам. Расписание лекций вывешено в канцелярии. Там же объявление о том, что общее собрание слушательниц I курса состоится послезавтра в 7 часов вечера, а старостат своего курса мы будем выбирать через месяц, когда познакомимся друг с другом. Одна из девушек была членом студенческого старостата. Она расспросила, когда мы приехали, откуда, где остановились. Тут я поняла, что мы потеряли массу времени, болтаясь одни по Петрограду. Приехав, нам нужно было тут же идти на курсы. Там дежурные по старостату встречали приезжих, помогали с приисканием жилья, обеспечивали ночевками. В студенческой столовой курсистки знакомились друг с другом, закреплялись по своим землячествам, экскурсиями ходили по Петрограду, с ночи становились в очередь за билетами в театры. Варясь в собственном соку, мы многое упустили, надо было наверстывать.

В студенческой столовой народу немного. Обслуживалась она курсистками, нуждавшимися в работе. Спустившись в столовую, мы сперва попали в раздевалку. При входе во второе помещение было расположено окошечко кассы. Рядом доска, на которой мелом написано меню:

Суп картофельный – 3 коп.

Котлеты картофельные – 5 коп.

Щи мясные – 7 коп.

Котлеты мясные – 8 коп.

От кассы надо было идти к противоположной стене, в которой было прорезано окошко в кухню. Здесь курсистки получали заказанные блюда. Вдоль всего помещения стояли длинные столы и скамьи. Столы были покрыты клеенками, на них стояли тарелки с нарезанным хлебом, солонки с солью, баночки с горчицей. В углу, ближе к раздевалке, стоял умывальник, висело полотенце. В другом углу, на скамье стояли два бака – один с холодной кипяченой водой, другой с горячим заваренным чаем. Мы с Олей были поражены дешевизной обедов и величиной порций. В вегетарианской столовой, где мы обычно обедали, обед стоил 25 коп. Так разве наешься! Наш первый студенческий обед показался нам и вкусным и сытным. В столовой мы встретились с первокурсницами, нашими будущими товарищами.

Студенческая жизнь началась. С утра мы шли на курсы и проводили там целый день. Утром лекции: зоология, ботаника, физика, химия, государственное право, политэкономия и другие. Вечером проводились практические занятия. Наряду с учебной шла курсовая жизнь. Студенчество объединялось в землячества, в различных кружках. Руководил всем старостат, состоявший из представителей, избранных каждым курсом. Он руководил и столовой, и библиотекой, и лавочкой.

Он устраивал вечера и вечеринки в пользу неимущих студентов, организовывал private лекции, диспуты. Через какой-нибудь месяц, в числе еще пяти девушек, я была выбрана от своего курса в старостат. Жизнь закружила нас так, что мы не успевали ни в чем – ни в занятиях, ни в серьезном освоении возникавших перед нами вопросов. Времени нам не хватало. А тут еще Аня трубила мне в уши:

- Надо пойти к родным. Ведь ты обещала маме пойти к тете Марусе.

Родных в Петрограде у нас было очень много. У маминого брата, дяди Феди, мы с Аней бывали изредка. Дядю Федю и тетю Веру я знала с детских лет и очень любила. У них было просто и хорошо, они были свои. Но я обещала маме пойти к ее сестре, тете Марусе, жене Николая Сергеевича Крашенникова. Крашенниковых было два. Илья Сергеевич – дядя Илья и Николай Сергеевич – дядя Коля. Это были мамыны двоюродные братья. Мамино детство прошло с ними. Потом Николай Сергеевич женился на маминой сестре, тете Марусе. Дядю Илью я знала, он изредка бывал у нас в Сорочине. Его я любила, да его любили все, - за доброту, за справедливость, за сердечное отношение к людям. Все, начиная от сотрудников по работе, до наших сорочинских крестьян. Высокий, представительный, красивый, благородный, он так же, как и дядя Коля, был сенатором, но кроме этого ничего общего между ними не было.

Николай Сергеевич Крашенников, маленький, тщедушный, некрасивый, злой и ехидный, не был любим никем, кроме ближайших родственников. Да и те в его защиту выдвигали глубокую принципиальность, последовательность, честность, идейность. Был он председателем судебной палаты, глубоко верующим, преданным царствующему дому человеком, был последовательным и убежденным монархистом. Все крупнейшие политические процессы проводил он. Проводимые им процессы отличались суровостью и жестокостью приговора. В свое время было совершено покушение на его жизнь. Ему было нанесено ранение кинжалом в область гортани. Тогда он выжил. Мама умоляла меня: «Ты пойдешь не к нему, ты пойдешь к моей сестре. Кроме того, Николай Сергеевич человек убежденный. Это идейный противник, идейных противников знать не мешает». Что ж, я обещала маме, и я пошла. Я шла в черной косоворотке, со студенческими пуговицами, с запасом революционных настроений в душе. Аня, очень полюбившая тетю Марусю, всячески хотела подкупить меня. Она говорила, что тетя очень хочет меня видеть, что Петя, сын тети, сказал, что у меня красивая и благородная внешность. Ничто не помогло, я шла с плотно стиснутыми зубами.

Дверь нам отворил лакей. Это был первый и последний лакей, которого я видела в своей жизни. Здороваясь, я подала ему руку, но он не принял моей руки, а ловким движением принял Анино пальто.

- Свое я уж как-нибудь повешу сама, - сказала я.

Не знаю, понравилась ли бы мне при других условиях квартира тети Маруси, но тогда я нашла ее ужасной. Первая комната, в которую нас провел лакей, была завешена, заставлена, загорожена. Роскошные портьеры, роскошные занавеси, картины, диваны и диванчики, кресла, стульчики, столики, пуфики, этажерочки. Черт знает, что там еще было, но через все это надо было не идти, а пробираться.

О нашем приходе было доложено тете, и нас попросили пройти в столовую. Тетя сидела уже за столом. Очень тепло и сердечно встретила она нас, спрашивая о маме, о Курске, об устройстве здесь. Она усадила нас с собой за стол. Почти сейчас же вышел и дядя Коля. Маленький, щупленький, с козлиной бородкой. Таким я его себе и представляла.

Лакей обносил нас блюдами. Разговор не клеился. Я демонстративно говорила резкости. Дядя иронизировал. Сменялись яства. Уйма тарелочек, вилочек, ножичков. Что чем есть? На последнем подносе, принесенном бесстрастным лакеем, стояли четыре чашечки с водой. Одну он поставил передо мной. Что надо с ней делать? Выпить? Я выпила. Аня к своей не притронулась. Тетя и дядя пополоскали концы пальцев и вытерли их о салфетки. С меня было достаточно... На обратном пути домой сестра объявила мне, что я – дура, что если пришла в дом, то должна держать себя прилично. Я ответила, что ноги моей больше там не будет.

На нашем первом студенческом вечере в пользу несостоятельных студентов мы с Олей веселились до упаду. Познакомились мы с двумя студентами-путейцами. Оля весь вечер танцевала с одним, я – с другим. Домой они провожали нас почти через весь Петроград. С Выборгской стороны на Петроградскую шли мы ночью, дурачась, играя в снежки, залезая на ограды мостов и прыгая с них. Было отчаянно весело. Про моего нового знакомого я знала только, что он студент-путеец, и что

зовут его Нил. На той же неделе Нил явился к нам в гости. Он был одет не в студенческую форму, а в шикарный штатский костюм. Ногти на его руках были отточены и отполированы. На одном пальце сверкало кольцо. За нашим пианино, аккомпанируя себе, он мелодекламировал, преимущественно Вертинского.

Нил стал встречать меня на улице, часто заходил к нам домой. Олина мама встречала его приветливо. Аня скулила надо мной, что у меня поклонник – белоподкладочник. Я злилась, но не умела отшить Нила.

Протестуя против Вертинского, против отточенных ногтей и перстней, мы с друзьями брели в извозничьи чайные, в пивнушки, в Народный дом, на народные гулянья. Все спутывалось в один клубок – споры, занятия, толки о газетных сообщениях, сходки и собрания, «Общество бесплатной езды на трамваях».

Нам с Олей до курсов было идти часа полтора, не меньше. На трамвай уходила уйма денег. Как-то раз, дурачась, мы решили не брать билетов. Но не могли же мы присваивать себе деньги, не заплаченные за билет, и было решено: деньги, сэкономленные на трамвайных проездах, поступают в общую кассу, в фонд «Лоби-Тоби» - любимых нами, очень дорогих конфет. Общество насчитывало восемь членов. Увы, все это была студенческая молодежь. Когда в нашей кассе набралась достаточная сумма, мы отправились за конфетами. Олина мама просила принять и ее в наше общество, обязуясь вносить каждый раз половину накопленной нами суммы, не брать билетов в трамваях она не рисковала. Но мы твердо стояли на соблюдении правил общества. В лучшей кондитерской на Невском покупателям предоставлялось право при покупке конфет пробовать различные сорта. Мы шли в эту кондитерскую и покупали «Лоби-Тоби», лишь на пробовавшись властью других конфет. Таков был закон общества.

Лекции мы посещали аккуратно, мы посещали все практические занятия. Профессор Аверинцев прекрасно читал зоологию, мы любили лекции по физике, но излюбленными моими лекциями были лекции по государственному праву, лекции же по математике и геодезии я не любила. Сильно запустила я практические занятия по черчению. Я была захвачена общественной жизнью курсов. Собрания старостата сменялись собраниями кружков и землячества. Студенчество в те годы не было едино. Резко выкристаллизовывались две группы: левое студенчество, с одной стороны, правое реакционное, с другой. Между нами шаталась более или менее инертная масса. Право-настроенное студенчество, состоявшее из сынков и дочек привилегированных родителей, носившее название «белоподкладочников», за изысканность туалетов, было в меньшинстве. В общественной жизни курсов оно участия не принимало, не участвовало в кружках, кроме увеселительных, не посещало сходок и собраний, если на них не ставился какой-нибудь существенный вопрос. Левое студенчество, напротив, было самой активной группой. Оно руководило общественной жизнью курса. Старостат наш сплошь состоял из лево настроенных студентов. И в столовой, и в землячествах, и в кружках господствовали левые настроения.

Мы, первокурсницы, конечно, только познакомились с курсовой жизнью, с ее организацией, мы не имели представления о том, что студенческие организации через отдельных своих членов связаны с нелегальными организациями. Нас просвещали, и мы глотали сведения: о расколе во II Интернационале, о съезде в Циммервальде, о конференции в Кинтале и Кинтальском манифесте. К 1916 году, собственно, почти вся русская интеллигенция, до кадетов включительно, относилась резко отрицательно к царскому правительству. Неудачно проводимая война, хищения, разруха в снабжении армии, разруха в производстве, слухи о предательстве, об изменах обсуждались повсюду. История с Распутиным вскрыла раскол в самых высших кругах. Номер «Биржевки» с фельетоном, невинным по содержанию, но говорящем об истинном положении в стране, если читать акростихом первую букву каждого слова, ходил по рукам и читался нарасхват.

События захватили нас, собственно, я должна говорить, меня. Сестра не интересовалась политикой. Оля больше была моей спутницей. Очаровательно веселая, она легко шагала по жизни, а ко мне была очень привязана. В своей семье она очень любила и ценила своего брата Жоржа, а тот, увлеченный в то время мной, натрубил ей о всяких моих достоинствах. Жорж был странный и незаурядный человек. Оторвавшись от своей, в общем, купеческой семьи, он не нашел твердой дороги. Был он года на три старше нас. Участь на юридическом факультете, был он одним из одаренных студентов. Он был горячим поклонником профессора Петражицкого и без конца излагал мне его учение о праве, о нормах морали. Жорж был страстный почитатель искусства, мог часами говорить об архитектуре, живописи, литературе различных исторических эпох. Он увлекался

мистицизмом. В 1915 году, поддавшись одному из своих нравственных велений, отнюдь не увлекаясь войной и не пылая патриотизмом, он ушел на фронт добровольцем. Комично было его прощание со мной. Он относился ко мне очень бережно. Уезжая на фронт, он осенил меня крестным знаменем и поцеловал в лоб. Это наше прощание подсмотрела Акулина. Она истолковала его по-своему и долго хранила в тайне. Но когда я стала получать с фронта бесконечные письма, она не выдержала и рассказала о моем прощании с Жоржем отцу, советуя ему не отдавать мне письма или посмотреть, что непутевый барчук мне пишет. Папа позвал меня к себе. Я совершенно опешила, когда серьезно взглядываясь в мое лицо, отец спросил:

- Катя, подумай и скажи серьезно – ты любишь этого Жоржа?

- Папа, что ты, я – Жоржа!

Я не дала отцу договорить. Мне было смешно. О каких чувствах мог говорить папа. Мне льстило немного отношение Жоржа, увлечение мною взрослого студента. Папу все это не устраивало. Серьезно и спокойно он сказал мне:

- Дай мне слово, что ты не выйдешь за него замуж.

Папа говорил так серьезно, что я перестала смеяться и так серьезно ответила:

- Папа, даю тебе слово, я никогда не выйду за него замуж.

В конце ноября к нам в Петроград приехал Жорж. Это был первый человек, который воочию видел войну и который не жалел слов, не жалел красок. Он ненавидел войну, ненавидел командование и терпимо относился к врагам. Был он вольноопределяющимся – рядовым. Вся картина ужаса войны, развала, разрухи, предательства встала перед нами. Одно в рассказах Жоржа не убеждало, а пугало меня. Нет, он не стал антисемитом, но он говорил о трусости евреев, о их подхалимстве перед начальством и даже предательстве. Этому я не хотела верить. Но мы еще крепче возненавидели войну, а предателями считали верховное командование и промышленников, наживавшихся на войне, и, в первую голову, - царствующий дом Романовых.

Рождественские каникулы промелькнули мгновенно. Дома после самостоятельной жизни мы чувствовали себя повзрослевшими. Все надо было рассказать маме, отцу, но главным была моя встреча с Раей. Ее харьковские и мои петроградские впечатления в общем совпадали, но к стыду своему я должна сказать, что Рая гораздо больше успела в смысле учебы.

В эти студенческие каникулы мы уже не встречали студентов, не глядели на них подобострастно. Мы сами были студентами. Мы сами должны были принимать участие в традиционном студенческом вечере, устраиваемом ежегодно в пользу неимущих студентов. В этом, 1916 году, студенчество решило посвятить вечер не только сбору средств, не ограничиваться любой пьесой и танцами, а придать ему идейный характер. Не помню, какую бичующую буржуазный быт пьесу мы ставили, но наш студенческий хор должен был петь направленные студенческие песни. Декламаторы должны были читать «Песню о соколе» и «Буревестник». Конечно, мы были связаны определенными цензурными рамками. На организацию вечера испрашивалось разрешение губернатора, должно было быть выдвинуто лицо, отвечающее за программу и проведение вечера. В этом нам помог отец Оли Коротков. Купец, городской голова, он представлял достаточно уважаемую в городе фигуру.

Странный это был человек. По большей части мы видели его или пьяным, или подвыпившим. Был он плохой семьянин, неудачный муж, но честный и добрый человек. Жизнью семьи ведала в основном его жена, очень энергичная, умная и предприимчивая женщина. В их доме мы особенно любили собираться. Отсутствие семейного уклада, какая-то свобода прельщала нас. В этот дом мы могли прийти, когда хотели, и делать, что хотели; огромная квартира была всегда в нашем распоряжении. Мать изредка заходила к нам, отец почти никогда не был дома, а если был и выходил к нам, то молча подсаживался, иногда подтягивал за нами студенческие песни, вместе с нами подшучивал над городской думой, главой которой был, и над правыми города, и над властями, и над нами. Он-то и согласился помочь нам, взяв на себя ответственность за организацию вечера перед губернатором.

Вечер прошел, с нашей точки зрения, прекрасно. Сбор был, как всегда, хороший, нам было торжественно и очень весело. Неприятность пришла неожиданно. Почему-то внимание губернатора сосредоточилось на песенке, которую наш хор спел на «бис» - «У попа была собака». Мы эту песенку часто напевали. Дружными аплодисментами она была встречена и на вечере. «Это кощунство, - кричал губернатор, - публичное издевательство над священнослужителями!» Если бы не находчивость Короткова, могла бы быть неприятность, но он заверил губернатора, что песенку он понял неправильно, что по-французски «папа» - отец, песенка сложена про него – отца города. У

него действительно была такая история с собакой, но он не в претензии на молодежь – «пусть себе веселится, лишь бы политикой не занималась». Губернатор покачал головой, посомневался, сказал, что хоронить собаку как-то неудобно, но на этом дело и кончилось.

Я вспоминаю этот маленький эпизод потому, что буду вспоминать в дальнейшем о Короткове и его судьбе в совсем иных обстоятельствах.

Я уже говорила, что в беседах с Раей я остро ощутила, что слишком много жила студенческой жизнью и слишком мало училась. Обратю в Петроград я ехала с твердым намерением взяться за учебу – грызть гранит науки! Решение было благое, но действительность была против него. В Петрограде жизнь захлестнула нас.

Терпение народа иссякло. Война была ненавистна. Разруха и голод надвигались на город. Одно за другим закрывались предприятия, урезывалась зарплата рабочих, в магазинах не хватало продуктов. Не хватало и хлеба. На 9 января подготовлялась забастовка рабочих. Студенчество активно их поддерживало. Во всех высших учебных заведениях по аудиториям проходили собрания и сходки. Я, как и другие старосты, не только не училась сама, но срывала занятия и лекции других. Профессура наша в большинстве своем поддерживала студентов. Только откроешь дверь и скажешь, что студенты приглашаются на сходку в такую-то аудиторию, как профессор первый складывал свой портфель и спускался с кафедры. Были, конечно, и такие профессора, которые читали лекции и при пустых аудиториях, так же, как были студенты, демонстративно желавшие слушать лекции. И тех, и других мы игнорировали, ненавидя первых и презирая последних.

Через свои организации студенчество было связано с рабочими и партийными организациями. Наши курсы помещались на Выборгской стороне. По студенческой линии мы теснее всего были связаны с военно-медицинской академией, по рабочей – с путиловцами.

Тот кружок, к которому примыкала я, был связан какими-то путями с партией социалистов-революционеров. Возглавляла наш кружок курсистка последнего курса, высокая, стройная, огненно-рыжая грузинка. Страстные речи говорила она, обращаясь к нам. Она горела вся, и мы горели вместе с ней от ненависти к самодержавию, эксплуататорам-капиталистам.

Как птицы разлетались тогда вести о каждом новом событии. В числе военнопленных, шедших этапом через один из сибирских городов, оказался Отто Бауэр. Его узнали тут же на улице, ему устроили овацию. Как мы горевали, что нас не было там, что мы не могли приветствовать вождя австрийских социал-демократов. Лена, приезжая к нам, рассказала, что происходит у них на Бестужевских. Бестужевские курсы были значительно больше наших, и мы с Олей бежали туда на их сходки и собрания. Мы чувствовали, что назревают события. Нас готовили к большой женской демонстрации, назначенной на 23 февраля – «международный женский день». С неясными для нас самих поручениями бегали мы по фабрикам и заводам. Труднее всего было вести работу среди студентов-путейцев. Там, в основном, студенчество было реакционное.

Февральская революция

18 февраля забастовали рабочие Путиловского завода, и забастовка ширилась. 22 февраля забастовали почти все крупные заводы Петрограда. На 23 была назначена забастовка наших женских курсов, забастовка и демонстрация. Революционные события обогнали наши ожидания. Утром 22 февраля, когда мы еще лежали в постелях, Олина мать, ушедшая из дому достать хлеба, вернулась взволнованная. Магазины закрыты, трамваи не ходят. На улицах – толпы народа. Кто-то стреляет. Я и Оля кубарем скатились с постелей, быстро оделись и под отчаянные уговоры ее матери помчались на курсы. Город кишел людьми. Народ толпился под какими-то воззваниями, расклеенными на стенах домов и заборах. Полицейские пытались разогнать толпы, срывали воззвания. Чем дальше мы шли, тем больше становились толпы людей. До курсов мы не дошли. Мосты были оцеплены полицией. Перед их густой цепью теснились толпы. Относимые движением людей то в одну, то в другую сторону, мы пытались пробраться к другому мосту. И он был оцеплен. По Кронверкскому проспекту навстречу нам двигалась толпа демонстрантов. Над толпой на шесте колыхалось красное знамя. Вдруг, рядом с нами из переулка вынырнул отряд казаков. Рысью, в черных папахах и развевающихся черных бурках, с высоко поднятыми нагайками неслись они прямо на толпу демонстрантов. Кроме глаз, прикованных к казачьему отряду, во мне не осталось ничего. «Сейчас, вот сейчас это случится! На моих глазах опустят они свои нагайки на людей, будут топтать их копытами коней...» И отряд казаков врзался в толпу. Толпа прижалась к домам. «Ура! Такого «Ура» я никогда не слышала ни раньше, ни позже. Сдерживая коней, с поднятыми нагайками пронеслись

казаки сквозь толпу. Демонстранты приветствовали их криками, срываемыми с голов шапками. Проскакав сквозь толпу, казаки скрылись. Демонстранты вновь сомкнутыми рядами двигались нам навстречу. Толпа, в которой находилась я, застывшая и замершая в одном порыве страха, не сразу поняла, что произошло на наших глазах. Но когда до нашего сознания дошло, что казаки не опустили нагайки, что казаки отказались разгонять народ, люди ошалели. Одни плакали, другие целовались с соседями. «Ура» - кричали мы навстречу демонстрантам. Наша толпа присоединилась к демонстрантам. Демонстрация росла и ширилась. Революция! Что бы это могло быть еще! Революция! И она победит! Даже казаки с народом!

В первый день восстания мы с Олей так и не добрались до наших курсов. Весь день мы ходили с толпами народа по улицам, не зная, куда мы идем и зачем мы идем. Громкими криками приветствовали мы солдат, примкнувших к народу. Мы кричали «Долой!» перед горящими домами полицейских участков. Где-то в отдалении слышалась пальба. Кое-где стреляли по народу засевшие на чердаках охранники. Я была счастлива. Мне везло. За все дни Февральской революции я не видела ни одного убитого, ни одной зверской расправы. В моих глазах Февральская революция была бескровной.

Вечером в нашей комнате шли нескончаемые споры о борьбе и революции.

- А если ты узнаешь, что переодетый жандарм прячется в нашей квартире, ты донесешь? – наступала на меня Аня.

Не задумываясь, я отвечала:

- Сейчас же донесу, но это не донос, это борьба, защита народных прав, защита побеждающей революции.

В том, что революция побеждает, я не сомневалась. Когда мы смотрели на пылающие архивы охранок и суда, подавленная величием картины пожара, я все же сокрушалась, что жгут их не только из ненависти, но и во имя революции, на случай поражения. Я отрицательно качала головой и смеялась над маловеерами.

На следующий день мы с Олей решили во что бы то ни стало пробиться на курсы. Мы не хотели глазеть на революцию, мы хотели ее делать. Как делать, что делать? Указания я могла получить у себя на курсах. Пробираясь с Петроградской стороны к Финляндскому вокзалу, мы видели те же толпы восставшего народа, кое-где уже брошенные, уже ненужные баррикады, застывшие, а то и заваленные вагоны трамваев. Новыми казались грузовики, груженные хлебом, их везли солдаты из своих казарменных пекарен. Они останавливались у хлебных очередей и раздавали хлеб женщинам.

Ожидания не обманули меня. На Стебутовских курсах жизнь кипела. Люди валились с ног от усталости. Грузинка, очаровавшая меня в первые дни курсовой жизни, сказала:

- Работы сейчас у нас две: в медпункт – санитарками или в столовую – кормить людей.

Заведующая столовой не дала нам выбирать:

- Ко мне. Девчата с ног сбились. Нужны сменщицы.

Вслед за ней, мы с Олей пошли в нашу столовую. Столовая в это время была пуста. Столы стояли без скатертей, голые. Пол был затоптан, забросан окурками, недокуренными сигарками. Мы хотели было заняться уборкой, но Валя крикнула:

- Некогда, товарищи, печи гаснут!

Пока мы таскали дрова и подкладывали их в печь, столовая наполнилась солдатами и рабочими. Прямо к стенкам прислоняли они ружья, растирали замерзшие руки, возбужденно говорили, смеялись, а мы забегали с мисками и тарелками, полными манной кашей. С утра до вечера разносили мы ее голодным и замерзшим мужчинам. Других продуктов в столовой уже не было. Чай, каша, горчица в неограниченном количестве.

Часто к нашей столовой подкатывали грузовики, полные людей. Каждым из них вместо командира руководил студент Военно-медицинской академии. В эти первые дни медики заменяли и офицеров, и врачей.

- Кормите людей, товарищи, - говорили они нам, - главное, горячее. Что ни есть, только горячее!

Над Петроградом стояли ясные и очень морозные дни и ночи. Фабрики и заводы не работали. Вечная пелена дыма, окутывающая обычно город, рассеялась. Днями небо было такое синее, ночами без электричества такое темное, звездное. Пять дней бессменно разносили мы манную кашу, таскали дрова, топили печи. О том, что творится в городе, мы узнавали от бойцов, питавшихся у нас. Первые дни число людей, обслуживавших нашу столовую, было ничтожно. Ото дня ко дню оно росло, и я

решила, что здесь обойдутся без меня, и обратилась в курсовой революционный комитет с просьбой направить меня на другую работу.

- Таврический дворец просит помочь людьми, - сказали мне там, берите пропуск и идите в распоряжение комендатуры Таврического дворца.

Петроград жил тревожной, как котел кипящей жизнью. Одним из мест сосредоточения чаяний, надежд, требований и демонстраций был Таврический дворец. Возбужденные и радостные шли мы с Олей по улицам Петрограда. Я не удосужилась побывать еще на Таврической площади. Думы последних созывов нас мало привлекали, но теперь мы проникли в его исторические залы. Площадь была полна народа. У самого входа с грузовика, как было тогда принято, оратор произносил речь. Мы с Олей, совершенно зачехленные в столовой над манными кашами, слушали его, затаив дыхание. Одного оратора сменял другой. В другом углу площади, с другого грузовика, держал речь еще кто-то. Протиснувшись через толпу, мы по выданным нам пропускам прошли к коменданту Таврического дворца. Меня он усадил за столик у дверей, ведущих в кабинет Керенского. Я должна была проверять пропуска, что бы бесцельно бродящие по дворцу граждане не срывали идущую за дверями работу.

Скучно было сидеть за этим столиком. В соседних залах шумела и ликовала революция, произносились речи, велись ожесточенные споры, а здесь была тишина. Мимо меня проходили люди с портфелями и без портфелей, я слышала обрывки фраз, иногда спокойные, иногда возбужденные. Мне казалось, что мое пребывание здесь вовсе не нужно. Может быть поэтому, когда через мои руки стали проходить изысканные продукты питания для Керенского, самое имя которого произносилось с каким-то трепетом, терпение мое лопнуло. Я не слушала никаких доводов о том, что при круглосуточной и напряженной работе Керенскому необходимо легкое, калорийное питание. Посмеиваясь, комендант предложил мне другую работу:

- Есть такая, с которой все бегут, а работа, необходимая: в нижнем этаже для столовой резать хлеб, там питаются наши войска.

С утра до вечера до мозолей на руках резала я хлеб, буханку за буханкой. Ночью пробирались мы с Олей пустынными улицами домой на Петроградскую сторону. Ходить ночью не разрешалось, но у нас были пропуска, и патрулей мы не опасались. Жизнь в те дни была сумбурной, и можно было опасаться всего. Однажды у меня пропала в Таврическом дворце шапка. Морозы стояли очень крепкие, но смутил нас не холод: нас казалось, что женщина, шагающая в такой мороз без шапки, будет привлекать внимание, покажется подозрительной. Оля надела мне на голову свою горжетку. Как папаха без донышка окаймила она мою голову. Последнее не смущало нас. В темноте, мы были уверены, никто ничего не заметит.

Время было тревожное. Вслед за свержением власти расшатываться стали все устои. Часто, возвращаясь домой, мы слышали от Олиной мамы: как опасно ходить по улицам, как она в куче с другими прохожими переползала мосты, потому что с каких-то перекрестков стреляли. Мы только смеялись, представляя Анну Васильевну, ползущей по мосту.

Все расшатывалось и все организовывалось. Возникали союзы, комитеты, товарищества. Организовывались даже воров, я сама читала объявление о том, что в таком-то часу, под таким-то мостом созывается организационное собрание карманных воров. По всему городу шли организуемые, или стихийно возникающие митинги. Речи произносились с грузовиков, с балконов, с подъемов и пьедесталов памятников. Волнующие вести сменяли одна другую. Революцию Петрограда поддержала Москва. Родзянко сформировал правительство. Николай II отрекся от престола в пользу Михаила. Михаил, в свою очередь, также отрекся. Организовывались партии, советы местных, рабочих депутатов. Возникали все более сложные проблемы и вопросы, разгорались страсти. Но нам, неискушенной молодежи, казалось, что больших противоречий среди рабочего движения нет, так как мы соглашались с тем оратором, которого слышали последним.

В конце марта или в начале апреля, когда первый шквал революции прошел, мы через наши студенческие организации получили новую директиву: «Разъезжайтесь по домам, товарищи, ваши силы нужны на периферии, в провинции каждый человек на счету». Из дома мы стали получать письма, зовущие нас домой. Родители были полны тревоги и беспокойства за нас. Жаль мне было покидать Петроград. Прощаясь с нашими курсами, я как бы предчувствовала, что не вернусь больше сюда. В один из последних вечеров, когда наш отъезд в Курск был окончательно решен, сестра уговорила меня зайти к тете Марусе. Она говорила, что одна ни за что не пойдет, что ради мамы мы

обязаны пойти к тете и привезти домой последние новости о ней. После первого посещения Крашенниковых я поклялась, что ноги моей там больше не будет, но обстоятельства теперь изменились. Даже здание Судебной палаты, в которой работал Николай Сергеевич, было сожжено, может быть, он арестован.

Идя к маминой сестре, я боялась этой встречи. Придется выслушивать тетины жалобы и сетования молча. Не могла же я выражать ей свое сочувствие! И добивать лежачего, говоря о справедливом возмездии, тоже не хотелось. На мое счастье, квартира Крашенниковых оказалась заперта, мы не могли дозвониться. Очевидно, они куда-то скрылись от революции. На обратном пути домой между мной и сестрой завязался спор. Аня никогда не интересовалась политикой, не примыкала ни к какому течению, меня же она старалась поймать на непоследовательности убеждений, непродуманности, неискренности.

- Не знаю я, чего я хочу, наверное жить спокойно, без стрельбы и пожаров, - говорила она, - а ты врешь сама себе. Представь, осуществляется все твои идеалы, отберут у папы землю, - на что мы тогда будем жить? На какие средства ты будешь учиться?

Сестра задевала мое больное место. Часто я спорила с Раей еще раньше о том, является ли мой отец эксплуататором. Для себя самой я твердо знала, что отец ведет свое хозяйство в Сорочине не из соображений выгоды, что цель его хозяйства – не эксплуатация крестьян, а содействие им, распространение в их среде знаний, а условия, в которых им приходится жить и работать, только обременяют его труд. Так было для меня, для отца, а со стороны, даже для Ани, отец являлся эксплуататором, и мы жили на средства, полученные от эксплуатации крестьян. С тем большим нетерпением ждала я от революции решения земельного вопроса, ликвидации ложного положения, в котором должен был жить отец и мы все. «И будем жить, как живут тысячи. И папа будет работать и зарабатывать больше, чем сейчас, и будет счастливее в 20 раз. Другие бы говорили, а ты... которая все знает. Считаешь, что мы живем за счет крестьян, и хочешь продолжать жить за их счет». – «Это не от меня зависит, я вовсе этого не хочу, но так было и так есть, вот и все», - возражала мне Аня.

Снова Курск

Провинция входила в революцию медленно. Разгромленное в годы реакции рабочее движение было обезглавлено. К моменту нашего возвращения в Курске не было даже партийных организаций. Они медленно возрождались, по большей части из молодежи, группировавшейся вокруг двух-трех старших. Помню, как мы встречали первого, вернувшегося после двенадцати лет каторги, освобожденного революцией эсера-крестьянина Пьяных. Иконой был для нас этот худенький ласковый старичок. Руководителем нашим он стать не мог, нам нужно было живое конкретное дело, и мы нашли его. Мы подготовляли съезд социалистического студенчества, чтобы бросить все его силы на дело революции. Одновременно мы организовали вечерние общеобразовательные школы для рабочих. Рабочие валом шли к нам, помещение для школы выделила городская дума, преподавательские кадры составляли мы. Обложившись книгами, студенты вели лекции по русской истории, литературе, политэкономии, математике. Мы чувствовали свое бессилие дать рабочим нужные знания, они восторженно благодарили нас, когда мы, собственно, учились вместе с ними. Ученики часто просвещали учителей одной постановкой злободневных вопросов. В Курск, как это ни странно, в те весенние месяцы не доставлялись революционные издания журналов и даже газет.

Железнодорожный вокзал отстоял от города версты за две. На вокзале можно было приобрести любую газету. Студенческий союз добился от городской думы предоставления ему одного из городских киосков. В нем и организовали мы продажу периодических изданий всех социалистических направлений. Деньги на приобретение первой партии газет и журналов мы собрали между жителями города по подписке. Обслуживался киоск студентами, конечно бесплатно. По очереди ходили мы все на вокзал, покупали и доставляли литературу в киоск. В киоске были посменные дежурства, вся выручка шла на расширение оборота киоска. Город стал, наконец, систематически получать прессу всех направлений. Здесь был и «Голос народа», и «Новая жизнь», и «Дело народа», и «Правда» и другие социалистические газеты и журналы.

Никогда я не забуду празднования Первого Мая 1917 года в Курске. Это было действительно беспредельное ликование вольного народа. Люди толпились на улицах, упивались словами, лозунгами, красными знаменами, революционными песнями, - воля, свобода, равенство, братство, так внезапно завоеванные, окрыляли всех. Или так казалось нам, молодежи. Не прошло и месяца, как

жизнь показала и другим, и мне, что борьба за счастье народное, за братство и равенство только начинается.

Кажется, в конце мая состоялся, наконец, подготовляемый нами съезд социалистического студенчества Курской губернии. К этому времени парторганизации в Курске уже окрепли. Выкристаллизовались политические фракции в городской думе. Моя мать и мать Раи вошли в партию социал-демократов. Приехавшая в Курск Дутя, вступила в партию большевиков. Я с группой подруг вступила в партию социалистов-революционеров. Вступление в партии было до крайности просто, и люди в партии валили валом. Наша студенческая молодежь тоже разбилась на партии, а студенческий съезд с первого же дня раскололся на фракции. Делегаты съезда расселись даже вокруг красным сукном покрытого стола по фракциям. Ни о каком едином социалистическом студенчестве больше думать не приходилось. Свергать царизм мы могли сообща, но построение нового общества совместно оказалось невозможным. Ни по одному вопросу студенчество не могло добиться общего решения: 1) немедленное заключение мира или война до победного конца; 2) скорейший созыв временным правительством Учредительного собрания или немедленный захват власти Советами рабочих и солдатских депутатов; 3) решение земельного вопроса Учредительным собранием или захват крестьянами помещичьих земель революционным путем. Мы спорили по всем вопросам и ни до чего не могли договориться.

Группу большевиков возглавлял наш хороший товарищ студент Николай Б...ков, честный и идейный малый. Из самых близких моих друзей членом большевистской партии оказался и член нашего клуба «Бездельников» Муня Коган. Но наряду с ними в числе левых оказались и те студенты, которые в прошлое время считались нами белоподкладочниками. Так, некто Скворцов, вызвав общее недоумение и левых, и правых, бросил съезду фразу, ставшую крылатой в наших рядах. Гордо подняв голову и заложив руку за борт студенческой куртки, он заявил:

- Пора снять маски, я – левый эсер.

Гомерический хохот покрыл его слова. Хохотали большевики, социал-демократы, эсеры: «Скворцов снял маску».

В этой фразе, как и во всем, происходившем на съезде, было знамение времени. Страна безудержно левела, выходила из берегов. Студенчество как компактная единая масса перестало существовать. Организованный нами Дом студента не привлекал уже нас. Социалистические издания стали поступать в город регулярно, надобность в киоске исчезла. Рабочие школы тоже стали создаваться городской думой помимо нас. Я с товарищами больше времени стала проводить при партийном комитете. Ответственных заданий нам, молодежи, не поручали. Помню одно, до крайности обидное. В Курске должен был состояться губернский съезд партии эсеров. Меня и мою товарку оставили в помещении комитета партии. Мы должны были встречать приезжающих делегатов и направлять их туда, где проходил съезд. Нам самим хотелось присутствовать на съезде, слушать выступления ораторов. Сперва изредка еще являлись делегаты, приехавшие из районов, и мы снабжали их адресом, затем не приходил уже никто. Мы сидели и безбожно скучали. От нечего делать стали раскуривать лежащую на столе пачку папирос. Нам обеим шел уже восемнадцатый год, но были мы глупыми и наивными детьми, хотя и принадлежали уже к партии. Мы учились курить.

Папа настойчиво звал нас в Сорочин, куда обычно на лето переезжала вся наша семья. Старшие товарищи тоже советовали нам разъехаться по селам, в гущу народную. Туго приходилось нам, зеленой молодежи. Веры и желания было у нас много, мы страстно хотели разобраться во всех сложных политических вопросах, разногласиях дня. Разногласия межпартийные были нам понятны. Различные установки партий социал-демократов, социалистов-революционеров, анархистов, народных социалистов мы знали хорошо, но понять разногласия внутривнутрипартийные, между Черновым и Марией Спиридоновой, Камковым, Керенским, Аксентьевым, Брешко-Брешковской, бабушкой русской революции, - было нам значительно сложнее и трудней. С большой неясностью в ряде вопросов, без точных и ясных директив ехали мы на село к крестьянам, для которых, собственно, вся суть революции сводилась именно к конкретному разрешению злободневных вопросов.

Сорочин

Летом 1917 года вместе со мной в Сорочин приехала Рая. Мы хотели работать на селе, мы мечтали о встрече с крестьянами, завязать связи в деревне, создать эсеровские ячейки. Беспомощные сами, мы обратились за помощью к отцу. При всем своем сочувствии революционному движению, папа не примкнул ни к одной из социалистических партий, но к нашим настроениям относился

сочувственно. Он пообещал нам показать крестьян, которые скорее и лучше всего помогут нам создать первичные ячейки эсеров.

Пора была горячая, все люди были на поле, но вечерами, как и раньше, у нашего крыльца собирались крестьяне для беседы с отцом. Они толковали об урожае, об ожидаемом дожде, о новостях, о слухах и событиях, волновавших страну. Мы с Раей обычно присутствовали на этих беседах, иногда вставляли свое слово, но повернуть разговор в желаемое для нас направление не удавалось. В одно из воскресений отец позвал меня:

- Сейчас со мной сидит на крыльце очень умный крестьянин. Если вы с Раей с ним хотите побеседовать, приходите.

Я сейчас же позвала подругу. Папа не помог нам начать разговор, не вмешивался ни одним словом в нашу беседу. Я не помню, с чего начали мы свою агитацию, не помню и хода нашей беседы, но помню, что собеседник наш оказался очень толковым, очень заинтересованным и страшно дотошным. Он задавал нам бесконечные вопросы и по программным положениям и по текущему моменту. Он требовал от нас конкретных указаний, вступал в спор и загонял нас в такие тупики, из которых мы едва выкарабкивались. Когда беседа наша закончилась, он крепко пожал нам руки. Мы сияли, но не могли понять, почему с какой-то странной усмешкой, подавая руку отцу, он сказал:

- Побольше бы таких барышень, может, толк бы и был.

Когда он ушел, мы, взволнованные, вопросительно глядели на отца.

- Что ж, молодцы, - промолвил он, - выдержали испытание. Герасим похвалил, ему и книги в руки, он ведь эсер еще с 905 года.

Брожение и раскол в обществе

Чем дальше развивалась революция, чем глубже и шире она охватывала жизнь, тем трудней и сложней становилось разрешение теоретических, программных, жизненно необходимых вопросов.

Теория столкнулась с практикой.

Одним из основных положений партии социалистов-революционеров был вопрос о социализации земли. Эсеры считали возможным проведение социализации земли даже в рамках капиталистического строя. Требования социализации земли включалось в программу-минимум.

Но в конкретной исторической обстановке они считали невозможным немедленный захват земель революционными организациями крестьян. Они считали, что социализация пошатнет фронт, что никакими силами не остановить дезертирство солдат с фронта, если они узнают, что расхватываются и распределяются помещичьи, государственные и церковные земли.

Второй вопрос вытекал из первого. Можно ли сейчас оголить или ликвидировать немецкий фронт? Партия эсеров в большинстве своем отрицательно отвечала на этот вопрос, и потому полагала, что закон о социализации должен быть отложен, он должен стать первым законом, принятым Учредительным собранием, созыв которого надо форсировать всеми способами. И эсерам, единственной социалистической партии, ставящей на первое место в своей программе вопрос о социализации земли, приходилось на всех крестьянских собраниях удерживать крестьян от захвата земель. А свой лозунг «Земля – крестьянам» отсрочивать до Учредительного собрания, то есть брать нарастающий революционный размах в шоры.

Война 1914 – 16 годов рассматривалась эсерами как война империалистическая. В свое время эсеры примкнули к Циммервальду. Это ясно определяло их отношение к русско-германской войне.

Самым популярным лозунгом большевиков был лозунг – «Мир во что бы то ни стало». Легко его было бросить в толпу, но значительно труднее осуществить. Крестьяне, рабочие, солдаты не хотели войны, но союзники и слышать не хотели о мире. Для России оставался только сепаратный мир, мир, заключаемый с Германией Вильгельма II, с реакционнейшим государством в Европе. Ликвидация Восточного фронта вела к усилению германских армий на Западном фронте. Правительство Керенского в целях продолжения войны выпустило заем свободы. И заем был встречен с энтузиазмом. Люди добровольно несли свои сбережения на защиту свобод от немецких полчищ.

Патриотические настроения сменялись настроениями революционными. «Промедление революции – смерти подобно». Задержанная волна или сметает все на своем пути или теряет силу.

В нашей семье сошлись представители всех точек зрения. Отец, исходя из своих народнических воззрений, симпатизировал эсерам. Мать вступила в партию социал-демократов. Старшая сестра стала большевичкой. Я – эсерка. Аня заявила, что, уж если обязательно надо сделать выбор между различными общественными течениями, пожалуй, ей симпатичнее других анархисты. Дома у нас

постоянно происходили споры, доходившие до бурных сцен. Мама, как собственно полагается всем социал-демократам, стремилась всячески сгладить острые углы, примирить враждующие стороны. Я разделяла все лозунги, все руководящие статьи органа эсеров – «Дело народа». Но в партии эсеров не было единства. Симпатии мои были на стороне Виктора Михайловича Чернова, но не могу не признаться, что и пламенные речи Керенского увлекали меня.

В начале революции я чувствовала свою полезность, я находила в себе силы и возможность содействовать делу революции. Теперь, когда встали новые вопросы созидания новых форм общественной жизни, когда сложнейшие вопросы раскалывали рабочее движение, я ощущала невозможность бросить свои силы на ту или иную чашу весов. Я металась в искании истины, но твердо была уверена в одном – революция победила, старый мир сломан раз и навсегда. Мы – счастливое поколение, которому надлежит строить новое социалистическое общество. Нужны России теперь не такие недоучки, как я, стране нужны – честные, знающие и умелые работники. И я решила учиться, чтобы потом отдать все свои силы на строительство новой жизни.

Отец был очень доволен моим решением. В деревне я черпала сведения из газет, из слухов, передаваемых крестьянами, из рассказов приезжающих из города. Вернувшись в Курск в августе 1917 года, я реально ощутила, как изменилась жизнь за лето. Вся страна разбилась, разделилась на партии и группировки, расчленился, раскололся и круг моих ближайших друзей и товарищей. Саша Праведников и Матвей Рождественский ушли к левым эсерам, Галя Фрид стал социал-демократом, интернационалистом, Ваня Васильев симпатизировал анархистам. Мое желание уехать учиться окрепло. Ехать в Петроград не было никакой возможности. Даже почтовые связи были затруднены; проезд же по железным дорогам был вовсе нарушен. Оставалось одно – ехать в Харьков.

В Харькове

Во время войны в Харькове эвакуировался Ново-Александровский сельскохозяйственный институт. Прошлый год для занятий у меня, собственно, пропал. Приходилось снова поступать на I курс. В Харьков вместе со мной, как и в прошлом году, ехали Аня и Оля. В Харькове учились Рая и Шура, за ними там сохранилась комната. Нам надо было найти себе жилье. Только на одну ночь разрешила нам хозяйка Раиной комнаты, вдова профессора Редькина, остановиться у подруг. Харьков буквально кишел людьми. Ни одного свободного угла мы не смогли найти. Вся жизнь была взбудоражена, беспокойна. По улицам беспрерывно шли какие-то военные отряды, пролетали банды грабителей. Ползли слухи о погромах. Хозяева квартир опасались пускать квартирантов.

Умудренные опытом прошлого года, мы с Олей не пытались найти квартиру самостоятельно, вместе с остальной массой студенчества толклись мы в стенах своего института, добиваясь предоставления нам жилья. Положение с жильем было очень тяжелое. Многие здания были отведены под госпитали, под военные учреждения, для эвакуированных. Нашему институту было обещано трехэтажное здание под общежитие, но оно только еще освобождалось и приспособлялось. Временно студенчество размещалось на ночевки по самым разнообразным местам. Нам троим – Оле, Ане и мне – предложили отправиться на ночевку в одну из студенческих амбулаторий. Днем там проводился прием больных, ночью – на столах, на скамьях, кто как и кто где, ночевали курсистки.

Оставив вещи на квартире у Раи с Шурой, в десятом часу вечера отправились мы втроем разыскивать амбулаторию. Сторожихи при амбулатории уже не было. Дверь нам открыла молоденькая курсистка, одна из товаров по ночлегу. Кроме нее, в амбулатории находились еще две девушки, тоже пришедшие сюда на ночь. Девушки, с которыми мы познакомились, ночевали здесь уже третью ночь. Они сообщили нам, что к восьми часам утра мы должны освободить помещение. К этому времени явится сторожиха, а в полдевятого начнется запись больных на прием. Они же указали нам никем не занятые на ночь столы и скамьи. Уставшие от беготни и впечатлений, мы с Олей растянулись на одном столе. Аня устроилась на одном из диванчиков, подложив какой-то ящик себе под голову.

После Петрограда Харьков нам очень не понравился. Он казался нам маленьким, грязным, заплеванным, - может быть, и Питер стал сейчас таким. Но институт произвел на меня замечательное впечатление. Совместное обучение накладывало своеобразный отпечаток. Товарищеские отношения между студенчеством и профессурой, деканатом и дирекцией, сотрудниками конторы создавали атмосферу действительно вольной школы. Мы доверяли ей и радостно шли навстречу жизни, шуткой встречая трудности и с верой глядя в будущее.

Девушки, оказавшиеся нашими товарищами по ночлегу, были настроены иначе. Они возмущались беспорядками в городе, тем, что высшая школа не подготовилась к приему студентов. Скоро для нас выяснилась основная причина их мрачных настроений. Все три девушки были еврейками, приехавшими из недалеко расположенного от Харькова местечка. По их словам, то там, то здесь по всей Украине происходили беспорядки, сопровождавшиеся еврейскими погромами. Они уверяли, что в ближайшие дни еврейский погром должен разразиться и в Харькове. Мы пытались успокоить, разубедить девушек. О подготовляемом погроме, о принимаемых по охране еврейского населения мерах, мы тоже слышали. Но мы были уверены, что меры будут приняты и погромное движение не будет допущено. Под горестный, тревожный шепот девушек мы заснули. Проснулась я от громкого спора Ани с девушками. Я не сразу поняла, что их смущает. Девушки были в сплошной тревоге, они металась по амбулатории, не зная, что предпринять. За окнами по улице, по их словам, к зданию амбулатории шли громилы. Девушки хотели звонить по телефону, вызвать отряд по охране города. Аня просила их успокоиться, она уверяла, что никаких оснований для волнений нет. Они же твердили:

- Вы все спали, вы нечего не знаете, вы русские, вам нечего бояться. Они были под окнами, они швыряли в окна камни, ломали дверь. Они сказали, что сейчас придут и разделаются с нами.

Оля вскочила, протирая глаза, и обе мы бросились к окну. Улица была тиха и пустынна. Вдоль тротуара прошел, удаляясь, милиционер.

- Вот, видите, он уходит, они всегда уходят, когда приближаются погромщики.

Милиционер действительно уходил. Это мы видели. И тут же мы услышали шаги по лестнице. Сперва они как будто прошли мимо нашей двери, потом вернулись к ней. Минуту длилась тишина, потом в дверь застучали, забарабанили, задержали ее, затрясли. Я направилась было к двери, чтобы выяснить, в чем дело, но одна из девушек вцепилась в меня:

- Не смейте, не смейте, - шептала она прерывающимся голосом.

А в дверь колотили, в дверь кричали пьяные голоса:

- Отворите, а то хуже будет.

Минуты три неизвестные колотили в дверь амбулатории. Потом шум стих, за дверью чертыхнулись, мы услышали удаляющиеся шаги. И в ту же минуту одна из них начала звонить по телефону.

- Барышня, скорей соедините с городской охраной! Да, да, громят! Пусть скорей выезжает помощь! Бросают камни! Ломают дверь!

Мы стояли пораженные.

- Где толпа, кто вас громит? – накинулась на девушек Аня, - три парня ушли в ту пивнушку, я видела, где же толпа? Что вы наделали?

Ответом на Анины слова были рыдания, граничащие с истерикой. Молча отошли мы в сторону. В пустой и темной амбулатории – свет девушки просили не зажигать – они плакали, забившись в уголок, мы с Олей сидели в другом конце комнаты. Аня расхаживала по ней.

На улице было пусто и тихо. Лунный свет струился в окна. В этой ночной тишине мы услышали топот копыт по мостовой, сперва отдаленный, но приближающийся. Мимо нашего дома промчался конный патруль. Он промчался мимо, потом повернул обратно, топот копыт смолк у подъезда амбулатории. Одна из девушек бросилась к форточке:

- Сюда, сюда! – кричала она, высовывая руку в открытую форточку.

Мне было так стыдно, что я не знала, куда деваться. Что можно было поделывать с этими запуганными, обезумевшими от страха девушками.

На лестнице стали слышны шаги, в дверь постучали. Двое вооруженных людей вошли в помещение амбулатории. Я не подошла к ним, я только слышала сбивчивый, прерываемый всхлипываниями, рассказ девушек о существовавшей в их воображении толпе громил, о камне, брошенном в окно, о требовании открыть дверь, об угрозах.

- Так, значит, громилы ушли? – произнес мужской голос, и помощь здесь не нужна, мы можем ехать?

- Нет, нет, что вы, они сейчас вернутся! Они грозились, что вернутся. Они пошли за другими, не оставляйте нас, - перебивая друг друга, молили наши соседки.

- Ну, что с вами делать, пойдете со мной, поищем ваших громил. Вы хоть узнаете их? Мы их тогда задержим.

- Ни за что, ни за что! – воскликнули все три разом.

Аня подошла к начальнику отряда.

- Я пойду с вами, я видела трех мужчин. Они вышли из нашего дома и зашли в погребок. Если они там, я их узнаю.

Аня пошла с охранниками, мы с Олей подскочили к окну. У подъезда нашего дома стояло человек десять вооруженных всадников. Вся улица была залита лунным светом. Аня и начальник охраны перешли улицу и зашли в погребок. Всего несколько минут провели они в подвальчике. Когда они вышли, мы увидели, как Аня простилась с начальником и вошла в дом. Начальник охраны вскочил на коня, и весь отряд поскакал рысью по улице.

К нам Аня вошла со смехом.

- Не погромщики, а романтическая история. Четыре пьяных парня... Они уверяли, что стучали вовсе не в нашу дверь, а этажом выше. Наверное перепутали спьяну. Над амбулаторией жили их девушки. Всегда они к ним ходили, а сегодня не пускают. И в окно они швырнули не булыжник, а спичечный коробок...

Аня смеялась и была в полном восторге от начальника охраны. Девушки конфузливо молчали. Я злилась. На утро мы с Олей поклялись, что в этой паникерской компании больше ночевать не будем.

Обывательская трусливость порою злила, порою веселила нас. Раина квартирная хозяйка, профессорша Редькина, без памяти боялась грабителей, обысков, конфискации ценностей, всего, что угрожало ее тихому материальному благополучию. У нее была большая барская, хорошо обставленная квартира. Где-то припрятывались продуктовые запасы, одежда. С небольшим сверточком ценностей она носилась, как курица с яйцом, не находя для него надежного места. Тут уж мы поиздевались всласть. Мы советовали ей спрятать сверточек в самые замысловатые и трудно достигаемые места. А на другой день срочно советовали перепрятать. У наших знакомых, придумывали мы, при обыске нашли как раз в таком месте.

Бедная профессорша! Сколько забот причиняли мы ей своей забавой! Мы и презирали, и ненавидели этот затаившийся трусливый мир, дрожащий перед разгулявшимися страстями революции.

Была я как-то свидетелем одной, прямо анекдотической, истории, показывающей запуганность горожан. Среди бела дня, часов около двенадцати, мимо дома, в котором я жила, проехала легковая машина. Она остановилась через дом от нас перед подъездом городского банка. Через какие-нибудь полчаса машина проехала обратно, а еще через полчаса улица огласилась криками, шумом, скакали всадники, спешили мотоциклисты. В банке произошло следующее: из остановившейся перед банком машины вышли три человека и вошли в него. Все трое были в плащах и масках.

- Руки вверх! – скомандовали они. Один из грабителей поднял вверх какой-то предмет, завернутый в бумагу. – Я держу бомбу, - предупредил он окружающих, - если кто-нибудь сдвинется с места или поднимет шум, все помещение взлетит на воздух.

Незнакомцы предложили выложить все ценности из сейфов банка. Забрав ценности, грабители положили «бомбу» на край стола, прикрыли ее скатертью и, потребовав от присутствующих полной неподвижности и молчания в течение 15 минут, спокойно вышли из дома, сели в машину и уехали. 15 минут, как оцепенелые, стояли сотрудники банка. Самым невероятным оказалось то, что «бомба», со всей предосторожностью извлеченная прибывшей милицией из-под скатерти, оказалась булыжником, обернутым в несколько листов бумаги.

Покаюсь, было с нами и совершенно, конечно, недопустимое в эти дни. Город жил еще по-старому. Существовали еще и частные магазины. Одним из крупнейших в Харькове был магазин Пономарева-Рыжова. Делать покупки нам не приходилось, денег было в обрез на питание. Но поглазеть на витрины, на товары мы иногда ходили. Как-то раз, зайдя в магазин Пономарева-Рыжова, мы увидели на витрине чайные ложки из толстого прозрачного стекла. Было нас человек 5 или 6 курсисток. Нас заинтересовало, для чего нужны такие стеклянные ложки. Лопнут они, если опустить их в кипяток, или не лопнут? Купить ложечку мы не могли. Денег у нас не было.

- Вот бы свистнуть! – сказал кто-то

- Уже, - ответила я.

Товарки недоуменно на меня оглянулись. Со смехом вся наша компания покинула магазин. Ложечка, опущенная в кипяток, не лопнула. Случилось так, что завалившись в моих вещах, ложечка попала на глаза маме. Искренно и глубоко было ее возмущение:

- Стыд! Позор! Мая дочь, член партии эсеров украла...

Мама не договаривала – «ложку у Пономарева-Рыжова». Договаривали за нее мы.

Несколько позже, уже после октябрьского переворота, когда большевиками намечалась судебная реформа, но трибуналы еще не были введены в жизнь, мы организовали первое шуточное заседание трибунала. Судили меня за похищение ложки. Обвинитель говорил о чистоте морали, о щепетильной честности, о проступке, который роняет в глазах граждан революционную молодежь, об обывателях, которые используют такое поведение для создания собственного мнения. Защита говорила о бедном студенчестве и противопоставляла ему толстобрюхих, ожиревших коммерсантов, сдирающих последние крохи за стеклянную, дутую, никому не нужную ложку. Заседание этого трибунала доставило нам не меньшее удовольствие, чем похищение ложки. Мы были безудержно веселы и эти годы.

Мы поселились в общежитии. Жить там было, главным образом, весело. Правда, было тесно, мест не хватало. Нас троих и еще трех курсисток временно поместили на большой лестничной площадке третьего этажа. Лестница вела только до нас, дальше ход был загорожен. Три стены площадки были каменные, фундаментальные. Четвертая стена отсутствовала, ее заменял занавес.

Жизнь в общежитии шла веселая, даже бесшабашная. Кое-где, особенно в помещениях студентов, процветали и картежная игра, и попойки. С этим велась упорная борьба.

Мы прожили в общежитии недолго. В этом году нам, прежде всего, хотелось учиться. А учиться в общежитии было почти невозможно. Все рассеивало, все отвлекало от занятий. Мне хотелось поскорей засесть за книги. Я была очарована Ново-Александрийским институтом. Профессор Палладин, читавший у нас анатомию домашних животных, был особенно любим нами. Профессор физики Мышкин, гроза студентов, очень строгий экзаменатор, увлекал нас на лекциях. По сравнению со Стебутовскими курсами слаб был только профессор зоологии. Но там лекции читал сам профессор Аверинцев.

На наше счастье двое студентов помогли нам найти частную комнату. Хозяева квартиры были очень милые люди. Хозяин – рабочий железной дороги, жена его – домашняя хозяйка. Были они добрыми приветливыми старичками. Очень уютно устроились мы в новой комнате. Хозяева дали нам три койки и большой стол. Утром и вечером они ставили на кухне большой самовар, и мы могли брать кипятка сколько хотели.

Занятия мои на курсах шли хорошо, но у Ани и Оли занятия не налаживались. Не шли занятия и у Раины сестры Шуры. Она, Аня и Оля решили вернуться в Курск. Жить в комнате поодиночке и мне, и Рае было дорого, и мы решили объединиться. Со светлым чувством вспоминаю я месяцы, прожитые с Раей. Обе мы упорно посещали лекции, практические занятия, готовились к зачетам. Острая политическая обстановка интересовала нас обеих, но она шла над нами, нам было некогда, мы учились. Связей и знакомств вне студенческой среды у нас не было. Разобраться в сложнейшей политической обстановке не хватало ни знаний, ни умения. Подготавливающийся октябрьский переворот, положение рабочего класса в крупнейших центрах, приближение срока созыва Учредительного собрания... Возможность подавления силой оружия одной группы рабочего движения другой не приходила нам в голову.

Октябрьская революция

Октябрьская революция возмутила нас методами насилия, но вслед за старшими мы полагали, что большевики не продержатся долго, что сами они и поддерживающие их рабочие убедятся в нереальности, неосуществимости выдвинутых ими лозунгов. Того, что большевиками будет разогнано Учредительное собрание, собравшее социалистическое большинство, что будут загнаны в подполье все политические партии, мы себе не представляли. Мы не могли себе представить, что одно из социалистических рабочих течений обрушит на народ ту волну гнета и террора, которая ожидала Россию. Мы учились. Хорошо помню, как закончилось для меня это счастливое время.

Катастрофа с папой

У себя на курсах я неожиданно увидела Раю. Зачем она пришла сюда? Я сразу поняла, что это неспроста, что случилось что-то необычное. На все мои вопросы Рая отмалчивалась и упорно звала меня домой. Со смутным предчувствием недоброго вышла я из института.

Был ноябрь, лежал первый снег... Я добивалась от Раи, что случилось, но она молчала. Была она необычная – бледная, мне показалось, что на глазах у ней стоят слезы.

- Я открытку от мамы получила, - наконец выговорила она.

- У вас дома что-то случилось? – спросила я.

- Нет, у нас все благополучно.

Я поняла, что что-то случилось у нас.

- Я дам тебе прочесть открытку, - сказала Рая.

Дома Рая протянула мне почтовую открытку, в ней Раина мама писала:

- По-моему Кате надо ехать домой. Ей не пишут, но Лев Степанович в больнице, Лидии Петровне очень тяжело.

Больше ничего о нашей семье не было написано, никаких подробностей...

- Я сегодня же еду, - сказала я Рае.

Рая кивнула мне головой. Быстро сложили мы чемодан и обе отправились на вокзал. Рая проводила меня, усадила в поезд, она обещала уладить все в институте и писать обо всем подробно. Всю ночь просидела я, прижавшись к углу вагона и не замечая ничего вокруг. Я переживала первое настоящее горе.

Дверь нашей комнаты открыла мне Акулина. Никого, кроме нее не было дома. Дима в школе, Аня на работе, мама у отца. Меня дома не ждали. Мама не хотела срывать моих занятий. Толкового рассказа от Акулины я не могла добиться. Она плакала и сквозь слезы повторяла:

- Поездом задавило, жив будет, будет жив.

Я рвалась в больницу, но Акулина меня удерживала.

- Не пустят все равно, - говорила она. – кроме Людмилы Петровны никого не пускают. Да и она вот-вот вернутся, разминетесь только.

Мама пришла вместе с Аней. Они не плакали, но вид у них был ужасный. Молча обняла она меня, а я не могла выдать из себя ни слова вопроса.

В деревню еще не дошли газеты, только крестьяне несли странные слухи и глухие путанные отклики на Октябрьскую революцию. Отец поехал в город разузнать, в чем дело. Возле станции Полевая ему надо было пересекать железнодорожный путь. Шлагбаум был открыт. Лошади въехали на железнодорожную насыпь, и в ту же минуту и папа, и кучер увидели летящий на них паровоз. Катастрофа была неизбежной. Лошади рванулись в сторону, отец хотел выхватить из кармана пистолет и застрелиться, но не успел. Резкий толчок выбросил его из саней. Отцу почудилось, что он весь вне рельсового пути, только ноги попадают на рельсы. Отец поднял ноги. Площадкой вагона отцу раздробило обе ноги. Кучер и лошади спаслись. Без сознания отец был занесен в помещение станции. На месте ему не могли оказать помощь. С первым же поездом отца отправили в Курск, в больницу. Больница известила мать о катастрофе. Срочно пришлось делать операцию. Обе ноги чуть ниже колен пришлось ампутировать. Отец в пути потерял много крови, боялись за исход операции. Теперь после операции прошло уже больше недели, и вчера врачи сказали матери, что отец будет жить, но заживление ран шло очень медленно.

Мама взяла меня с собой в больницу, мне разрешили с порога палаты взглянуть на отца. Обросшее лицо, без кровинки, глаза закрыты... Мама, стоявшая рядом со мной, приложила палец к губам: молчать, не тревожить отца. Глазами приказала она мне уйти, а сама вошла в палату.

Тяжелые дни шли одни за другим. Мама почти все время проводила в больнице, дома мы ожидали ее возвращения с известиями. Все, кроме состояния отца, померкло для нас.

Ободряющую струю вносило отношение окружающих и, прежде всего, наших крестьян. Все приезжавшие в город крестьяне заходили к нам, чтобы узнать о здоровье отца. Они несли гостинцы – кто калач, кто кринку молока, кто пяток яиц. Растерянно топтались она в нашей городской квартире и увозили вести об отце его старикам-родителям, оставшимся в деревне. Как совершенно второстепенное переживался нами ход политических событий. Закон об отчуждении земель и вовсе теперь не задевал нас. Зачем нам теперь Сорочин? Осталось только вывезти дедушку и бабушку из деревни. И в этом помогли нам тоже наши сорочинские крестьяне. Когда брат приехал в деревню за стариками, крестьяне предложили ему свои подводы для вывоза имущества. Они настаивали на том, чтобы он грузил все, что можно погрузить. Они предлагали привезти в город зерно, картофель, перегнать коров и свиней. Брат вывез кое-что из обстановки, носильные вещи и все книги. Было это месяца через полтора после несчастья с отцом. До тех пор старики, никем не тревожимые, жили в деревне. Соседних помещиков громили, жгли, - наши крестьяне отстояли своих «господ» от какого-то отряда матросов, настаивавших на разгроме усадьбы.

Месяца два или три спустя, когда отец был уже дома, к нему явилась депутация от наших крестьян. Они попросили отца дать записку, в которой он сам отказывался бы от земли, усадьбы, скота.

- Теперь, - говорили они, - тебе с нами не жить, а самочинно твою землю мы брать не хотим.

Долго сидели они у нас в столовой, пили чай и очень сокрушались, что отец на дает им такой записки. На слова отца о том, что земля уже не его, что по декрету правительства она находится в распоряжении земельных органов, они с сомнением покачали головами.

- Эх, барин, - говорили они, - мы с тобой сколько лет душа в душу жили, а достанется твоя земля не нам. Вот наскочили из соседнего села и быка вашего увели, и коров разбирают. Дом увезти собираются, нам ничего не останется. Вот дал бы ты нам записку...

Крестьяне ушли огорченные, возможно, они думали, что отец по доброй воле не хочет отдать им землю. Но и впредь в течение ряда лет каждый из крестьян нашей деревни, бывая в городе, считал необходимым проведать Льва Степановича и завезти ему гостинец.

Через год или полтора Аксютин муж уговорил меня поехать к ним и по пути заехать в гости к нашим крестьянам в Сорочин. Мне самой хотелось поехать, повидать старых знакомых, старые места. К тому же в городе был голод, доставать продукты было трудно, по продовольственным карточкам выдавались крохи. Все, что могли, горожане обменивали у крестьян на продукты. Аксютин муж говорил:

- Выменяете продукты, я вам в город доставлю и, по совести, своим лучше менять, чем чужим.

Набрав с собой соли, кое-какого тряпья, мыла, я поехала к Аксюте.

Аксюта жила в десяти верстах от Сорочина. В Сорочине же жил ее отец, Тихон Черкашин, вместе с семьей. Удивительно хороша была поездка на розвальнях по мягкой санной, хорошо укатанной дороге. Я давно не была в деревне, ширь полей, как всегда, завораживала меня. В Аксюте я встретила настоящую хлебосольную русскую бабу, хозяйку семьи. У нее было двое белоголовых и голубоглазых детишек. Хатенка их была маленькая, с полатями, с маленьким столиком перед большой русской печью. И теленок, и поросенок ютились тут же. Босоногие ребятишки, задрав рубашонки, цеплялись за подол матери, мешали нашему разговору, мешали ее хозяйственным заботам и стряпне. Аксюта хотела угостить меня на славу. Она затеяла толстые крестьянские лепешки, которые пекут перед хлебом, отделив часть теста из квашни. Прежде чем посадить лепешку в печь, она жирно смазывала ее толченым конопляным семенем, облитым сперва кипятком. Сцеженным конопляным молоком запивали мы жирные лепешки. Корова у Аксюты только отелилась, молоко в еду не шло. Проголодавшись с дороги, я уплетала лепешки за обе щеки. Не отставали от меня и хозяева, Аксюта все подкладывала и доливала мне.

- Ведь в городе у вас теперь голод, приезжайте к нам, мужик к осени хату новую достроит, всех прокормим – и барина, и барыню.

По дороге в Сорочин мы заехали в Пузановку навестить Варю, Акулинину племянницу, работавшую до замужества у нас. И здесь меня встретили тепло и радушно, как свою. Но прием в Сорочине превзошел все мои ожидания. Откуда-то узнали, что я еду, и, когда наши сани въехали на деревенскую улицу, из хат выходили крестьяне и приветствовали меня. Избенка Тихона стояла в самом дальнем краю села. Жил он бедно, семья была большая. Избушка была маленькая, покосившаяся. Не успели мы войти в хату, как она заполнилась народом. Пришли мужики, бабы и, конечно, молодежь, подружки моих детских лет.

Обогревшись и отдохнув, пошла я с целой гурьбой ребятишек по избам. Наконец, добрались мы и до околицы. Мне хотелось взглянуть, что осталось от нашего сорочинского гнезда. Девчата затоптались на месте, зашущукались, застеснялись:

- Дом-то вывезли, сад порубили, - виновато, застенчиво говорили они.

До ворот нашей усадьбы они все же дошли со мной, дальше идти отказались. Дальше двинулась я одна, увязая в не протоптанном снегу. С трудом пересекала я то, что было раньше двором. Дома не было, по серебристому тополню, росшему перед крыльцом, я определила место. По сохранившейся аллее желтых акаций я узнала место, где была столовая. С чувством грусти и тихой нежности осматривалась я кругом, но долго задерживаться мне было некогда. Когда мы снова шли в деревню, одна из девушек упрекала меня:

- Хоть бы слезинку обронила.

Я засмеялась:

- О чем же мне плакать? Вот выучусь на агронома, приеду к вам, примете?

- Примем, примем! – уже весело отвечали девчата.

Обменять в Сорочине мне ничего не удалось. Никто не согласился взять от меня что бы то ни было.

- Ты нас не обижай, - говорили мне и несли подарки.

Я не хотела брать, но Аксютин муж все забирал и укладывал в сани. В других селах я, конечно, сменяла все, что у меня было, на картошку, муку, крупу, масло. На полном возу всякой снеди привез меня Аксютин муж домой. Так сказала я последнее «прости» нашему Сорочину. Больше я его не видела, да больше его и не существовало.

К январю 1918 года папа уже настолько окреп, что мог сидеть. Он настоятельно требовал, чтобы я не теряла время и ехала учиться, и вместе с Раей, приехавшей на рождественские каникулы, я снова поехала в Харьков.

После Октября

Два месяца, проведенные мной в Курске, были заполнены тревогой за отца, и все же яснее и острее, чем в Харькове, воспринимала я общественную жизнь. Октябрьский переворот смел всех прежних общественных деятелей и выдвинул других. Жизнь Курска руководили большевики и левые эсеры. Много молодежи возглавляло ответственные участки жизни города и деревни. Так, Матвей Рождественский, которому было 18 лет, стал комиссаром земледелия, хотя был студентом юридического факультета. Его ровесник, Муня Коган, стал одним из ответственных редакторов единственной выходившей в Курске газеты «Курская правда».

Никого из партии эсеров я не встретила. Они или ушли в подполье, или были арестованы. Интеллигенция в массе своей отсиживалась по домам, бойкотируя новую власть. Из-за семейных обстоятельств мне было не до событий, протекавших вокруг, но примириться с ними я все-таки не могла. Я возмущалась разгоном Учредительного собрания, закрытием социалистических газет, роспуском партии эсеров. Я не хотела видеть моих близких товарищей, Матвея и Муню, я едва переносила Дутю.

Скорее в Харьков! В мой институт! Учиться! Я чувствовала себя обязанной напрягать все свои силы, отдавать все время учению. Я знала: мои успехи в занятиях – главная радость отца. В эти тревожные дни мы были особенно близки друг другу.

После Рождества, вернувшись в Харьков, я с остервенением одолевала учебу. От общественной жизни я стояла в стороне, скептически наблюдала за происходящим. А происходило невероятное. Мир, обещанный большевиками народу, заключить оказалось не так просто. Немцы предприняли наступление. Разложившаяся армия не могла сопротивляться. Был заключен позорный Брестский мир. Он вызвал уход левых эсеров из правительства, брожение в самой коммунистической партии. Собственно, ничего ясно и определенно я тогда не знала. Для нас с Раей непонятным и неожиданным, например, оказалось занятие Харькова немцами.

За неделю до этого Харьков жил тревожной жизнью, усилились обыски и аресты, по улицам двигались воинские части. Расхлябанные, плохо одетые... То ли они охраняли город, то ли грабили население...

В один из дней февраля все затихло. Город стоял, как вымерший. Подходили немцы. Харьковчане ждали боя. В рабочих кварталах еще можно было заметить движение; улицы, заселенные буржуазией, были пусты. Мы с Раей бродили по этим опустевшим улицам.

Но боя под Харьковым не было. Несколько снарядов разорвалось над Холодной Горой. Затем стройные, прекрасно обмундированные и вооруженные, немецкие войска церемониальным шагом вошли в город. На Сумской, это мы видели сами, харьковская буржуазия встречала немцев приветствиями, рукоплесканиями, букетами цветов. Теперь рабочие кварталы были пусты и немые. Мы ненавидели с Раей эту торжественную публику, всех этих Редькиных, Пономаревых, Рыжовых. Непонятны нам были немецкие солдаты, зачем они шли на революционную Россию? Почему не поворачивали штыков против своего командования, против Вильгельма.

Не помню, как это случилось, но мы с Раей встретились с одним немецким солдатом. Его вместе с группой других солдат разместили по домам на постой. С ним мы познакомились в квартире дворничихи нашего дома. Русского языка он не знал, но мы с Раей немного владели немецким. Вот с ним, с этим немецким солдатом, у нас завязался задумчивый разговор.

Он был немецким социал-демократом, студентом. Как и мы, презирал он харьковскую буржуазию, как и мы, надеялся и ждал, что германский народ восстанет против ненавистного Вильгельма, отзовет свои войска домой.

Целый вечер проговорили мы с ним. На следующий день мы не застали его, очевидно, их часть ушла дальше.

К весне я сдала все зачеты первого курса на отлично. Радостно везла я отцу свою зачетную книжку.

Отец за месяцы, проведенные мною в Харькове, оправился настолько, что мог уже передвигаться. Ему были заказаны протезы, но сделаны они были так неудачно, что ходить он на них не мог.

Папа приспособил себе маленькие деревянные дощечки, которые привязывал к обрубкам ног. На коленях передвигался он по дому и даже выходил на крылечко, опираясь на костыли. Все время он проводил за чтением научной литературы. Угнетало отца то, что он не может работать, и он старался быть полезным, чем только мог. Пробравшись на кухню, усевшись на кресло, колол дрова, чурки, которые мы с братом подставляли ему. Руки у отца были сильнее, чем у нас. Он научился шить обувь и шил маме туфли. Купить обувь в то время было невозможно, кожаный товар вовсе отсутствовал, мы все ходили в самодельной обуви на веревочной или тряпичной подошве. Мама работала в продовольственном отделе, Дутя – в отделе народного образования, Аня – воспитательницей в детском саду. Дима учился в школе. Бабушка с дедушкой жили с нами. Акулина тоже жила у нас, хотя платить мы ей уже не могли. Семья была большая, с продуктами было трудно, но голода, настоящего, царившего в Москве или на Поволжье, мы не испытывали.

3. ГОДЫ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Развал и разруха

В 1918 году была социализирована вся промышленность, все фабрики, заводы, банки, дома, торговля. Это было тяжелое время развала и разрухи, сплошной расхлябанности как на производстве, так и в армии. Разрушать было значительно легче, чем созидать новое. Одни бойкотировали новую власть, другим не доверяла она сама, третьи хотели строить новую жизнь, но не умели. Миллионы мелких хозяйчиков, ремесленников в городе и в деревне наживались на отсутствии товаров, порождали бешеную спекуляцию.

Методы насилия периода военного коммунизма разлагали руководящих работников и возмущали население.

Расшатанность моральных устоев, происходившая из-за грубых форм антирелигиозной пропаганды, сводившаяся к конфискации церковного имущества и надругательству над святыней народа – все это я видела в Курске, все это так или иначе входило в мою жизнь.

О крестьянских волнениях летом 1918 года я только слышала. Я слышала о так называемой борьбе бедноты с кулачеством, об организации комбедов – основной власти на селе, о походе рабочих отрядов по селам для конфискации хлебных излишков, необходимых голодающим городам.

Крестьянство раскулачивалось. В кулаки зачислялись все недовольные на селе. К кулакам причислялись крестьянские семьи, никогда не прибегавшие к наемному труду. Если в хозяйстве было две коровы, корова и телка, или пара лошадей, хозяйство считалось кулацким. В села, где крестьянство отказывалось сдавать излишки хлеба и не выявляло кулаков, отправлялись карательные отряды. И крестьянство на своих сходках выбирало, кому ходить в «кулаках». Меня тогда потрясло это, но крестьяне объяснили: «Приказано, чтобы кулаков выявили, податься некуда».

Кулаков выбирали на мирских сходках, как прежде выбирали старосту. Обычно выбор падал на бездетных бобылей, чтобы не пострадали детишки.

Рабочие в России в большинстве своем были связаны с деревней. Когда разруха охватила фабрики и заводы, рабочие, чтобы просуществовать, занялись производством всяких мелочей, вроде зажигалок, продаваемых на рынке, или возвращались в деревню, где рассказами о разрухе еще больше тревожили крестьян.

Крестьянин ничего не мог купить для своего хозяйства – ни мешка, ни веревки, ни топора, ни спичек. Мыла в магазинах тоже не было. Мыло продавалось в подворотнях и на базарах из-под полы. Шли дурацкие слухи, что мыло варят из человеческого мяса, что воруют и убивают на мыло детей.

Все ценности, которые отбирались у богачей городских и кулаков деревенских, а также по церквям, свозили и сваливали где-то с учетом и без учета. Кое-что прилипало к рукам изымавших

ценности, уплывало со складов. Кто не брал в то годы! Даже Дутя принесла Акулине пару икон в ризах. Конечно, она уверяла, что иконы никому не нужны, но все же – так было.

Книги, картины, альбомы из частных библиотек свозили в библиотеки общественные, там их грудями сваливали на пол в каком-нибудь чулане. Никто их не собирал, не сортировал.

В библиотеках с полок изымали книги нежелательного направления по присылаемым спискам или по собственному разумению вновь назначенных библиотекарей. В штрафной список попала тогда вся история России... Ключевский, Платонов, конечно, Елпатьевский, Карамзин. Один Покровский в первые годы революции был в чести. Лев Толстой подвергся гонению за его религиозно-философские работы, но заодно с полком смахивались «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение».

Со всеми своими тревогами и возмущениями я была очень одинока в Курске. Я могла говорить с папой, спорить до одури с Дутей – и только.

Базарные сплетни, слухи, шушуканья по углам, бесконечные анекдоты, язвительные толки делали жизнь непереносимой.

Все некоммунистические организации были в глубоком подполье. Связи с ними у меня не было. И левые эсеры после заключения Брестского мира ушли с исторической сцены.

На работе в Райкоже

Я мечтала об осени, о Ново-Александрийском институте. Материально нам жилось трудно. Чтобы за лето подработать денег, я хотела устроиться на работу. Было это нелегко. Наконец, один знакомый моих родителей, приехавший из Москвы по организации кожевенного дела, устроил меня на работу в контору курского районного кожевенного комитета. Все курские кожевенные заводы были национализированы и поступили в ведение рабочих кожевенной промышленности. Им же были переданы обувные мастерские и фабрики Курской области. Возглавлял райком совсем молодой рабочий Мухин. Конечно, он был большевиком, энергичным, но увы!.. малограмотным. Меня наш знакомый устроил на работу в статистический отдел.

Я очень волновалась, боялась, что не справлюсь с работой. Так оно и вышло. В статистическом отделе мне сразу дали счета, на которых я никогда не считала, и листы бумаги с длинными колонками цифр. В конторе я никого не знала. Усевшись за свой столик, с трепетом подвинула я к себе счета и принялась за подбивку. Кругом меня двигались люди, трещали машинки, велись разговоры. Я не разгибала спины. Я отказалась от стакана чаю, который принесла уборщица. Несчетное количество раз пересчитывала я столбцы цифр и каждый раз получала новый итог. Цифры были ясно, четко напечатаны на машинке, но итога столбцам я так и не смогла подвести. В полном отчаянии я вернулась домой после рабочего дня. И назавтра вовсе не хотела идти на работу. Отец и мать уговорили меня.

В конторе меня ждала неожиданность. Мухин взял меня из статистического отдела к себе в кабинет в качестве помощника секретаря.

- Вы будете моим личным секретарем, - сказал он.

В маленьком кабинете директора поставили мне небольшой столик. Напротив за большим столом сидел секретарь Логвинов. Большую часть дня мы были с ним одни. Мухин почти весь день отсутствовал. Логвинов дал мне конторскую книгу приказов и большую пачку листов с приказами, напечатанными на машинке.

- Вы будете вести книгу приказов, - сказал он.

Приказов накопилось порядочно. Дня три я просидела над перепиской, потом мне стало нечего делать. Ну, приказ, ну, два приказа я переписывала в день, а рабочих-то часов было восемь! На мой вопрос, что мне делать, Логвинов отвечал:

- Ну, посидите так, мне тоже делать нечего.

- Зачем же вам помощник? – спросила я.

- Таково распоряжение директора, - хитро улыбнулся он. – Да вам-то что, зарплата идет.

Все же видя, что я мучаюсь от ничегонеделания, изредка он подсовывал мне какую-нибудь бумагу для переписывания.

На работе в Райкоже я обнаружила, что не одна я работаю два-три часа в день. У других сотрудников конторы день был только немного более загруженным.

(Вероятно, пропущена страница – прим. перепечатающего.)

...вала приказы Мухина о том, что сотрудник, опоздавший больше чем на пять минут, или ушедший с работы раньше времени, подлежит взысканию. О том, что служащие бездельничают большую часть рабочего дня, в приказе не говорилось ни слова. Так же было в мастерских заводов и фабрик. Люди простаивали из-за отсутствия материалов и нелепой организации труда. Такая работа бесила меня, но скоро я поняла и подоплеку моей работы, возмущившую меня еще больше.

Молодой рабочий, большевик, пролетарий, только что выдвинутый профсоюзом в начальники, повел себя со мной точно так же, как вели себя некоторые директора капиталистических предприятий. В нашем учреждении я поняла это последней. У Мухина была милая, совсем молоденькая жена. Простая работница обувной мастерской. Была у них маленькая дочка. Изредка жена его заходила в наш кабинет, я с ней обычно болтала. Мне она очень нравилась. Простая, милая, но малограмотная женщина. На любезность Мухина я не обратила никакого внимания. Иногда мне казалось, что он хочет меня распропагандировать, потому и рисуется передо мной.

Однажды в кабинет к Мухину явилась жена председателя горисполкома. Мухин забежал, засуетился. «Так большевики принимают жен начальников», - мелькнуло у меня в голове. Из ящика своего стола Мухин достал очень красивую шкурку шевровой кожи. В кабинет был вызван сапожный мастер и тут же в кабинете снял мерку с ее ноги.

- Это лучший сапожник, - рекомендовал Мухин мастера.

Мухин задержал мастера:

- Из этой кожи выйдет еще пара туфель. Вы не хотите заказать себе такие же?

Конечно, я захотела. Мастер снял мерку и с моей ноги. Через неделю ее и мои туфли были готовы. Это были не туфли, а мечта. Когда я похвасталась своими туфлями перед сотрудниками Райкожи, выяснилось, что никому из сотрудников кожа не отпускается. Разве по особому ордеру и то простой черный хром. Шевро вовсе не идет на изготовление обуви для населения – на него наложен запрет.

Я начала кое-что подозревать. Мухина не было. Он был в командировке в Москве. До его приезда вопрос оставался открытым. В первый же день по приезде Мухин положил на мой столик маленький пакет:

- Это вам из Москвы к новым туфлям.

В пакетике были шелковые чулки, роскошь по тем временам недоступная.

- Сколько я должна заплатить за чулки и туфли? – спросила я с сомнением. Я думала, - хватит ли моего месячного заработка. Получала я тогда триста или четыреста тысяч в месяц.

- Ну что вы! – ответил он. – Для меня это – пустяк. И цены туфлям нет, ведь такое шевро в продажу не идет.

Краска хлынула мне в лицо.

- Так это подарок директора его секретарше?! Кто вам сказал, что я приму от директора такой подарок?! Нет уж, за туфли я вам заплачу.

Чулки я бросила на директорский стол.

Красный, как рак, растерянный, с опущенными глазами, Мухин сказал:

- Я прикажу сделать калькуляцию.

Красная, как кумач, и злая вышла я из кабинета. Я была уверена, что работа моя в Райкоже окончена. Но на завтра, когда я пришла на работу, мой столик оказался только вынесенным в комнату общей канцелярии и поставлен у загородки. Приказом я была переведена в регистратуру. Новой своей работой я была очень довольна, довольна тем, что неожиданно для себя завоевала симпатии служащих. Дома я размахивала перед носом у сестры туфлями и орала:

- Вот ваши пролетарские директора, жены председателей! Взятки, хищения, разврат – все как у капиталистов!

Неожиданно для всей нашей семьи папе предложили работу агронома при земельном отделе. Ему поручили наладить работу в организуемых совхозах. Нам это предложение показалось невероятным, но папа ухватился за него. От нашего дома до конторы Земотдела было каких-нибудь полкилометра. Первые дни за папой приезжала лошадь, но взобраться на пролетку отцу было труднее, чем пройти пешком. И он стал ходить на своих дощечках на коленках с костылями. Кто-нибудь из нас сопровождал отца.

Очень сведущий агроном, страшно любивший свое дело, отец с увлечением отдался своей новой работе. Скоро выяснилось, что по работе ему необходимы поездки в район. Он не мог руководить работой из канцелярии. Ехать один папа, конечно, не мог. В помощь себе он взял Диму, младшего

брата, которому едва исполнилось 12 лет. Он с кучером усаживал и высаживал отца из экипажа, помогал ему в пути. За свою работу отец получил благодарность. Руководимые им совхозы оказались лучшими в Курской области. Но, то ли от злоупотребления врачей при лечении мышьяком, то ли от давления костылей, мышцы рук отца отказали. У него развился полиневрит, и от снова слег.

Конец ученью. Тиф

Осенью 1918 года я с товарками поехала в Харьков. Уезжая, мы не были уверены, доберемся ли до Харькова. Поэтому я не уволилась из Райкожи, а взяла отпуск. Пассажирские не ходили в то время, или на них невозможно было попасть, в общем, мы ехали в простом товарном вагоне на поезде, носившем тогда название «Максим Горький». Шел этот поезд очень медленно, часами стоял на станциях и полустанках. Товарные вагоны были забиты людьми до отказа, люди ехали на площадках, на крышах, на буферах. Ехали солдаты, спекулянты с мешками, дезертиры и мы, студенты.

Такой способ передвижения нас не смущал. Компанией человек в пять или шесть залезли мы в теплушку и устроились на ящиках, мешках, кошелках. Скоро ли, долго ли, мы ехали в Харьков.

С квартирой в Харькове нам на этот раз повезло. Мы сразу нашли комнату на троих, правда, на окраине. Не повезло мне в другом. Очевидно, в вагоне какая-то тифозная вошь ткнула меня. Не прошло и двух недель, как я заболела, Свалилась со страшной головной болью и высокой температурой. Товарищи привезли сперва Раю, как медика. Она пробовала говорить со мной, читать мне что-то, но я бредила. Товарки перепугались, и Рая кинулась за настоящим врачом. Врач определил сыпной тиф.

Эпидемия тифа, охватившая потом чуть ли не весь Союз, вспыхнула как-то сразу. Форма болезни была очень тяжелая. Квартирная хозяйка требовала немедленного удаления меня из дома. Товарки не хотели везти меня в больницу. Про больницы рассказывали ужасы. Эпидемия вспыхнула так бурно, что к ней не успели подготовиться. Больницы были переполнены.

Как сквозь сон помню я, как на извозчике везли меня в больницу. Подолгу стоял извозчик перед зданиями больниц. Меня не хотели принимать.

- Нет мест, идите в другую, - твердили моим друзьям.

Но они знали уже, что в других больницах – тоже нет мест. В конце концов, сопротивление одной из больниц было сломлено. Под руки провели меня друзья в приемную. Меня остригли, раздели и уже на носилках понесли куда-то по длинному большому коридору. На полу, на тюфяках лежали больные, на пол положили и меня. Не помню, сутки или двое пролежала я в этом коридоре. Потом меня и мою соседку, молоденькую девушку, подняли и отнесли в палату. Нас положили на койки, наша палата была для очень тяжелых больных. Люди все время умирали. В первые дни меня это не тревожило. Я была в бессознательном или полусознательном состоянии. Помню, что мои друзья приходили проведать меня. Сквозь застекленное окно двери я видела их лица, но меня ничто не интересовало. Бесстрастно поворачивала я к ним голову и снова опускала ее на подушку.

Я не помню, лечили ли нас, принимала ли я какие-нибудь лекарства. Около двух недель лежала я, чужая жизни и самой себе. Потом началось выздоровление, и тогда я почувствовала весь ужас больницы. Вокруг нас сновали санитарки, сестры, врачи. Они появлялись, потом исчезали надолго. Больных в больницу везли и везли. Заболевал и сам медицинский персонал. К нам в палату положили трех сестер и двух врачей. Особое сочувствие вызывала молоденькая женщина-врач. Всегда она была такой приветливой, такой ласковой с больными. Заболевание у нее было очень тяжелое. Она бредила, вскакивала с койки, порывалась куда-то бежать. Даже ей, врачу, не могли создать в больнице хороших условий. Когда она металась в бреду, никто не подходил к ней. Самое страшное в этой палате наступило для меня тогда, когда вторая моя соседка по койке стала умирать. То была крупная немолодая еврейская женщина. Она металась на своей постели, отделенной от меня узким проходом, в котором стояла наша общая тумбочка. К дверям палаты ежедневно подходил ее муж, он приносил ей передачи, но она ничем не была довольна. Всегда ей хотелось чего-то другого. Есть она не могла и санитарка каждый день отдавала мужу вчерашнюю передачу. Меня она приняла за свою соплеменницу и пыталась говорить со мной по-еврейски. Она проклинала меня за то, что отказываюсь говорить с ней на ее родном языке. Умирала она тяжело, к ней одной в нашей палате применяли лечение. Ее заворачивали всю, с ног до головы, в мокрые простыни. Это не помогало. Три дня билась она в предсмертных судорогах. В нашей палате, на койке рядом со мной, она и умерла. Так случилось, что в день ее смерти я увидела за стеклом лицо моей матери. Радость и страх

охватили меня. Мама здесь, маму вызвали из Курска, мама проделала ту же трудную дорогу до Харькова. Она оставила папу и семью. Мама здесь... Я уткнулась в подушку и плакала.

Мама решила взять меня из больницы как можно скорей. Условия больницы ей показались страшными. Она нашла в Харькове комнату, где хозяева решились принять меня. Выйти из больницы оказалось так же трудно, как попасть в нее. Но мама все же настояла на своем. Я была очень слаба, друзья рвались проведать меня, но мама никого не пускала. Мы с мамой мечтали о скорейшем возвращении в Курск. Но через несколько дней температура у меня снова полезла вверх. Приглашенный матерью врач сказал:

- Один случай на тысячу... повторный сыпной тиф.

В больницу меня не отвозили. Дома я переболела, дома я и поправилась. Мама спешила домой, но оставить меня одну в Харькове она не решалась и ждала, пока я смогу ехать. С огромным трудом преодолела я дорогу до Курска. Поезд то шел, то останавливался. Дорогу пересекал какой-то фронт. На одной из станций нам предложили выйти, пройти некоторое расстояние пешком и пересесть в другой поезд. Мест в вагонах не было. Мы едва протиснулись на какую-то вагонную площадку. Мама беспокоилась за меня, ослабевшую после болезни, я боялась за маму, уже старенькую и слабую. Уезжая из Харькова, я чувствовала, что учению моему пришел конец. Так оно и случилось.

Непомерно тяжелая зима 1918 – 1919 годов еще как-то щадила Курск. К нам везли голодающих детей с Поволжья, к нам ехали мешочники из Москвы и Петрограда. Курск не был хлебным и сытным краем, и у нас выдавали по карточкам хлеб из не обрушенной гречневой муки, рот от этого хлеба оказывался полным лужи, или просяной, горький и рассыпавшийся во рту, как опилки, или овсяный с осотьями. Но мы не ели картофельные очистки, как ели в ту пору москвичи.

Сыпной тиф свирепствовал в Курске. Теснота, голод, грязь, отсутствие мыла – все это сказывалось на развитии эпидемии. В больницах, в больничных бараках не хватало мест. Люди болели дома. Медицинских работников тоже не хватало. Часто болезнь сваливала целые семьи. Оправившись немного сама, я стала проводить время у изголовья больных, мне ведь уже не грозила опасность заразиться. То я сидела возле больных товарищей, то у совсем чужих людей, оказавшихся в безвыходном положении, когда вповалку лежали все обитатели дома. Лечение, собственно, не шло ни в больнице, ни на дому. Лекарств не было, все сводилось к уходу. Смерть косила людей. Тяжелее других мы пережили смерть совсем юного 18-летнего мальчика Чайкина. Особенно потому, что считали до некоторой степени себя виновными в этой смерти. Чайкин - старший, Чайкин-отец был одним из виднейших левых социал - революционеров Курска. Не помню, то ли он скрывался, то ли был арестован, говорили, что ему грозит смертная казнь. Сын его пошел по стопам отца.

Это был очень талантливый и очень убежденный мальчик. Вокруг него группировалась целая группа школьников. Вслед за отцом и он скрывался. Молодежь, его товарищи, девочки и мальчики, ни словом не проговорились перед нами о том, где Чайкин и что с Чайкиным, пока он не свалился в тифу. И тогда они не открыли нам его место пребывания. И только, когда его положение стало угрожающим, они привезли его в дом к моей товарке, младший брат которой был его другом. Но и тогда они поставили условие – сохранение полной тайны. Они уверяли, что Чайкину грозит арест. Мы дали слово юнцам не вызывать врача. Но когда мы увидели Чайкина, мы пришли в ужас. Тиф он уже перенес, но валяясь Бог знает где, в каком-то шалаше под городом, без нормального ухода и питания он был истощен до предела. Все тело его было покрыто пролежнями. Долго спорили мы с ним и с его друзьями, настаивая на приглашении врача. Мы нашли врача, которому можно было доверить нашего больного. Врач признал положение почти безнадежным и требовал больничного режима. С большим трудом мы уговорили этих полудетей положить Чайкина в больницу под чужой фамилией. Они твердили о том, что Чайкину грозит арест, допросы, пытки. Про зверские расправы в ЧК ходили жуткие слухи. В больнице Чайкин умер, хоронили его под чужой фамилией. Мы упрекали детей, упрекали себя, но понимали, что виной всему были те репрессии, то беззаконие, которое творилось вокруг. Мы не знали, справедливы ли слухи о застенках в ЧК, но они ползли упорно.

Разруха и репрессии

Я снова работала в Райкоже и с молчаливым возмущением смотрела на жизнь вокруг себя. Вместо светлого мира равенства и свободы я видела мир насилия и ожесточенной борьбы. Люди, недавно смело высказывавшие свои надежды и мысли, замыкались в себе. Материальное положение не улучшалось, а приходило все в больший упадок. У меня еще до сих пор хранится открыточка, изданная ВЦК помощи голодающим. Стоила она 1250 рублей. Несправедливость одних сменилась

несправедливостью других. На усмирение крестьянских движений власть двинула полки китайских и латышских отрядов, о зверствах которых ходили страшные рассказы. Кому верить? Чему верить?

Брюзжание и шепотки обывателей были мне отвратительны, свободной, вольной критики не существовало, даже газета «Новая жизнь», издаваемая Горьким, была закрыта. Кроме тенденциозной коммунистической прессы никакой информации не было. О жизни России мы ничего не знали. Россия была разобщена фронтами, транспортной разрухой. Шли слухи о Ярославском восстании, о мятеже в Кронштадте, о борьбе чехословаков в Поволжье, о Колчаке в Сибири, о бесконечных анархистских бандах. Коммунистической информации я не верила, слухам – тоже.

В Германии произошла революция, но надежды большевиков не оправдались. Революция в Германии оказалась мелкобуржуазной. Мы по-прежнему оставались в изоляции. Кольцо Антанты смыкалось вокруг России, внутри ее раздирали противоречия.

В крестьянском вопросе как будто бы наступили некоторые облегчения. Продналог был заменен продразверсткой, но вера крестьян в большевиков была поколеблена. Революционный пыл крестьянства был убит. Росли хозяйственно-экономические настроения, село стало наживаться за счет города.

И внутри коммунистической партии не стало былого монолитного единства. Ставка на мировую революцию потерпела крушение. Ведь именно марксисты утверждали, что социализм победит в наиболее передовых капиталистических странах.

Слухи о наступлении Колчака и Юденича сменились слухами о наступлении генерала Деникина. Эти были упорнее, настойчивей, очевидней. Армия Деникина двигалась на нас и двигалась с поразительной быстротой.

В коммунистической информации говорилось о зверствах белых, о связи их с иностранной интервенцией, о толпах помещиков и фабрикантов, сопровождающих деникинскую армию, о возвращении земель и фабрик капиталистам, о зверствах, порках, виселицах, еврейских погромах. Этому я могла верить, но рядом с этим говорилось, что эсеры и с. – д. поддерживают генерала Деникина, армию, состоящую из белогвардейцев и старых царских генералов. Этому я не могла никогда и ни за что поверить. Не могли ни эсеры, ни с. – д. идти вместе с царскими генералами.

Дома у нас приближение деникинской армии осложнялось тем, что сестра моя была коммунисткой. Что деникинцы убивают коммунистов, преследуют их семьи, мы верили. Конечно, в случае занятия Курска сестре грозит арест и, может быть, виселица, кто знает... Упорные слухи о еврейских погромах, чинимых приближающейся белой армией, грозили семьям моих ближайших друзей – Раи и Шуры. Ни я, ни мои друзья не могли ждать прихода Деникина, ждать прихода белых, но возмущение коммунистами росло. Чем ближе подходили отряды генерала Деникина, тем ужаснее становились репрессии. Обыски, аресты просто терроризировали город. Порой казалось, что это делается нарочно. В одну из последних ночей в Курске было арестовано 24 человека, представителей курской буржуазии. Их арестовали без предъявления каких-либо обвинений, их арестовали как заложников. В числе 24-х был арестован и Коротков, тот самый, который, будучи городским головой, помогал нам в организации студенческого вечера. Всех арестованных вывезли из Курска в Орел. В Орле все 24 были расстреляны.

Институт заложничества – чем-то варварским веяло на меня от самих этих слов. В те годы очень часто проводились аналогии между нашей революцией и революцией французской. Великая Французская революция знала институт заложничества. Сначала я не хотела этому верить, я перерыла ряд книг и нашла, что это ужасная, жестокая правда. Но это меня ни в чем не убедило, - тем хуже для Французской революции.

Незадолго до прихода к нам белых, ночью в наше парадное застучали. Я открыла дверь, у порога стояли чекисты. Войдя, они предъявили ордер на обыск в квартире Олицких и на арест Дмитрия и Анны. Мы все были поражены. Мать потрясена. Аня никогда не интересовалась политикой. Теперь она работала в детском доме, была очень увлечена своей работой, дружила с заведующей-коммунисткой и, пожалуй, сочувственно относилась к большевикам. Диме было всего 12 лет. При обыске в нашей квартире, конечно, ничего не нашли, но Аню и Диму увели. Мама была в отчаянии, она металась по квартире до утра. Папа и я старались ее успокоить. Говорили о недоразумении, о какой-то ошибке.

- Ну, хотя бы меня арестовали, - твердила я, - а то вдруг Аню.

Дутя была угрюма, каково ей было смотреть на нас. Мама всячески сдерживалась, хотела казаться спокойной, но сдержать сердце она не могла. При врожденном пороке сердца впервые нарушалась

компенсация, мама задыхалась. На утро выяснилось, что за ночь были произведены обыски во многих домах и арестованы, среди прочих, 30 человек учащихся средней школы, Диминых товарищей и товаров, а вместе с ними почему-то и наша Аня. Свидания с детьми матерям, обивавшим пороги ЧК, не дали; их успокоило немного то, что дети не были отправлены в тюрьму. Они содержались все вместе в одной из комнат здания ЧК. К вечеру того же дня Аня и Дима вернулись домой. Димочка чувствовал себя героем – как же, он был под арестом! Аня смеялась. Дело оказалось просто. При обыске квартиры одного из старшеклассников был найден список фамилий, среди них стояла и фамилия умершего уже Чайкина. Всех, чьи фамилии были в списке, арестовали. При разборе дела выяснилось, что список был составлен учащимися, бравшими в складчину билеты в театр. Аня, как страстная театралка, вошла в складчину с ребятами.

Насколько было терроризировано население, показывает такой случай. Как-то вечером я шла с ведрами за водой, водопроводы в городе не работали. Артезианский колодец был расположен под горой, в конце нашей улицы, там, где начинались пустыри. Прохожих на улице не было. Подходя к колодцу, я увидела одну девушку. Закутанная в платок тихо-тихо шла она, непрерывно оглядываясь. Набрал воды, я хотела уже повернуть обратно, но невольно задержалась, глядя на девушку. С ней явно творилось что-то не ладное. Толи она шла, то ли топталась на месте. Я подошла к ней, чтобы выяснить, что случилось, не могу ли я помочь. Девушка молчала, глядя в землю. Потом неожиданно всунула мне в руки выдернутый из-под платка чудесный финский ножик. Костяная ручка ножа была из оленьего рога.

- Бросьте его куда-нибудь. За хранение оружия – расстрел. Я боюсь! – прошептала она.

- Да разве это оружие? – удивилась я, но девушка уже бежала прочь.

Чудесный нож остался у меня в руке. Я опустила его в ведро с водой и принесла домой. Совершенно открыто лежал он много лет подряд на моем письменном столе, как красивая безделушка, как нож для разрезания книг.

Деникинцы в Курске

К защите от Деникина Курск готовился упорно. Под Курском должны были состояться решающие бои. С наступлением темноты населению было запрещено выходить на улицу. В самые последние часы выяснилось, что в центре обороны была измена: все пушки были выведены из строя. Город попал в окружение. Стремительно отходили войска, бежали большевики. А население города ничего не знало. В 3 часа дня у нашего парадного остановилась пролетка. С нее сошла заведующая детдомом, открытым в бывшем дворянском собрании. С помощью мужа, ехавшего с ней, она сняла с пролетки три больших плетеных корзины. Она просила маму сохранить эти корзины, пока за ними придут, но не сказала, что хранится в этих корзинах, не сказала, что большевики покидают город, без боя отдавая его белым.

Сестра вторую ночь не ночевала дома, она была зачислена в боевую дружину по охране города. Вечером мы с Аней были приглашены на свадьбу к подруге. Все было скромно, просто и весело. Так как ночью выходить на улицу было запрещено, мы праздновали свадьбу до рассвета. Утром мы шумной ватагой вышли из дома молодых. Домик их стоял на окраине города, улицы были пусты и тихи. В этой тишине четко и резко раздавалось цоканье копыт. Из переулка вывернул разъезд верховых и помчался к центру. Деникинский разъезд. На плечах всадников на серых офицерских шинелях сверкали давно не виденные нами офицерские погоны. Торжественным маршем входили войска генерала Деникина в Курск. Они знали, что боя не будет, в Курске их ждали свои. За войсками двигались обозы с продовольствием – белый хлеб, мука, сахар. Все эти бала белая армия раздавал населению.

В городе было тревожно. Тревога была и в нашем доме. Мы пережили большевиков, мы знали, что несли они с собой. Что несут с собой деникинские войска, - никто не знал. Армия проходила через город, минуя город, занимая прежде всего вокзал, линию железной дороги.

Семья подруги, мать и дети, опасаясь еврейских погромов, при первых слухах о занятии города белыми перебрались к нам. Дома у них остался один отец. Лучший врач-гинеколог Курска, беспартийный, либерально настроенный человек. Жена его принадлежала к самому левому крылу с. – д. Многие считали ее даже большевичкой. Но к партии большевиков она никогда не принадлежала. С политической точки зрения наш дом был из-за сестры-коммунистки менее надежен, но страх еврейского погрома привел их к нам.

Внешне в городе было спокойно. Гражданская власть белыми еще не была сформирована. Агитация сопровождала белую армию. С подвод раздавались населению давно невиданные продукты, разбрасывались по городу советские тысяче рублевки, пробитые штампом, изображавшим кукиш. Служащие устремились в учреждения, начальствующего состава не было, он скрылся. Что будет с предприятиями, никто не знал. Служащие Райкожи решили сохранить все имущество конторы. Боясь разгрома, они пришли к решению, по которому сотрудники должны были взять домой все оборудование – кто машинку, кто бумаги. Мне досталось хранить арифмометр. Мы обязались сохранить все до нормальных условий жизни. Город затих в ожидании. На стенах появились широковещательные объявления новых хозяев. Все читали их с затаенным сомнением. Люди недоверчиво смотрели на все посулы.

Мирную жизнь нашей семьи нарушили два события. Кто-то сказал моей матери, что Дутю видели с оружием в руках на окраине города, когда деникинские войска уже вступали в город. Задами пробиралась она к вокзалу, а вокзал был уже занят белыми. Состояние тревоги охватило маму. Внешнее спокойствие в городе побудило мать моей подруги вернуться к себе домой. Оказалось, что спокойствие не было столь велико, как нам казалось. За два дня, прошедшие с прихода белых, к ним в дом дважды вваливались солдаты и требовали от отца, как от еврея, выкупа. Он давал им денег, и они уходили.

- Теперь, - говорил он, - острый момент позади, теперь никто не получит от меня ни гроша.

Но к ним в дверь снова застучали прикладом. Новая группа солдат стала требовать денег. Отец сказал, что у него уже дважды были, что забрали все, что у него было. Тогда солдаты велели отцу следовать за ними. Толпа солдат, человек шесть, вела Якова Ефимовича по улице раздетого, без шапки. На счастье, из-за угла вышел белый офицер. Расспросив обо всем и обложив грубым матом солдат, он извинился перед доктором и проводил его до дома. В дом войти он отказался.

- Конечно, и у нас случаются безобразия. В случае чего немедленно обращайтесь в штаб.

На плакатах, развешанных по городу, комендант города извещал: «В случае нарушения законных прав населения военными немедленно обращайтесь с жалобами в штаб войск и к коменданту города. Бандитизм и мародерство преследуются по всей строгости, до расстрела включительно. При проведении обысков требуйте предъявления ордеров, подписанных комендантом города».

Читая эти объявления, я внезапно вспомнила о корзинах, завезенных к нам домой и стоявших в прихожей. Я была уверена, что с обыском к нам придут. Когда я вернулась домой, мамы не было. Я не стала дожидаться ее и вскрыла корзины. Помогала мне в этом Акулина. Корзины оказались набиты столовым бельем дворянского собрания. Скатерти, полотенца тончайшего полотна с вышитым гладью гербом дворянского собрания. Хороши были бы мы, если бы при обыске у нас обнаружили эти корзины. Белья было столько, что я растерялась. Не успею сжечь и негде спрятать. Я схватила ножницы и стала срезать полосы с гербами. Причитая, надо мной стояла Акулина: «Такое добро портить!» Все ключья с метками я выбрасывала в печь. Мама, вернувшись домой, не упрекала меня. Ей самой было странно, зачем к нам в дом подсунули эти корзины. Мама как-то отсутствовала в эти дни. Она ничего не говорила, но, взглядевшись в ее лицо, я безошибочно знала, что она безотрывно думает о Дуте. Удалось ли ей уйти, арестована ли она, жива ли она.

На четвертый или пятый день пребывания белых в городе к нам пришли с обыском. По поведению обыскивающих я решила, что Дутя не арестована. Обыскивающие держали себя очень сдержанно, но обыск вели тщательно. У нас они ничего не могла найти, мы это знали. Но в нашей квартире вот уже третий год стояли сундуки с чужими вещами. История их была такова. Жил у нас на квартире один офицер с семьей. Незадолго до революции вся семья уехала в гости к родным и исчезла. Никаких вестей от них мы не имели. Вещи их стояли нетронутыми. Все это мы сообщили обыскивающим. Они решили вскрыть сундуки. Ключей у нас, конечно, не было. Сундуки взломали. Из первого же сундука извлекли оружие. Насторожившиеся было солдаты быстро остыли. В сундуках были явно офицерские вещи и продукты: сахар, крупа, мука. Продукты были порченные и покрытые плесенью. Взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться, что лежат они давно. Старший заявил:

- Все оружие мы изыщем, оно подлежит сдаче.

Мы не возражали. При составлении протокола обыска изъятое оружие было в него занесено и отложено в сторону. Но я заметила, что в кучу с изъятым оружием отложены и военные сапоги нашего квартиранта. В протокол они занесены не были. Я попыталась отложить сапоги в сторону.

- Не трогать! – крикнул на меня офицер, производивший обыск.

- Как это не трогать? – сказала я. – Сапоги вы в протокол не занесли.

Мама дергала меня за рукав, но меня нельзя было остановить – я хотела знать, грабят ли деникинцы при обысках.

- С нами пройтись захотелось? – огрызнулся на меня офицер.

- С вами или без вас, но в штаб вашей армии за разъяснениями я обращусь, - отвечала я.

Обыск был окончен. Оружие и сапоги солдаты унесли с собой. Они ушли, я вступила в спор с мамой.

- Зачем они расклеивают объявления? Я пойду в штаб.

Я уже одевалась, когда зазвонил звонок. На пороге стоял только что ушедший офицер. Он протягивал мне сапоги.

- Простите, - пробормотал он, - я не должен был их брать, но знаете... престиж перед подчиненными.

Хорош престиж, штаба испугался, жулик!

Белыми был занят город, белыми была занята округа. Стремительным маршем шли она на Орел, к Туле. А я ни в чем не могла разобраться. Ни эсеров, ни с. – д. с ними, конечно, не было. По улицам были расклеены плакаты «Вся власть Учредительному собранию», а пока...

В самом Курске ни бесчинств, ни ужаса, собственно, не было. Коммунистов арестовывали, вызывали на допрос маму, ее допросили и отпустили домой. Внезапно арестовали Раину мать. Мы очень встревожились. Но к концу дня вестовой принес от нее записку. Она сообщала, что впредь до выяснения дела содержится в номерах бывшей гостиницы. Просит прислать халат, ночные туфли, полотенце, зубную щетку. Мы успокоились. Через неделю и она вернулась домой. Все сходило как будто бы гладко. Но жизнь не шла. Я хочу сказать, общественная жизнь. Все было захвачено военщиной. Мы были, так сказать, прифронтовой полосой. В Курске, в доме моей подруги, жила учительница немецкого языка с сыном. Муж ее, эсер, еще при царизме был приговорен к смертной казни. Ему тогда удалось бежать, и в 1905 году он эмигрировал в Англию. Ольгу Афанасьевну мы любили, с сыном ее, старшим нас на два года, были дружны. Сева учился в политехническом институте в Петрограде. Во время войны он был призван, окончил военное училище и был отправлен на фронт в качестве офицера. С революции мать ничего не знала о сыне. Теперь она получила от него письмо. Сева писал, что сражается в рядах белой армии, что он получил отпуск и приедет повидаться с матерью. Нас ошеломило то, что Сева, которого мы считали революционно настроенным, мог оказаться в рядах белых. С нетерпением стала я ждать его приезда. Я думала, что он многое поможет мне уяснить.

Севу мы дождались. Увы, он ничего не мог растолковать нам. Сева говорил, что ушел к белым потому, что с офицеров срывали погоны, потому что честь офицерская была поругана, потому что он остался верен присяге.

- Мы ушли в белую армию, - говорил Сева, - потому что она стояла за Учредительное собрание, потому что всякая власть должна быть правомерно, потому что на фронте мы нагляделись достаточно хаоса и разгильдяйства, граничащего с изменой. Нас подозревали, нам не доверяли, оскорбляли и продавали. Потому, наконец, что нам дорога честь нашего оружия.

Все эти аргументы не доходили до нас. Нас интересовало, что несет белая армия народу. Сева уклонялся от наших вопросов. Он твердил лишь о задаче белой армии освободить Россию, довести до Учредительного собрания, которое определит судьбу народа. Наверное, как офицер белой армии, Сева и не мог нам больше ничего сказать. Но нам казалось, что сам он разочарован в белом движении, живет в нем по инерции. На вопросы о еврейских погромах, о зверствах, о порках в деревнях он отвечал уклончиво.

- Командование все это преследует, старается искоренить, многое зависит от воинской части, которая занимает город.

Он говорил и о героизме русского офицерства. От него впервые услышала я об офицерских батальонах и психических атаках, когда с тросточками в руках сомкнутыми рядами шли офицерские батальоны на красноармейцев. Убитые падали, живые смыкали ряды. С улыбкой и песней шли они безоружные, и красноармейцы не выдерживали атак. Но Сева говорил и о пьянстве, о разложении. Сева не осуждал белую армию. Он повествовал. Из его повествования я делала свои выводы. Белое движение стало представляться мне беспочвенным, разношерстным, обреченным на гибель. Никакой единой идеи, воодушевлявшей всех его участников, не существовало. Сева провел в Курске какую-нибудь неделю и, как мне казалось, без энтузиазма уехал на фронт к своей части.

При белых мы жили замкнуто, и все же мне пришлось столкнуться с еще одним белым офицером. Этот занимал крупный командный пост. В Курске жила семья обрусевших немцев. Были они людьми очень богатыми. Дочь их Валя, очень изящная барышня, какими-то путями подружилась с моей подругой и бывала у них в доме. Иногда я с ней там встречалась. Большевиков, как и прочих социалистов, Валя не любила. Но когда в дом их был вселен большевик, занимавший важный военный пост, между Валею и этим военным завязался роман. Мне Валя представила его как своего жениха. Всем нам он очень не нравился. Поражало нас то, что Валя связала свою судьбу с большевиком, да еще военным.

Я уже говорила, что в центре коммунистической обороны Курска оказалась измена. Когда Курск был занят белыми, я встретила Валу с ее женихом на улице. Был он в офицерской форме и со знаками отличия, с орденами. Он оказался одним из тех, кто выполнял деникинские задания в тылу у красных. Наверное, нужно много мужества для такой работы, но мне этот человек был неприятен раньше, я не могла понять, как могли доверять ему большевики. Со слов Вали, он тоже говорил о верности Учредительному собранию, избранному по «четырёх хвостке», но насколько я верили искренности Севы, настолько я не доверяла этому человеку.

Личные наблюдения за период пребывания Деникина в Курске дали мне возможность прийти только к одному выводу – никакие социалисты, эсеры в частности, не шли с белым движением. Большевистской прессе я теперь не верила настолько, что считала вымыслом существование в зоне России, занятой англичанами, эсеровского правительства, созданного оторвавшейся от партии группой правых эсеров. К сожалению, в существовании такового я убедилась значительно позже. Я даже встретила в тюрьме одного из участников этого правительства Алексея Алексеевича Иванова. Об этом позже.

Очень недолго продержались белые в Курске. Развал, пьянство, безыдейность, оторванность от населения страны – все вело их к гибели. Реорганизованная за это время армия большевиков так же стремительно погнала их на юг, как они пришли. Во время пребывания деникинцев в Курске ими, кажется, не было совершено особых зверств. Зато их отступление было ознаменовано страшной трагедией. Боя в городе не было, но паника была. С Деникиным бежали многие представители буржуазии. С чемоданами, котомками, сумками спешили беглецы покинуть город. Заключение в тюрьму арестанты не были вывезены, но и не выпущены из тюрьмы белыми. Когда белых в городе уже не было, последний казачий отряд ворвался в тюрьму и изрубил заключенных. Слух об этом быстро разнесся по городу. Многие шли в тюрьму опознавать зарубленных. Не сказав дома ни слова, моя мать тоже пошла в тюрьму. Домой маму привезли на извозчике. Почти на руках снесли мы ее и уложили на диване в столовой. И тут мама ничего не сказала нам. Задыхаясь, с сердцебиением лежала она и думала о том, не был ли тот изуродованный женский труп, который она видела, ее дочерью. В это время Дутя, спеша, подходила к дому, мучаясь мыслью о том, что сделали белые с ее родными. Я стояла в столовой у окна. Сестру я увидела неожиданно для себя. Я не сразу узнала проходившую мимо окон, одетую в шинель и папаху сестру.

- Дутя пришла! – крикнула я и бросилась открывать парадное. Я не знала маминых мыслей и не могла знать о том, что значило для мамы мое восклицание. Арест Димы, посещение тюрьмы и опознавание трупов стали роковыми для мамы. Сердца стало отказывать ей при малейшем волнении или переутомлении. А жизнь несла одни тревоги.

Возвращение большевиков Курск. Смерть мамы

Большевики ознаменовали свое возвращение диким террором. Собственно, преследовать им было некого. Все, кто так или иначе были связаны с белыми, бежали вместе с ними. Но они подозревали всех и каждого. Обыски и аресты шли повально.

Большевики реорганизовали армию. Шла мобилизация. Для мобилизации крестьянства в села выезжали комиссии. Нередко крестьяне избивали членов комиссии. Под всякими предлогами врачи отказывались выезжать на комиссии.

Маме было уже 52 года. Ее никто не мог обязать ехать в село. Ее никто и не посылал. Но зная, как опасны эти поездки, как стараются все врачи избавиться от них, мать моя сочла для себя обязательным наравне с другими членами общества врачей, в котором она состояла, ехать. Она не захотела воспользоваться привилегией возраста. Все мы старались удержать ее, но мать поехала.

Ровно через неделю, больную, на крестьянской подводе привезли ее домой. В помещениях, где проходила мобилизация, в избах, в которых приходилось ночевать, было не топлено. Мама заболела воспалением легких. Дни и ночи дежурили мы у маминой постели. Болезнь она перенесла, но поправиться уже не поправилась. Сердце отказывалось работать. Ходя по комнате, она начинала задыхаться. Кое-как пережила она зиму. На лето мы свезли ее в санаторий в семи верстах от Курска. Улучшения не наступало. К тому времени мы жили вчетвером – папа, мама, Дима и я. Аня жила в Курске же, но не с нами, а при детском доме, в котором работала. Дутя вскоре после возвращения уехала к мужу, рабочему-печатнику и коммунисту, в Москву. Ася работал врачом в Луге. Последней мечтой мамы было повидать брата и сестру. Но почтовая связь была так затруднена, что и сестра, и брат опоздали. Оба они приехали после маминой смерти.

Тяжело дались мне эти дни. Папа был малоподвижен. Дима был еще мальчик. Я должна была поддерживать их в горе и устраивать все по похоронам. Хоронить было сложно. На все нужно было получать разрешение и справки: разрешение на получение досок для гроба, разрешение на изготовление гроба, разрешение на получение лошади и саней, разрешение на рытье могилы. Все решала я. Я же решила хоронить маму без попа, без церковного обряда. Все церковные обряды казались мне кощунством над гробом матери. Как могла, скрасила я простые розвальни, покрыв их ковром. Простой, из некрашеных досок гроб стал на них. Рядом с гробом усадили мы с Димой отца. Он хотел проводить маму на кладбище. Шесть-семь самых близких нам людей шли за гробом.

На кладбище, когда гроб опустили в могилу, Эмма Ильинична, бросив горсть земли, вторую подала моему отцу. Как всегда, опираясь на костыли, на коленях стоял отец у могилы. Высвободив от костыля одну руку, он взял в нее горсть земли и бросил ее. Неверная рука дрогнула, ком полетел в сторону. И папа поник на своих костылях, из глаз его потекли слезы.

Дима учился. Я давала уроки. Папа то болел, то чувствовал себя лучше. Тяжело жилось нам, да и всем вокруг жилось не легче. Никто не жил на заработанные деньги. Одни спекулировали, мешочничали, другие продавали свои вещи, одежду. За урок я получала пол литра молока в день и какое-то количество крупы или муки.

Помню, мы выменяли какому-то крестьянину комод. За него получили два мешка гороха. Этот горох долго выручал нас. Отапливали мы наше помещение деревьями из сада, которые нам разрешил рубить хозяин дома. При рабфаке, в котором учился Дима, была организована домашняя столовая, в ней мы брали обеды. Помню, еще во время маминой болезни я выменивала для нее постоянно яблоки. Связь с тем богатым крестьянином, у которого я брала их, сохранилась. Часто, приезжая на базар, он заворачивал к нам и предлагал выменять у него мясо, яйца, масло.

В один из приездов мой крестьянин стал сватать меня за своего сына. Со смехом рассказала я об этом сватовстве подругам.

- Катя, сватайся, пусть возит подарки. Они думают, что все можно за муку выменять. Даже жену. И пусть. Потом скажешь, что раздумала!

Мне тоже был отвратителен гонор крестьян тех лет, когда они, презирая голодных горожан, драли с них по три шкуры, но играть в сватовство мне не хотелось.

Подруги мои решили иначе. За крестьянского сына они решили сватать Соню. Игра началась. Дозволенной мы ее считали потому, что уж слишком отвратительны были зарвавшиеся спекулянты, к которым относился и наш крестьянин:

- Городскую жену ему, пусть и по-французски разговаривает!..

Подруги веселились. Жених приезжал на смотрины. Соня прогуливалась перед ним в разных платьях, своих и чужих, и по-французски говорила, и на рояле играла. Жених восторженно пожирал ее глазами и подарки возил мешками.

Демонстрация молодежи

С товарищами Димы у меня были очень хорошие взаимоотношения. Возрастная разница между мной и Димой была в шесть лет. За время маминой болезни и после маминой смерти я заботилась о нем, и его товарищи привыкли со всеми своими заботами и нуждами обращаться ко мне. Заходил ли спор о прочитанной книге, требовалась ли помощь при постановке любительского спектакля, я была их всегдашним советчиком и помощником. Но одну свою проделку ребята скрыли от меня. Скрыли потому, что не хотели замешать меня в очень опасное, с их точки зрения, дело.

Опять приближался май. Опять город готовился к празднованию. Я в эти годы стояла очень далеко от всякой общественной работы. Мне было грустно, тоскливо, обидно стоять в стороне от майских приготовлений, но принять в них участие, не поступившись совестью, я не могла. Да и не праздник народный близился, а казенное, государственное торжество.

Ребята с возмущением рассказывали, что из отдела народного образования прислали им ряд лозунгов, которые было велено написать на знаменах.

- Хотя бы для вида предложила выбрать, какой плакат мы хотим нести! А явка на демонстрацию обязательная!

1 мая в часы демонстрации я сидела дома. Я нигде не работала, и меня никто под страхом увольнения не мог заставить демонстрировать. Все митинги, все собрания, все демонстрации в те годы были принудительны.

Как сговорились ребята? Кто надоумил их? Но в кармане у каждого ученика оказалась узкая полоска кумача. На площади, когда их колонна по ровнялась с трибуной, на которой стояли власти города, принимавшие парад, ученики бросили под ноги казенные полотна, красной полоской кумача перевязали они свои рты и в полном молчании прошли мимо трибуны.

Об этом их подвиге я узнала спустя, огласки этому событию не было. Что могли предпринять отцы города с детьми, когда все вокруг было задушено и подавлено. Начальство школы получило суровую отповедь. Но за него ученики не волновались. Лучшие, любимые были давно отстранены от педагогической работы. Дело воспитания и обучения детей было передано в руки тех, кто принял указку сверху. Членов партии среди педагогов не было, подслуживающихся и выслуживающихся было полно. Ученики чувствовали это и не уважали своих учителей, не верили им. Распушенность в школах росла, успеваемость падала. Созданные в начале революции комитеты учащихся были распущены или потеряли свою роль, расштатав уже учительский авторитет.

В середине учебного сезона учитель математики на рабфаке, где учился Дима, серьезно заболел. Заменить его было некем. Свободные часы ученики болтались одни. На педсовете было решено пригласить человека, который заполнил бы чем-то пустые часы. Неожиданно для всех ученики выдвинули мою кандидатуру. Ни педагогического образования, ни опыта у меня не было. Учительский совет высказался против, но ученики настаивали, родители настаивали взять хоть кого-нибудь – меня взяли.

Чем могла я занять ребят? Я обратилась к русской литературе. Мы читали Короленко, Горького, Куприна... Выбирала я такие рассказы, которые, с моей точки зрения, задевали острые вопросы, могли вызвать споры. Обычно так и бывало. Из бесед с Димой и его друзьями я знала, какие вопросы их интересуют, задевают за живое. Спорам и обсуждениям не было конца. Они продолжались и после урока, на переменах. Конечно, на уроках моих и помина не было материалистических и марксистских догм. Не применялся и формальный метод при изучении литературных произведений. Я оказалась не ко двору. Особенно ратовал против меня преподаватель русского языка. Он говорил, что я нарушаю метод преподавания русской литературы, прививаю ученикам неправильный подход к литературному произведению, приучаю их следить за фабулой и отвлекаю от образного мышления автора, то есть от самой сути художественного произведения. Упреки сыпались и из-за того, что я не даю экономического анализа эпохи, не вскрываю классовой сущности героев и т.д. Все же я продержалась на работе до летних каникул.

Извещение о маминой болезни Дутя и Ася получили одновременно с сообщением о смерти мамы. Оба они рвались к нам, но жизнь задерживала. Первой приехала Дутя. Она работала теперь в Москве заведующей научной частью зоопарка. Жизнь в Москве была трудной, не хватало питания для людей, не то что для животных. Не хватало отопительных материалов, работать было тяжело. Понимая наше тяжелое положение, Дутя звала нас в Москву. Папа не хотел и слушать. До тех пор, пока Дима мог учиться в Курске, никакой речи о переезде с отцом вести было невозможно. К тому же между нами троими: отцом, братом и мной были слишком большие расхождения во взглядах с Дутей, чтобы мечтать о совместной жизни.

Брат – в партии победителей!

Ася приехал летом того же года. Его приезд нанес мне большой удар. Ася вступил в партию большевиков.

Страна раздиралась на части, на части раздиралась и наша семья. Я с детских лет очень любила брата, он был для меня почти кумиром. Жестоким разочарованием было для меня его поведение в студенческие годы, его вторичное поступление в Медико-хирургическую академию, находившуюся под бойкотом. Затем огорчило какое-то аполитичное настроение в первые годы революции. В Учредительное собрание брат голосовал за список народных социалистов. На мой возмущенный вопрос, почему за них, а не за социалистов настоящих, он заявил, что они де будут, конечно, в меньшинстве, а он считает, что и меньшинство должно быть представлено в парламенте, должно иметь возможность защищать свои позиции.

Почему же теперь, именно теперь, когда власть была завоевана партией, которая подавляла всякое иное мнение, он вступил в нее?

Я знала из писем, что брат вместе с женой и только что родившимся сыном эвакуировался из Луги во время наступления Юденича. Я знала, что во время эвакуации умер его сын, что на одной из станций он с трудом нашел священника, чтобы похоронить ребенка. Читая письмо о похоронах, я очень сочувствовала брату, но не понимала, зачем ему так нужен был похоронный обряд со священником. Сколько времени прошло с тех пор? Полгода, ну, пусть даже год. И передо мной стоял коммунист. Что привело его в партию победителей? Карьеризм? Жажда деятельности? Стремление к материальному благополучию? От всех разговоров на политические темы брат уклонялся. Жена его, когда мы оставались наедине, говорила об огромной организационной работе по здравоохранению, проведенной братом в Луге, о разрушении всего созданного им во время пребывания Юденича в городе, о трупах честнейших людей Луги, висевших на фонарных столбах, о безустанной работе брата по восстановлению всего разрушенного, о ненависти его к разрушителям. Она говорила:

- Мне кажется, что Ася стал коммунистом потому, что это ему нужно для дела, для работы. Так ему легче добиваться осуществления своих планов. И мне кажется, он становится все больше коммунистом, чем врачом. Он обложился книгами. Вы бы посмотрели его библиотеку! Вся марксистская литература! Он больше времени отдает общественно деятельности, чем врачебной, и это жаль. Все окружающие считают его очень талантливым врачом. Теперь его назначают заместителем заведующего здравоохранения в Ленинграде. Заведующий сам не врач, значит на Асины плечи ляжет уйма организационной работы, а медицина будет в стороне.

Ни в чем не пытаюсь убедить ни меня, ни отца, Ася говорил:

- Прежде, чем лечить, надо создать условия, при которых уменьшится число заболеваний. Созданием этих условий заняты большевики, и мне поручен участок этой работы. Я чувствую, что могу что-то сделать в этом направлении и работа меня увлекает.

Ася пробыл у нас недолго, он спешил в Ленинград. За свое пребывание у нас он несколько раз внимательно осмотрел отца. Перед отъездом он сказал мне:

- Очевидно, в связи с общим потрясением организма во время катастрофы у папы началось перерождение печени. Процесс этот может идти очень медленно, но может и принять острую форму. При медленном течении отец может прожить долгие годы. Полиневрит мышц рук надо полечить в больничных условиях.

Папа ложиться в больницу не хотел. Его, конечно, очень тяготило затрудненное движение рук, он с трудом держал ложку, с трудом перелистывал страницы читаемой книги. Мнение брата, что больничное лечение может восстановить деятельность мышц, помогло уговорить его лечь в больницу.

Арест отца

Все уже было оформлено, и завтра мы должны были положить отца в больницу. Последний день мы собирались провести вместе, как вдруг, часов около двух дня, в парадное застучали. Я открыла дверь. Передо мной стояли три чекиста. Отстранив меня, они вошли в переднюю и закрыли за собой дверь. Только тогда протянули они мне бумагу. Я не верила своим глазам: это был ордер на арест отца. Папа по обыкновению сидел в своем кресле и читал. Увидев вошедших, он как-то поник, совсем изменился в лице.

- Папочка, - кинулась я к нему, - здесь какая-то ошибка. Они пришли с ордером на арест на твое имя.

Папа сразу как бы воскрес, повеселел. У чекистов же, увидевших, кого они пришли арестовывать, сразу помрачнели лица. Обыск они произвели быстро и поверхностно. Конечно, они ничего у нас не нашли и нечего не изъяли. В протоколе обыска им нечего было писать.

- Собирайтесь, вы должны последовать с нами, - как-то неуверенно сказал один из них.

Папа насмешливо взглянул на него.

- Нет уж, собирайте вы меня. Вы же видите, что я без ног.

Чекисты растерянно совещались. Затем один из них вышел и позвал извозчика. Папа спокойно сидел в кресле. Мы с Димой молча стояли рядом. Брать что-либо с собой отец отказался.

- Что же, несите меня, - сказал он.

Чекисты подошли, взяли отца на руки и понесли. Мы с Димой шли рядом. Папу усадили в экипаж. Он обернулся к нам и весело сказал:

- Будьте молодцами!

Не знаю, как описать то чувство, с которым я вернулась в нашу опустевшую квартиру. Что можно сделать? Всего, кажется, могла я ожидать, но... ареста отца?!

Сначала мы с братом растерянно слонялись по комнате. Потом я побежала к Ане, к друзьям. Все были так же ошеломлены, как и я. И не знали, что мне посоветовать.

День шел к концу. Ясно было, что сегодня я уже ничего не смогу добиться. Надо было ждать утра, а я не могла себе представить, как папа – безногий, больной папа проведет ночь в охране. Друзья хотели пойти со мной, но я прогнала всех. Вдвоем с братом мы сидели и думали, не зажигая света. Было уже почти темно на улице, когда позвонили. Я вышла. Открыла дверь. Перед дверью стоял на коленях отец и смеялся. А извозчик, сопровождавший отца, отъезжал в сторону.

Шесть часов просидел отец в ЧК, ожидая следователя. Следователь увидя отца, выразил полное недоумение. Он говорил о каком-то клеветническом доносе, о явном недоразумении. Кто донес и в чем заключался донос, отцу выяснить не удалось. В те годы вообще арестовать человека ничего не стоило. Папа смеялся:

- Поносили они меня! А уж в дом, я сказал, зайду сам.

Наутро мы отвезли папу в больницу.

Мы с Димой остались вдвоем. К нам постоянно приходили мои и его друзья. Но отца нам очень не хватало: и нам, и нашим друзьям. Несмотря на все пережитое, несмотря на инвалидность и постоянные боли, отец сохранил живой интерес к жизни, а при его широких познаниях беседы с ним всегда были интересны, и мы прислушивались к его мнению.

Соглашатели и идейные

Без папы произошло одно событие, взволновавшее меня. Я уже упоминала не раз о Матвее Рождественском. Был он на год моложе меня, вместе с нами принимал самое горячее участие в студенческом движении до революции и после революции. В 1917 году, во время раскола партии эсеров, он ушел к левакам. После Октябрьской революции занял в Курске пост комиссара земледелия.

Брестский мир привел к разрыву между леваками и коммунистами. Леваки ушли в подполье. Их стали арестовывать и преследовать, как и других социалистов. Матвей некоторое время скрывался в Курске. Перед приходом денкинцев он бежал из Курска. Теперь он вернулся обратно. Растеряв «левацкие» партийные связи, не имея никаких твердых политических установок, кроме общего неприятия программы и тактики большевиков, Матвей, конечно, не представлял никакой опасности для властей. Его не за что было преследовать, да никто и не думал его преследовать. Но его прошлая принадлежность к партии с. - р. волоклась за ним. Устройство на работу было осложнено. При поступлении на работу, да и уже принятые на работу, - периодически должны были заполнять анкеты. Вопросов в анкетах было много: и о социальном происхождении, и о занятиях родителей, и о том, чем занимался сам, заполняющий анкету, в течение ряда лет, был, конечно, и вопрос о принадлежности в настоящем или в прошлом к политической партии.

У Матвея все анкетные данные были неважные. Отец его был священником. В 1917 – 1918 годах он сам принадлежал к партии эсеров, а затем левых эсеров. По образованию – юрист, Матвей мечтал об адвокатской деятельности. Для этого ему нужно было быть принятым в Коллегию защитников.

Мы часто спорили с Матвеем. Он утверждал, что в наше время можно честно работать в области адвокатуры по гражданским делам. Я в это не верила. Даже быть принятым в Коллегию защитников было невозможно для лиц «не вполне благонадежных», то есть не по марксистски, не по большевистски мыслящих.

Как-то утром ко мне зашла Оля. У меня был кто-то из знакомых, а я почувствовала, что ей надо поговорить со мной наедине. Я вышла с нею в садик. Оля сказала:

- Матвей сдал в редакцию «Курской правды» письмо о выходе из партии левых эсеров.

Еще не осмыслив всего сказанного, я была потрясена. Оля увидела это по моему лицу. Она говорила:

- Матвей долго колебался, но раз он действительно разошелся с левыми эсерами, почему не заявить об этом открыто.

- Почему же он тогда колебался? – спросила я.

- Мы вчера приходили к вам. Матвей написал письмо и хотел знать ваше мнение, твое и Льва Степановича. Вас не было дома, и вот прямо по дороге домой мы письмо занесли в редакцию.

- И что же, он в нем кается? – спросила я.

- Нет, что ты! Он просто пишет, что не состоит в партии эсеров, так как считает ее позиции неверными.

- Может быть, он разъясняет в нем, в чем ошибочность этих позиций? Или признает правильность позиций большевиков? Пусть же скажет, в чем он не согласен, чтобы всем стало ясно, каковы его современные установки. Сейчас, когда партия, к которой он принадлежит, подвергается гонению, когда в защиту своих позиций она не может сказать ни слова, когда его бывшие товарищи сидят за свои убеждения по тюрьмам, Матвей заявляет, что он не согласен с их установками только потому, что хочет обеспечить себе спокойное существование и, может быть, служебную карьеру. Возможно, это только первый житейский компромисс, но не поможет он ему ни чуточки, придется ему идти дальше.

С детских лет я знала Максима Григорьевича Тололовского. Маленького роста, коренастый, с некрасивым, неправильным, но таким добрым и ясным, часто нам, детям, улыбающимся лицом. Был он врачом-психиатром, жил небогато. Я не знала, что он был с. – д. В годы войны и первые годы революции Максим Григорьевич работал главным врачом и заведующим колонией для малолетних преступников. Дети, находившиеся в колонии, были детьми бедноты. В большинстве своем это были дети отсталые, дефективные, малоразвитые. До прихода Тололовского в колонию, она мало чем отличалась от тюрьмы. Максим Григорьевич совершенно преобразовал ее. Им были созданы в колонии мастерские, изменен режим, сняты с окон решетки. Дети колонии так же любили его, как любили его мы. Всего себя отдавал он своей работе. За свои убеждения Тололовский был снят с работы и отправлен в ссылку в Архангельск. В ссылке он умер. А колония? Колония развалилась. На его место не нашлось Макаренко. Юные преступники не захотели признать нового руководителя. Начались репрессии, за ними побег. Колония снова превратилась в тюрьму.

Может быть, больше всего меня возмущало то, что на поверхность жизни всплывали люди беспринципные, готовые служить и вашим, и нашим, и на них опиралась власть. Этих людей интересовали личные блага. Как бы самим устроиться, самим попользоваться. Им было чуждо рабочее движение. Тех же, чья жизнь была связана с интересами народа, тех кто шел за свои идеалы в царские тюрьмы и каторги, теперь снова арестовывали и ссылали.

Уезжали! Бежали из Советского Союза – Толстой, Горький. В молчании погибали Короленко и Блок. Из библиотек изымались Михайловский, Толстой, Достоевский, Кореев. Переделывалась, перекрашивалась вся история России. Декабристы, на которых мы молились в детстве, оказались мелкобуржуазными идеологами, как и идеология народофильского движения. А все последующие деятели русского революционного движения зачислялись во «враги народа», оказались наймитами буржуазии.

Страна утопала в море противоречий, погибала в лишениях. Сельскохозяйственная продукция, дай Бог, составляла половину довоенной. Промышленное производство едва ли достигало 70% от довоенного уровня в отсталой царской России. Жизнь становилась «пещерной», но никто не смел об этом говорить.

Вышла чудная книжечка рассказов Е. Замятина, но его роман «Мы» уже не был разрешен к печати. Сочинения Пильняка были изъяты немедленно по опубликовании. То же случилось с написанной Булгаковым повестью «Роковые яйца».

4. ВРЕМЯ НЭПА

Чтобы вывести страну из тупика, коммунистической партии пришлось отказаться от прежней политики. «Военный коммунизм» уступил место «НЭПу». Пришлось допустить частного, пришлось допустить концессии иностранного капитала. Оказалось возможным договариваться со своей и

международной буржуазией. Но пойти на компромисс со своим и западно-социалистическим движением и договориться с ним коммунисты не могли. Идеи нетерпимость росла и крепла.

Нарастающие разногласия внутри самой коммунистической партии душили страну. От свободы человеческой мысли не осталось и следа. Я задыхалась в Курске. В его обывательской, затхлой атмосфере вся изнанка жизни выпирала и лезла в глаза, мешала жить. Все лучшие люди покидали Курск. А те, кто оставался, молчали и раболепствовали. Мне казалось, что в больших центрах еще идет живая жизнь. Может быть, так плоско, так уродливо, так вульгарно преломляется жизнь только у нас в провинции.

Трудно писать о глухом времени. Когда мы подрастали, мы сталкивались с противоречивыми мнениями, кипели страсти. Нарастали новые веяния во всем – в философии, социологии, идеологии. Издавалось бесконечное количество журналов, газет, книг различных направлений. Сейчас ничего этого не было. Марксизм, материализм... да и то в одной интерпретации Ленина, а нравственность и мораль объявлялись пережитками капиталистического общества, надстройкой над производственными отношениями.

Мне хотелось увидеть хотя бы настоящих, идейных большевиков, людей новой морали. Ведь были же такие!

Переезд в Москву

Весной 1922 года Дима окончил рабфак при Курском пединституте. Институты в это время открывались повсюду. Курский институт был ужасным или показался он мне таким после петербургского университета. Где было взять преподавателей для вуза в Курске! Профессорами были назначены люди, сами не получившие высшего образования. Интересы ради я пошла послушать лекцию. Я попала на лекцию по зоологии. Читал ее толстый и розовощекий ветеринарный врач. Лекция шла о ракообразных. Впрочем, всей темы лектор коснулся вскользь. Он детально остановился на всем известном, как он выразился, речном раке. Последнего он смаковал и в вареном виде и в виде ракового супа. Он объяснил слушателям, что самая вкусная часть рака, именуемая «раковой шейкой», вовсе не шейка, которой у рака нет, а хвост и что клешни – хватательные инструменты – при высасывании тоже отличаются приятным вкусом. В общем, мне показалось, что я сижу на лекции по кулинарии. Бумажку, свидетельствующую об окончании, вуз мог дать, - но только не знания.

И я, и Дима стали убеждать папу переехать в Москву, где Дима смог бы поступить в университет. Папа колебался. Конечно, ему хотелось дать Диме возможность получить образование. Дима мечтал о вузе. Окончание рабфака давало ему возможность поступить в вуз. Папа, Дима и я жили очень дружно, и переезд к сестре страшил нас. Но Дутя обещала нам помочь в нахождении своей, отдельной квартиры. Обещала она мне помочь устроиться на работу – это было в те годы нелегко. На первых порах мы должны были все же жить у нее. Папу это особенно тяготило. Отец и Дутя, очень сходные характерами, всегда плохо уживались. Отец боялся зависимого положения. Мы же с братом верили в свои силы, верили, что сумеем устроиться независимо. Отец поступился всем во имя Диминой учебы, и переезд был решен.

Сперва должны были ехать отец с братом. Я задержалась для окончательной ликвидации квартиры и отправки вещей. Переезд для отца был очень тяжел. С минимумом багажа проводила я их на вокзал, усадила в вагон. В Москве их должна была встретить сестра. Я же стала стремительно ликвидировать курское жилье. Мне не было жаль ни Курска, ни нашей квартиры. Не задумываясь о ценах, распродала я все, что можно было продать, раздавала остающееся друзьям. Жаль мне было только картины и книги. Картины все были написаны отцом в долгие зимние деревенские вечера. Мама украшала ими нашу квартиру. Все это были пейзажи – копии с картин Левитана, Шишкина, но были и зарисовки с натуры – виды нашего Сорочина и его окрестностей. Особенно дорога мне была последняя написанная отцом картина. У нас дома она называлась «Революция». Изображен на ней был восход солнца. Небо в разорванных клочьях туч, пылающее от первых лучей восходящего солнца. Тревожно горит небо, и красные отблески ложатся на мятущиеся, гнущиеся от ветра деревья и кустарники, на всклокоченную траву. Несколько картин, в том числе и эту, я взяла с собой.

Книг у нас было очень много. Накапливались они десятилетиями. Всевозможные журналы, полные собрания сочинений классиков. Все лучшее, что было в русской литературе, имелось в нашей библиотеке. Книги представляли огромную ценность сами по себе, не говоря уже о том, что в наши дни их нельзя было достать ни за какие деньги. Они не переиздавались и частично были изъяты из

библиотек. Два больших сундука набила я книгами. Перевезти книги завещали мне, уезжая, отец и брат.

Последняя вечерка с друзьями. С цветами и пожеланиями проводили меня друзья на вокзал, не много их осталось в Курске, жизнь всех раскидала по свету.

В Москве на вокзале меня встретил Дима. Веселый, радостный, он показался мне как бы выросшим, в первом штатском костюме, подаренном ему сестрой. Тысячей новостей, рассказов засыпал он меня. Каждая оканчивалась фразой – «Сама увидишь!» Все это были обрывки его впечатлений от новой жизни. Больше других сообщений меня обрадовало то, что у сестры живет тетя Аня с сыном.

В Москве с квартирами было очень трудно, нам сестрой была выделена изолированная комната с отдельным ходом, с окнами, выходящими на застекленную веранду. Сестра моя заведовала научной частью Московского зоологического сада. Муж ее, Степан Васильевич, заведовал его хозяйственной частью. Их казенная квартира находилась в самом центре зоосада, в чудесном домике рядом с конторой. Состояла она из трех комнат с верандой. В коридоре, светлом и широком, помещалась наша общая столовая. Дверь из нее вела в отданную нам комнату, вторая наша дверь выходила на террасу. Лучших условий для отца нельзя было представить. Прикованный к креслу, от летом целые дни проводил на террасе.

Все ждали меня, все радостно встречали меня. Папе меня очень не хватало. Дутя просила:

- Катя, не спеши с устройством на работу, помоги мне. Ведь семья у нас теперь большая, ты нужна отцу, будешь помогать по хозяйству. Я сейчас очень занята и жду ребенка.

Тетя Аня говорила:

- Катюша, я помогала Дуте, пока не было тебя, теперь я с сыном буду столоваться отдельно, ты должна взять на себя хозяйственные заботы.

Пьерик и Дима тащили меня к озеру – смотреть зверей.

Очень приветливо встретил меня муж сестры. Был он рабочим-печатником. В Курске при первом знакомстве он возбудил во мне интерес. Это был первый, очень одаренный и развитой рабочий, с которым мне пришлось близко познакомиться. Урывками, еще там, мне пришлось с ним спорить на политические темы. Большевиком он был страстным и жил революцией. Теперь мы зажили под одной крышей. Мне показалось, что Степан Васильевич хочет переубедить меня, оторвать от моих социалистических настроений, привести к признанию правоты коммунистов.

Идеи!.. Конечно, я ничего не могла возразить против прекрасных идей, проповедуемых коммунистами. Но претворение их в жизнь!.. Жизнь, живая жизнь сегодняшнего дня разубеждала меня на каждом шагу. Разубеждал и Степан Васильевич своим поведением, своими моральными установками. Власть многим вскружила голову. Вскружила она ее и Степану. Желая продемонстрировать мне, что власть теперь принадлежит рабочим, он в первый же день, слегка подвыпивший, вместе со своим приятелем, тоже коммунистом, занимавшим крупный хозяйственный пост, повез меня на казенной машине осматривать Москву. Машин тогда было очень мало. Бензина не хватало. Мне казалось неудобным разъезжать на начальнической машине прогулки ради. Но отказаться я не сумела. Мне неловко было отвергнуть явную любезность. Результат этой поездки был невероятный и страстно желаемый мной.

Процесс 1922 года над эсерами

В Москве 1922 года шел процесс над эсерами. Все газеты были полны сообщений – обвиняли эсеров во всех смертных грехах, обливали всеми помоями, какие только могли измыслить. Вандервельде, приехавшего, чтобы защищать обвиняемых, встретили такими демонстрациями протеста, что он уехал, отказавшись от защиты. Я конечно, не верила ни одному газетному слову. Для меня было достаточно таких имен, как Гоц и Веденяпин, окруженных ореолом борьбы с царизмом за дело народа, чтобы благоговеть перед подсудимыми.

Процесс над эсерами шел в Колонном зале. Процесс был открытый, но публика пропускаясь только по билетам, распространяемым профсоюзами. Достать билет не было никакой возможности. И что же... мои спутники, агитируя меня, обещали достать билет на одно из заседаний суда. Они были уверены, что судебное заседание убедит меня в виновности подсудимых. Я не знала последних в лицо. Делились они на две группы. Одна защищалась, другая, перейдя на сторону судей, давала обвиняющие подсудимых показания. Я знала, что на скамье подсудимых сидят почти все члены ЦК с. – р. Возглавлял суд Пятаков. Я не слышала речей, но я видела, что подсудимым не давали

возможности говорить, защищать себя. Держали они себя достойно и уверенно. Грозила им смертная казнь. Это знали все. Знала и я. Что речи их смелы, правдивы и искренни, в это я верила, и им не давали говорить, потому что боялись их смелых и правдивых слов. Я ненавидела судей, отвратительным казалось мне худое, с острой бородкой лицо председателя суда. Его рука, звонящая колокольчиком, рука, не дающая говорить к смерти присуждаемым людям. Торжествуя взглянул на меня Степан Васильевич, когда я вернулась домой. Только о моем преклонении перед подсудимыми, перед их мужеством и смелостью говорила я. Конечно, билета на следующее заседание я не получила.

Подсудимые были приговорены к смертной казни. Москва ликовала. Тысячные митинги одобряли приговор суда, поносили людей, отдающих жизнь за убеждения. Правительство заменило смертную казнь десятью годами тюремного заключения. Погибли они потом.

Хищники и прихлебатели

НЭП процветал. Появилась новая категория людей – нэпманы. Они оказались необходимыми для подъема экономической жизни страны. Процветали магазины, в которых все можно было купить за золото, за денежную валюту, проводилась денежная реформа. На фоне развивающейся жизни ошеломляла ужасающая безработица.

Степан Васильевич, как хозяйственник, должен был вращаться среди нэпманов, чтобы добывать товары для снабжения зоосада. С ними он пил, с ними, во имя уловления их нечистых сделок, развратничал. Раз в семь лет ложился он в больницу с циклическим психическим заболеванием. Сестра, горячо любившая его, страдала в личной жизни, неся последствия жизни общественной. Положение и впрямь было ужасным. По хозяйственной линии Степан Васильевич должен был вести дела с нэпманами, по заданию ЧК выявлять их неблагоприятные сделки. Лицо и изнанка жизни. Роскошь и нужда. Сменились, может быть, персонажи, сущность была старая, давно знакомая – хищники, спекулятивные сделки, грабежи, скрытые и откровенные до наглости. Недаром расшифровывалось название «Высший совет народного хозяйства» - ВСНХ – «Воруй Смело Нет Хозяина». Реквизированные при обысках вещи нередко прилипали к рукам реквизиторов. Из уст в уста передавался анекдот о том, как инкогнито едущий представитель Советского Союза был сразу опознан в Англии, так как на трости его была монограмма «ЕД», на портсигаре «СК», на золотых часах «КБ». Нелегко было слушать такие анекдоты, потому что они не были анекдотичны.

А рядом с нэпом жила проституция. По Москве распевалась песенка:

Прямо в окно от фонарика
Падают света пучки.
Жду я свою комиссарика
Из спецотдела Чеки.
Вышел на обыск он ночью
К очень богатым людям.
Пара миллиончиков нонче
Верно отчислится нам.
Все спекулянты окрестные
Очень ко мне хороши,
Носят подарочки лестные,
Просят принять от души.
Пишут записочки «Милая,
Что-то не сплю по ночам,
Мне Рабинович фамилия,
Нет ли ордера там».
Не для меня трудповинности,
Мне ли работать... Пардон...
Тот, кто лишает невинности,
Тот содержать и должен.

Степан Васильевич и другие хозяйственники вынуждены были вести дела с нэпманами. Спекулятивные, далеко идущие сделки приводили при разоблачении их к высшим инстанциям государства. И тогда... тогда дела закладывались под сукно.

Через подругу я много слышала о жизни поэтов и писателей, о препровождении ими времени в кабачках «литераторов». Вслед за ними подруга увлекалась их жизнью и ходила с раскрашенными ногтями на руках и ногах. Уход за телом. О крашенных волосах, бровях, губах и говорить нечего. Кажется, я одна не понимала, почему социально мыслящие люди, поклонники и последователи коммунистического движения идут в модах на выучку западноевропейской буржуазии.

Я не подтасовываю факты, так виделась мне Москва.

В эту пору Анка Большая, узнав о нашем приезде, зашла к нам. Я сразу ее узнала и потянулась к ней. Она не была так свежа и хороша, как в пору моего детства, но была все еще в расцвете женских чар и прелести. Она была подкрашена как большинство московских женщин, одета элегантно и изящно. Она была непринужденно весела, мила со мной, с отцом и с Димой. Без конца рассказывала она о своем муже. Нет, это был не герой ее юности! Он был человек хорошего происхождения, бывший барон Менгенштеерна, а сейчас занимал важную, ответственную должность. У них сын, годовалый очаровательный мальчик. Недалеко от нас, на Поварской, маленькая, но очаровательная квартирка, и няня у мальчика очень удачная. Анка сама не работает, но одна справиться с сыном и домом не может.

Анка расспрашивала нас обо всем. Она очень просила нас с Димой зайти к ней в гости. Она обещала поговорить со своим мужем о моем устройстве на работу. Может быть, с приисканием квартиры она тоже может помочь.

Дути во время Анкиного посещения дома не было. Вернувшись и узнав о посещении, она иронически улыбнулась. Да, Анка жена какого-то крупного чиновника, живут они богато. Муж ее бывший эсер, давший письмо с отказом от партии.

Первым моим желанием было забыть поскорее об Анке, ни в коем случае не просить ни о чем ее мужа, не видеть его. Дима был согласен со мной, но папа возражал.

- Она ваша двоюродная сестра, она разыскала нас не потому, что мы ей нужны. Вам надо пойти и присмотреться к ней, к ее жизни. Может быть, не все так, как говорит Дутя. Вы даже можете объяснить, почему не находите нужным бывать у них.

Мы согласились с папой. Мы пошли к Анке, выбрав такие часы, когда муж ее должен был быть на работе. Анку мы застали одну. Очаровательная женщина в изящном халатике встретила нас в комнате – бонбоньерке. Кроме Анки, в комнате была няня ее прелестного сына, кокетливая, с нарядной белой наколкой на голове, в кружевном накрахмаленном передничке. Дитя спало в кроватке под кисейным пологом.

Анка радостно встретила нас. Она говорила обо всем, больше всего о своем сыне. О чем мы с Димой могли говорить с ней, да еще в присутствии няни. Вскоре явился и муж Анки, самый обычный и самый типичный представитель буржуазии и аристократии. Воспитанный, предупредительный... Все было понятно нам в этом мирке. И изящно сервированный стол, и вкусная закуска, и тонкое вино в хрустальных бокальчиках. Непонятным осталось, почему и зачем вступил когда-то Анкин муж в социалистическую партию. Что общего мог он иметь с социалистическим движением? Да и Анка Большая не подходила в жены революционеру. Нам было понятно, что он отказался от партии эсеров. Зачем ему было быть в стане гонимых? С иронией думали мы о ценном приобретении коммунистов.

На Пречистенских курсах

Осенью Дима был принят в институт. Я жила впустую, найти работу мне не удавалось. Безработица была очень велика. На бирже труда толпились массы людей. Случайно я узнала, что на Пречистенских Курсах открывается филиал Сельскохозяйственного института и туда принимают без командировок от рабочих и советских организаций. Я подала заявление, запросила свои документы из Харькова, а пока приложила свою зачетную книжку. Было мне уже 23 года. Институт организовался заново, открывался всего один курс. И все же я была счастлива, попав опять хотя бы на I курс. Уйти в учебу, войти опять в студенческую среду...

Высшая школа за эти годы изменилась. Студенческий состав был другой, изменилась и профессура. Многие профессора были удалены. Программы были насыщены политэкономическими науками. Как отдельная дисциплина вводился исторический материализм. Советская Конституция заменила учение о праве и государстве, политэкономия сводилась к изучению «Капитала» Маркса. Изменились и учебные пособия. Штудировались «Азбука коммунизма» Бухарина, «Государство и

революция» Ленина. Жизнью вуза заправляла партийная организация профессоров, коммунистическая организация студентов.

Институт, в котором училась я, был еще каким-то исключением из общего правила. Открыт он был по инициативе профессоров Пречистенского института, существовавшего еще в царские времена. Тогда он считался одним из либеральных институтов России. Теперь наш вновь открытый сельскохозяйственный факультет как-то выпал из сферы коммунистического влияния. Среди профессуры и студентов коммунистов почти не было. Студенческая ячейка нашего факультета насчитывала всего семь человек, да и те не отличались активностью. Остальное студенчество вовсе не интересовалось общественной жизнью. Профессора у нас были очень хорошие, особенно Егоров, читавший историю.

Студенчество старательно штудировало указанные пособия, не внося никаких общественных мыслей, не затрагивая острых вопросов.

Помню три реферата, прочитанных у нас на курсе. Один из них принадлежал мне. Темы точно я не помню, что-то из истории развития арабского мира. Но помню, что я с увлечением готовилась к своему реферату. Тема была разбита на две части между мной и еще одним студентом. Мне досталась первая часть – истоки развития арабского мира. Часами работала я в Румянцевской библиотеке, собирая материал. Больше всего стимулировало меня в моей работе над рефератом желание утвердить равное значение влияния различных факторов на историю развития народов: географического, экономического, религиозного, политического.

Когда я прочитала свой реферат перед студентами, наступила тишина. Неоднократно предлагал профессор аудитории выступить по реферату, никто не произнес ни слова. Тогда профессор предложил заслушать вторую часть реферата. По ней открылись прения. В ней все было на месте. Диалектический ход развития общественной жизни... развитием производительных сил объясняются все этапы развития страны... На материальном базисе вырастали надстройки... Все было подтверждено цитатами из Маркса, Ленина. Прения по докладу развернулись уверенно, хотя слушался он с меньшим интересом, чем мой.

После доклада профессор задержал меня.

- С литературной стороны ваш реферат написан хорошо, и видно, что вы проработали большой материал, но вы, наверно, сами понимаете, что это не то, что нужно. Вы видите, никто из студентов не захотел выступить по вашему реферату. Нас интересует стержень экономического развития, развития производительных сил, а вы утопили его в общем ходе развития. Реферат ваш я принимаю, заострять на нем внимание не буду, но посоветую вам впредь не писать таких рефератов. Они не подходят для нашей высшей школы. Читал ваш реферат не я один, его слушал целый курс, и как к нему, а следовательно, к вам, отнесутся, мне трудно судить. Помимо всего я бы советовал вам идти на литературный факультет. Стилистически ваш реферат написан очень хорошо.

От того, как разнес мой доклад профессор, я была на седьмом небе от счастья. В течение последующих дней мне пришлось выслушать аналогичные мнения товарищей по курсу. Одна милая курсистка по секрету сообщила мне:

- Ваш доклад обсуждался на ячейке, нас призвали к бдительности, вас взяли на заметку.

Второй реферат не созвучный эпохе был прочитан студентом нашего курса на занятиях по экономической географии, третий – на занятиях по политэкономии.

Профессора морщились, но рефераты пропускали, и никто организационных выводов, казалось, не делал. Многие профессора наши не были строго выдержанными марксистами. Это, очевидно, и решило судьбу наших курсов.

Всего один учебный сезон просуществовали они. Перед началом весенних экзаменов нам было объявлено о закрытии института. Так был расформирован не только наш институт. С высшей школой велась борьба упорная и систематическая. Школа должна была стать послушным рупором советской власти.

Судьбы студентов закрываемых учебных заведений решались совершенно неожиданно. Студенты распределялись по другим вузам соответственно количеству свободных мест. Одни направлялись на медицинский, другие на юридический, третьи на строительный. В шутку студенты говорили о том, что кого-то перевели на 2-й курс консерватории. Меня направили на 2-й курс промышленно-экономического института имени Бабушкина. Программы институтов не совпадали. Целый ряд предметов оказался у меня не проработанным, как, например, наука о финансах. За нее я и взялась в первую очередь. Два толстых тома профессора Озерова лежали передо мной. Без всякой охоты

взялась я за них и, к удивлению своему, увлеклась. Но учиться в этом институте мне не хотелось. Он был сформирован из прежнего торгового училища. Он должен был подготавливать товароведов. Меня эта специальность не влекла, но выбора не было. Одновременно со мной с нашего курса было переведено еще несколько человек.

Большинство слушателей курса состояло из сельских жителей, и их влекла агрономия. Вместе мы роптали на решение наших судеб.

В институте руководящей была профессорско-студенческая партийная организация. Она являлась правой рукой дирекции, выдвинутой коммунистической партией. Всего месяц проучилась я в этом институте. Этот месяц, собственно, не был месяцем занятий – шла полоса осенних зачетов. На дому, группой, готовились мы к ним.

Исключение

В один из дней, войдя в институт, я увидела группу студентов, толпившихся перед вновь вывешенным объявлением: на доске был вывешен список тех студентов, которым предлагалось зайти в канцелярию по вопросу о пребывании в институте. В списке значилась и моя фамилия. Некоторые из указанных в списке уже побывали в канцелярии. Одним из них было объявлено об исключении, другим предложено было представить в канцелярию института дополнительные документы: командировку в институт от какого-нибудь учреждения, партии, профсоюза, сельсовета, или же рекомендацию от трех членов коммунистической партии.

Заранее зная, что никаких документов я представить не смогу, направилась я в канцелярию с ясным сознанием обреченности на исключение. Но мне не предложили доставать дополнительные документы, мне сообщили об исключении меня из рядов слушателей. Я попыталась выяснить причины исключения, но никаких объяснений мне не дали. Из канцелярии меня направили к секретарю комсомольской организации.

Молодой парень с суровым лицом принял меня и просто напросто отказался разговаривать со мной. Не знаю, была ли я огорчена, возмущена я была очень и самым фактом исключения и тем, как реагировало студенчество на чистку в вузе. Не внесенные в список старались не задерживаться перед объявлением, скорее проходили к аудитории. Занесенные в список принялись обивать пороги сильных мира сего. Товарищи, поджидавшие меня, услышав мой рассказ, с перепуганными лицами, побормотавши нечленораздельно слова сочувствия, поспешили куда-то смыться.

Без сожаления захлопнула я за собой дверь вуза. Я понимала – с учебой покончено навсегда. Меня интересовало, чем же, в конце концов, мотивировано исключение. Какими материалами против меня располагал институт? Социальное происхождение? Известна им моя принадлежность к партии с. – р. в 1917 году? Проведали о моих настроениях сейчас?

Теперь предо мною стал вопрос о моем трудоустройстве. С работой в Москве было очень трудно. Мне удалось все же узнать, что при бирже труда созданы экспертные комиссии, выдающие свидетельства на право получения работы по специальности.

Библиотечная работа

Получить какую-либо конторскую работу не было никакой возможности, ее добивались тысячи людей, часто опытных, с большим стажем. Легче обстояло с работой библиотечной. Достав программы и ряд руководств, я стала готовиться к экзаменам. Экзамены сдавались при экспертных комиссиях биржи труда. Сдавалось библиотековедение и, конечно, политграмота. Последнее меня не смущало, так как все необходимые знания были приобретены при подготовке в вузе к зачетам, но над библиотековедением я прокорпела месяц.

Сдала экзамен, получила свидетельство, стала на учет в секции библиотечного дела. Тогда начались бесконечные хождения на биржу труда в ожидании направления на работу. В конце концов, я получила нечто напоминающее посылку на работу. С биржи труда меня направили в качестве практикантки в библиотеку им. Гоголя. Библиотека помещалась в Кудринском районе Москвы, совсем недалеко от зоосада, где мы жили.

В библиотеке заведующая – маленькая, сухонькая, хроменькая женщина – встретила меня неприветливо. Прежде всего она осведомилась, принадлежу ли я к партии, и, получив отрицательный ответ, вовсе нахмурилась, но до работы практиканткой допустила, не допустив, однако, до выдачи книг.

Мне было поручено составление библиотечных карточек. Работа была несложная, но неинтересная. Почерк у меня был неважный, и карточки, написанные мною, по красоте уступали карточкам, написанным другими сотрудниками.

Взаимоотношений ни с кем из работников библиотеки у меня не сложилось. Молча приходила я на работу, молча уходила, точно так же держали себя остальные сотрудники. Только коммунистки были как-то связаны между собой. У них проходили какие-то собрания, совещания, на которые другие работники не допускались.

Месяца через полтора, вынужденная срочной необходимостью, заведующая послала меня в помещение библиотеки. Большая комната в подвальном этаже сверху до низу, начиная с бесконечных полок и кончая полом, была завалена книгами. На единственном огромном столе стройными пачками лежали новые, нуждающиеся в обработке книги. То были кипы современной политической литературы, вышедшие тысячными тиражами. Их и поручила мне разобрать заведующая. Сама она приходила и уходила, наблюдая за моей работой. К тому времени я уже невзлюбила эту сухую, черствую женщину. Я возненавидела ее теперь.

Старательно пробиралась я между книг, валявшихся на полу. Она небрежно топала прямо по ним своими хромыми ногами.

Конечно, в ее отсутствие я ознакомилась с книжными богатствами, брошенными на пол. Здесь были массы изъятых книг. Нашла и папку с бумагами и списками книг, подлежащих изъятию из библиотек. Перечесать их всех мне не удалось, но груды изъятых книг говорили сами за себя. Часть их стояла по полкам: Достоевский, Толстой, Арцыбашев, Куприн, Бунин, Короленко... Это была беллетристика, что же говорить об истории? Она, по-моему, была изъята вся. Изъятыми оказались работы о декабристах, о народолюбцах, конечно, весь Михайловский, весь отдел философии, социологии и политэкономии. Бедный Туган-Барановский, по которому я когда-то сдавала зачеты по политэкономии! На полу, по которому топала заведующая, лежали ценнейшие книги, реквизированные из частных библиотек, на них не было библиотечного штампа. Тут были книги старинные, в толстых кожаных переплетах, роскошные издания-альбомы с репродукциями лучших мастеров России, Западной Европы. Как хотелось мне подобрать их, вынести наверх, сделать доступными читателю.

Нелегальное студенческое движение

В декабре 1923 года или в январе 1924 года, вернувшись из библиотеки, я застала дома гостей. Веру Хрусталеву я знала давно, с мужем ее, Мощенко, я познакомилась только теперь. Вера в дореволюционные годы дружила с Дутей, она вместе со своим братом и его репетитором Алешей Ивановым бывала у нас в Сорочине. Тогда вся их компания левонастроенной молодежи была мне далека, я была еще совсем девочкой.

Узнав от Дути, что папа в Москве, Вера с мужем зашла к нему. С Дутей у Веры дружбы давно уже не было. Жизнь они принимали по-разному.

К этому времени и наши отношения с Дутей и ее мужем обострились настолько, что мы жили уже врозь, хотя и в одной квартире.

В связи ли с пьянкой, в связи ли с буржуазным окружением, которое, очевидно, составляли мы, или в связи с тем и другим вместе, Степана сняли с руководящей работы и вернули на производство в типографию. Сестру тоже исключили из партии.

Мы жили уже не на старой квартире при конторе. Наша комната и комната сестры были разделены большой проходной комнатой, которой никто не пользовался.

В этот день я застала папу, Диму, Веру и ее мужа за оживленной беседой. Говорилось обо всем, что волновало людей тех лет. По настроениям Вера и ее муж оказались нам очень близки. Не помню, как это случилось, но после ряда встреч Мощенко предложил нам с Димой познакомиться, связать нас с группой студенческой молодежи, социалистически настроенной, и, если не прямо, то косвенно связанной с партией эсеров, находящейся в глубоком подполье.

Мы радостно благодарили его, но просили предупредить посланца о том, что с Дутей и ее мужем и при них нельзя вести никаких разговоров. Мощенко ответил, что он это знает, что он хотел даже предупредить нас, чтобы мы не говорили о нем с сестрой.

Неделю или две спустя к нам пришел юноша лет двадцати трех. Тонкий, стройный, со своеобразным, приметным, может быть, немного угрюмым лицом. Он представился нам как студент Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Мы сразу поняли, кто прислал Сергея

Сидорова. Мы были ему рады. После довольно долгой беседы, в которой и папа принимал участие, Сергей предложил познакомить нас со своими товарищами. Он дал нам адрес, по которому мы должны были прийти в условленный день и час. Сергей нам всем очень понравился.

В назначенный день и час мы с Димой пошли на Поварскую. Мы легко нашли проходной двор и дом. Комната, в которую мы вошли, была маленькая, типично студенческая, а ее хозяин, Григорьевич, походил как две капли воды на вечного студента. Уже немолодой, лет тридцати, с длинной взлохмаченной шевелюрой, с длинными свисающими усами, высокий, сутуловатый, худой. На нем была поверх косоворотки наброшена студенческая поношенная тужурка.

Когда мы вошли, он сидел на своей койке позади стола. Стол был завален книгами и газетами. Кроме стола и кровати в комнате было три простых деревянных табурета. На широком подоконнике стоял чайник, стакан на блюдце, какая-то кастрюлька и примус. Вид у комнаты был довольно-таки неопрятный, холостяцкий. Кроме хозяина в комнате находилось еще два студента.

Раз в неделю собирались мы в этой квартире. Здесь мы говорили на возвышенные темы, обсуждали студенческие дела. По настроениям мы все сочувствовали партии эсеров. Но то, что наша группа была связана с партией, по-моему, знали только мы с братом и Сергей. Наша группа была одним из звеньев цепочки, связывающей нелегальное студенческое движение.

По конспиративным соображениям каждое звено состояло из 5 человек. Каждый член звена должен был организовать вокруг себя новую пятерку.

Мы с братом не знали ни подлинных имен, ни фамилий никого из товарищей, кроме Сергея. Не знали и они наших. Лица, о которых сообщалось, шли обычно под кличками. Все эти предосторожности соблюдались потому, что в студенческой среде шли аресты. В высшей школе шли непрерывные чистки студентов, увольнения профессоров. Молодежь, еще хранившая традиции прежней школы, боролась за свободную, независимую от государства, самоуправляющуюся школу, за свободу собраний, сходок, за свободное избрание студенческих организаций.

Может быть, наивно было бороться за свободную школу в стране диктатуры, но молодежь ни с чем не хотела соглашаться и отстаивала свои права.

На наших собраниях зачитывались или получались для прочтения отдельные номера «Социалистического вестника» (нелегального органа с. – д.) и «Революционной России» (нелегального органа партии эсеров). Из них, кроме руководящих статей, мы узнавали о событиях в стране, о новых арестах, из них мы узнали и о расстреле заключенных 19 декабря 1923 года на Соловках. Узнавали мы на наших собраниях об арестах среди студенчества Москвы и Ленинграда. Одной из наших задач было собирание средств для оказания помощи арестованным и сосланным студентам. Материальную помощь мы обычно оказывали через существовавший тогда «Красный Крест Помощи Политзаключенным». Возглавляла его жена Горького, Екатерина Павловна Пешкова.

Лично знакома я с нею не была, но слышала о ней много восторженных отзывов. В последующие годы, вплоть до 1937 года, мне и моим товарищам она оказывала большую помощь.

Очевидно, весной 1924 года правительство решило окончательно сломить сопротивление высшей школы, по крайней мере, аресты среди студенчества стали массовыми. В студенческом сопротивлении властям разброд царил потрясающий. Против линии партии, проводимой партией в высшей школе, выступали самые разнообразные группы студентов, от революционно до реакционно настроенных. Нашей задачей стало разъяснение в среде студенчества студенческих требований, выявление определенного направления, выкристаллизовывание соц. групп. Эпизодически социалистическим студенчеством выпускались листовки, освещавшие те или иные события, протекавшие в стране и школе теперь. Мы ставили перед собой задачу создания студенческой газеты, которая должна была освещать жизнь студенчества в различных учебных заведениях Москвы, сообщать о жизни студентов других университетских городов, обосновывать требования, выдвигаемые студентами.

Не помню, какое название хотели мы дать своей газете, но выходить она должна была под аншлагом эсеров «В борьбе обретишь ты право свое». Конечно, мы и не мечтали о печатном станке. Приобретение шапирографа, краски, восковки, пишущей машинки, даже просто бумаги в те годы было очень затруднено. Все эти товары распределялись по ордерам. Мы занялись собиранием средств и точно проверенного материала о жизни высшей школы. Передовую статью обещал достать Сергей у старших товарищей. Дома никто, кроме отца, не знал о наших встречах, о наших собраниях. Наша жизнь стала содержательней.

В феврале или марте Дутя предложила мне работу, очень увлекшую меня. При Госиздате организовывалось отделение по массовому издательству книг для сельских читателей. Возглавил это отделение известный профессор русской литературы С. Предполагалось сокращение ряда крупнейших литературных произведений. Дутя была знакома с профессором и от него узнала, что издательству требуются сотрудники для обработки и сокращения отобранных книг. Сестра предложила мне попробовать свои силы на этой работе. Я ухватилась за предложение обеими руками. В Гизе, поговоривши со мной, профессор С. предложил мне взять для пробы роман Джека Лондона «Мартин Иден». В случае удачи роман будет принят к печати, а я зачислена в штат сотрудников.

Дни и ночи просиживала я за работой. Очень волновалась, чувствовала большую ответственность. Я любила Лондона, а «Мартин Идена» считала прекрасной книгой. Из всех сил старалась я не исказить, не обеднить автора, сохранить его литературный стиль и в то же время уложиться в нужное количество листов. Работу я проделала. Прочитала отцу и получила его одобрение. Только мы с отцом недоумевали, почему была выбрана эта вещь, так не вязалась она с соответствующими установкам большевиков, была, как говорится, «не созвучна с переживаемой нами эпохой».

Я понесла листы в Гиз. Я трепетала. Я была не уверена в себе: ведь это был мой первый литературный опыт.

Через неделю мне вернули рукопись. Редактор нашел ее неподходящей. Конечно, я была очень огорчена. Я заглянула в рукопись. Вся она была испещрена пометками, исправлениями. Чуть не бегом мчалась я домой. Хотелось ознакомиться с ошибками. Я забралась в самый уединенный уголок зоосада и погрузилась в чтение.

Домой, к папе, я влетела взбешенная. Я потрясала листами и задыхалась от волнения. Ни с одним исправлением я не была согласна. Мало того, я находила их неверными, неграмотными. Многие из них исправляли не меня, а Лондона. Я показывала свою рукопись всем, кто соглашался смотреть. Никто не понимал причины исправлений.

Тогда я отправилась в Гиз. Я добились свидания с профессором. Чуть не со слезами на глазах доказывала я свою правоту, просила об объяснении допущенных ошибок. Он взял рукопись и начал листать. Мне кажется, ему стало жаль меня. Он сказал, что сам посмотрит мою рукопись и тогда скажет мне свое мнение. За ответом он просил зайти недельки через две, так как очень занят. Окончательный отзыв профессора окрылил меня. Казалось, чему было радоваться? Профессор сказал, что вещь не пойдет по независящим от него обстоятельствами, но что он не согласен с исправлениями, что он считает мою работу удачной. Литературная сторона сокращений его вполне удовлетворяла. Не моя вина, а вина Гиза, сама вещь была выбрана неудачно. Она не подходит по тематике для изб-читален. Профессор сказал, что намерен принять меня в число сотрудников и просил зайти к нему в конце месяца, так как сейчас они загружены другой, срочной работой. Я обещала зайти. Я страшно хотела зайти, примкнуть к литературной работе, но сомнения мучили меня. «Мартин Иден» оказался неподходящим для редакции, окажутся ли подходящими по содержанию для меня те книги, которые предложат мне для сокращения? Смогу ли я взять социальный заказ? Соблазн литературной работы был велик. Устою ли я перед соблазном?

Жизнь не поставила меня перед решением сложных вопросов вхождения в советскую литературу, компромиссов с совестью. Жизнь решила этот вопрос помимо меня. В Госиздат я больше не пошла.

Сергей Сидоров предупредил меня и Диму:

- Идя к Григорьевичу, поколесите по Москве и смотрите внимательнее, не следит ли кто-нибудь за вами. Нам кажется, что за квартирой установлено наблюдение. Если заметите что-нибудь подозрительное, не приходите вовсе. Если за вами слежки не будет и на окне будет стоять свеча, заходите. Собираемся там в последний раз.

Слежки за собой мы не заметили. Свеча на подоконнике горела. Мы вошли в дом. Товарищи были в сборе. Григорьевич рассказал, что у дома все время торчит какая-то подозрительная личность, похоже, шпик. Дворничиха тоже рассказала ему. Что у нее наводили справки, бывают ли у студента товарищи и часто ли они собираются. Может быть, у страха глаза велики, во всяком случае, в целях предосторожности собираться у Григорьевича больше не стоит. Собственно, мы планировали перерыв во встречах, но не сейчас, а после выпуска первого номера нашей газеты. Для выпуска

первого номера у нас было все уже подготовлено. Шапирограф, чернила, бумага – все запасено. Найден был человек, который должен был на пишущей машинке напечатать восковку, подобраны люди для распространения газет. Нам необходимо было собраться еще раз для обсуждения газетного материала в целом и установления явок для получения напечатанных листовок. Печатать, то есть делать оттиски, было решено у нас дома. Ночами думали мы с Димой вести эту работу. Комната была изолированной, нас двое, помощников нам не надо, а явка за листами в зоологический сад тоже могла протекать незаметно. Мало ли людей идут смотреть зверей. Конечно, проводить собрание там, где предполагалось печатание, не следовало, но другого выхода не было. И порешили собраться у нас. Осторожно, по одиночке, разошлись мы по домам, с тем, что завтра собираемся у нас в последний раз.

Дома мы обо всем рассказали отцу. Бедный папа! Он боялся за нас. Хмурил брови, проклинал свою инвалидность, но ни одного слова возражения мы от него не слышали. Папа полностью разделял наше возмущение тем, что творилось вокруг. Понимал наше желание принять посильное участие в борьбе студенчества за свободную школу в «свободной стране». Так формулировались нами требования в передовой статье нашей газеты.

Вечер следующего дня начался очень удачно. Сестра и ее муж ушли куда-то и, когда пришли товарищи, никого, кроме нас с отцом, дома не было. Папа лежал на своей кровати, занавески на окнах были опущены, каждый из приходивших сообщал, что за ним наблюдения не было, что хвоста за собою он не привел.

Усевшись за столом, мы в последний раз пересмотрели материал, сведенный уже в один лист и расположенный в должном порядке. Я не помню уже всего собранного нами материал. Помню, что была там моя заметка об изъятии книг из библиотек, информация о последних арестах среди студентов, произведенных в Москве, с перечнем фамилий, заметка об увольнении ряда профессоров из университетов, предлагающая студентам бойкотировать профессоров, назначенных на место исключенных. Был в газете раздел «За что бороться?» Там выдвигалось требование независимости высшей школы от государства, экстерриториальности ее помещений, свободы слова, собраний, сходов для профессоров и студентов, возвращения в университетские книгохранилища и библиотеки изъятых книг, возвращения из ссылки всех арестованных за студенческие выступления студентов, прекращения чисток в высшей школе по социальному положению и по политическому убеждению.

Прочитав материал, условившись о количестве оттисков, и о том, где, кто и когда будет получать напечатанные листы для их распространения, товарищи ушли. Последним вышел Сергей. Он сказал на прощанье:

- В случае если меня арестуют, связь с партией будете держать вы. Кроме вас и меня никто не имеет нити.

Я молча кивнула головой, а Дима сказал:

- Будем верить, Сергей, что ты еще продержишься.

В комнате было сизо от табачного дыма, и как только Сергей вышел, я быстро подошла к окну и толкнула плотно закрытые оконные створки. Занавески всплеснули, взвились за окно. Я до половины высунулась вдохнуть свежей прохлады весеннего вечера.

Что это? Или мне только показалось, что кто-то шарахнулся во тьму, в кусты, растущие вокруг нашего домика? Я вглядывалась пристально, прислушивалась... Нет никого, тишина. «Причудилось», - решила я и ничего не сказала ни отцу, ни брату. Поспешно убрали мы все в нашей комнате, уничтожили все черновые заметки. Оставался один уже перепечатанный на машинке экземпляр газеты. Мы с Димой хотели заложить его в одну из книг, но папа решительно потребовал, чтобы этот лист был заложен в матрац, на котором он лежал. Мы не противоречили. Только успели мы это сделать, как в дверь постучали.

Первый арест

- Здесь живут Олицкие? – раздался мужской голос. Одновременно дверь отворилась. На пороге нашей комнаты стоял человек в форме чекиста. За ним следовали еще двое. Четвертый был в штатском.

Я взглянула на отца. Папа был очень бледен.

- Мне поручено произвести обыск в вашей квартире, - сказал чекист.

- Предъявите, пожалуйста, ордер, - ответила я.

Достав из портфеля очень толстую пачку ордеров, он полистал ее, вынул одну бумагу и положил на стол. Я, наклонившись, прочитала ее и подала брату. Ордер был на обыск и арест Екатерины и Дмитрия Олицких.

- Пожалуйста, - сказала я и отошла в сторону. Брат тоже отошел в сторону и сел на кровать к отцу.

Во время обыска никто из нас не проронил ни слова. Чекисты рылись всюду. Они перетряхивали, перелистывали книги, простукивали пол и стены.

- А кто это сейчас вышел от вас? – спросил главный.

- От нас? – удивились мы. – Никто от нас не выходил.

- Напрасно отрицаете, мы знаем, что у вас были люди.

Я все время думала про шорох под окном. «Донос, явно донос, и они ищут газету». Но я врала, что у нас никого не было, может, из квартиры кто и выходил. Я знала, что муж сестры недавно возвратился и снова ушел.

Обыск был закончен. У нас ничего не нашли. Чекисты составили протокол, его подписали мы и понятой.

- Можете идти, - сказал ему чекист. Понятой как-то сгорбившись, попятился к двери, вышел и закрыл за собою дверь. Следом она снова открылась, на пороге стояла Дутя, она только что вернулась домой. Из-за ее спины виднелось насмерть перепуганное лицо Пети.

- Это к вам? – спросил чекист и направился к двери.

- Это сестра, - ответила я.

- А-а-а... - протянул он, - простите, здесь производится обыск, посторонним вход воспрещен. Сестра молча отступила и закрыла за собой дверь.

- Оденьтесь и идите со мной. Вещей с собой брать не надо.

Я одела жакет и шляпу, брат надел тужурку. Мы подошли проститься с отцом. Мы крепко поцеловались. Слабые руки отца дрожали.

У подъезда стояли две легковые машины. В одну из них сели мы с братом и один из чекистов.

- Вези на Лубянку, - сказал старший и направился ко второй машине.

«За следующими», - мелькнуло у меня в голове. Я вспомнила толстую пачку ордеров, из которой он выбрал наш.

Мы с братом сидели рядом на открытой машине и крепко держались за руки. Мы молчали, ведь рядом сидел спутник, но я знала, что оба мы думаем об отце. Когда мы выходили из своей комнаты, в проходной комнате стояла Дутя. С нахмуренным, сердитым лицом смотрела она в сторону, но все же бросила нам:

- За отца можете не беспокоиться.

Мало успокоила меня эта фраза, я знала, каково сейчас отцу.

На Лубянке-2

У Лубянки-2 машина заехала во двор и остановилась против большой двери. По узкой лестнице предложили нам подняться наверх. На площадке третьего этажа брату велели войти в дверь направо. Под окрик сопровождающих мы все же пожали друг другу руку. Я поднималась выше.

На четвертом этаже дверь открылась и передо мной. Из коридора я попала в маленькую, совершенно пустую комнату. Первым поразило меня то, что все двери открывались и закрывались как бы сами. Беззвучно по устланным дорожками коридорам двигались надзиратели, без слов понимавшие друг друга. Из редка они стучали ключами по пряжке пояса.

Через минуту после меня и конвоира в комнату вошла пожилая женщина.

- Обработайте, - сказал ей конвоир и вышел.

Женщина подошла ко мне и сказала:

- Разденьтесь. Обыскать мне вас нужно.

Я сняла платье. Обыскала меня эта женщина очень поверхностно, без придирчивых гнусных приемов, что поняла я, впрочем, потом, когда прошла через целую вереницу обысков разных лет.

При обыске у меня ничего взято не было. Я снова одела платье. Молча стояли мы друг перед другом. Потом дверь отворилась, и появился надзиратель. Молча, рукой, указал он мне на дверь. Теперь мы долго шли коридором. Он был разделен перегородками на части. У каждой перегородки с обеих сторон двери нас встречал и провожал постовой. По обеим сторонам шли двери камер. Над каждой дверью стоял номер. В каждой двери был прорезан круглый глазок. Наконец, мы дошли до

камеры, дверь в которую была открыта. Сопровождавший рукой указал на нее. Я переступила через порог, и дверь за мной закрылась. В замке щелкнул ключ.

Первое, о чем я подумала, очутившись в камере, что щелканье замка, так жутко описываемое в рассказах о тюремной жизни, не произвело на меня тяжелого впечатления. Напротив, первым чувством было чувство облегчения – наконец-то я одна. Одна, и в тюремной камере. В тюремной камере, через которую прошло столько лучших людей России. Я даже считала себя недостойной быть посаженной в тюрьму. Ведь я ничего, ничегошеньки, не успела сделать. С интересом стала я осматриваться вокруг. До удивительности все было знакомо по воспоминаниям отца. Окно за решеткой, койка, правда, не привинченная к стене, столик, в углу у двери – параша. Стены до половины, пол и все предметы выкрашены коричневой краской. В двери прорезан волчок – круглое застекленное отверстие, со стороны коридора оно задернуто пластинкой...

Сперва мне показалось, что окно упирается в стену противоположного здания, но нет, на расстоянии четверти от окна подвешен к нему железный, тоже коричневой краской окрашенный щит. Это усовершенствование – о таких щитах я не слышала. Под окном – батарея центрального отопления, вдоль стены трубы идут в другие камеры... и мелькает мысль: «А по ним можно перестукиваться». Над волчком двери большая картонка с правилами внутреннего распорядка: Заключенные обязаны... Заключенным запрещается... Заключенным разрешается...

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАНЫ: а) поддерживать чистоту в камере; б) исполнять все законные требования администрации; в) вставать при обходе камер начальником тюрьмы; г) ежедневно выносить и вымывать парашу.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: а) нарушать тишину в камере; б) подходить к окну и класть что-либо на решетку и подоконник; в) входить в общение с соседними камерами, стучаться в стены и трубы водопровода; г) громко разговаривать, петь и кричать в окна; д) делать надписи на стенах камер.

ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШАЕТСЯ: а) ежедневная 16-минутная прогулка; б) хранить в камере зубной порошок, зубную щетку и мыло; в) хранить в камере разрешенные продукты питания; г) получать с разрешения следователя передачи раз в декаду; д) с разрешения следователя раз в месяц свидание с родными.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО: а) подавать жалобы и заявления через начальника тюрьмы раз в декаду во время обхода начальником камер; б) в случае надобности вызывать дежурного по корпусу или врача.

Я внимательно изучала правила, меня очень интересовал внутренний распорядок советских тюрем. И тут я услышала, уловила в окружающей меня тишине легкий размеренный стук в стену. Доносился он откуда-то сверху. Четкие удары. Раз, два, три – пауза. Опять раз, два, потом раз-два-три-четыре и раз-два-три. По рассказам отца я знала о перестукиваниях заключенных и о тюремной азбуке. «Папа! Что-то он делает сейчас? Не спит? Думает о нас? Как он будет жить без нас?»

Я ни в чем не раскаиваюсь. Я знала и раньше, что так, в конце концов, случится. Я ничего не могла изменить. Но теперь, когда это случилось, мне было невыразимо больно за отца. Бросив свои исследования и наблюдения, я подошла к койке и легла, не раздеваясь. Ведь я пробовала жить всячески. Но мне, очевидно, нет места там, на воле. Нет места в институте, нет места на работе. Как жить? Мириться со всем, что окружает? Молчать о безобразиях, молчать или прикидываться сочувствующей? Восторгаться всем тем, что возмущает? Подделываться и подмазываться... Вот тогда можно жить. И хорошо жить!

Мысли мои прервал шорох у дверей. Это щелкнул волчок. В круглое стеклышко, вделанное в дверь, смотрел человеческий глаз. Встретившись с моим взглядом, он исчез. Стеклышко закрылось. Через минуту или две волчок снова щелкнул. И вслед загремел ключ в замке. Дверь открылась.

- Получите одеяло, простынь, наволочку, полотенце.

Я взяла поданные вещи и постелила постель. Раздеваться мне не хотелось. Я прилегла одетая. Через небольшой промежуток времени надзиратель приоткрыл дверь.

- Раздевайтесь и ложитесь спать.

Я никак не реагировала на его голос. Больше меня никто не тревожил, я могла думать, думать, сколько хочу. Кругом меня тихо стучали стены.

«Надо вспомнить тюремную азбуку», - подумала я, но ничего не вспомнила. Очевидно, я задремала. Разбудил меня звук отпираемого замка и стук открываемой двери. Порог переступила

молоденькая девушка с узелком в руке. Она решительным шагом вошла в камеру, положила свой узелок на стол и села на свободную койку. Я тоже села на своей койке.

- Здравствуйте, - сказала я, - вас только что арестовали?

- Да, - ответила она. – А вы давно сидите?

- Меня тоже сегодня арестовали и привезли сюда.

- Тогда давайте знакомиться. Я Вера Рыбакова, студентка исторического факультета. А вы – тоже студентка?

- Нет. Пожалуй, что нет. Меня вычистили из промышленно-экономического института еще осенью. Но взяли по студенческому делу.

Вера чуть приподняла брови.

- А меня без всякого дела. Ужас, сколько студентов сегодня арестовали. Перед 1 мая, конечно.

Так начался разговор с Верой. Мы сказали друг другу, что мы беспартийные, что мы взяты случайно. Но не больше, как через час, мы знали друг о друге многое. Я поняла, что Вера причастна к с. - д. студенческим организациям; она поняла, что я сочувствую эсеровскому движению. Мы даже успели поспорить на одну из социологических тем. Но это не помешало тому, что между нами сразу установилась близость. Усевшись рядом на тюремную койку, мы сообщали друг другу про последние аресты товарищей, которые были взяты раньше нас. О тех, кто пошел на Соловки, в Суздальский политизолятор. Обе мы ставили перед собой вопрос, в чем причина нашего провала, нашего ареста? Донос?... Чей? Кто выдал?

Не раз во время нашей беседы к двери нашей камеры подходил надзиратель. Не раз щелкал волчок. Мы не обращали на это внимания. Ни я, ни Вера не считали нужным скрывать установившуюся между нами близость. Мир теперь делился для нас на две группы. Мы – арестанты, они – тюремщики. Наконец, Вера встала с койки и, как я немного раньше, стала осматривать камеру. Мы заходили по камере, задвигали Вериной койкой, стоявшей у противоположной стены. Вероятно, это услышали наши соседи. В стену камеры над Вериной койкой послышался легкий, осторожный выбивающий дробь стук. Вера быстро подошла к стене и косточкой согнутого пальца застучала в ответ. Тогда в стену послышались четкие ритмические удары. Вера взглянула на меня вопросительно.

Я морщила брови. Папа рассказывал. Азбука разбивается на ряд строк. Первый удар – строка, второй – буква. Сколько строк, сколько букв в строке? Соседняя стена стучала, а мы ничего не могли понять.

- Кажется 5 строк по шесть букв, - фантазировала я.

Но как запомнить, где стоит какая буква? Ни карандаша, ни бумаги у нас с Верой не было. Были папиросы и спички. Развернули окурок, обугленной спичкой мы стали выцарапывать азбуку, разбивая ее по строкам. Пока мы возились с азбукой, стена вызывающе постукивала. Изредка Вера подходила к ней и давала частую дробь. Или гладила стену.

- Сейчас. Ну вот сейчас, - говорила она.

Мы не сомневались, что за стеной друзья. Наконец наша шпаргалка была готова. Теперь мы с Верой, путаясь и заглядывая в нее, застучали:

- Кто вы?

Соседи, выслушав дробь, умолкли, а потом забарабанили снова. Мы пробовали по шпаргалке понять их стук, но ничего не выходило. Тогда мы стали выстукивать им просто первую строку азбуки.

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6.

2/1, 2/2, 2/3, 2/4...

Ура!!! Соседи нас поняли. Они замазали стенку и четко выстукали ответ. Азбука делилась на 6 строк. В каждой строке было 5 букв. В этот вечер мы больше не стучали. Мы, каждая, изготовили себе по шпаргалке и, лежа в кровати, стали учить азбуку, пока не заснули.

Второй день заключения начался новыми переживаниями. Подъем, оправка, первая тюремная еда. Вера оказалась запасливей меня. В ее узелке была добавка к первому тюремному кипятку и хлебу – и масло, и колбаса. Мы еще не выучили азбуку, как застучали соседи. Они стучали быстро, мы не могли их понять. Нашего сбивчивого стука не понимали они. Тогда мы с Верой решили поискать другой путь связи. Мы принялись исследовать стену. Под окном нашей камеры был расположен калорифер центрального отопления. Трубы от него уходили в соседние камеры. Исследуя стены, мы установили, что возле трубы, уходящей в соседнюю камеру, есть щель. Проложив к ней ухо, я ясно

различила разговор соседней. Два мужских голоса. Очевидно, если говорить прямо в трубу, будет слышно. Но как сообщить им, как привлечь их внимание к трубе? Прежде всего мы попробовали пустить в дыру дым от папиросы. Это не помогло. Тогда мы вернулись снова к азбуке. Мы выучились стучать слово «дыра», мы отдельными ударами вели их к щели у трубы.

И, наконец, ура, они нас поняли!

По трубе мы услышали:

- Здравствуйте, товарищи, кто вы?

Так началось наше знакомство. Мы были счастливы.

Постепенно мы узнали, что наши соседи – левый эсер Вершинин и с. - д. Петровский. Между нами наладились дружеские отношения. Мы стали болтать через дыру и научились перестукиваться через стену.

Вдохновленные успехом камеры направо, овладев несколько техникой перестукивания, мы решили завязать отношения с камерой налево.

Мы не были опытными тюремными сидельцами, мы даже не сумели прислушаться к тому, сидит ли кто в этой камере, отворяется ли ее дверь на оправку, приносят ли в нее обед и ужин. Мы просто забарабанили в стену. Сперва тихо, потом, не получая ответа, все громче. Наконец, когда мы уже бессовестно гремели в стенку, нам послышался ответный стук.

- Кто вы? – застучали мы и напряженно стали слушать ответ.

Так как мы обе еще не бегло читали азбуку, то при приеме одна из нас, а то и обе, произносили принимаемую букву вслух. Так приняли мы букву за буквой «Д», «У», «Р», «И».

Сообразив значение принятого слова, мы просто шарахнулись от стенки, возмущенно и сконфуженно глядя друг на друга. В коридоре громко хохотал надзор.

Мы с Верой жили дружно. Не тосковали, с надеждой и радостно смотрели в ожидавшее нас будущее. Мы ни в чем не раскаивались, да и не в чем было раскаиваться. Мы даже мечтали иногда, что попадем в тюрьму. Она мечтала о Суздальском полит изоляторе, где были заключены ее знакомые с. – д. Мне хотелось на Соловки, я знала, что там много эсеров. Мы обе чувствовали, что нам необходима встреча со старшими товарищами. Нам нужно было разъяснение целого ряда неясных вопросов. Ничего этого нам воля дать не могла. Там все было задавлено, задушено большевистскими сентенциями, угрозами.

Я очень тосковала и горевала об отце. Волновалась за брата. Диме ведь едва исполнилось 18 лет. Как выдержит он тюремные испытания, следствия, допросы.

Свое поведение на следствии я продумала и решила твердо. Никаких показаний я давать не буду. Я знала партийную установку – если партийная принадлежность органами установлена, не отказываться от партии.

Допрос

На первом же допросе я поняла, что кто-то выдал нашу группу. Из высказываний следователя, державшегося со мной достаточно корректно, я пришла к заключению, что С. Сидоров не арестован. По-видимому, ему удалось скрыться. Григорьевич был арестован. Следователь говорил, что он сознался во всем и выпущен на волю.

Очень тяжело узнать о своем товарище, что он, говоря арестантским языком, «ссучился». Я тяжело переживала измену Григорьевича.

На допросах следователь говорил:

- Вы своим молчанием усугубляете вину. Придется вам, наверное, проехать на Соловки. Вот ваш брат во всем признался, и мы его выпустим.

Я была уверена, что он врет про Диму, значит, врет и про Григорьевича. Следователь показал мне много фотокарточек. Были среди них незнакомые мне лица. Показал он мне чью-то малограмотную юдофобскую листовку, будто взятую у какого-то Киселева. От нее я категорически отмежевалась.

Через 8 лет, только через 8 лет(!) я узнала, что предал нашу группу С. Сидоров. Возможно, что следователь сознательно набрасывал тень на Григорьевича. Но об этом позже.

5. ССЫЛКА НА СОЛОВКИ

Через месяц, проведенный во внутренней тюрьме, мне объявили, что по постановлению СССР я заключаюсь под стражу на 3 года и отправляюсь на Соловецкие острова. Одновременно следователь

сообщил, что брат получает высылку из Москвы – минус 32 пункта. Это означало, что ни в одном губернском городе он жить не может. Мне было сказано, что в ближайшие дни я получу свидание с родными, что через следователя могу сообщить, какие вещи хотела бы получить от них на дорогу.

Взволнованная, но не испуганная, вернулась я в камеру. Уж если ехать куда-нибудь, то лучше всего на Соловки! В камере я рассказала Вере о приговоре. Она крепко пожала мою руку. Потом она сказала:

- Сегодня соседняя камера нас вызывала.

- Которая? – спросила я.

- Стена «ДУР», - ответила Вера.

- Вы ответили?

Вера отрицательно покачала головой.

- Сначала я постучу соседям о приговоре, - сказала я.

Усевшись на Вериной койке лицом к волчку, чтобы видеть, не пойдет ли надзор, левой рукой, заложенной за спину, я тихонько застучала, вызывая Вершинина. Мы с Верой поделили наших соседей. Мы кое-что уже знали о них. Даже подсмотрели в щель волчка, как они выглядят. Петровский, старый с. – д., подпольщик царских лет, давал нам массу практических советов: побольше ходить по камере, ежедневно делать гимнастику, заниматься языками. Вершинин – молодой украинский эсер – был поэт и мечтатель. Он выстукивал в стенку всякую лирику и даже свои стихи. Едва я застучала, как соседняя камера, очевидно, услышав наш стук, застучала в свою стену. Ее стук сбивал меня, мешал слушать соседей.

- Вера, замажьте стену, - попросила я.

До самого вечера мы, возбужденные моим приговором, не подходили к стене «Дур». Когда мы уже улеглись спать, Вера сказала:

- Все же следует проверить вашу стену. Кого-то туда привели. Я слышала, когда вы были у следователя, как там открывалась дверь. Ужин, по-моему, туда тоже приносили.

Высунув руку из-под одеяла, я осторожно постучала. На мой вызов сейчас же раздалась ответная дробь.

- Кто вы? – простучала я.

Ответ был до того неожиданным, что вызвал во мне сомнения.

- Эсерка с Соловков Сима Юдичева.

Сегодня я узнала о том, что еду на Соловки, и сегодня же за стенкой появляется эсерка с Соловков...

- Подозрительно, - шепнула я Вере, но все же продолжала разговор. Свой-то приговор я могла без риска сообщить каждому.

Сима простучала нам, что ее родители без ее ведома хлопотали о ней и ее вызвали с Соловков. Следователь предложил ей отречься от партии, дать покаянное письмо. Она, конечно, отказалась и следующим этапом едет обратно на Соловки. Сима выстукала, что болеет, что родители прислали ей в передаче уйму вкусных вещей, но она их есть не может и завтра оставит сверточек нам в уборной. Мы с Симой решили, что, очевидно, поедem на Соловки вместе.

Свидание с родными

Я получила свидание с братом и сестрой. В кабинете следователя застала их обоих. Они сидели на маленьком диванчике у стены. У другой стены, напротив, был поставлен стул для меня. Следователь, сидевший за письменным столом у окна, сказал:

- Свидание – 15 минут.

О чем можно говорить при следователе? А как много нужно сказать! Выручила нас с братом Аня. Она говорила без умолку о том, как проводила лето, как растет ее дочка Лидочка, что уложила в мой чемодан. Мы с братом были благодарны ей. Под ее болтовню мы коротенькими полунамеками обменивались о главном. Конечно, брата следователь уверял, что я даю исчерпывающие показания. Дима прикинулся беспечным мальчишкой, охотно рассказавшим бы все, что знал, но не знает-то он ничего. Кто предал? Кто уцелел? – спрашивали мы друг друга. Нам даже удалось под Анину оживленную болтовню условиться, что в последней передаче с воли Дима передаст мне записочку, что будет она заделана в хвостик колбасы. Быстро пролетели 15 минут.

- Свидание окончено, - произнес следователь.

В ту же минуту была я в объятиях брата, и на ухо он мне шептал:

«Катя, я завидую тебе, но я решил остаться с отцом и потому так держался. Я никого не выдал. Ты веришь мне?» Я крепко сжала его руку. Улыбаясь, смотрели мы на следователя. Он бесновался, кричал, но было уже поздно. Я жала руку сестре, она поспешно договаривала:

- Сшила тебе на дорогу платье Клава, а тетя Аня и Пьерик положили духи. Какая ты дурочка, но все равно все тебя жалеют.

Следователь нетерпеливо открыл дверь. Я была благодарна ему за это.

- Целуйте папу, крепко целуйте папу, - твердила я. Я чувствовала, что слезы подступают к глазам, а плакать... нет, плакать в кабинете следователя я никак не хотела. Быстро повернувшись, я вышла за дверь. Там ждал меня надзиратель. Идя по коридорам и лестницам ОГПУ, я понимала, что ухожу с каждым шагом от всей своей прежней жизни, от папы, от друзей, от воли.

На этап

В камере меня ждало пиршество, - печенье, конфеты, и даже маленький тортик.

- Откуда? – глаза у меня округлились.

- Целое событие, - говорила Вера, - только вы ушли, стучит Сима: «Проситесь в уборную, там под раковиной ниточка, заделана хлебом, тяните за нее». Выпросилась я у надзирателя, говорю, живот болит, он пустил. Нагибаюсь над раковиной умыльщика искать ниточку, а весь пакет лежит на полу. Очевидно, вывалился. Затолкала я его за пазуху, перекинула полотенце через плечо, стучусь надзирателю выпускать, а сама трушу. Но обошлось. Давайте кушать. Так вкусно, я вас еще дождалась.

Прощальный пир во внутренней тюрьме. За обе щеки уплетали мы с Верой сласти. Симе мы простучали «спасибо». Она ответила: «Было свидание с родными, этап, наверное, завтра».

На другое утро, сразу после оправки, открылась дверь нашей камеры.

- Олицкая, к следователю!

- Зачем еще? – удивилась я. Накинув жакет, я вышла. Далеко идти мне не пришлось. Всего две или три двери миновали мы, и меня завели в камеру. В ней за столиком сидели врачи в белых халатах.

- На что жалуетесь?

- Я не записывалась к врачу, - сказала я, - здесь какая-то ошибка, я ни на что не жалуюсь.

- Разденьтесь, я выслушаю вас, - сказал врач.

Пожав плечами, я сняла жакет и блузку. Буквально на одну секунду приложил врач трубку к моей груди.

- Здорова, можете одеваться.

«Что за комедия?» - подумала я, и тут же мелькнула мысль. «Медосмотр перед этапом».

В камере я даже не успела рассказать про медосмотр, как снова открылась дверь.

- Олицкая, к следователю!

Теперь мне пришлось идти долго коридором, лестницей вниз. Это не была дорога к следователю, которую я хорошо запомнила.

Наконец, я очутилась в большой и совершенно пустой комнате. Приведший меня надзиратель указал рукой в угол:

- Получите ваш чемодан.

Я повела глазами за его рукой. В углу комнаты стоял большой папин чемодан. На нем мелом большими буквами написано: **ЧЕМОДАН ОЛИЦКОЙ**.

Я поняла, меня вызвали на этап.

- Мне еще надо вернуться в камеру, у меня там вещи остались.

- Принесли, - буркнул надзиратель.

Вера, милая Вера, нам даже не дали проститься.

Маленькая, худенькая женщина уже суетилась около меня.

- Разденьтесь. Да нет, совсем разденьтесь, до сорочки, и чулки снимите.

Чужие противные руки скользили по моему телу вниз к ступеням ног.

- Рот откройте. Распустите волосы. Можете одеваться.

Прощупывая каждую штуку белья по всем швам, подавала женщина мне их одну за другой.

Какая грязная, как отвратительная профессия... Что ищут они в складках человеческого тела?

Едва я оделась, как в комнату вошел надзиратель и бросил на мой чемодан узелок с вещами, оставленными в камере. Оглянулся на женщину.

- Все, - сказала она.

Тогда он подхватил мой чемодан.

- Берите узелок, пойдёмте.

И снова шли мы по коридорам, снова спускались по лестницам...

Товарищи

Мы вошли теперь в огромную светлую комнату. Посередине ее стоял длинный стол. Рядом с ним надзиратель поставил мой чемодан, на стол я положила узелок.

Почему-то теперь, когда я понимала, что меня готовят к этапу, меня больше всего смущала моя шляпа, черная, газовая, как носили в то время, с большими полями. Куда ее деть? Не могу же я и в тюремный этап идти в такой шляпе! Вслед за мной в помещение, где составлялся этап, привели девушку, которая сперва показалась мне школьницей. На ней было темно коричневое, почти форменное платье, которое едва прикрывало колени. На ногах ее были коричневые чулки и мягкие без каблуков туфли. Русые, растрепавшиеся слегка волосы спускались на плечи и были перевязаны большим черным бантом.

Она не была красива, но высокий матовый лоб и огромные серые глаза создавали впечатление исключительной чистоты и прелести. Лицо ее было очень, очень бледно. Я сразу догадалась – Сима.

- Катя... - чуть вопросительно сказала она, - вот мы и вместе. Как я рада, что вы едете, что я не одна среди уголовных.

Мы крепко пожали друг другу руки.

- А как вы ехали сюда?

- Ну, сюда я ехала спец конвоем. Я все расскажу вам и про Соловки.

Дверь снова отворилась, в нее впустили целую группу заключенных, 4-х мужчин и одну женщину.

- Симочка! – воскликнула женщина и заключила Симу в объятия. Мужчины тоже окружили Симу, жали ей руки.

А дверь открылась опять. Одного за другим приводили мужчин. Один из них сразу присоединился к группе возле Симы. Другие два остановились возле меня. Мы познакомились. Один оказался с. – д., второй, к моему ужасу, тем самым студентом Киселевым, чью листовку показывал мне следователь. Как-то невольно заговорила я о ней. Сбивчиво начал объяснять Киселев, что это вовсе не была листовка, что это он для себя набросал свои мысли, вернувшись домой со студенческого собрания.

«Хрен редьки не слаще, - думала я, - хорошенькие юдофобские мысли про себя». К счастью, Сима обернулась ко мне.

- Это тоже наш товарищ и тоже едет на Соловки. Знакомьтесь.

- Это все наши товарищи, Катя.

Александра Ипполитовна Шестневская, отделившись от группы мужчин, подошла ко мне.

- Вы первый раз арестованы и вот так идете в этап?

Я покраснела до ушей. На мне был черный шерстяной костюм, в котором меня арестовали, белая маркизетовая блузка с короткими рукавами и проклятая газовая шляпа с широкими полями.

- Ну, ничего, мы что-нибудь придумаем. В этап шерстяной костюм просто жалко. А в шляпе будет неудобно. Нужна косынка, а то волосы от грязи совсем пропадут.

Я указала рукой на мой чемодан. – Может быть там, в моих вещах...

- Ну и отлично. Что-нибудь подберем!

Шестневская была лет на 7 старше нас с Симой. Светлая блондинка с карими глазами и правильными чертами лица, она была явно очень возбуждена. Она без конца говорила. Сима мне нравилась больше. Но она была с другими, а Александра Ипполитовна занялась мною.

- Наша группа, пять человек эсеров, едет из Вятской ссылки. В ссылке была большая колония ссыльных, с работой было трудно, и мы решили организовать кассу взаимопомощи ссыльных. Высокий пожилой мужчина – Студенецкий, а молодой красивый паренек – Никола Замятин. Вот тот маленький, полный – Иван Юлианович Примак. Это чудесный, замечательный человек! Рядом с ним Волк-Штоцкий. Этот совсем большой, у него туберкулез, как он будет жить на Соловках, не знаю. Есть у вас знакомые на Соловках?

- Нет, я там никого не знаю.

- Там, конечно, замечательные люди! Но в Вятке состав был сильнее. Один Рихтер... изумительный человек! Жаль, что вы не попали в Вятку. Хотя, может быть, и всю ссылку разбросают.

Взволнованность и возбуждение слышались в ее словах, в их торопливости.

Между Симой и группой мужчин шла речь о Стружинском. Я слышала уже о нем и его двух товарищах, фамилии которых я не помню. Они прибегли к самоожжению. Забаррикадив дверь камеры и облив матрасы керосином, подожгли их. Они лежали в Вятской больнице. Товарищи говорили, что есть надежда спасения их жизни.

Товарищи оживленно разговаривали, когда раздался окрик надзора:

- Женщины, с вещами выходи!

Мы вздрогнули. Нам не хотелось отделяться от мужчин.

- Почему это? Как же это? – сказала Александра Ипполитовна, - ведь все мы идем на Соловки общим этапом. Сюда тоже шли все вместе. Я не пойду.

Студенецкий, он был старшим по группе, предложил надзирателю вызвать старшего по корпусу.

- Наши женщины всегда идут этапом вместе с нами. Едем мы в один и тот же лагерь. Почему вы вдруг отделяете женщин?

- Следуете вместе, значит, будете вместе. Сейчас подчиняйтесь команде. Женщины без вещей выходи! Мужчины, берите вещи женщин и свои, стройтесь!

Сима и я угрюмо двинулись к выходу. Александра Ипполитовна с полными слез глазами пошла за нами.

- Зачем она плачет? – шепнула мне Сима. – Разве при них можно плакать?

Я не все принимала в Александре Ипполитовне. Но многое, очень многое можно и должно было ей простить. Молодая женщина, женщина с головы до ног, со всеми женскими качествами и недостатками, красивая, заботливая, добрая, с ярко выраженным инстинктом материнства, неизвестными мне путями пришла она в партию. Но, пришедши в нее, никогда не поколебалась, не отступила. Первый раз она была арестована на 8-ом месяце беременности. Всю оставшуюся беременность провела она в Бутырской тюрьме. В тюремной больнице родила она сына. Вместе с ребенком в этапном порядке ее направили в ссылку. В этапе ребенок умер. В пятой ссылке Александра Ипполитовна забеременела вторично. Беременную, ее снова бросили в тюрьму и в этап. В этапе произошел выкидыш. Еще не вполне оправившуюся, ее везли этапом на Соловки. Она крепилась, она держалась. Только бы не отстать от товарищей, не остаться одной. С болью смотрели на нее наши товарищи, мужчины.

- Александра Ипполитовна, в вагоне мы добьемся соединения! – крикнул ей вслед Примак.

Во дворе внутренней тюрьмы стоял, готовый принять нас, «черный ворон». Мы, трое, зашли в него, двери захлопнулись, зашумел мотор... Последний слепой рейс по московским улицам... Мы молчали. Александра Ипполитовна кусала губы, но слезы текли по ее щеке.

Когда «черный ворон» остановился, нас вывели из него. Прямо перед нами оказались открытые двери столыпинского вагона, загнанного на запасные пути. Вагон был пуст. Только конвой. Он пропустил нас мимо себя, загнал в одну клетку и запер ее дверь. В клетке, рассчитанной на восемь человек, нас было только трое. Минут через пятнадцать за стенами вагона послышался шум подъезжающих машин. Двери вагона открылись, началась погрузка мужчин. Их было много, очень много. Оборванные, заросшие, проходили они мимо решетки нашей двери и заполняли одну клетку за другой. В нашей клетке было много свободных мест. Мужчин набивали, как сельдей в бочку. Последними грузились наши товарищи. Их всех загнали в одну клетку. Проходя мимо нас, Студенецкий сказал:

- Ваши и наши вещи погружены в тамбур вагона.

В вагоне надзор разрешил нам и нашим мужчинам, то есть политическим, обмениваться куревом и продовольствием. У Симы была огромная корзина всякой снеди, переданная ее родителями. Сима к еде не прикасалась. Зато мы, особенно мужчины, отдавали ее должное.

С Симой, моей ровесницей, я очень сдружилась. Она привлекала меня своей жизнерадостностью, простотой, начитанностью. Подробно рассказывать о Соловках она отказалась.

- Вы же сами едете туда, сами все увидите, во всем разберетесь. Я не хочу говорить, может быть, это только мое предвзятое мнение.

Александра Ипполитовна, горевавшая о вятской ссылке, смотрела на будущую жизнь на Соловках очень мрачно. Она допытывалась у Симы о подробностях расстрела 19 декабря. Сима молчала.

Я чувствовала, что Сима рвется на Соловки, мечтает о них, считает дни этапа. Сперва я недоумевала, а потом поняла, там же остались ее друзья, а может быть, любимый человек. Сима тревожилась за них. Она мне говорила, что в тюрьме отошла от политики, что не она ее сейчас

интересует, что ни к чему заниматься политикой в тюрьме. Сейчас она была увлечена занятиями по философии.

- На Соловках есть замечательные люди, - говорила мне Сима, - Гольд, Иванов, Гальфготт. Это изумительные люди! Гольд занимался со мной по философии. Мы проработали Маха, Авенариуса... Сейчас мы продолжим рассмотрение философии Беркли.

О внешней жизни Соловков Сима говорила охотно. От нее я узнала, что политзаключенных в 23-ом году перевезли из Петроминска на Соловки. На Соловках бывшее монастырское хозяйство было ликвидировано. На главном острове на берегу моря, в кремле, разместилось управление лагеря, заключенные – уголовники и «каэры» (контрреволюционеры). Заключенные свободно передвигаются по всему острову, но содержатся в очень тяжелых условиях. Скученность, тяжелые работы, плохое питание, произвол администрации...

Всех политических, то есть социал-демократов, эсеров и анархистов держат отдельно, изолированно, в глубине острова, в бывших скитах. Там создано для них за колючей проволокой заключение, так называемый «полит режим».

Сперва для политзаключенных были отведены два скита – Савватьевский и Муксолмский. Сейчас по мере увеличения числа заключенных, организуется третий – Анзерский. Выход за колючую проволоку не разрешен. Вдоль ограды вышки с часовыми. За ней надзора нет. Раз в неделю приходит надзор с проверкой. Всей жизнью в зоне ведает старостат, выбранный заключенными. Каждая фракция имеет своего старосту. Переговоры с администрацией тюрьмы ведут только старосты. В скитах самообслуживание. Сами заключенные топят печи, варят еду, убирают помещение, стирают белье. Для этого из заключенных созданы рабочие бригады. Вся соловецкая администрация состоит из осужденных, проштрафившихся коммунистов-чекистов и пр. Условия очень тяжелы из-за того, что на полгода Соловки бывают отрезаны от материка. Только изредка поморам удается пробиться на своих лодочках. Ни почты, ни газет. Заключенные чувствуют себя полностью во власти местной администрации.

- Вся наша жизнь, - говорит Сима, - окрашена этим. Окрашена борьбой за сохранение режима, который существует, «полит режима». У нас довольно хорошая своя библиотека, составленная из личных книг заключенных, организована школа для повышения знаний, существуют кружки для занятий по различным вопросам. Иногда читаются доклады и лекции. Есть любительский кружок, ставящий спектакли. Вот это все – свою внутреннюю независимость – мы и отстаиваем в своей тюремной борьбе. Выходит у нас наш тюремный журнал «Сполохи». В нем есть целый ряд статей, освещающих события 19 декабря.

Нового представления о Соловках у меня не получалось, разговор наш перескакивал с темы на тему, велся урывками. Александра Ипполитовна рассказала мне о Примаке.

Пятнадцатилетним юношей принял Примак участие в подготовляемом террористическом акте, был арестован и приговорен к повешению. Как подростку, не достигшему еще совершеннолетия, смертная казнь была заменена пожизненным заключением в крепость. Пятнадцать лет провел он в одиночном заключении, кажется, Орловского централа. Освободила его Февральская революция 1917 года. Сесть пятнадцати лет, выйти на волю тридцати...

С грустной улыбкой он рассказывал, что когда его вызвали в тюремную контору, сообщили об освобождении и выдали чемоданчик с его личными вещами, он, не веря ни во что, спешил выбраться из стен тюрьмы. Неуверенно, прижимаясь к стенам домов, спешил он уйти как можно дальше от тюрьмы. Он не верил в свободу, он научился общаться с людьми. Вышел он из тюрьмы с совершенно разрушенным здоровьем.

- Он и сейчас весь больной, - говорила Александра Ипполитовна, - и такого везут на Соловки.

Я слушала Александру Ипполитовну и передо мной вставал образ Примака. Невысокая обрюзгшая фигура с серым, одутловатым лицом, с большими серыми ласковыми глазами и суровой складкой между бровей...

На Ленинградском вокзале нас снова разлучили с нашими мужчинами. Из «ворона» нас высадили у ворот женской пересыльной тюрьмы. В этой тюрьме мы должны были дожидаться этапа на Соловки.

В Ленинградской пересылке

Нравы ленинградской пересыльной тюрьмы были совсем отличны от режима внутренней Лубянской тюрьмы. Никаких выводов из камер не полагалось. Уборная и раковина для мытья

находилась тут же, в камере, за ширмой. От заключенных требовался образцовый порядок в камерах. До блеска должен был быть начищен кран, большой медный чайник, миски. Но утомленные вынужденным бездействием заключенные сами с остервенением натирали посуду и мыли полы.

Поразила нас старушка-надзирательница, часто заходившая к нам в камеры и делившаяся с нами своими наблюдениями. Тринадцать лет работала она в этой женской пересыльной тюрьме.

- Вы-то все молодые, - говорила она, - вас я раньше не встречала, а пришлось мне и своих прежних арестанток повидать. При царе сидели и опять сидят. И хорошие женщины, и чего им только надо. Уголовных я не люблю, позорные они. С ними я очень строгая.

В камере, кроме нас троих, не было никого. К нам старушка относилась изумительно. Она приносила нам из дому иголки, нитки для вышивания, крючок и спицы для вязания. Александра Ипполитовна чувствовала себя в этой тюрьме очень хорошо. Она отдыхала от этапа, проделанного от Вятки. Кругом было светло и чисто. Она разбирала свои вещи, показывала нам свои платья, вышивки, изящные женские рукоделия.

Я, наконец, тоже смогла открыть свой чемодан. И смех, и слез!.. Много веселья вызвали у нас вещи, которые Аня собрала для меня, арестантки, идущей этапом на Соловки: белое маркизетовое платье, платье из черной шерстяной вуали, белая пикейная юбка, маркизетовая блузочка цвета морской волны.

Зная свой гардероб, я просила сестру сшить мне простое синее платье для этапа. Я нашла синее платье, то, про которое мне Аня на свидании сказала – «сшила тебе Клава»... Боже мой! Оно оказалось японкой, с открытым воротом, с незащитыми до талии, как тогда носили, рукавами.

Тут были и духи, и пудра, которые я на воле не употребляла... Сима была в восторге. Она уверяла, что все это незаменимые вещи для драмкружка на Соловках:

- Если бы вы знали, Катя, какие мы ставим спектакли! У нас есть два замечательных художника, Леонид Касаткин и Энсельд. Энсельд, собственно, не наш, не политический, он просто эстонский художник. Он ехал из Эстонии в Ленинград, и его попросили отвезти письмо от Чернова к его детям. При аресте нашли это письмо. От него требовали на допросе сказать, как попало к нему это письмо и кому он должен был передать его. Энсельд ответил, что он честный человек и ничего не скажет. В результате ему дали три года Соловков. Политические с большим трудом добились помещения Энсельда в скит. Так и живет он при коллективе, не входя ни в какую фракцию. Политикой не интересуется, рисует.

Александра Ипполитовна сразу же вооружилась иглой, приспособлять мои одежонки к нашему образу жизни. К счастью, по папиному настоянию, в чемодан был положен полушубок брата, сослуживший мне большую службу и как одежда, и как подстилка на тюремных полах и нарах.

Неделю провели мы в ленинградской пересылке. Сима все время болела желудком, ото дня ко дню температура поднималась. Лицо ее горело, но она категорически отказывалась обратиться к тюремному врачу. Она боялась, что ее отставят от этапа. Выручила ее Александра Ипполитовна. Она вызвалась к врачу, представилась больной, принесла в камеру целую бутылку касторки. Мы смеялись, приняла касторку Сима, но будь уборная вне камеры, выпускали бы на оправку вне очереди больную Шестневскую!

Стычки с конвоем на этапе

Когда нас на «вороне» привезли вновь на вокзал и погрузили в вагон, мы, проходя по коридору столыпинского вагона, в одной из клеток увидели наших мужчин. И они приветствовали нас радостными возгласами. Александра Ипполитовна хотела на минуту задержаться у решетки их двери, но конвоир с грубым окриком затолкнул ее в соседнюю клетку. С криком затолкнул он и меня, и Симу туда же.

В отделении мужчин начался шум, крики.

- Не смейте рукоприкладствовать, не трогайте женщин! Вызывайте старшего по конвою!

Мы кричали мужчинам, чтобы они не волновались, мы боялись за них, но наш крик тонул в общем гаме.

Через пятнадцать минут явился начальник конвоя.

- Кто меня вызывал? Что за крики? В карцер захотели?

Ему отвечал староста Студенецкий.

- Мы требуем, чтобы ваши конвоиры не распускали рук. Вы везете политических и, если не хотите конфликтов, извольте соблюдать вами же установленные правила.

- Что здесь произошло? – сразу же изменил тон старший.

- Об этом пусть вам доложат ваши подчиненные. А мы вас просим приказать им соблюдать правила. Или в правилах ваших разрешается рукоприкладство? Царский конвой держался приличнее.

Высокий, седой, давно не бритый Студенецкий по одну сторону решетки, молоденький, подтянутый чекист – по другую. Они как бы мерили глазами друг друга.

- Я проверю все, но арестантов прошу подчиняться всем распоряжениям конвоя.

- Не всем, - перебил его Студенецкий, - всем законным требованиям. А вы извольте дисциплинировать конвой. Вы ответите еще за избиение ленинградских студентов прошлого этапа.

Избиение?.. Это ошеломило нас. Когда? Кого? О чем говорят мужчины? Через несколько минут после ухода старшего мы получили записочку от товарищей.

Под шум и крики они провертели дырочку из своей клетки в нашу и просунули через нее нитку. По ней продергивалась записка от них к нам и обратно.

Этап, прошедший неделю назад, вез на Соловки группу ленинградской студенческой молодежи. Молодежь запела революционные песни. Как развернулись в вагоне события, мужчины не знали, но в пересыльной тюрьме им рассказали, что в вагоне были выбиты стекла. Очевидно, было какое-то столкновение с конвоем. Кого-то из заключенных ранили до крови. Уголовные, мывшие вагон, смывали кровь.

Нам товарищи предлагали проявлять как можно больше выдержки, не дать возможности конвою спровоцировать нас на инцидент. Но поведение конвоя изменилось. Нас по первому требованию выпускали в уборную, снабжали водой, даже разрешали стоять в коридоре вагона, смотреть в окна. Между нами и мужчинами все время шла переписка. А конвой безотказно передавал от них к нам и обратно папиросы, спички, продукты.

И все-таки, после столкновения с конвоем мы все ощущали, что Россия остается позади. Мы покинули Ленинград, мы в руках соловецкого конвоя, в преддверии Соловков.

Не веселила и природа за окнами. Тундра, мох, жалкая травка, кое-где кустарники, кое-где кривая низкорослая березка... Болотистая равнина, серое небо, тундра... О такой учили я в географии.

Мы ехали на Архангельск через Кемь, здесь материк соединялся дамбой с Поповым островом.

На Поповом острове

На станции Кемь наши арестантские вагоны придвинули вплотную к дамбе. Началась выгрузка арестантов. Нас, политических, выгрузили в последнюю очередь. Впереди стояла длинная колонна заключенных, нас, по сравнению с уголовными, была ничтожная горстка, десять мужчин и три женщины.

По пять человек в ряд выстроились колонна. За уголовниками шли наши мужчины, заключали строй мы, женщины. Началась перекичка. Поименная. Поштучна. Каждая пятерка выходила за пять шагов вперед. Этапный конвой сдавал этап, конвою перепункта Попова острова.

Вдоль всего строя и всей дамбы стоял конвой с ружьями наперевес. Медленно, пятерка за пятеркой, двигался строй заключенных по дамбе к воротам, расположенным на другом ее конце, при входе на остров.

Дамба представляла собой земляную насыпь с настилом из досок. О насыпь били волны Белого моря. Островок были маленьким клочком серой земли, виднелись крыши приземистых деревянных барачков, вытянувшихся в одну линию. А вокруг необозримый водный простор.

Сима восторженно говорила о Соловках, о их природе, о чудесных лесах. Трудно было поверить ей, глядя на этот клочок земли.

Только колючая проволока ограждала остров, да ворота у дамбы. За воротами шел тот же деревянный настил. Земля была кочковатой, топкой. В четырех местах на высоких столбах возвышались вышки часовых.

В ворота сперва пропустили уголовных, за ними прошли наши мужчины со своими и нашими вещами. Когда мужчины скрылись в одном из барачков в конце острова, пропустили и нас.

Ни дерева, ни кустика. Только у самых барачков поселка редкая травка. Мне она напомнила пасхальное блюдо с всходами овса, на которое укладывались крашеные яички. Только реденьким и жалким был этот овес. Серый тоскливый день висел над серым островом, над серым морем.

Нас завели в первый барак от ворот направо. Ни одного человека не было видно на всем острове.

Барак, в который нас завели, был похож на пустой сарай с прорезанными окнами. Решеток в окнах не было. В одном углу длинного узкого помещения стоял сбитый из досок стол, такой же серый и грязный, как пол.

Мы знали, что политзаключенных не изолируют в лагере друг от друга. Почему же отделили нас от мужчин? Нас было всего трое. На этом унылом, от всего мира отрезанном островке, в этом мрачном бараке мы чувствовали себя покинутыми. Даже надзора за окнами не было видно. Мы стучали в дверь, но никто не подходил к ней. Усталые, грязные, голодные уселись мы прямо на грязные доски пола и молча ждали, что будет.

Так просидели мы около часа, а может быть, и больше. Наконец в дверях барака щелкнул замок. В барак вошел надзиратель. В руках у него был сверток.

- Передача из мужского барака, - сказал он.

- И у нас к ним будет передача, - беря пакет сказала Александра Ипполитовна.

Ничего не отвечая, надзиратель вышел и запер дверь.

Мужчины прислали нам хлеб, сахар, коробку консервов. В хлебе мы нашли записочку. Писал Примак. Он просил нас не волноваться. Наш староста Студенецкий уже говорил с администрацией, нас соединят с мужчинами как только закончится прием этапа, после того, как мы будем пропущены через баню. Староста был уже в ларьке и шлет передачу. Настроение наше поднялось. Уж очень неприглядно было в бараке. Есть не хотелось, мы снова приткнулись на полу. Не знаю, спал ли кто, я не спала. Перед вечером опять загремел замок, нас повели в баню.

По бугристой неровной тропинке мы пересекли почти весь островок. Баня стояла у края острова. Это был низенький, но просторный деревянный сруб с чаном нагретой воды, с деревянными скамьями и шайками. Бане мы были рады. А обыск носил такой поверхностный характер, что мы его почти не заметили. Белье и платье наше взяли в прожарку и выдали нам по маленькому кусочку мыла. Вещи наши были у мужчин, и переодеться мы не могли.

Женщина-уголовная, топившая баню, сказала нам, что прошлый этап тоже трех баб мыла, только те были совсем молоденькие. Их последним пароходом отвезли на Соловки. От нее мы узнали, что пароход ходит раз в неделю, или раз в две недели, как людей наберется. Сейчас он еще с Соловков не вернулся, но его ждут не сегодня завтра.

Из бани нас привели в тот же барак. В нем стояли уже наши вещи, и, к нашему удивлению, дверь за нами не заперли. Мы вышли на крыльцо. Никого. Даже конвоя не видно. Потом где-то в конце островка группу мужчин провели в баню. Может быть, наших? Мы достали белье, переоделись. Нам захотелось есть. Стоя у стола, ломали мы хлеб, макая в консервы. Чистым, нам не хотелось опять садиться на пол. Мы толкались от двери к окну. Мы могли выйти из барака, но не хотелось.

Как-то неожиданно услышали мы шум шагов, в окно увидели наших мужчин, одних, без конвоя. Они шли к нам также чистые, вымытые, побритые. Радость наша была неопишуемой. Мы жали друг другу руки, как будто разлучились не утром, а много дней назад.

Мужчины принесли много новостей. Студенецкий сговорился с начальником перпункта: вечером, после проверки, нас переведут в их барак. Их барак лучше, в нем есть нары, и состоит он из двух половин. Бараки уголовных запираются на замок, наш будет весь день стоять открытым, мы можем ходить по острову и только на проверку должны заходить в барак. Питание мы будем получать из лагерной кухни два раза в сутки. В лагерном ларьке мы можем получать продукты. Мужчины уже выбрали завхоза, Льва Наумовича Тавровского. Ему они передали все свои деньги и продукты, что остались от этапа. Он будет ведать всеми покупками и кормить нас. С радостью поспешили мы отдать Льву Наумовичу наши денежные квитанции.

Идя к нам, мужчины видали, что к острову подходит пароход с Соловков. Когда он пойдет обратно на Соловки, начальник Студенецкому не сказал.

Тут в сутолоку нашей встречи ворвался дикий, безумный, нечеловеческий крик, а следом в наш барак вскочил один из товарищей, стоявший за дверью барака:

- С парохода кого-то волоком волокут! – крикнул он. – А он кричит и отбивается.

Первой сорвалась и бросилась за дверь Сима. За ней Никола, а потом и мы все. Вдоль по настилу между бараками два конвоира волокли по земле человека, а он отбивался, упирался, вопил, то замолкая, то дико взвизгивая. Очевидно, его волокли с парохода к вахте, расположенной как раз против нашего барака. Они приближались к нам, а мы сгрудились около дверей.

И Сима узнала:

- Это Козлов! – закричала она. – Он душевнобольной. Его давно должны были вывезти в психиатрическую лечебницу. Что они с ним делают!

Не дослушав Симу, вернее, услышав, что это наш больной товарищ, Никола, высоченный широкоплечий 23-летний парень угрюмо, с сжатыми кулаками пошел навстречу к приближавшимся. Сквозь нашу толпу за ним стремительно двинулся Студенецкий.

- Николай, стой, говорил он, - пусти меня, слышишь?

Но Николай, как гора, стремительно двигался вперед.

- Прекратите издевательства! – кричал он, - что вы, мерзавцы, делаете? Больных так возите?!

Между Николаем и конвоирами было шагов пять, не больше. Один из конвоиров, тащивших заключенного, выпустил его из рук, выхватил винтовку и направил ее прямо в грудь Николая.

Я видела взбешенное, разгоряченное, налившееся кровью лицо конвоира, поднявшего винтовку, и спину Николая, двигавшегося вперед.

Откуда-то, вероятно с вахты, выскочивший надзиратель, наотмашь ударил по прикладу ружья. Выстрел грянул, но пуля прошла мимо.

- Заходи в барак! – орал старший. – Вот вас не запирай! Видали, что у вас делается!

- Что у вас делается?! – как-то хрипло, но громко отвечал Николай.

Сима стремилась вперед, к Козлову. Он, видимо, узнал ее. Освободившейся рукой он приветственно махал и что-то радостное выкрикивал нам.

На выстрел из вахты бежала уже толпа надзирателей. Они оцепили нас кольцом и начали оттеснять к бараку. Теперь Козлов шел и мы расслышали, он кричал нам:

- Не мешайте мне с ними бороться, я еще им покажу, палачам!

Козлов и надзор скрылись в дверях вахты. Мы же стояли в самых дверях барака. Но Студенецкий сказал:

- В барак заходить не будем, пока не явится комендант лагеря.

Через несколько минут явился старший и сказал, что Студенецкого вызывают в комендатуру. Уходя, Студенецкий просил нас зайти в барак и спокойно ждать его возвращения.

В бараке Сима рассказала нам о Козлове. Обычно очень мягкий и чуткий товарищ, временами впадал он в полное психическое расстройство и с течением времени становился все раздражительнее. Приступы сумасшествия появлялись все чаще. Он начинал протестовать тогда против тюремного режима. Сперва, нервное напряжение длилось часами, и его удавалось уговорить, успокоить. Потом приступы стали принимать тяжелый характер. Он писал бесконечные протесты против заключения социалистов в тюрьму и требовал свободы слова, потом стал буйствовать рваться за ограду тюрьмы. А когда его удерживали товарищи, бил стекла в окнах, бросал табуреты в дверь.

- Решеток в окнах у нас нет, - говорила Сима, - двери открыты, мы свободно гуляем по двору внутри колючего ограждения. Если он полезет под ограждение, часовой будет стрелять. Его нельзя было выпускать, двери его камеры запирали. Тогда он объявлял голодовку. Мы просто не знали, что с ним делать, старостат добивался вывоза его на лечение.

Студенецкий вернулся от коменданта. И я получила первый настоящий урок коллективной жизни заключенных в тюрьме.

Николай Замятин казался мне героем, не дрогнув ставши под дуло направленного на него ружья. Он попросту отдавал свою жизнь за товарища. А теперь Николай стоял красный, смущенный, и Студенецкий его отчитывал.

- Я должен был там оправдывать твоё поведение, они хотели взять тебя в карцер. Странно, что мне приходится объяснять именно тебе. Ты вел себя, как мальчишка. Какое ты имел право выскакивать вперед из коллектива? Или у нас нет старосты? Что мы должны были бы делать, если б это шальная пуля задела тебя? Так ты поддашься на любую провокацию. Разве ты не знаешь, что ты член коллектива и не должен допускать никаких индивидуальных выступлений? Ты понимаешь, в какую историю ты мог вовлечь нас, и шире, чем нас?

У коменданта перепункта Студенецкий добился свидания с Козловым. Впечатление от свидания было очень тяжелым. Козлов был совершенно невменяем. Он кричал на Студенецкого:

- Вы хотите сидеть в тюрьмах, и сидите, а я не хочу! Я буду протестовать! Пусть убивают социалистов, в тюрьмах держать не смеют!

Комендант обещал Студенецкому завтра же направить Козлова в больницу. Пока его заперли одного в пустом бараке.

Вечером нас перевели в барак к мужчинам. Барак был чище и светлее нашего. Вдоль стенки его шли широкие сплошные нары. Двери барака не запирались. В обед и вечером в барак приносили бочку с отвратительной вонючей жижей – похлебкой. Кроме того, мы получали полит паек, по два куста сахара и по тринадцать папирос на курящего. Наш завхоз выдавал нам из объединенных средств добавочное питание.

Дни тянулись томительно. Мы ждали вывоза на Соловки. Больше всего говорили о них, о жизни, которая ожидала нас.

Отступление: о Соловках. 19 декабря 1923 г.

Все услышанное мной о Соловках обрело реальность только тогда, когда я сама попала на острова, когда своими глазами увидела кремль, скиты, условия заключения, заключенных и надзор. Здесь, на Поповом острове, я подробно узнала о событиях 19 декабря 1923 года. Здесь, во время столкновения с Козловым, я ощутила, что попали мы в новые условия, невозможные на материке. Здесь я увидела и Симино пальтишко, в трех местах пробитое пулями, которыми надзор стрелял по заключенным. Как сумею, так и расскажу об этом сейчас, тем более, что рассказом этим было освещено пребывание на перпункте.

Арестовывать эсеров начали в 1918 году. Сперва их отправляли в ссылки, затем стали посылать в политизоляторы и лагеря. Несколько позже аресты распространились и на левых эсеров, еще позднее на социал-демократов. И на анархистов. На севере России, на Мурманском побережье, в Петроминском монастыре был создан лагерь для изоляции политзаключенных. Тогда же в Суздальском монастыре был создан политизолятор и разработан режим, на котором стали содержать полит заключенных. Под эту рубрику подводились не все политические «преступники», а только члены социалистических партий и анархисты. Члены других политических партий – кадеты, трудовики, народные социалисты, мусаватисты, словом, все, не стоящие на социалистических позициях, не причислялись к политическим. Они назывались «каэрами» (контрреволюционерами) и содержались в лагерях и тюрьмах на общем режиме вместе с уголовными.

Конечно, и нас, социалистов, обвиняли в контрреволюционной деятельности, но режим наших полит изоляторов и лагерей резко отличался от общего режима – кое в чем он был легче, кое в чем значительно строже. Политзаключенные получали некоторую надбавку к общему питанию. Они были освобождены от принудительных работ, не подвергались оскорбительной для человеческого достоинства проверке, в полит изоляторах допускалось самоуправление, полит заключенные выбирали из своей среды старостат и, в основном, только через него сносились с администрацией. Политзаключенные сохраняли при себе все свои личные вещи, одежду, книги, письменные принадлежности, часы, ножи, вилки и даже бритвы. Могли выписывать журналы и газеты. Зато изоляция их от внешнего мира производилась значительно строже. Ограничивалась свобода передвижения по лагерю или тюрьме. В отношении к социалистам все было как-то двойственно: с одной стороны, нам часто приходилось слышать о том, что мы – не арестанты, а политзаключенные, с другой, той же администрацией внушалось надзору, что мы – опаснейшие враги народа. Но мы все же рассматривались как социалисты.

Отметание идейных противников в лагерь врагов – опасный путь. По мере развития созидательного процесса построения «социалистического» общества число инакомыслящих росло. Начались идейные расхождения внутри самой партии большевиков. Росло количество репрессированных. Ожесточалась борьба за сохранение власти. Завинчивался режим в местах заключения.

Заключенные социалисты всегда вели в тюрьмах борьбу за режим, за сохранение своих маленьких арестантских прав. Летом 1923 года всех заключенных из Петроминского лагеря перевезли на Соловки. Центром Соловецких лагерей стал старинный кремль, расположенный на берегу моря. Там, в бывших монастырских строениях разместилась администрация лагеря, продовольственные склады, больница. Там же были сосредоточены все уголовные и каэры. Политзаключенных завезли вглубь острова и поместили в бывших монашеских скитах. Уголовные могли свободно передвигаться по всему острову, политзаключенные не могли выходить за колючую проволоку, окружавшую скит, даже приближаться к ней. За этим следили постовые с вышки. За колючей проволокой возле скита стоял административный корпус, где помещалась комендатура и жил надзор.

Савватьевский скит, отведенный под лагерь, состоял из двух двухэтажных зданий, бывших в свое время гостиницей для приезжавших на остров богомольцев. Большой красный кирпичный корпус стоял на берегу небольшого озера, второй, желтый корпус отстоял от первого шагов на тридцать. Вокруг обоих зданий, захватывая небольшую площадь двора и часть озера, шла колючая проволока, по четырем углам ее поднимались вышки часовых. За проволокой шел чудесный лиственный лес. За проволоку заключенные не могли выходить, зато и конвой не заходил к нам за проволоку. Два раза в сутки, в 6 часов утра и в 6 часов вечера, на территорию лагеря приходил старший надзиратель и, обходя камеры вместе со старостой, производил поверку, подсчет заключенных. Заключенные внутри проволоки были хозяевами своей жизни.

Каждая фракция, эсеры, с. – д., анархисты, избирали из своей среды старосту. Таким образом, создавался старостат, ведавший всей жизнью тюрьмы и сносившийся по всем вопросам с администрацией. Хозяйственной жизнью ведали так же по фракциям выбранные завхозы. В их распоряжении были бригады заключенных – поваров, истопников, уборщиков, дровоколов, подсобных рабочих. Каждый заключенный работал в какой-нибудь бригаде и нес дежурство по лагерю.

Кроме общей каптерки, в которую поступали общие продукты питания, выдаваемые лагерем и присылаемые Красным Крестом Помощи Политзаключенным, возглавляемым Е.П. Пешковой, каждая фракция имела свою каптерку. В ней сосредоточивались все денежные переводы и посылки, получаемые заключенными от родных.

Из Петроминска на Соловки была переброшена большая группа заключенных. С ними прибыл и конвой. Режим оставался прежним, оставалось только освоить новое место заключения.

Из личных книг заключенных была создана библиотека. Церквушка, примыкающая к красному корпусу, была превращена в «культ». Там проводились собрания коллектива, занятия школы, созданной самими заключенными, делались доклады на разные темы. В общем, шла повседневная арестантская жизнь. Получались письма, газеты. Кое к кому из заключенных приехали на свидание жены и матери. Новым, характерным для Соловков, было одно – заключенные знали, что Соловки на зиму будут отрезаны от всего мира. В конце декабря закроется навигация, и на 6 долгих месяцев прекратится всякая связь с материком, разве когда пробьются поморы на своих утлых лодочках через узкую полосу незамерзающего бурного течения. И по лагерю ползли нехорошие слухи. Намечается изменение тюремного режима. Тюремная жизнь завинчивается. Ликвидируется полит режим.

Откуда пришли и как проникли эти слухи, сказать трудно, тюрьма всегда живет слухами. На тюремном языке их называют «парашами».

Слух о завинчивании режима креп. Заключенные начали нервничать. Что сулит им зима не отрезанном от мира острове? Режим тюремный – жизнь для заключенного. Режим мягкий – заключенному есть чем дышать, чем жить за тюремной стеной. Режим завинчивается – и начинается борьба за жизнь, борьба за режим.

В один из приездов на Савватьевский скит начальник управления Соловецких лагерей Эйхманс объявил старостам, что им получен новый приказ, новые инструкции о режиме для политзаключенных на Соловках, что в настоящее время он уточняется и постепенно будет вводиться в жизнь. Пока он сообщает, что с 20 декабря переписка ограничивается тремя письмами в месяц и прогулочное время будет сокращено. С поверки, с 6 часов вечера до 6 часов утра заключенным будет запрещено выходить из корпусов.

Старосты, даже не советуясь с коллективом, сразу заявили Эйхмансу, что такого нововведения коллектив не примет, что оно невозможно в условиях Соловков. Не выходить из корпуса после 6 часов вечера заключенные не могут, хотя бы потому, что ужин разносится из корпуса в корпус после 6 часов. Ограничение же переписки на Соловках, где з/к пользуются правом переписки фактически только полгода, да и переписка идет очень замедленно из-за частых простоев пароходов, сводит всю переписку на нет. Свое заявление старосты сделали и для того, чтобы прощупать настроение администрации, может быть, узнать из разговора, какие еще изменения несет новая инструкция.

Ни в какие разговоры Эйхманс вступать со старостами не стал. Он коротко объявил, что инструкция ему дана и, начиная с 20 декабря, он будет осуществлять ее всеми мерами.

20 декабря было сроком прекращения навигации, значит администрация намерена была осуществлять новую инструкцию тогда, когда всякая связь с волей будет прервана. Неясные слухи превратились в еще более ясную действительность.

Общее мнение всех з/к, всех фракций было едино. Подчиниться и принять новый режим нельзя. Отказ Эйхманса объявить инструкцию в целом, очевидно, возникал из желания отнимать у з/к одну привилегию за другой, тихой сапой зачинчивая режим. Решение не принимать новый режим было у всех, но по поводу способов борьбы за режим сразу наметились расхождения. Эсеры, левые эсеры и анархисты решили – прогулок на тюремном дворе не прекращать, и, чтобы гуляние продолжалось весь день, разбились на группы, которые сменяли друг друга в определенные часы и до, и после поверки, проводимой в 6 часов вечера. Социал-демократы сочли, что демонстрировать прогулки после 6 часов вечера не нужно, что следует присмотреться к тактике администрации.

Между тем, в Савватьев прибыл новый начальник скита Ногтев. На переговоры к нему в 5 часов вечера 19 декабря пошел староста эсеров Иваницкий. Гулявшие во дворе товарищи видели, как Иваницкий вернулся в корпус. Ногтев его не принял.

Лагерь жил еще спокойной жизнью. Каждый занимался своим делом. Обычно, в 6 часов вечера с колокольни скита ударами в колокол объявляли поверку. До поверки з/к гуляли во дворе. Гуляла и Сима со своими друзьями, Жоржем Кочаровским и его женой Лизой Котовой. Гуляющих было довольно много. Внезапно они увидели, что из административного корпуса выходит наряд конвоиров с ружьями наперевес. Цепь конвоиров окружила весь прогулочный двор, и сразу же раздалась команда: «Заходи в корпус!» и «По мишеням пли!» Раздался залп. Все, кто был в корпусе, услышав выстрелы, вскочили, бросились к окнам, к лестнице, на двор. Навстречу им несли уже раненых и убитых. А на дворе зазвучала новая команда и раздался новый залп. З/к поднимали раненых товарищей и несли их в корпус. В дверях создавалась пробка. По ней, по толпе, заходящей в корпус, был выпущен третий залп.

Жорж Кочаровский, высокий широкоплечий мужчина, после первого залпа пытался загородить собой Симу и Лизу. Он свалился, тяжело раненный в живот. Лиза, убитая наповал пулей, попавшей ей в затылок, сползала на землю из рук Симы. Пять пробитых пулями дырочек показывала нам Сима на своем пальтишке. Сима осталась цела.

В этот день дежурный на Соловках не звонил в колокол на поверку. Шесть человек убитых и трое тяжелораненых были занесены в корпус за 20 минут до поверки, до 6 часов вечера.

Эсер Белкин, врач по специальности, пытался оказать первую помощь раненым. Жорж Кочаровский, крепкий, здоровый, молодой, не хотел умирать. Двое суток он оглашал корпус своими криками. Весь живот его был разворочен, разорван в клочья. Кронид Белкин извлек из раны разрывную пулю.

20 декабря в скит прискакал Эйхманс. Он вызвал в административный корпус старост. Он заявил им о печальном недоразумении, о снятии Ногтева с поста, об отдаче его под суд. Старосты скита не вступили в беседу с Эйхмансом. Они заявили только, что двоих тяжело раненых нужно немедленно направить в больницу, что з/к хотят сами похоронить убитых товарищей. Эйхманс разрешил все. За колючей проволокой вдоль ограды з/к выкопали братскую могилу. В день похорон весь лагерь был выпущен за ограду. Шесть гробов были спущены в братскую могилу. «Вы жертвою пали...» - пел хор арестантов. Большой валунный камень был водружен на могилу. На нем высекли товарищи имена погибших. Может быть, и сейчас еще лежит этот камень возле Савватьевского скита. Я знаю только, что после вывоза с Соловков политзаключенных в 1925 году он был повернут так, чтобы имен погибших не было видно.

Мертвые были похоронены, живые должны были жить дальше. Жить дальше должен был муж убитой 19 декабря Наташи Бауэр, друзья убитых, их товарищи. Ни о каком изменении режима, ни о какой новой инструкции никто не говорил больше: ни з/к, ни администрация. Заговорили о ней ровно через год, когда я была уже на Соловках.

Весной 1924 года, когда возобновилась навигация, из Москвы на Соловки прибыла комиссия ОГПУ для разбора дела. К этому времени з/к уже знали, как лживо было описано событие 19 декабря в коммунистических газетах. В «Правде» петитом была набрана маленькая заметка о том, что на Соловках при столкновении конвоя с з/к, напавшими на конвой, было убито 6 человек. В коммунистической «Роте фане» был помещен целый подвал, описывающий бунт з/к на Соловках. В ней говорилось, что взбунтовавшиеся з/к установили сигнализацию между скитами и, вооруженные вилами, топорами и другим оружием, напали на конвой.

З/к Савватия через своих старост заявили комиссии, что показания они будут давать лишь в том случае, если в разборе дела примут участие представители общественности, хотя бы Красного Креста. Твердо отказались з/к давать показания и потому, что узнали дальнейшую судьбу Ногтева. Он, будто бы снятый с работы и отданный под суд, на самом деле работал начальником другого лагеря, из которого на Соловки прибыли новые з/к.

Соловки

Пароход отправлялся на Соловки. Из всех бараков выводили з/к. Я еще не видела такой большой партии арестованных. Оборванные, худые, поднимались они по сходням парохода и ныряли в трюм. Когда нас погрузили на пароход, трюм был полон. Нас поместили на лестнице, спускающейся в трюм, у самого люка. Люк не закрывался, всю дорогу мы могли любоваться морем!

Раньше мне не приходилось видеть моря, - никогда не видела водной шири, никогда не плавала на пароходе. И я смотрела, не отрываясь, на необозримый простор, на пену на гребнях волн, на чаек, летающих и ныряющих в волнах.

После унылого Попова острова я не могла ожидать того чудесного вида, который открылся передо мной при приближении к Соловкам. Над морем круто вверх поднимался берег. На нем, у песчаной отмели, большие зубчатые стены кремля на зеленом фоне векового леса. Весь остров утопал в зелени. Не отрываясь, смотрели мы на край нашего нового жительства. Но кончилась красота природы, пароход причалил к берегу, началась арестантская жизнь. Первыми сошли на берег мы, женщины. Мужчины еще оставались на пароходе, когда нас ввели в кремль, а в нем в маленькое сводчатое помещение. По разбросанным там и тут вещам мы поняли, что помещение обитаемо, но самих обитателей мы не застали. Из окошечка, узкого и забранного решеткой, но открытого, лился свет и свежий воздух.

Мы не успели ни сесть, ни оглядеться, как услышали веселые женские голоса. Дверь отворилась. Мы увидели трех еще совсем молодых девушек. Каким-то светлым видением показались они мне на пороге тюремной кельи. В светлых легких летних платьицах, со спущенными косами за плечами, оживленные, возбужденные, веселые. Они не подходили к тюремной атмосфере, диссонировали с ней. Я сначала не поняла, кто же эти веселые и цветущие девушки. Мы же, наверное, походили на арестанток, по крайней мере, девушки сразу догадались, кто мы. Так и познакомились, Люся Ионова, Тася Попова, Аня Бахман и мы.

Аня была старшей из них. Ей было около 19 лет. Тася и Люся были моложе. Все они прибыли на Соловки предыдущим пароходом и жили в кремле в ожидании своей дальнейшей судьбы. Привезли их из Ленинграда вместе с большой группой студенческой молодежи. Сейчас они вернулись с прогулки. Ежедневно их водили гулять по острову вместе с «мальчишками», так называли они мужскую молодежь своего этапа. На прогулке их сопровождал, обычно, конвоир. Если конвоир попадался хороший, то его почти не чувствовалось. Вот и сегодня, конвоир разрешил даже покататься на лодке вдоль острова.

Нам девушки очень обрадовались. Они спешили выговорить все, что накопилось в их душах. После следствия, по студенческому делу в Ленинграде, после тоскливого заключения в тюрьме, их вывели на этап. В вагоне они встретились со своими товарищами, студентами. Всю дорогу до Кеми они пели революционные песни. Конвой бесился, он не давал им ни капли воды. В ответ на это, подъезжая к каждой станции, студенты кричали в окна: «Воды! Воды!» Надзор хотел применить репрессии, потащил кого-то в вагонный карцер. Тогда студенты устроили настоящую обструкцию и выбили окна вагона.

Кто были эти девушки?

Люся Ионова была дочерью старого народовольца, каторжанина. Выросла в каком-то ссыльном городке. Она с трепетом говорила об эсерах. Аня, кажется, сочувствовала с. – д. Тася еще не знала, к какому направлению примкнуть. Они все трое говорили о том, как ждут встречи со старшими товарищами, как мечтают в тюрьме выработать свое мировоззрение.

Наперебой угощали они нас вкусными вещами. Папы и мамы, провожая своих дочек в этап, принесли им столько еды и лакомства, что они до сих пор не смогли с ними справиться. А здесь, в кремле, получили уже и новые посылки.

Помещение, в котором мы находились, было так мало, что шесть человек не могли разместиться. Нам и не пришлось в нем ночевать. Сбылось то, о чем мечтали девушки. Вечером нас, шестерых

женщин, перевели в огромный кремлевский зал к мужчинам. Зал был уставлен койками, нам отвели одно крыло его, отделенное сводами и арками. Здесь находились наши товарищи по этапу и студенты соэтапники Люси, Ани и Тази. Юноши производили более серьезное впечатление, но и они были еще неоперившимися птенцами. Мечталось им о всяких идеалах, свободе, справедливости, равенстве, тех идеалах, на которых выросло их поколение. Все свои силы готовилась молодежь отдать им. Много недоуменных вопросов вставало перед ними, со многим спорным и неясным столкнулись они, попав за решетку. Со всеми этими вопросами обратились они теперь к первым встреченным старым социалистам.

Больше всего волновал группу один вопрос. В их среде находился парень лет 18, Вова Коневский. Был он сухорукий, одна рука у него висела, как плеть. Во время следствия Вова вел себя недостойно, он не устоял, выложил перед следователем все, что ему было известно о борьбе студенчества за свободную школу, назвал имена ряда товарищей. После приговора, встретившись с товарищами, он признался им во всем. Молодежь не могла прийти к единому решению. Одни бойкотировали его, другие считали невозможным осуществлять бойкот потому, что Вова больной, однорукий и без помощи товарищей погибнет в тюрьме, третьи, наконец, полагали, что в связи с полным раскаянием Вовы, всю историю надо предать забвению. Но на наш вопрос о том, предал ли Вова, все отвечали, что предал. Коневский так и жил. Кто бойкотировал его, кто только сторонился. По большей части он бродил один, при нем воздерживались от споров и бесед, но окончательно отношений не порывали. Решился вопрос Вовы, когда приехали старосты принимать этап в скиты.

Приехали они во время уборки нашего помещения. На время уборки нас выводили из церковного помещения во двор. За мусором, собранным в корзины, приходили уголовные и уносили его. Уголовные рвались к нам на работу всегда: они наедались у нас, да и с собой уносили куски хлеба, миски с тюремной похлебкой. Уголовные голодали. И одеты они были ужасно. Особенно запечатлелся в моей памяти один арестант. Он был одет, как и многие другие, в балахон, сшитый из церковной рясы. Из-под балахона, на сухих, как жерди, ногах болтались рваные кальсоны, серые, как земля. Лицо его все оплыло от чирьев, осыпавших всю шею и голову.

Здесь впервые увидела я воочию цинготников. О цинге я знала раньше только из учебника географии.

Когда приехали старосты, я стояла на тюремном дворе, который подходил к самому берегу моря, у песчаного откоса, буквально, кишевшего чайками. Толстые, неповоротливые, неуклюжие птицы бесстрашно шныряли у нас под ногами. Боже, как ужасно они кричали! Хотелось заткнуть уши и бежать прочь. Как не походили они на тех прекрасных птиц, которые носились над волнами, сопровождая наш пароход. Я вспомнила свое любимое стихотворение «Чайка» Бальмонта.

Чайка, серая чайка, с печальными криками
носится
Над холодной пучиной морской.
Откуда примчалась, зачем, почему ее жалобы
Так полны безнадежной тоской?
Бесконечная даль, беспросветное небо
нахмурилось,
Закурчавилась пена седая над гребнем волны,
Плачет северный ветер, и чайка рыдает, безумная,
Бесприютная чайка из дальней страны.

Мне было грустно, но грусть моя не ассоциировалась с этими отвратительными, действительно открывшими базар, птицами. От мыслей меня отвлек чей-то голос – «Старосты идут». В наше помещение входили старосты. Товарищи, их знавшие, рассказывали мне: В шинели, среднего роста, худощавый, черноволосый, с карими горячими глазами, староста Савватьевского скита. Алексей Алексеевич Иваницкий прошел тяжелый путь революционера. При царизме он был приговорен к смертной казни, но с помощью товарищей бежал, жил на нелегальном положении, у него за плечами много лет каторги. Рядом с ним Богданов, староста с. – д., полная противоположность Иваницкому. Широкоплечий, коренастый блондин, неплохой оратор, очень эрудированный человек, член ЦК с. – д. Конечно, тоже подпольщик царских времен. С ними шли старосты Муксолмского скита. Старосты

побывали уже в административном корпусе и теперь шли к з/к. Кое-кого из прибывших они знали лично.

Савватьевский и Муксолмский скиты были переполнены. Старосты добивались от администрации лагеря открытия нового, третьего скита для полит з/к на островке Анзерском, отделенном от Савватия проливом. Старшие товарищи уединились вместе со старостами скитов, обсуждая, кого принят в скиты и как распределить народ между скитами. Большинство нас, вновь прибывших, составляла молодежь. Направить ее одну во вновь организуемый скит было нецелесообразно. С молодежью решил ехать Студенецкий. От него не захотел отделиться Николай Замятин. Хотел переселиться в новый скит и муж Наташи Бауэр, ему очень тяжело было жить на Савватии, где все ежечасно напоминало ему о ее жизни и смерти. Я прямо дрожала от того, как решится моя судьба. Сима, конечно, возвращалась в Савватий. Мне не хотелось расставаться с ней, мне хотелось попасть в старый скит к старшим партийным товарищам. Просить о том, чтобы меня взяли на Савватий я не решалась. Думаю, что за меня попросила Сима.

Когда список, распределяющий людей, был составлен, старосты ушли с ним в административный корпус, а мы обступили наших старших товарищей, стараясь узнать свою судьбу. Меня, Симу, Примака, Александру Ипполитовну, Тавровского и Волка-Штоцкого брали в Савватьевский скит. Студенецкий и Никола Замятин с группой молодежи направлялись на Анзерку. Группа студенческой молодежи, заявившая себя б/п, вывозилась на Кондостров. С ней ехала Тася Попова. Потрясло меня и всю студенческую молодежь то, что Вова Коневский не вошел ни в одну группу, он оставался в кремле на общем режиме.

Вова Коневский – на общем режиме

З/к, находившиеся в кремле, были разношерстны по своему составу и не имели никакой внутренней организации. Они жили по принципу «каждый за себя». Тюремный паек на общем режиме был хуже пайка политзаключенных. Лучше обеспеченные помощью из дома или умеющие добиться расположения администрации – жили лучше; другие – голодали, заболели цингой, умирали. Все они работали на разных работах. Если в скитах произвол администрации наталкивался на сопротивление коллектива, то в кремле ничего подобного не было. Голодный и без того тюремный паек часто разворовывался. Воровали все – сверху донизу: завхозы, повара, раздатчики пищи. Воровали и з/к друг у друга. Кремлевский режим был ужасен. Нам молодым, он казался, во всяком случае, страшным. Нас ошеломило решение старост оставить Вову в кремле. Будь еще он здоров! Но он был болен. Сухорукий, он даже одевался с трудом. Во время следствия Вова предал своих товарищей, но ведь он молод, разве он не может исправиться? Надо пытаться выправить его, а не выбрасывать из коллектива. Не толкать по наклонной плоскости.

Вова, очень расстроенный решением старост, держался мужественно. Вся молодежь окружила его теперь теплотой и вниманием. Даже те, кто в свое время бойкотировали его, выражали свое участие, обещали добиваться его приема в скиты впоследствии. Молодежь подчинилась решению старших товарищей, но согласна с этим решением не была, и, чем могла, старалась смягчить удар, нанесенный Коневскому. Все мы знали – сейчас мы покинем кремль, уйдем в скиты, а Коневского переведут в бараки на общий режим. Я горячо спорила по этому вопросу с Иваном Юлиановичем Примаком. Меня поразила жестокость этого обычно мягкого и чуткого, даже нежного в отношениях с окружающими человека. Мне казалось даже, что его большие серые внимательные глаза стали холоднее и уже под черными нахмуренными бровями.

- У нас нет возможности проявлять чувствительность и сентиментальность, - говорил он. – Если Коневский стоящий парень, он оправится и поймет, что иначе поступить мы не имеем права. Мы не можем рисковать всем коллективом во имя Коневского, коллектив дороже Коневского. Что, если мы его пожалеем, а он, как только наступят трудности, снова предаст? Кто будет в ответе за весь коллектив?

Рассуждения Примака казались мне неубедительными, передо мной стоял живой человек. Закончил спор Примак суровым голосом:

- Я был в худших условиях, чем те, в каких был и будет Коневский, и выжил. Выживет и он, а если сломается, значит, решение относительно него верно. Перед нами нелегкий путь.

Вспоминая о Коневском, я забегаю вперед и расскажу о его дальнейшей судьбе. Полгода провел Коневский в кремле. Его состоятельные родители помогали ему переводами и посылками. Но

тосковал он очень. Через полгода, под нажимом молодежи, Коневский был принят в скит. Окончив срок тюрьмы, а может быть, и ссылки, Коневский вернулся в Ленинград. Там он встретился с другими, вернувшимися из ссылки, товарищами. В 1935 году вместе с группой других был арестован вновь и Коневский. И снова он выдал всех, больше того, он давал показания о том, что было и чего не было, оговорил товарищей. Рассказала мне об этом Тася Попова, привезенная в Суздальский полит изолятор в 1936 году по окончании следствия. Ее, ее мужа, Массовера, и еще ряд товарищей Коневский предал и оговорил. Так утверждала Тася, она была в этом убеждена.

Мне было уже 36 лет. Больше 12 лет отделяло меня от юношеского спора с Примаком, но суровый взгляд его серых глаз я видела так же ясно и теперь. Я будто слышала, как он говорил: «Жестока жизнь, и часто приходится быть жестоким». Милый Иван Юлианович! Как трудно было спорить, наверное, тогда с наивной и прекраснодушной девушкой. Он не убедил ее тогда! Увы! Жизнь потом убедила.

В Савватьевском ските

Сима и Александра Ипполитовна уехали вместе со старостами, и через несколько дней, когда наш этап шел к скиту, я знала, что там есть знакомый и близкий мне человек, но на сердце было тревожно. Прошло следствие, этап, чередовались впечатления. Теперь я водворялась на постоянное местожительства, на три года. Как сложится здесь моя жизнь? Я рвалась навстречу новым товарищам и в то же время стеснялась их. Все они казались мне людьми необыкновенными, несравненно выше меня стоящими, людьми, имеющими целый ряд заслуг перед народом, перед революцией. А я? Кроме желания и стремления отдать свои силы на завоевание счастья народного, у меня ничего не было, я считала себя не вправе даже быть членом партии эсеров. В тюремной запертой камере люди быстро сживаются, сама жизнь толкает их друг к другу. Иначе в большом Савватьевском коллективе. Здесь люди уже сжились, разбились на группы, связанные дружбой, симпатией, приятелью.

Почти год прожила я в Савватьевском скиту, более или менее близко узнала товарищей по партии. Что же касается з/к других фракций, то многих я едва знала в лицо, или же по фамилии. Я чувствовала, что товарищи ко мне присматриваются, как бы прошупывают меня. Это не было мне неприятно. Но многое вокруг казалось непонятным для меня. Я не могла понять розни отчуждения между фракцией эсеров и фракцией с. – д. Почему в ските, несмотря на трудности, люди расселены по камерам, исходя из их партийной принадлежности? Много надо было узнать и понять.

А пока я шла этапной группой от кремля к Савватию. Дорога шла лесом. Кое-где огибала она озера, цепью смыкающиеся, вырытые когда-то ледником. Был конец августа. Лес жил не потревоженной жизнью. Ни звери, ни птицы не боялись людей. Монахи не занимались охотой. Богомольцы, приезжавшие в обитель, тоже. Другого населения на Соловках не было.

С возникновением лагеря на острове появились новые люди, но положение зверей и птиц не изменилось. Охота осталась запрещенной. Часто приходилось нам слышать поучения командиров надзирателям, упражнявшимся на плацу перед нашими окнами:

- Патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе, как по з/к.

То и дело через дорогу перебежали зайцы. Усаживались на обочину дороги и, наострив уши, смотрели на проходящих мимо людей.

Пока этап шел, со мной рядом шагал Иваницкий.

Он расспрашивал меня о моем деле, о воле. Я знала, что ему я могу все рассказать. И всех, кого я знала, о ком слышала, знал и он. Он же объяснил мне, почему у эсеров нет ЦК, а только ЦБ. Когда эсеровский ЦК был арестован, созвать съезд партии не было возможности. ЦК заменило, избранное собравшейся группой, Центральное Бюро. Иваницкий сказал мне, что с двумя членами ЦБ первого созыва я познакомлюсь в Савватию. Он не назвал мне их фамилии. Позже я узнала, что одним из них был он, вторым был Гельфголт, о котором я много слышала от Симы. Иваницкий много рассказывал мне о Соловках, о прежней жизни монахов и богомольцев на острове.

Когда заключенных перевозили из Петроминска, монастырь только ликвидировался. Заключенные постоянно наталкивались на брошенные кресты и иконы, монастырскую утварь. Жили монахи на Соловках сыто, но до смешного примитивно. Был, например, у них свечной заводик. И сейчас еще старичок-монах, представляющий этот свечной заводик, одиноко живет в своей келье. Он топит воск и каплет им на скрученный фитиль нити. Век свой прожил этот старичок на Соловках.

Иваницкий его видел, беседовал с ним. Много он рассказал Иваницкому о заточении в монастыре в былые годы.

(Здесь пропущено несколько строк. – Ред.)

Наш переход – этап к Савватию – ничем не напоминал этап. Конвоиры шли спокойно, они не равняли строй, не торопили. Мы шли без окриков, без соблюдения строя. Никто не мог встретиться на этой уединенной дороге. Некуда было бежать арестантам.

Когда дорога завершила к Савватию и строение скита показалось из-за деревьев, Иваницкий сказал мне:

- Перед вами всеми, прибывшими с воли, стоит большая задача. Наша жизнь здесь застоялась, вы увидите много болезненных явлений в жизни коллектива. Тяжело пережили мы 19 декабря, тяжело живем дальше. Вы – свежие люди и вы должны внести освежающую струю. Помочь изжить прошлое.

По плечу ли была задача нашей маленькой горсточке, вливающейся в коллектив?

Тепло и радостно встретили заключенные вновь прибывших. Все гулявшие во дворе товарищи окружили нас, как только мы вошли за ограду колючей проволоки. Иваницкий попросил кого-то проводить меня в женскую эсеровскую камеру. С двумя спутниками, несшими мои вещи, я вошла в большой корпус и поднялась на второй этаж. Монастырская гостиница, отведенная теперь под заключенных, ничем не походила на тюрьму. От узкого полутемного коридора, идущего в обе стороны от лестничной площадки, налево и направо выходили двери номеров-камер.

Мы вошли в женскую эсеровскую камеру. Светлая, чистая, свежо побеленная, с двумя большими, настежь открытыми, окнами, выходящими на озеро, камера была полна света и воздуха. Конечно, никаких решеток. Посреди камеры стоял небольшой, покрытый белой скатертью, стол. Вдоль стен четыре топчана, аккуратно застеленные постели. У каждой по маленькому столику. На них – книги, тетради, чернильница. В углу, у двери, над табуретом с тазом, висел умывальник. У одного из столиков, забравшись на топчан с ногами, сидела Сима и читала книгу. Такая, какой я привыкла ее видеть. В коричневом платье, с волосами, перевязанными большим черным бантом. Радостно поднялась она мне навстречу.

- Наконец-то и вы с нами! Знакомьтесь скорее.

В камере, кроме Симы, жили еще три заключенные – Клавдия Порфирьевна Седых, худощавая, очень серьезная с виду, тридцати двух лет, была она сибирячкой, по профессии учительницей. На Соловках, в школе заключенных, она преподавала русский язык и литературу. Свой предмет она очень любила и вела его так, что многие заключенные, образованные и знающие люди, шли все на отдельные занятия, просто, чтобы послушать Клавдию Порфирьевну. Прасковья Григорьевна Муралова – 29 лет. Не успела закончить высшую школу. Продолжала свои занятия, изучала высшую математику. Весь столик ее был завален толстенными книгами. Она занималась не одна. Еще двое товарищей вместе с ней грызли «корень науки», как шутила Клавдия Порфирьевна. Третьей затворницы не было в камере, но вернулась она тут же. Это была Александра Ипполитовна. За плечами ее стоял завхоз. Он пришел позаботиться о моем устройстве. Как бы извиняясь, он говорил:

- Придется потесниться, у нас эсеровских камер всего две. Со временем перегруппируем мужчин, а пока – в тесноте, да не в обиде.

В камеру двое товарищей внесли топчан. Передвинули, сдвинули стоявшие. Сокамерницы огорчились, что для меня не удавалось поставить столик – еле втиснулась маленькая тумбочка.

- Вы будете заниматься за моим столом, - сказала Сима, - или за общим, как захотите.

Я очень устала за день, полный новых впечатлений. Больше всего мне хотелось остаться одной. Тяжело начинать жизнь на глазах у посторонних людей. Хоть как-нибудь уединиться можно было только на своей койке. И, постелив постель, я легла, укрылась, повернулась лицом к стене. В конце концов, я уснула.

Разбудил меня утром крик в коридоре: «Первый кипяток!» Я поднялась, села на постели. Сима уже не спала. Она лежала, читая.

- Спите еще, - сказала она, - мы встаем, когда раздастся третий кипяток. Действительно, по крику «Второй кипяток!» женщины начали вставать, а когда закричали «Третий!», дежурная по камере

спустилась на кухню и принесла два чайника – один с кипятком, второй, маленький, с заваркой. Она накрыла стол скатеркой, поставила чайные чашки с блюдцами, положила чайные ложечки, хлеб, аккуратно нарезанный ломтиками, сахар-песок в вазочке. Мы собирались сесть за стол, когда в дверь постучали. В камеру зашел завхоз с большим деревянным подносом. На подносе были разложены порции сливочного масла. Одну из них, размером в две спичечные коробочки, он положил на наш столик. Я не могла скрыть своего удивления ни сервировкой стола, ни самим завтраком. Товарки мне объяснили:

- Мы хотим жить по-человечески, а питание наше складывается из тюремного пайка, продуктов, присылаемых Красным Крестом и того, что присылают родные.

В ските была общая каптерка. Из находящихся в ней продуктов наши повара готовили обеды и ужины. Продукты из посылок родных поступали во фракционные каптерки. Эсеры сдавали все свои продукты из посылок, все денежные переводы. Коммуна была полная. Так же поступали «леваки» и «анархи». Социал-демократы были против так жестоко осуществляемой коммуны-уровнировки. Лакомства, предметы роскоши, то, чем родные хотели побаловать, оставалось у заключенного в его полном распоряжении. Все книги сдавались по списку в общую библиотеку. При выезде владельцу по желанию книги возвращались. Библиотекарь выдавал книги читателям. Такая организация жизни давала возможность улучшить положение заключенных, создать особое повышенное питание для слабых и больных. Из фракционных каптерок им выдавались дополнительные продукты.

Эсеры и эсэки

В жизнь коллектива я входила постепенно, с трудностями. Не все сразу стало мне понятно в сложившемся строе жизни. В первые же дни меня зазвал в свою камеру Богданов. Мне было понятно – все старые сидельцы хотели говорить с человеком, недавно пришедшем с воли. Богданов жил в маленькой уютной камере, которая сразу поразила меня. Она походила скорей на рабочий кабинет, а не на тюремную камеру. И письменный стол, и кресла, и побелена по-особому. Богданов расспрашивал меня о воле, о студенческой жизни. На стол он поставил коробочку шоколадных конфет. Я отказалась от сладостей.

- Не любите? Или по принципиальным соображениям? – спросил меня Богданов.

- По принципиальным, - смеясь, ответила я. – Я думаю, конфет хочется не только тем, кто получает их в посылках.

Богданов стал серьезнее.

- Мы простые люди, а не святые. Допустим, от себя мы еще можем потребовать. Но вправе ли мы требовать от наших родных? Они, может быть, отказывая себе во всем, шлют брату, мужу или сыну, что могут, чтобы побаловать его, скрасить его участь. Почему мы должны лишать человека маленькой радости? Да и станут ли родные слать эти мелочи, если узнают, что они не попадут адресату?

- Зачем же их уведомлять об этом, - перебила я Богданова.

- Ну, мы не святые. Мы не можем ущемлять своих родных, принимать их жертвы для соседа.

Я опять перебила Богданова:

- А для себя?

- Я буду просить родных высылать продукты, деньги и сдавать их в каптерку. Так должны делать мы все, улучшая питание свое и своих товарищей. Но балуют родные, меня, именно меня. А я побалую того, кого приятно побаловать мне. В данном случае, вас. Каждый живет по-своему.

Я взяла конфету. Мне было неудобно не взять. Не помню всего, о чем мы говорили с Богдановым. Пробыла я у него в камере недолго. Богданов мне не нравился своим авторитетным тоном, своей самоуверенностью. Однако, должна сознаться, внимание, проявленное ко мне старостой социал-демократов, мне льстило.

Вечером, гуляя по коридору с Иваном Юлиановичем, я спросила:

- Почему у Богданова при общей тесноте отдельная камера?

- Каждому старосте коллектива выделяется одиночка. Она ему необходима для бесед с товарищами и для отдыха. Поймите, какую нервную работу он ведет. Ведь он отвечает за жизнь коллектива.

- Почему же у Иваницкого нет отдельной комнаты? – спросила я.

Иван Юлианович рассмеялся.

- Потому, что – Иваницкий, а не Богданов. Ему выделена одиночка, но он, зная о тесноте в коллективе, позвал в свою камеру товарища.

- А почему у Богданова кабинет, а у Иваницкого койка под суконным одеялом?

- Я не имел чести быть у Богданова, - резко сказал Примак и сразу мягче добавил, - вероятно, социал-демократы находят нужным, чтобы их староста так жил. Вы замечаете, - уже посмеивался Примак, - что они уже и вас уважают, раз их староста пригласил вас к себе.

Этого я не заметила, но я заметила другое. Многие мои товарищи по фракции обратили внимание на то, что я была у Богданова. Я не понимала, в чем дело, а спросить прямо я не умела. Я чувствовала, что между фракцией эсеров и с. – д. какая-то отчужденность. Отдельные члены из разных фракций поддерживали между собой хорошие товарищеские отношения, но на них большинство косилось. В то же время я чувствовала в коллективе какую-то нервозность, болезненную настороженность. Недавно пришедшая в тюрьму с воли, я не могла понять повседневную тюремную жизнь. Меня поражало то, что во время прогулок многие заключенные ходят в одиночку по тюремному дворику, вышагивая круг за кругом. Я не могла еще понять тяги к одиночеству. Я стала избегать встреч с Богдановым. Мне хотелось уяснить, почему мои товарищи не одобряют общения с ним. Помогла мне Александра Ипполитовна.

- Очень непросто живем мы в тюрьме. За годы сидки наслоились груды переживаний. Они размежевали коллектив. Эсеры и социал-демократы не просто разные партии. Люди, примкнувшие к этим партиям, резко отличаются друг от друга. Они разные по складу мышления, по взглядам, по образу жизни. Мы говорим «типичный эсер» или «типичный социал-демократ». В тюрьме эти различия особенно выпирают наружу. Сравните Иваницкого и Богданова. В тюрьме эти разные люди вынуждены жить рядом. Мало того, они вынуждены рядом противостоять администрации тюрьмы. Линия поведения в тюрьме у социалистических фракций разная. Вы знаете, что 19 декабря среди убитых не оказалось ни одного социал-демократа? И это не случайность, социал-демократы были на прогулке во дворе только потому, что все произошло до шести часов вечера. После шести их не было бы. Богданов – человек очень крупный. Никто не умаляет его достоинств. Возможно, товарищи опасаются его влияния на вас. Весь наш коллектив разбит сейчас на две группы – сторонники активной борьбы за режим и сторонники пассивного сопротивления. Здесь каждый человек на счету. Многие насторожились – с кем будете вы. Вы заметили, наверное, что Сима демонстративно дружит с социал-демократами. Многие ее за это осуждают. Я не осуждаю. Я просто не понимаю, как и зачем сохраняет она эту близость в нашей обстановке? А Богданов, конечно, хочет, чтобы среди эсеров было как можно больше согласных с его тюремной тактикой.

Очевидно, в моих письмах к отцу проскользнуло достаточно намеков на жизнь в Саватии. Папа удивленно спрашивал меня в письме: «Неужели в тюрьме вы делитесь на группы?» В словах отца мне слышалась укоризна.

Чем дольше я жила в Саватии, тем больше убеждалась, что так жить дальше коллектив не может. Часто и подолгу о жизни коллектива говорила я Примаком, с которым очень подружилась. В Савватьевский скит я попала в начале сентября. Приходила осень. Близилась зима. Близилось закрытие навигации. В числе заключенных было несколько человек тяжело больных. И прошлую зиму коллектив перенес тяжело. Появилась цинга. Особенно быстро поддались ей сибиряки и дальневосточники. Им тяжело давался сырой соловецкий климат. У них распухали ноги, товарищи на руках выносили их на воздух. С прошлого года здоровье людей ухудшилось. Завхозы изыскивали все возможности подкармливать больных за счет здоровых. Это приводило к тому, что больные продолжали жить, а здоровье здоровых изнурялось и число больных росло. Ни свежего мяса, ни овощей, ни молока на Соловках не было. Картошка считалась деликатесом. Когда она входила в меню, десять-двенадцать человек чистили ее часами. Клубни едва превышали голубиные яички, а готовили обед на 250 с лишним человек. С медикаментами тоже было из рук вон плохо. Без конца подавались начальству заявления о вывозе больных на материк. Ответа не поступало. Особенно тяжело было одной заключенной с больным сердцем. Кронид-Белкин, заключенный врач, опасался за ее жизнь. Днями и ночами по очереди дежурили мы у ее койки. Неделями жила она на камфоре, а запас камфоры подходил к концу.

Тревожило заключенных и новое наступление администрации на режим. О сокращении прогулок речи не поднимали, но об обязательном принудительном труде для политзаключенных Эйхманс поднимал разговоры со старостами. Вопрос о новой инструкции, заглохший после 19 декабря,

поднимался вновь. Вновь предполагалось завинчивание режима с закрытием навигации. Все больше появлялось сторонников предложения добиться от администрации, не дожидаясь прекращения навигации, сохранения полит режима на Соловках или же вывоза всех полит заключенных с Соловков.

Все фракции скита были едины в вопросе об отстаивании полит режима, но методы борьбы за режим были разные. Социал-демократы заняли особую позицию. Были и в эсеровской партии сторонники их позиции, но их было ничтожное меньшинство. Все считали необходимым довести до сведения Москвы, пока есть еще связь, что политзаключенные Соловецких островов не примут нового режима, что свои права они будут отстаивать до конца. Все, кроме социал-демократов, считали, что заявление свое политзаключенные должны подкрепить определенным разъяснением слов «до конца», то есть указать, что в случае неудовлетворения их требований, они начнут голодовку.

Примак был по темпераменту активным, решительным, упорным. Он стоял среди тех, кто считал, что мириться с завинчиванием режима нельзя. Он рассказывал мне о борьбе, которую вели заключенные за режим в царских тюрьмах. Он говорил, что сдача позиций, уступки заключенных под нажимом по мелким вопросам, ведет к сдаче всех позиций, к разложению, ослабляет сопротивляемость коллектива. Но выговорить слово «голодовка» ему было трудно. Примак был тяжело болен. Его включили в список тех больных товарищей, о вывозе которых на материк настаивали заключенные. Он знал, что в случае голодовки, коллектив запретит ему, как больному, принимать в ней участие. И все же он не считал возможным подачу заявления с требованиями без указания, чем они подкрепляются.

- Если требования действительно жизненно важны для нас, мы боремся за них, а пустые, ничем не подкрепленные декларации, ни к чему не ведут. За режимные требования здесь, на Соловках, уже пролилась кровь. Товарищи не могут забыть утрат. Уступить – для них означает оскорбить память погибших 19 декабря.

Последнее замечание Примака звучало для меня особенно убедительно. Весь коллектив был болен. Он не пережил декабрьский расстрел, он умолк, сжался в комок, но внутри него все дрожало, было все напряжено. Я знала, что на Соловках каждая мелкая стычка с администрацией может привести к катастрофе. Коллективу нужна разрядка. Ему нужно сознание, что та кровь, которая пролилась, пролилась не даром.

Я мало ознакомилась с людьми окружавшими меня. Кое-кого я знала ближе, но огромное большинство было мне вовсе незнакомо. Весть о том, что психически заболел Н., конечно, меня очень взволновала. Его я не знала, но видела. Сперва, даже никто не говорил о психическом заболевании. Говорили о повышенном нервном состоянии. Принимали всяческие меры к его успокоению. Выделили больному одиночку, окружили товарищеской заботой и вниманием. Но подавленное состояние сменилось возбужденным. Мания, охватившая Н., состояла в том, что им открыта тайна построения социализма на всем земном шаре. Что социализм будет осуществлен без борьбы и усилий, путем взаимодействия Земли и Луны. Сперва, он только пытался всем растолковать свое открытие, затем стал добиваться осуществления его. Он бесновался, крушил все, что попадалось под руки. Откуда-то взялась непомерная сила. Самые сильные не могли удержать его. Наконец, из Москвы пришло разрешение на вывоз его на материк в клинику для душевнобольных. Как взять его? Как добиться спокойного отъезда? Картина вывоза Н., рассказанная нами товарищам, вставала перед глазами.

Когда из кремля за Н. приехали конвоиры, старосты сообщили ему, что за ним из Москвы приехали от Сталина. Сталин вызывает его на доклад, чтобы ознакомиться с его теорией. Н. обсудил со старостами вызов. Но проявил недоверие. Он заявил, что рискнет доверить тайну ЦК коммунистической партии, но так как его могут убить по дороге, он хочет обнародовать ее на месте. Он потребовал перед объездом созыва общего собрания скита, чтобы сделать сообщение.

Для успокоения Н. было устроено общее собрание. На собрании я увидела его впервые. Высокий тонкий юноша с обыкновенным, по-моему, совершенно нормальным лицом вышел к собравшимся. Совершенно спокойно начал он свое сообщение. Он говорил ясно и четко, но постепенно в произносимых словах не стало никакого смысла. Более жуткой картины я не видела. Не выдержав, я ушла в свою камеру. Мне просто было страшно. Прямо с собрания Н. увезли от нас.

В эти тревожные дни неожиданно вывезли на материк и Примака. Состояние его здоровья было очень серьезным. Всего несколько минут дали ему на сборы. Долго ли собраться арестанту. Иван Юлианович простился с коллективом. Он позвал меня в свою камеру. На минуту мы остались вдвоем.

- Мне грустно расставаться с коллективом и с вами. Увидимся ли мы, я не знаю, но думать и помнить о вас я буду.

Он обнял меня. Мы крепко поцеловали друг друга. Разлука с Иваном Юлиановичем была моей первой тяжелой разлукой. С ним мне было легко говорить. Он разъяснил мне многое.

Первые месяцы моего пребывания на Савватии спокойной, нормальной жизни почти не было. На собрании, на прогулке, в камере, в коридоре – все толковали об одном: о борьбе за режим. В том, что борьбу вести придется, никто не сомневался. Спорили о том, как ее проводить. Социал-демократы во главе с Богдановым приводили всевозможные доводы против голодовки. Они утверждали, что массовые голодовки, в которых принимают участие сотни заключенных, обречены на неудачу. Что в условиях Соловков, где заключенные изолированы по трем скитам, она становится невозможной. Ведь даже предварительный сговор со скитами, наталкивается на бесконечные трудности. Вовремя же голодовки связь оборвется совсем. С этими доводами соглашались все, но другого выхода не находили.

Я впервые сталкивалась с тюремной борьбой за режим. Сможет ли коллектив выжить в условиях зачинного режима? Вокруг себя я видела стойких идейных людей, но физически они были измучены, ослаблены годами заключения. И им войти в голодовку?

Что голодовка, раз начавшись, окажется длительной, не сомневался никто. Коллектив, каким я его застала, казался мне обреченным на борьбу. И чем раньше войдет он в нее, тем больше сэкономит сил, растрачиваемых на подготовку. Этот коллектив не выдержит зачинного режима ни физически, ни психически. Так казалось мне.

Левые эсеры и анархисты уже прекратили всякие переговоры с с. – д., кто-то из них сказал мне:

- Вы верите им, вы думаете, что с. – д. верят в возможность избежать голодовки? Ничего подобного. Они хотят, чтобы голодали за режим мы. Они ищут путей, дающих им возможность не участвовать в общей голодовке. Их обычная тактика... (Пропуск. – Ред.)... бороться за режим нашими руками. Они будут писать заявления, протесты... на это они молодцы. А голодать будем мы с вами.

Я возмущенно запротестовала.

- Как было в прошлом году, вы знаете? – продолжал мой собеседник. – Протестовали они, возмущались, кричали о том, что не примут новый режим. Богданов кричал громче всех. Но 19 декабря, когда во дворе убивали наших товарищей, он у дверей корпуса ловил своих и не выпускал их за дверь. Берег свои меньшевистские кадры. А в переговорах с Эйхманом ораторствовал: «Вы хотите еще крови, будет и еще кровь!» Иваницкий так легко не аргументировал кровью своих товарищей. И теперь они хотят пожинать плоды, купленные ценой наших жертв.

Многие в коллективе думали так же. Однажды Саша Яковлев, Егор Кондратенко и Соломон Штерн, три заядлых эсера, залучили меня в свою камеру. Все трое были рабочими людьми без особого образования. Саша, многие называли его «святым», молодой, в ореоле каштановых кудрей, с какими-то светящимися глазами, казалось, сошедший с одного из нестеровских полотен, бил меня этическими категориями. Егорушка, значительно старше, рабочий от станка, неказистый, ничего привлекательного по внешности не представлявший, брал иронией, скепсисом. Сема Штерн, более эрудированный, чем его товарищи, раззадоривая, поддерживал их отдельными репликами.

Запомнился мне из всего спора о с. – д. всего один Сашин аргумент.

- В нашей фракции тоже есть противники голодовки. Ваша Сима, или Гольд, или Иванов... Но они первыми начнут голодовку и последними ее снимут. Пусть бы и с. – д. так: спорили до момента решения, а потом присоединились бы к большинству.

- Нам бы отказаться сейчас от голодовки... Что бы тогда сделали с. – д.?

- Может быть с. – д. в процессе голодовки присоединятся к нам, - ответила я на слова Кондратенко. Но мои собеседники только засмеялись в ответ.

Во всех трех скитах, всеми фракциями было принято решение – отправить в Москву заявление еще до закрытия навигации. В нем было требование либо вывезти всех политзаключенных с Соловков в места заключения, расположенные на материке, либо сохранить существующий в

настоящее время режим. Фракции с. – р., левых с. – р. и анархистов подкрепляли свое требование голодовкой в случае неполучения положительного ответа к указанному в заявлении числу.

Для всех было ясно, что в случае возникновения голодовки, всякая связь между Савватием, Муксолмой и Анзеркой будет прервана. Поэтому все переговоры во время голодовки и решение о ее снятии доверялись голодающим Савватьевского скита. Все сговоры в скитах и между скитами и теперь велись с большими трудностями, конспиративно. Заявления всех скитов и всех фракций были посланы в один день и час. Для ответа администрации предоставлялся двухнедельный срок. После подачи заявления нервная напряженность в лагере спала, спорить и дебатировать было не о чем.

Очень тяжелым для меня и моих товарищей был вопрос о переписке с родными. Конечно, с началом голодовки переписка оборвется. Родные знали, когда кончается навигация. Отсутствие писем в неположенное время будет волновать их. Но это и должно стать свидетельством тому, то на Соловках беспокойно. Я думала о папе. Всего несколько писем успела послать я с Соловков. Что будут думать, что будут переживать наши родные, не получая вестей? Мы тоже не будем получать писем. Но мы-то будем знать причину молчания...

Переписка с родными всегда была трудной для нас. Что можно писать из тюрьмы? И как можно писать, меня при моем прибытии на Соловки старшие товарищи инструктировали: письма, рисующие тяжелые и мрачные стороны, не пропускаются цензурой. Изображать нашу жизнь в оптимистических, розовых тонах, чтобы успокоить родных, не рекомендуется. Такие письма или отрывки из писем выхватываются цензурой и публикуются в нашей и зарубежной печати, как хорошо содержатся заключенные в Советском Союзе.

Два наших товарища, желая ободрить родных, писали им бодрые письма, прикрашивая светлую сторону нашей жизни. В одном из номеров, кажется «Роте Фане», получаемой нами, в подвале, посвященном жизни заключенных на Соловках, они прочитали свои письма. Их письма сопровождали измышления автора о рае на Соловках.

Трудно писать из тюрьмы, зная, что каждая твоя мысль, каждое твое настроение взвешивается на весах цензуры, приобщается к твоему делу, используется органами ГПУ. Знали мы об использовании наших писем, наших личных взаимоотношений точно. Для утяжеления судьбы заключенных ГПУ всегда использовало их личные переживания. Например, зная, что Таня Ланде разошлась со своим мужем Моисеем и полюбила Шестакова, ГПУ направляло их троих в одни и те же места заключения. Напротив, оно разлучало мужей и жен, даже в ссылках.

Голодовка

За день до указанного заключенными срока Эйхманс приехал в лагерь и заявил, что из Москвы получен отрицательный ответ.

Голодовка началась. По трем скитам голодали анархисты, левые с. – р. и с. – р. Только очень серьезно больным и слабым товарищам коллектив запретил принимать участие в голодовке. В Савватии, перед началом голодовки, заключенные произвели переселение. Все не голодающие были переведены в одно крыло нижнего этажа, где помещалась кухня. По указанию старост, голодающие с первого дня разошлись по камерам и легли на койки. Надо было беречь силы. Не ослаблять себя. Настроение коллектива стало спокойным, уверенным. В победе мы не сомневались.

Меня интересовало чувство, испытываемое голодающими. Особенный, профессиональный интерес к голодающим был у Крониды Белкина. Его интерес был интересом научного порядка. Был он очень слабого здоровья и голодание ему было запрещено коллективом. Как врачу, ему было разрешено администрацией лагеря ежедневно вместе с тюремным фельдшером обходить камеры с голодающими. В Савватии голодало около двухсот человек. Поле для наблюдения было широким. Кронид переживал, что не может голодать вместе с нами, но профессиональный интерес не подкидал его. Он вел ежедневные наблюдения и записи. Для нас его ежедневный обход был желанным. Он приносил нам вести о состоянии, настроении товарищей, о жизни всего коллектива. Приносил нам вести и Иваницкий. Он голодал, но все же обходил наши камеры ежедневно.

Голодающие все переносили очень разно. Одни мучительно ощущали голод с первого дня до последнего. Другие почти не ощущали потребности в еде. Голодовка наша не была «сухой». Воду мы пили. Самым неприятным для всех был привкус во рту, пересыхание языка, губ. Мне говорили, что в камере голодающих всегда спертый неприятный запах. Его сами голодающие обычно не ощущают. Совершенно и абсолютно ясное мышление мы сохранили во все дни голодовки. Казалось даже, что

мозг работает четче, чем обычно. Мы читали, занимались, Прасковья Григорьевна упорно решала задачи и выводила какие-то формулы.

Мы, женщины, целыми днями лежали на койках. Но мужчины, особенно молодежь, не выносили этого постановления старостата. Они бродили по камерам, и у нас нередко бывали гости. Особенно часто заглядывали Степан Гнедов, Вася Филиппов и Шура Федодеев. Крепкие молодые здоровые ребята не могли выдержать лежачего режима, а камеры наши находились по соседству.

Часто заходил проведать Симу Гольд. Это был странный и своеобразный человек. И в манере держать себя, и в манере одеваться и по образу мыслей. Ничего типично эсеровского в нем не было. Худой, высокий, он держался негибко, и лицо его было неподвижное, как бы застывшее. Одевался он всегда по-европейски, в пиджачную, тюрмой потертую пару, привлекавшую к нему внимание на всех этапах. Был он мало общителен, его не очень любили, но очень уважали. Был он человеком для круга избранных, умным, образованным. Знал языки, был математиком, философом, социологом и прекрасным преферансистом и шахматистом. Он приходил к нам и садился на стул возле Симиной койки. Ровным голосом говорил о вещах, ни имеющих никакого отношения к нашей жизни и интересам сегодняшнего дня.

Оба они, и Сима, и Гольд, были противниками голодовки. Оба не верили в победу и не допускали мысли о поражении. Говорили они об астрономических явлениях, о форме литературного творчества, об архитектурных стилях разных эпох. Казалось, что они любят друг друга. Но за Гольдом шла слава старого холостяка и без конца у нас повторялась его фраза – «жениться может только человек, большой на голову».

Степа, Шура и Вася были совсем другими. Они могли часами просиживать в нашей камере и говорить о голодовке, вернее, об ее окончании. Все трое были поварами у нас. Один перед другим выдумывали они, какими обедами будут кормить нас после голодовки, после победы. Эти беседы кончались обычно тем, что Клавдия Порфирьевна, которая мучительно хотела есть с начала голодовки и до ее конца, выгоняла их из камеры. Шура Федодеев и Вася Филиппов часто вели нескончаемые разговоры по социологическим и программным вопросам. Вася был сибиряком, сыном крестьянина. Был он широкоплеч и коренаст. Он не получил никакого систематического образования и упорно наверстывал этот пробел в тюрьме. Больше всего его интересовали экономические вопросы, и он усидчиво штудировал «Капитал» Маркса. Деревенский парень, не видевший ни большого города, ни театра, ни картинной галереи, ни трамвая, он вырос и культурно и умственно в тюрьме среди книг и товарищей. В шуточной беседе мечтали мы с ним часто, как вместе поедем смотреть антоновские яблоки. Наши мечты снова прерывала Клавдия Порфирьевна:

- Бросьте, - говорила она, - у меня слюнки текут.

Шура, сверстник Васи, был коренным москвичом. Отец его был тренером на бегах, и Шура с детства увлекался скачками, беговыми лошадьми, тренерами – всем тем, о чем я не имела ни малейшего представления. В 1917 году он окончил гимназию и собирался поступить на юридический факультет. Но жизнь столкнула его с одним социалистом-революционером. Вместо юридического факультета дальнейшее образование Шура получал в тюрьмах и ссылках. Он был арестован в 1919 году и сослан в Архангельск. Недолго поработав там на погрузках пароходов, он бежал. Некоторое время он жил и работал на нелегальном положении. Женится на своей товарке и эсерке. Ждал рождения сына. В 1922 году был снова арестован и отправлен в Петроминский лагерь. Больше всего его интересовали вопросы социологии. Занимался он упорно и много. В коллективе, из молодежи, считался одним из самых талантливых. Он принимал участие во всех дискуссиях и сам выступал с докладами. Обычно молчаливый и застенчивый, он мог часами говорить на интересующие его темы. Он вечно сражался с Васей.

- Все наши ударились в экономику. Маркса штудируют. С. – д., те молодцы, они своих теоретиков на зубок знают. А ты?.. Знаешь ты Лаврова, Герцена, Чернышевского?

- Я должен знать обоснования наших противников, - защищался Вася.

Но Шура не сдавался.

- Не эти вопросы сейчас животрепещущие. Нам надо свою программу пересматривать и обосновывать.

В течение всей голодовки он готовился к очередному докладу. Вернее, содокладу. Шестаков должен был делать доклад о демократии. Шура стоял на более левых позициях, чем Шестаков. В своих установках он ближе других был к левым эсерам. Он считал, что настало время ставить вопрос об объединении всех эсеров на новых позициях, позициях конструктивного социализма.

Степа теорией не занимался. Он был человеком действия, душевным, отзывчивым товарищем, всегда приходившим всем на помощь. Голодать ему было труднее, чем многим другим. Он не любил лежать с книгой. Во время голодовки, вопреки указаниям старостата и Кронида, целыми днями бродил он по камерам голодающих. Приход его всегда радовал. Он разносил вести о самочувствии людей.

Первую неделю заключенные голодали спокойно. На 8-ой день как-то сразу сдал Волк-Штоцкий. Он был болен туберкулезом, но отказался от освобождения от голодовки, на котором настаивал старостат. Плохо стало с Таней Ланде и Шестаковым. У всех трех начала подниматься температура. В нашей камере очень ослабела Муралова. Слабость распространялась среди голодающих быстро. Люди все больше дремали или спали, поднимаясь и садясь на койках – испытывали головокружение.

На тринадцатый день голодовки мы узнали, что среди левых эсеров и анархистов появились ликвидаторские настроения. Возмущал нас выдвинутый ими аргумент. Они утверждали, что среди эсеров ослабели некоторые товарищи, им самим неудобно ставить вопрос о снятии голодовки, потому его должны поставить «левые» и анархисты. Им говорили, быть может, в Анзерке или Муксолме уже есть жертвы голодовки. Ведь договаривались мы голодать до конца. В ответ на предложение о снятии голодовки, в связи с тем, что она грозит гибелью слабейшим товарищам, группа эсеров, в которую вошли и Вася, и Шура, и Степа, пришли к старостам со следующим заявлением: «Голодовку не прекращать ни в коем случае. Но, считая невозможным ставить под удар слабейших товарищей, в подтверждение требований заключенных, начиная с 15 дня голодовки, ежедневно один из группы вскрывает себе вены и кончает с собой. Остальные продолжают голодать».

Широкие круги голодающих не знали об обсуждении такого предложения. Староста колебался, может ли он прийти к такой форме голодовки, не уведомив другие скиты. Во всяком случае, до выяснения вопроса он запретил подобные выступления. С этого совещания старост вызвали в комендатуру. Из кремля прибыл Эйхманс.

Администрация прекрасно знала о состоянии здоровья голодающих. Ежедневные обходы совершал Кронид в сопровождении фельдшера. Эйхманс стал убеждать старост снять голодовку. Из разговора у старост сложилось впечатление, что им получены из Москвы какие-то инструкции, какие-то полномочия. И он приехал проверить настроение коллектива.

Вернувшись в корпус, старосты застали всех еще более возбужденными. В уборной пытался повеситься Н. Его успели вовремя снять с петли. Левые эсеры, узнав о попытке самоубийства, решительно заявили о снятии голодовки. Коллектив голодал уже пятнадцатый день. Старостам после разговора с Эйхмансом казалось, что снимать голодовку нецелесообразно. Но состояние коллектива было таково, что они решили провести референдум.

Иваницкий и Гольд прошли по камерам с урной. Закрытой подачей голосов должны были голодающие решить вопрос о голодовке. Жить или умирать – мы понимали, что так стоит вопрос. Но мы понимали и другое – снять голодовку, значит отдалиться на милость администрации. Снять голодовку – значит признать свою неспособность бороться за режим и впредь. Все эсеры единогласно высказались за продолжение голодовки. Даже те, кто раньше голосовал против нее. Как, например, Сима и Гольд. Но анархисты и леваки почти единогласно высказались за прекращение голодовки. А это означало ее конец.

Кто-то из товарищей предложил, чтобы наша фракция продолжала голодовку одна. Очевидно, это требование не было продиктовано трезвыми размышлениям. Все мы сжимали кулаки, стискивали в отчаянии руки. Мы знали, что голодовку придется снимать, и не видели возможности примириться с этим. Особенно остро реагировали слабые, больные. Им казалось, что их физическое состояние определило решение коллектива. Мы боялись, что они наложат на себя руки, за ними напряженно следили.

Спас положение староста с. – д. Богданов. Он взял на себя переговоры с Эйхмансом, потребовав от левых эсеров и анархистов до его беседы ни в какие переговоры с администрацией не вступать. Богданов сообщил администрации скита, что просит срочно вызвать Эйхманса, так как имеет к нему весьма серьезное заявление. На другой же день утром Эйхманс прибыл и вызвал Богданова. Пока Богданов был в административном корпусе, в ските царил мертвая тишина.

Мы пятеро лежали, уткнувшись головами в подушки. Как осужденные ждали мы приговора. Надежды было мало. Много передумала я за эти полтора часа. Одно решение приняла я, казалось, на

всю жизнь. Голодать, добываясь чего-нибудь, можно одной, или когда знаешь других, как самого себя. Групповые голодовки обречены на неудачу.

Первую весть принес Степа. Как сумасшедший, без стука ворвался он в нашу камеру.

- Голодовка выиграна!

Не знаю, поверили мы Степе или нет, но дыхание у нас перехватило. Все пятеро сели на койках и не могли сказать ни слова. Вслед за Степаном вошли старосты – Иваницкий и Гольд. Прежде всего они накинулись на Степу.

- Марш в камеру! Не будоражить людей: прежде всего организованность и никаких самостоятельных выходов.

Нам они сказали:

- Теперь, товарищи, выдержка и спокойствие. Сегодня в 6 часов вечера мы голодовку снимем. Условия приемлемы. Богданов договорился о них. Голодовка не проиграна, можете нам верить. Подробную информацию вы получите позже, сейчас мы спешим по камерам успокоить всех. Не принимайте сами никакой пищи. Первая еда будет проводиться организованно. Мы теперь поступаем в распоряжение Кронида, он будет ставить коллектив на ноги.

Они ушли. Мы остались одни. «Не проиграна! Но и не выиграна, так надо понимать информацию старосты».

Иваницкий выглядел плохо. Последние дни голодания резко сказались на нем. Примерно через час пришел Шура как посланец от старостата с подробной информацией. Разговор Богданова с Эйхмансом начался с заявления Богданова о том, что голодовку надо кончать, что он не в силах сдерживать свою фракцию от присоединения к голодовке, что его товарищи, особенно молодежь, не могут оставаться пассивными, наблюдая гибель голодающих, что сам он считает голодовку нежелательным способом борьбы, но за фракцию с. – д. больше отвечать не может. Во всяком случае, если не завтра, то после первой жертвы, все с. – д. всех скитов к голодовке присоединиться. Богданов сказал, что берет на себя ответственность за начало переговоров об условиях, на которых убедит товарищей голодовку снять. Эйхманс пошел на переговоры, и были приняты следующие положения:

1. Вывоз политзаключенных с Соловков, в связи с закрытием навигации, в настоящее время произведен быть не может, и до весны о нем говорить невозможно.

2. Режим в целом остается прежним. Никаких принудительных работ зэки проводить не будут, они будут заниматься только заготовкой в лесу дров для отопления своего корпуса, доставкой дров в зону.

Формально голодовка была выиграна. Фактически, мы знали, что она проиграна. И дело было не в заготовке дров... От работы по самообслуживанию зэки никогда не отказывались. Зэки, люди, в большинстве своем физического труда, даже тяготились из-за отсутствия работы. Выход в лес, когда нас посылали за вениками, выход за колючую проволоку – радовал.

Сообщив нам решение старостата, Шура хотел уже уйти из камеры, но Клавдия Порфирьевна спросила:

- Если решили голодовку снять, почему нам не дают есть?

- На Анзерку и Муксолму уж выехали наши представители, два уполномоченных старостатом с. – д. Администрация предоставила им транспорт. По их возвращении мы начнем принимать пищу.

- С. – д. прямо с ног сбились, - шутил уже Шура, - все это время они одни весь корпус отапливали, теперь берутся за приготовление пищи. Две недели дают они нам на поправку. Будут нас поить и кормить. Им дела теперь по горло будет. Первая еда неважная. По распоряжению Кронида – кофе с молоком и сухарик. А через два часа – манная каша.

Настроение наше несколько поднялось. Клавдия Порфирьевна сказала, что будет спать до первого сухарика. Я перебралась на койку к Симе. Тихонько перешептываясь, мы вместе переживали события. Разговаривая, мы не сразу обратили внимание на странный звук, идущий с койки Александры Ипполитовны. Или плачет она? И чем поможешь? Мы обе знали, что Александра Ипполитовна вошла в голодовку в надежде на вывоз с Соловков. Ей было очень грустно, очень одиноко, очень тяжело на Савватии. Иваницкий был отцом ее первого, умершего ребенка. Постоянные встречи с ним были ей очень тяжелы. Из старых друзей с отъездом Примака у нее никого не было. Александра Ипполитовна не говорила прямо, но мы чувствовали, как она надеется на вывоз с Соловков. С этой надеждой проголодала она все 15 дней. Теперь надежды рухнули.

Звук, который мы слышали, не походил на плач. Какое-то неровное, прерывистое дыхание. Сима окликнула ее. Ответа не было. Я подошла к ее койке, отстранила одеяло. Александра Ипполитовна лежала, вытянувшись, бледная, с широко открытыми, за стекленевшими глазами. Зубы ее были оскалены и сжаты.

- Сима! Сима!

На мое восклицание оглянулись все.

- Ей дурно! – крикнула Сима. – Скорее врача!

Я бросилась вон из камеры.

- Никому ни слова, кроме Кронида! – крикнул мне кто-то вслед.

В коридоре не было ни души. Кругом камеры голодающих. Где найти Кронида? «Можно сказать кому-нибудь из с. – д.», - подумала я. Чтобы не встретить никого из голодавших, я бросилась вниз по лестнице на первый этаж. Тут я сразу натолкнулась на людей...

- Катя, что с вами?

- Ради Бога, скорее Кронида. Шестневской плохо. И никому, кроме него, ни слова.

Молоденький меньшевичок Коля Зингер бросился прочь. Я почувствовала, что у меня самой подкашиваются ноги. Нервное напряжение схлынуло. Наступил упадок сил. Как я бежала вниз по лестнице? Теперь, держась за перила, я еле ползла вверх. Бегом, прыгая через две ступеньки, обогнал меня Кронид.

Когда я поднялась по лестнице и завернула в наш коридор, меня охватил страх. Я не могла зайти в камеру. Лицо Александры Ипполитовны маячило перед моими глазами. Я завернула по коридору и пошла в уборную. Сколько я простояла там, прислонившись к подоконнику, - не помню. Помню, как открылась дверь и вошла Сима.

- Я за вами, - сказала она. – Кронид впрыснул камфору. Ей лучше.

- Откуда вы узнали, что я здесь?

- Догадалась, - отвечала Сима, пожимая мне руку. – Так за руку мы и вернулись в камеру.

По усмотрению Кронида нам дали по стакану кофе с молоком и по сухарику. Это была ошибка. Большинство – я, Сима и другие, выпив кофе, с удовольствием заснули. И не захотели просыпаться и есть принесенную нам ночью манную кашу. Но многие, ослабленные голодовкой, эки реагировали на кофе иначе. Крепкий кофе не поддержал сердечную деятельность, а нарушил ее. Всю ночь бегал Кронид со шприцем по камерам.

Серьезнее других после голодовки заболел Иваницкий. Нервная нагрузка пятнадцатидневной голодовки и ее печальный конец расстроили его нервную систему. Алексей Алексеевич начал икать. Он икал безостановочно два раза в минуту. Кронид уложил его в кровать, он запретил всем, кроме ухаживающих за Иваницким, входить в камеру. Иваницкого нельзя было оставить одного, и в то же время он не должен был сознавать, что находится под наблюдением. Иваницкий не хотел признать нервную икоту за болезнь и гнал от себя Кронида.

Мы осаждали Кронида вопросами о неслыханной ранее болезни. Он прочитал нам целую лекцию о произвольном сокращении пищевода. Мы усвоили из нее только то, что если икание не прекратится в течение нескольких суток, возможен смертельный исход. Коллектив замер. Двое суток икал Алексей Алексеевич в своей камере. Двое суток мы прислушивались к тому, что происходит в его камере. На третьи сутки икание прекратилось так же внезапно, как и появилось. Выздоровление Иваницкого можно считать концом голодовки.

Все вздохнули с облегчением. Прямого урона, прямой потери голодовка не принесла ни одному скиту. Коллектив начал жить, перестраиваться с позиций борьбы на мирные позиции. Иваницкий сложил с себя старостатство. Коллектив принял это, как должное, без слов.

На мирных позициях

Мирную жизнь должен был возглавить иной человек, более гибкий, более уступчивый, сторонник пассивной жизни в тюрьме. Старостой эсеров Савватьевского скита был избран Гольд.

В трудное время принял он старостатство. Он должен был отстаивать перед администрацией интересы эков, зная, что в своих переговорах с Эйхмансом он должен избегать острых углов, ни на минуту не роняя престижа эков. И надо сказать, Григорий Львович повел коллектив блестяще. Без позы и демагогии, присущих Богданову, спокойно, твердо, уверенно и выдержанно вывел он коллектив из голодовочного состояния и переключил на мирную спокойную ежедневную жизнь.

В утренние, дообеденные часы ээки занимались по своим камерам. До четырех часов работала скитская библиотека, богатая по количеству и по составу книг. С 4 часов дня до 6 вечера – занятия в школе, программа которых соответствовала старшим классам гимназии. Вечерами шли доклады по различным вопросам. После вечерней поверки шли репетиции нашего оркестра и драмкружка.

Жизнь была для меня так полна, что я не замечала, как уходили дни. Меня никогда не привлекала сцена, не было у меня и артистических способностей, но по настоянию товарищей я вошла в драмкружок, так как не хватало исполнительниц женских ролей. И увлеклась. У нас не было талантливых артистов, зато были талантливые режиссеры, декораторы и музыканты. По культуре выполнения и замыслу наши постановки не уступали московским театрам, по использованию ничтожных средств – они превосходили все, мною виденное. Буквально из ничего создавались костюмы и декорации. Всем этим, конечно, мы должны быть благодарны художникам Косаткину и Энсельду. Оркестр был организован Яшей Рубинштейном. Из чего только ни создавались музыкальные инструменты! Юмористические номера были тонки по содержанию и блестящи по форме. В них была и политическая сатира на скитские темы.

Никогда раньше и никогда позже не встречала я такого богатого людьми коллектива. Коллектива, стоявшего на столь высоком моральном и духовном уровне. Часто мне приходилось слышать от товарищей, что савватьевский коллектив беден силами, и назывались имена Рихтера, Гоца, Веденяшина, Агапова и других, разбросанных по разным тюрьмам и ссылкам. Я верила. Недаром же эти люди были выдвинуты в свое время в ЦК партии. Но те, кого я знала воочию, вызывали во мне преклонение. С кем бы из старых товарищей я ни заговорила, я чувствовала, какую глубокую веру, какую продуманную, прочувствованную, убежденную мысль несут они в себе. До сих пор я счастлива, что встретила с такими людьми, укрепившими во мне веру в человека. То, чего я ожидала от Соловков, то, что надеялась найти, воплощалось в жизнь.

В те годы все вопросы революции были животрепещущи. Внутри партии они стояли с предельной остротой. Дискутировался на наших собраниях, реже меж фракционных, чаще фракционных, каждый программный тезис. Люди, только что вырванные арестом из кипящей революционной борьбы, обреченные на вынужденное бездействие, всеми помыслами своими были по ту сторону решетки. Они переживали, вновь пересматривали прошлое, подвергая его критике, сопоставляя теорию с практикой, вносили поправки в первую и отмечали ошибки во второй.

Внутри эсеровской фракции скита были представлены разные течения. Умеренное возглавлялось наиболее эрудированными людьми. Самое левое течение, ратующее за объединение с левыми эсерами, больше поддерживалось молодым поколением. Споры и дискуссии открывались по каждому докладу. Каждый доклад делался двумя докладчиками, разделявшими разные точки зрения. Затем разворачивались прения. В этих дискуссиях не было вражды. Вернее, было больше взаимоуважения. На них рос коллектив. Росла и я.

Остро и страстно проходили прения. Люди спорили и говорили о том, чему отдали и продолжали отдавать свою жизнь. Проверяли правильность позиций и дел, во имя которых они прошли каторги и тюрьмы и снова садились за решетки.

Среди коллектива было много старых каторжан: Саша Яковлев, Егор Кондратенко, Фельдман, Абрам Гельтман, потемкинец Филиновский; были люди, присужденные судом к смертной казни: Иваницкий, Юрий Подбельский. Разве я могу перечислить всех? В нашей фракции было больше 60-ти человек.

Ничто я не могу сравнить с впечатлением, которое производило на меня хоровое пение ими революционных песен.

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в Соловки нас ссылают
Пусть мы все кары пройдем.

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах иль шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколениях живых...

Сейчас, когда я пишу эти строки, я знаю – они прошли весь этот путь и погибли. Погибли во имя своих идеалов, во имя счастья и блага людей.

Рихтер – в 1932 году от голодного тифа в ссылке.

Ховрин – в 1933 году в этапе.

Берг – в 1935 году в ссылке.

Филиновский – в сороковых годах на Колыме.

Самохвалов, левый эсер, - на Колыме.

Погибали в лагерях без права на переписку, погибали пол пулями расстреливавших их палачей.

«Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу...»

«Не плачьте над трупами павших борцов...»

Я и не плачу.

Не помню всех докладов и дискуссий, проведенных в Савватии. Знакомые темы, наиболее волновавшие тогда, - «Диктатура и демократия», «Трудовластие», «Учредительное собрание и власть Советов», «Тактика с. – р. в вопросе о войне в 1917 году», «Аграрный вопрос».

После каждого доклада споры, разгоравшиеся во время прений, продолжались в коридорах, в камерах, на прогулках. Старшие товарищи не всегда являлись для нас авторитетом. Да они и не хотели своим авторитетом подавлять молодежь. Из молодых с докладами выступали: Володя Радин, удивительно честный, чистый и одаренный юноша; Четкин, стоявший на левых позициях; Федодеев, считавший себя «черновцем». Последний упорно искал новых форм конструктивного социализма, выискивая, что удавалось, в учении гильдейских социалистов. Он стремился к объединению расколовшейся в 1917 году партии, доклады его всегда были очень интересны, хотя оратор он был из рук вон слабый. От волнения он не мог говорить, запинаясь, задыхался, заикался. Писал он очень хорошо, но даже прочесть свой доклад не мог. Старшие товарищи, даже расхопившиеся с ним по ряду существенных вопросов, упрекая его в «левизне», упорно настаивали на его выступлениях.

Отдавая дань наукам, мы отдавали дань и развлечениям. По большей части играли в шахматы и в преферанс. На прогулках возникали иногда неожиданные забавы.

В нашем коллективе были и семейные, которым выделялись одиночки. Было в Савватии трое детишек, двое грудных, родившихся на Соловках, и Вова Дерковский, привезенный вместе с матерью на Соловки. Вове было около шести лет. Зэки очень любили с ним играть. В нашей каптерке завхоз, очень любивший Вову, всегда берег для него сласти. Для него зэки смастерили на прогулочном дворе снежную гору, сделали салазки. Неожиданно для себя строители горки увлеклись катанием сами. Горка разрослась в большую гору. Спуск с нее уходил на самое озеро. Постепенно в катание с горы втянулся весь коллектив. Салазок больших, конечно, не было. Их заменили доски, облитые водой, обледеневшие, перевернутые вверх дном табуретки, даже оставшиеся от монахов старые иконы, против чего возражали отдельные товарищи, видя в этом неуважение к чужому культу. Излюбленным было катание на большой скамье, повернутой вверх ножками. На доску ее, вытянув ноги, садился первый ряд, на плечи к ним залезали любители сильных ощущений. На середине горы неизбежно, не без содействия катящихся, происходила авария. Все летели кувырком. Самым привлекательным при этом было падение. Оно покрывалось дружным смехом падающих, наблюдающих и даже часового с вышки.

Число семейных пар возрастало. Родился ребеночек у Ани Туговой. Соединилась Сима с Гольдом, перейдя от нас в его строительную одиночку.

Самыми оживленными днями были дни получения почты. Изредка поморы на своих лодочках прорывались на остров. Они привозили толстые пачки газет, письма от родных, приносящих то радостные, то печальные вести.

С получением газет доклады прерывались. Все стремились поскорее узнать новости с материка. Организовывалась совместная читка газет. Вслух прочитывались все телеграммы, сообщения ТАСС, наиболее интересные статьи.

Из писем брата и отца я узнала, что поселились они в деревне, в семи верстах от Курска, так как в городе жить брату не разрешили. Никакой работы он найти не мог. Письма были бодрые. Я понимала, так пишут они для меня. Горько и тревожно было за них. Обрадовала вложенная в письмо приписка моих курских друзей. Они уверяли, что мой арест переживается ими тяжелее, чем мной самой. Возможно, что так оно и было. Они обещали постоянно навещать отца и брата и помогать, чем смогут.

Очень тяжела была эта зима для Шуры Федодеева, ставшего моим близким другом. После его ареста у него родился сынок. Жена Шуры тоже была эсеркой. В связи с беременностью и родами она отошла от партийной работы. И все же ее послали в ссылку. В ссылке, далеко в Сибири, ей жилось нелегко. Ее родители стали хлопотать и добились перевода к ним. Шура не одобрял этот перевод, отрыв от ссыльных товарищей. И он оказался прав. Перед натиском родных, перед соблазнами жизни Циля не устояла. Шура стал получать письма о том, что ей с ребенком нецелесообразно жить так, что все окружающие убеждают ее написать письмо с отказом от общественной деятельности, посвятить жизнь ребенку. Шура в ряде писем старался удержать Цилю от этого шага. Как раз перед нашей голодовкой он послал ей решительное письмо. Он писал ей, что отречение от партии означает отречение и от него. В первом письме, полученном после голодовки, сообщалось о том, что Циля опубликовала в газете письмо с отказом от партии с. – р. Шура не ответил на это письмо. Долго и упорно бегал он по кругу нашего прогулочного двора. Все сочувствовали ему, все понимали его. Люди, давшие в печать письмо с отказом от партии, отрекшиеся от своего прошлого, от всего того, за что мы шли в тюрьмы и ссылки, во имя своих узких личных интересов, осуждались нами.

Я очень хорошо понимала Шуру. Когда-то и я пережила такую же утрату. Но я потеряла друга, а Шура пережил утрату жены и, вероятно, сына.

В те годы было достаточно печатного отречения от своей прошлой деятельности, от своих прошлых убеждений, и человек возвращался из тюрем, из ссылок к жизни.

Мы понимали, что человек отказывается от своих убеждений во имя житейский благ, но путь погони за благами был скользким путем. На каком месте наклонной плоскости может человек поставить точку... Сможет ли устоять перед новым нажимом, раз пойдя на сделку с совестью? Сможет ли кто-нибудь кроме нас, понять такое отношение к этим людям? В нашей среде для них был создан особый термин, выдававший наше отношение к ним, - «продаванец».

Зима уходила, приближалась весна. За нею промелькнет лето...

В конце 1925 года, в начале 1926 года из нашего коллектива должно было освободиться много эков. Всех, кто кончал срок до открытия навигации 1926 года, то есть до мая 1926 года, должны были осенью 1925 года вывезти с Соловков на Попов остров, откуда могли освободить людей в срок. Конечно, полного освобождения не наступало. По опыту предыдущих товарищей мы знали, что за тремя годами лагерей или тюрьмы для политзаключенных следуют три года ссылки. Освобождались люди только из-под стражи, но и это было много, страстно желанно.

Группа наших товарищей, уже в эту зиму освобождавшихся, зимовала, чтобы освободиться вовремя, в очень тяжелых условиях на Поповом острове.

Каждый ээк отсчитывает годы, месяцы, дни, оставшиеся до дня освобождения. Почти каждый заводит календарик и сутки за сутками вычеркивает проходящие дни. «Разменять» последний год – событие в жизни ээка.

В январе 1925 года Шура разменял последний, третий, год заключения. В декабре этого года он должен был быть вывезен на Попов остров. Мы очень сдружились и сблизились с Шурой, а близкая разлука была неизбежна. Нам хотелось оставшееся время больше принадлежать друг другу. Мы не думали организовывать семью. Для нас, политических, не существовало перспектив мирной семейной жизни. Мы просто любили друг друга. И хотели положенные нам месяцы пожить рядом.

Чтобы осуществить это, мы должны были старостат просить выделить нам одиночную камеру. Просить об одиночке означало стеснить других товарищей. Это было нам очень тяжело. Вопрос об одиночке решился для нас неожиданно легко. В нашем дворике, рядом со скитской гостиницей, где размещался наш корпус, стояла маленькая деревянная часовенка. Она пустовала. Соломон Штерн, уставший от жизни в больших камерах, предложил Шуре перегородить часовенку на две половины. В одной половине должен был поселиться он с товарищем, в другой – мы с Шурой. Старостат разрешил, и мужчины принялись за работу. В новоселье, день, когда мы переселились в часовенку, Шура с утра до позднего вечера дежурил поваром на кухне. Перенести его и мои вещи помогли товарищи. Весь день у меня «толклись» гости, мы устроили «званный» обед. Шура на нем, конечно, не присутствовал. Но ряд товарищей и я получили положенную нам порцию супа и жареной трески в часовенку.

Уютно жилось в часовенке. Впритык к друг другу изголовьями два топчана, у окна маленький столик, рядом печурка, один табурет на двоих, чемоданы под топчанами. За перегородкой – друзья. От часовенки в двух шагах вход в корпус, прямо к «культу».

Вечерами, не занятыми докладами и собраниями, у нас собирались товарищи, отдыхая в нашей семейной одиночке от жизни общих камер. Дни были заполнены чтением, занятиями, знакомством друг с другом.

Вывоз с Соловков

Ненадолго приютила нас с Шурой часовенка. Весна пришла, снег почти сошел, везде стояли лужи, подергивавшиеся на ночь корочкой льда. Светлые белые ночи...

В эту ночь мне не спалось. У меня болел зуб. Поганое состояние начинающегося флюса. Шура уже спал, когда мое внимание привлек странный шум за окном, нарушивший обычную тишину острова. Мне чудился шум шагов. Приоткрыв занавесочку, я выглянула в окно. Наш дворик заполнялся идущим из-за проволоки конвоем. Я разбудила Шуру, «Обыск», - решили мы. За все наше пребывание на Савватии ни одного обыска не было. Но чем иным можно было объяснить появление такого количества конвоя?

- Стучи тихонько Штерну, - сказал Шура, а я сожгу в печке, что успею. – Пока не сожгу, дверь не откроем.

Я постучала Соломону в то время, как он постучал нам. И мы договорились, дверь в часовенку до прихода старосты не открывать, свет не зажигать, сжечь все компрометирующее. У меня было три номера рукописного журнала «Сполохи». Их надо было во что бы то ни стало спасти. Но как?! Печь наша пылала, когда в дверь застучали.

- Откройте!

Соломон Ильич ответил, что откроет дверь только в присутствии нашего старосты. К нашему удивлению, конвой согласился ждать. Один надзиратель остался у двери, другой ушел в корпус. Печь уже догорала, и Шура размешивал кочергой золу, когда мы услышали голос Бориса Сергеевича Иванова, присланного к нам от старостата.

- Отворите двери, товарищи.

И Соломон, и Шура одновременно открыли двери. Переступив через порог, Борис Сергеевич сказал:

- По распоряжению Москвы всех политзаключенных вывозят с Соловков. Мы срочно складываем вещи и двигаемся общим этапом в кремль. Больным и слабым под вещи дают подводы в кремле, на пристани соединяемся с товарищами с Анзерки и Муксолмы, по их прибытии соглашаемся грузиться на пароход. Собирайтесь. Администрация тюрьмы просит не задерживать.

Борис Сергеевич хотел уже уйти, но Шура, умоляюще глядя на него, взял его за руку:

- У нас есть вещи и книги других товарищей, нам необходимо пройти в корпус.

Борис Сергеевич понял.

- Совсем забыл, - сказал он, соберите все библиотечные книги и сдайте. Добровольскому, нашему библиотекарю. Он раздаст книги владельцам. Библиотекарь и завхоз задержатся и догонят нас в пути. Личного обыска, обыска вещей здесь производиться не будет.

Ударение на слове «здесь» говорило само за себя.

Борис Сергеевич ушел. Торопливо складывали мы свои вещи и тихими голосами обменивались соображениями, строили различные варианты на будущее.

Когда вещи были сложены и мы сами были готовы к этапу, Шура с большой связкой книг, включая и «Сполохи», пошел в корпус. Я осталась стоять у окна. Мысленно я прощалась с нашей часовенкой, со всем Савватьевским скитом. Руку я крепко прижимала к щеке, зубная боль перекрывала все другие переживания.

Шура вернулся из корпуса с сообщением о том, что все готовы и выходят из корпуса.

- В этап, Катя, - он обнял меня, и мы тоже вышли из нашей часовни.

На дворе уже командовал конвой.

- Стройся по 10 человек в ряд!.. Женщины, отойдите в сторону!.. Вещи складывайте к вахте!.. Первая шеренга, отойди на пять шагов!.. Стой!.. Вторая... Третья...

В конце этапной колонны поставили женщин. Долго путался конвой с подсчетом. Арестантов было более двухсот человек. Наконец, прием эсков конвоем был закончен. Раздалась общая команда...

- ...Малейшее неподчинение конвою... Шаг в сторону.. рассматривается как попытка к бегству... Расстрел на места... Шагом марш!

Не прошло и года, как я шла по этой же тропинке в Савватьевский скит. Тогда мы шли свободно, без конвоя, спокойно беседуя. Теперь по обе стороны дороги с ружьями наперевес шагали конвоиры. Впереди и позади ехал конный конвой. Грубые окрики. Нас торопили. Лошадиные морды врезались в последний ряд отстававших женщин. Ноги наши скользили по еще не просохшей глинистой земле. Я ничего не хотела. Только бы добраться поскорей. У меня отчаянно болел зуб.

Когда мы добрались до кремля, нас, миновав все здания, вывели прямо на пристань. Конвой окружил нас, расположившись цепью до самого берега. Группами, кто как и кто где, уселись мы на землю, подсохшую вдоль кремлевских стен. Перед нами было море. Нас поджидал пароход. Опять мы были все вместе, и шли толки о том, что ожидает нас. Будем ли мы на материке вместе, развезут ли нас по разным местам?.. Сговаривались, обменивались адресами родных для сохранения связи на будущее.

Администрации Соловков эки предъявили два последних требования: 1) грузиться на пароход не будем, пока не придут политзаключенные с других скитов; и 2) пока нас не покормят обедом.

Погрузить насильно на пароход такую большую партию арестантов было трудно. Шолом Брухимович, левый эсер, чудесный человек и прекрасный товарищ, рассказал мне об одном насильственном развозе эков. Было это здесь, на Соловках, с этапом, на котором он прибыл, за несколько недель до прибытия моего этапа.

Савватьевский скит был перегружен эками, и старостат отказался принять новую партию, требовал открытия нового скита. Администрация не хотела открыть новый скит и решила отправить вновь прибывших на Савватий. Узнав об этом, вся партия эков, а было их больше двадцати, отказалась идти в этап из кремля. Они легли на нары. Тюремная администрация вызвала подводы, связала эков, на руках их вынесли из кремля и связанными уложили. Связанными их несли с подвод и положили на землю у Савватьевского скита. Администрация добилась своего. Скит принял людей. Но вся эта операция стоила стольких хлопот, что при поступлении новой партии эков был открыт скит на Муксолме, и часть эков из Савватия перевели в него.

Конечно, администрации было бы легче грузить нас партиями, но спорить с нами они не стали. И мы дождались своих товарищей с Анзерки и Муксолмы.

Встретились эки трех скитов, встретились друзья и товарищи, раньше знавшие друг друга. Я встретила с теми, кто прибыл со мной на Соловки и потом был отправлен на Анзерку.

Перед погрузкой нас накормили чудесной ухой из свежей форели. Всех отправляемых на материк было человек пятьсот. И всех нас погрузили в трюм. Было тесно, шумно и жарко. Мужчины уступили нам лучшие места. Я сидела на каком-то низеньком ящике, Шура прикорнул на полу, положив голову мне на колени. Кругом шел тихий оживленный разговор. Я не принимала в нем участия, у меня дико болел зуб.

У Попова острова пароход разгрузился. Минуя бараки, нас вывели к дамбе. По ту сторону дамбы на железнодорожных путях стояли столыпинские вагоны. Настал момент расставания. Нас разведут по вагонам... Куда направят какой вагон?

На этапе в тюрьму

Старосты не могли добиться от администрации – куда нас вывозят? Посоветовавшись, они решили спокойно грузиться. Ведь сами мы голодовкой добивались вывоза с Соловков. Было сказано, что старосты, завхоз, библиотечарь и все наше имущество будут погружены в один вагон. Остальным предлагалось выбрать старост по вагонам. В случае направления вагонов в разные места, старостату будет предоставлена возможность разделить книги, имущество каптерок. «Для связи в пути сделаем все возможное», - говорили нам старосты, и погрузка началась.

По списку конвой вызывал по двадцати человек. Мы прощались с уходившими. Назвали мою фамилию. Крепко пожав Шуре руку, перешла я с товарищами дамбу. Нас погрузили в вагон. В нем уже были эки. Старосты в нем не было. Мы выбрали вагонного старосту.

Вагон был переполнен. В каждой клетке было по тринадцать человек. Больше в нее втиснуть было невозможно.

- Больше не принимает! Некуда! Грузите в следующий! – кричал староста нашего вагона конвою. Но конвоиры новую партию подвели опять к дверям нашего вагона. Я видела в окно, Шура стоял первым в этой партии. Он уже поднялся на первую ступеньку. Я не успела обрадоваться.

- Товарищи, не заходите, у нас переполнено, - крикнул им из вагона староста.

Снаружи произошла заминка. Надзор подталкивал эков к вагону. Шура спрыгнул со ступенек вниз. Мне он на прощанье помахал рукой.

- Володя, - огорченно шепнула я Радину, стоявшему у окна.

- Молодец Шурка, - сказал он и вдруг стремительно кинулся к двери. Рванув ее и отстранив конвой, крикнул:

- Шура, я еду с Катей, не беспокойся за нее!

Не отрываясь от наших зарешеченных окон, мы смотрели, как партия за партией проходили мимо товарищи, грузились вагоны, пока площадь перед вагонами не опустела. Тогда забегал конвой. Сколько их было?!

Раздались гудки, паровоз дернулся, вагоны вздрогнули... мы тронулись. Володя наклонился ко мне.

- Зуб болит, Катя?

Зуб не болел. Не знаю, когда он перестал болеть. Я просто забыла о нем.

Вагоны подрагивали. За окнами опять проплывала унылая тундра. Было нестерпимо душно и жарко. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Решетчатые двери купе столыпинских вагонов в коридор были заперты. Конвой расхаживал по коридору. На передней и задней площадках вагонов тоже помещался конвой.

На дорогу экам был выдан сухой этапный паек: соленое сало, толщиной с палец, а на нем такой же слой соли и хлеб. Есть нам не хотелось, от духоты и жары хотелось пить. Воды нам почти не давали, ее мы распределяли по каплям.

По станциям, на которых останавливался поезд, мы узнавали маршрут. Поезд шел в направлении Ленинграда. Как проникали в вагон новости, я не знаю, но они проникали. Сообщалось, что эшелон наш будет разделен и вагоны пойдут по разным направлениям. Это подтверждалось тем, что мужей и жен начали соединять. Таню и Симу перевели к их мужьям в старостатский вагон. Перевели Добровольскую в вагон к мужу. Володя все время ободрял меня.

- Сейчас и вас переведут к Шуре, а лучше бы его к нам.

Я почему-то не нервничала, не волновалась. О Шуре передавали обратное. Он требовал соединения нас у администрации поезда. Нас не соединяли, но он добился объяснения. Ему сказали, что переводят жен к мужьям в тех случаях, когда вагоны имеют разное назначение.

На одной из остановок вызвали всех женщин с детьми. Им объявили, что матерям с детьми тюрьма заменяется ссылкой. Узнали мы и о том, что нашего художника эстонца Энсельда не взяли в этап, его оставили в тюрьме на общем режиме. Позже мы узнали, что он не выдержал уголовного режима и умер на Соловках.

Следя за движением поезда на полукружии дороги, мы обнаружили, что весь состав состоит из столыпинских вагонов. Крайнее купе в каждом вагоне было занято конвоем. Все клетки вагонов были на замках. В уборную эков выпускали два раза в сутки. Выйти в уборную было счастьем, там можно было вдохнуть свежего воздуха.

Поезд шел без остановок, останавливаясь только затем, чтобы набрать воды. Тогда вагоны загонялись в тупик, появлялась многочисленная охрана, хотя внутри вагонный конвой оставался на своих местах.

За перегон или два от Ленинграда мы увидели двух рабочих, идущих по путям. И тут же за окном мелькнул белый листок, выброшенный кем-то из эков. Один из рабочих направился было к нему, но поезд, вздрогнув от толчков, резко остановился. С площадок вагона прыгнули конвоиры, побежали к рабочим. Отобрав листок, они вернулись в вагон. Поезд двинулся дальше. Нас взволновало, кто бросил письмо, что было написано, не засыпал ли какой-нибудь балда чего существенного... Так мы узнали, что за вагонами ведется наблюдение.

Трое суток шел наш поезд до Ленинграда. Горячей пищи мы не получали, не получали и кипятка. Пол литра вонючей воды выдавалось в сутки на эка.

Ленинградский вокзал мы тоже миновали, но где-то за городом, среди полей, наш поезд остановился. Мы простояли целую ночь. Я проспала ее. А утром товарищи сообщили, что к нашему составу прицепили еще один арестантский вагон. Пассажиры прицепленного вагона очень быстро нам дали знать о себе. Они запели интернационал. В ответ из нашего вагона понеслись дружные революционные песни. Между вагонами возникла как бы перекличка. Надзор бесновался, орал, но закрыть нам рты был не в состоянии.

Впоследствии мы встретились с пассажирами этого вагона. Это были вновь арестованные студенты Ленинграда. Их обвиняли по делу с. – д. С мужчинами мне не пришлось близко соприкоснуться; с девушками я гуляла потом на одной прогулке. Что за зеленая молодежь это была!..

Они штудировали Плеханова, читали «Социалистические вестники»... Какие еще преступления совершали они в 1925 году? Но все они получили по решению ОСО по 3 года полит изолятора.

Дальше мы опять ехали без остановок. Миновав одну из станций, поезд обогнал какую-то пару – мужчину и женщину. Они шли по железнодорожной насыпи. Взглянув на наш арестантский поезд, они подняли руки, приветственно махая нам. Мужчина снял кепку, в руках у женщины появился белый платочек. Нам стало радостно и тревожно. Неужели опять остановят поезд? Но поезд уходил. Пока могли, мы следили за уменьшавшимися фигурками людей.

Все газетные статьи и заметки клеймили нас. Пласт за пластом громоздили на нас груды грязи и клеветы. Каждое наше слово, каждый наш поступок извращался и перетолковывался самым бесстыдным образом, самые грязные формулировки посвящались нам. Народ молчал. Верил он? Или не верил? Запуганный, затравленный, он притаился, выбрав защитную окраску. Молчанием, или молчаливым поднятием рук санкционировал он все, происходящее вокруг, пошел в услужение победителю.

Конечно, мы верили в справедливость своего дела. Конечно, мы верили, что в глубине человеческих сердец таится сочувствие к нам, вера в нас, может быть, надежда на нас... Надежд мы не оправдали, вера заглохла под гнетом лет и событий. На фоне систематической всесторонней травли – нас, наших идей, - каждое малейшее сочувствие трогало, ободряло.

Почти без пищи, почти без воды, замкнутые в клетки вагона, набитые до отказа, доехали мы до Вятки. Здесь состав наш загнали, как обычно, в тупик. Но началось необычное движение. Вагоны отцепляли, передвигали, вновь соединяли. Нам принесли обед, - первый за неделю пути. Но зато какой это был обед! – настоящий, человеческий, очень вкусный! Это была не тюремная баланда, а обед вятского ресторана. В глубоких тарелках нам подали суп из свежего мяса и свежих овощей. На второе – мясо с гарниром. На Соловках мы не видели овощей. От переживаний, связанных с таким обедом, нас оторвала новая вест. От нашего поезда отцепили вагон со старостами.

Все старосты, все товарищи, которые когда-либо были старостами, завхозы, библиотекари... Коллектив был обезглавлен. Мы узнали – их везут в Тобольск. Мы узнали это от них самих. Их вагон, прицепленный к паровозу, прошел мимо наших вагонов. Стоя за решетками окон вагонов, они кричали нам приветственно:

- Нас везут в Тобольск! До встречи на воле!

- До встречи на воле! – кричали им в ответ мы.

Никого из них я не встретила больше. С Самохваловым, старостой левых с. – р., в 1939 году во Владивостоке я перекинулась несколькими словами через забор, отделявший мужскую зону от женской. Через этот высокий дощатый забор ухитрился он перекинуть мне, идущей в этап на Колыму без денег и без вещей, подушку и смену мужского белья. Самохвалов спрашивал меня тогда через щель в заборе о своей жене Яковлевой. Я ничего не смогла сообщить о ней. Через несколько часов он ушел с этапом на Колыму. На Колыме мне удалось услышать о нем только после его смерти. Он умер в одном из лагерей Колымы от истощения.

Зачем обезглавила наш коллектив тюремная администрация? Ответ напрашивался сам. Хотят сломить нас, завинтить режим. Значит, нам снова надо готовиться к тюремной борьбе. Куда везут нас, оставшихся? Будем ли мы иметь возможность снестись с товарищами других вагонов или нас разведут по камерам и запрут в них?..

- Ничего не сделают, - успокаивал меня Володя. – У камер есть стены, а стены – наша связь. Наши старосты предвидели все. Еще на пристани, перед посадкой на пароход, намечен новый старостат.

Снова двигался поезд. Шуринов вагон покачивался впереди. Поезд повернул на юг. Все догадки, куда нас везут, рушились одна за другой. Мы миновали и Свердловск, и Челябинск. Наконец, наш поезд остановился на станции Миасс. В те годы это была конечная станция железной дороги. Дальше поезда не шли. За окнами мы увидели скопище крестьянских подвод. Ни об одной тюрьме в этих местах мы не слышали. Может быть, не тюрьма, а лагерь на материке?.. И начались мечтания о лагерной жизни. Только Волк-Штоцкий не принимал наши мечты.

Пожилой, больной туберкулезом, прошедший сквозь царские тюрьмы, он ворчал:

- Сидеть, так уж в тюрьме. Нет воли – пусть будут камеры.

За окнами началось движение. Взад и вперед бегали конвоиры. Вдоль вагона по обе стороны поезда выстроились вооруженные, со штыками наголо, красноармейцы. Вплотную к вагонам одна за другой подъезжали подводы. Разгружался уже соседний вагон. За ним шла наша очередь.

Володя Радин рассуждал:

- Шура из своего вагона выйдет, конечно, последним. Вы, Катя, из нашего вагона выходите первой. Если не на одной подводе, то рядом будете.

Мы видели, что на каждой подводе лежали вещи, сидел возчик, конвоир и двое зэков. Нас было не меньше 400 человек. Сколько же подвод? Двести?

Вагонные клетки уже открыты, по заполненному товарищами коридорчику я пробираюсь вперед, чтобы выйти первой. Я стою у самой двери. Гляжу в окно. У ступенек соседнего вагона препирается с конвоем Шура. Он медлит. Перед вагоном стоит подвода.

Двери нашего вагона открываются, я спускаюсь со ступенек. Увидев меня, Шура проскальзывает мимо конвоира, почти снимает меня со ступенек, мы бежим к подводе. Садимся. Оторопевший было конвой бросается за нами, но кто-то дает команду:

- Отъезжай!

Конвоир прыгает на подводу, возница шевелит вожжами, лошади трогаются.

Мы молча сидим рядом. Держимся за руки. Наша подвода выезжает на проселочную дорогу. Впереди длинная вереница подвод. Вдоль всего состава разъезжают верховые. За нами, одна за другой, выезжают новые подводы. Наконец, весь этап погружен на телеги. Длинной лентой растянулись они по дороге. Выстраивается конвой. По конвоиру на каждую телегу. На каждые четыре телеги – двое верховых, один справа, один слева. Группа всадников, человек двадцать, объезжает этап. Позади походная кухня и подводы с грузом. Еще раз начальник этапа пропускает весь состав мимо себя, а затем на рысях обгоняет его.

Из Савватьевского скита мы выехали ранней весной. Еще не пробивалась сквозь землю трава, еще не налились почки на деревьях. Две недели тряслись мы в душных вагонах с северо-запада на юго-восток. Из окон вагона мы не замечали пробуждения природы. В это ясное утро мы очутились внутри самой природы, в полном и пышном цветении. Шагом едут подводы, по обочинам дороги сочная, свежая трава, цветы, кустарники, деревья в пышной листве... никогда так жадно не вдыхала я напоенный всеми ароматами воздух. Кругом ширь полей и дорога вьется вдаль... по холмам... все выше, все круче. Этап переваливает через Урал.

Чем дальше мы ехали, тем труднее становились подъемы, тем однообразнее природа. Ни ручьев, ни речек не встречалось на нашем пути. Изредка гнилые болотца, застоявшиеся лужи, затянутые плесенью.

Час, другой, третий... Утренняя прохлада таяла. Солнце стояло высоко и нависала жара. Хотелось есть, а, главное, пить. Пить... А лошади все шли. Мы видели, как с повод соскакивали зэки и, припадая к лужам, жадно глотали ржавую воду. Тогда раздавались окрики конвоя.

Ни одного селения, ни одного домика... Мы не встретили ни одной подводы, ни одного пешехода. Нас везли какими-то заброшенными дорогами.

Часа через четыре караван остановился. Возчики с ведрами шли к какой-то промоине, черпали воду, поили лошадей.

Вдоль подвод проскакивал верховой, выкрикивая команду:

- Разрешается сойти с подвод на opravку!

Вокруг ни кустика, ни деревца... Женщин в этапе было мало. Там и сям были вкраплены они в мужскую среду. Куда же деться? Как и где уединиться? Мы порывались уйти подальше, сделать заслон из самих себя.

Мне повезло. На подводе впереди ехали две женщины, левачка Рахиль Семетицкая и М.Н. Волкова. Мы уединились втроем.

На одной из таких остановок одна из наших женщин отошла в сторонку, подальше, к отдаленному кусту. Она запоздала. Дана была команда – двигаться в путь. Лошади тронулись. Оглянувшись, я увидела, что на торопливо идущую к подводам товарку бежит, размахивая руками, конвоир. Я вскочила на подводе и закричала:

- Стойте, товарищи!

У нас было условлено, в случае инцидента с конвоем – не вступать в пререкания, а останавливать весь этап. Так я и хотела сделать. Мой крик подхватили соседние подводы. Товарищи на ходу соскакивали с телег. Но пристяжная подвода, на которой ехала Рахиль, рванула в сторону и понесла. Рахиль вывалилась из телеги и попала под колеса. Все это произошло в одну минуту. Я не помню, кто из товарищей остановил подводу, буквально повиснув на узде.

Мы с Шурой подняли Рахиль. Шура отнес ее на руках к телеге. Ей придавило ногу. Все зэки стояли у своих подвод. От головы эшелона к нам скакало начальство.

- Врача! Пришлите врача! – несло ему навстречу.

Рахиль лежала на своей телеге бледная и дрожащая от испуга. Она просила пить. К подводе подъехал врач, сопровождавший эшелон. Он осмотрел ногу Рахиль и сказал, что кость цела, что он ничего не может сделать, так как во всем эшелоне нет ни капли воды. Была ли это правда? У каждого конвоира на поясе висела фляжка. Может быть, они были пусты? Нам не было от этого легче. Рахиль мужественно улыбалась, пытаясь успокоить меня.

Весь долгий знойный день мы ехали по открытой холмистой дороге. Солнце пекло немилосердно, подводы тряслись по ухабам. Когда солнце закатилось за горизонт и все вокруг посерело, этап остановился на ночлег.

Место, выбранное для ночлега начальником конвоя было до крайности неподходящим: большая болотистая низина меж холмов. Кольцом объезжали ее наши подводы, а когда кольцо сомкнулось, нам предложили сойти с подвод и внутри образованного телегами круга устраиваться на ночевку.

Легко было сказать – устраиваться. Вещей с подвод снять не разрешили, так как стоянка будет недолгой. По ложбине стелился такой густой туман, что мы едва различали цепи конвоя, выстроившегося за телегами.

Лошадей распрягли, угнали пастись. Подъехала походная кухня. Нам выдали по ломтю хлеба и по миске вонючей, пахнущей тиной, похлебки.

Пусть за двойным кольцом подвод и конвоя, но мы все же встретились, были все вместе, сами с собой.

Спешно обсуждались нами вопросы поведения в ожидании неизвестности. Первый и основной вопрос – сохранить, в какие бы условия мы ни попали, нашу организованность, наш старостат. Общим старостой всего этапа без различия фракций был избран с. – р. Раснер. Он отбывал срок на Муксолме. В помощники ему был избран заместитель с. – д. Малкин. Вновь избранный старостат удалился на совещание. Мы группами бродили в тумане ложбины. Лечь никто не решался. И так одежда стала влажной от сырости. Боялись мы за своих больных товарищей, но, очевидно, нервное напряжение делало людей невосприимчивыми к заболеваниям. Под конец, обессилив, мы все-таки легли на землю.

Летняя ночь коротка, первые лучи восходящего солнца застали нас на подводах. В этот день мы перевалили через Урал. Я была разочарована. Я всегда слышала о живописности Урала. Ничего красивого, живописного я не увидела. Сопки... полукруглые холмы, набегавшие друг на друга, то голые, то покрытые редкой серо-бурой травой. Надо всем висела жара, зной.

Мы поехали с Соловков тепло одетыми. Мужчины счастливые! Они просто скинули верхние рубахи. На мне было одето черное шерстяное платье. Закрытый ворот, длинные рукава. Застегивалось оно на спине. Я ухитрилась надеть его задом наперед, расстегнуть ворот.

Вторую ночь мы провели так же, как первую, в сырой ложбине. На третий день мы впервые увидели далеко-далеко церковные купола, селение. Оно то тонуло в холмах, то выплывало. Мы страшно устали. У многих были солнечные ожоги. Мучительно хотелось добраться до нового поселения, - тюрьмы ли, лагеря ли, - только бы конец этому пути. Может быть, это селение – конец нашего странствия? Но подводы снова повернули в сторону. И снова ночевка в пути.

На этот раз мы ночевали совсем недалеко от цели нашего путешествия. Мы могли бы к ночи добраться до нее. Но этап подходил к цели кружной дорогой, минуя жилые места. У нас ли должно было создаться впечатление необжитого края, или нас не должна была видеть ни одна человеческая душа?

Рано поутру мы прибыли. Мы сразу поняли, что подъезжаем к цели. Среди пустой, выжженной солнцем степи стали вырастать красивые кирпичные стены тюремной ограды. За ними – тюремные корпуса.

Крепкие, широкие чугунные ворота. К ним по очереди подъезжали подводы. Эков через узенькую калитку впускали во двор.

Двор был велик. Но и арестантов было много. Когда высадка кончилась, начальство, приехавшее с нами, скрылось за вторыми, внутренними воротами.

- Тот высокий, тонкий, - указал мне кто-то из товарищей, - Ягода, а пониже – Катанян.

На последней ночевке старостатом была сообщена нам линия поведения: с самых первых шагов жизни на новом месте добиться признания старостата, но избегая конфликтов. Размещение эков по камерам должно быть согласовано администрацией тюрьмы со старостой. В случае увоза старосты

он сам передает старостатство избранному им зэку, о чем уведомляется весь коллектив. Всеми денежными суммами ведает староста и расходуются они по его распоряжению. Зэки не вступают ни в какие переговоры с администрацией тюрьмы ни по общим, ни по личным вопросам; ни на какие активные выступления зэки не идут, конфликтов с надзором избегают.

Предусмотреть все детали нашего поведения в новых условиях мы не могли, но коллектив, проживший годы на Соловках, и не нуждается в подробных указаниях. С полуслова понимали мы друг друга и реагировали все одинаково.

Правда, теперь с нами оказалась группа студенческой молодежи из Ленинграда. Ей предложили во всем следовать советам старших товарищей.

6. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

Из тюрьмы вышла администрация принимать этап. Принимал его начальник тюрьмы Дуппер, сдавало начальство этапного конвоя.

Нас выстроили по пять человек в ряд. Пересчитали пятерки. Но когда началась поименная переключка, Раснер, стоявший в первом ряду, выступил вперед и сказал:

- Поименную переключку и развод по камерам мы просим производить только с участием старосты. Только по его вызову будут выходить зэки.

- Никаких старост! Здесь не Соловки. И не лагерь. Я сдаю этап начальнику Верхне-Уральского политизолятора.

Ягода прочел первую фамилию.

В рядах зэков царило спокойное молчание. Неоднократно повторяли Ягода и Дуппер, что требование признать старостат безнадежно. Напрасно зачитывали они то одну, то другу фамилию. Строй арестантов молчал. Краснея от гнева и не зная, что предпринять, Ягода почти крикнул угрожающим голосом:

- Первая пятерка, шагом марш!

Первая пятерка двинулась вперед и зашла в здание тюрьмы. Опять попытался Ягода называть зэков по фамилиям. Никто не отзывался. Тогда он стал вызывать по пятеркам...

Никогда раньше, никогда позже не слышала я о приеме этапа без поименной переключки. Очередь приближалась к нам с Шурой. Мы стояли в одной пятерке и думали, что зайдем в тюрьму вместе.

Но раздалась новая команда:

- Женщины, выходи вперед!

Снова разлучались мы с Шурой.

- Мы будем вместе, - спешно сказал он мне, - хотя бы на одной прогулке. Я кивнула головой и выступила из своего ряда вперед.

В нашем этапе было всего около двадцати женщин. Всех нас завели в тюрьму сразу.

Войдя в тюрьму, мы попали в огромное полутемное помещение. Все оно было заставлено длинными столами, заваленными бумагами, папками, делами. За столами сидели работники тюремной конторы. За одним из столов сидел человек в военной форме.

- По одной подходить.

Я первой отделилась от группы товарок.

- Ваша фамилия?

Я молчала.

- Вы слышите меня? назовите свою фамилию, а то хуже будет!

- Староста знает мою фамилию, - ответила я.

- Вещи свои получать будете? - последовал вопрос.

- Когда староста скажет, буду получать.

Сидевшие за столом сотрудники перебирали папки с делами.

«Ведь при каждом деле есть фотокарточка», - подумала я.

- Перевести в камеру № 7.

От группы надзирателей отделился маленький, коренастый, совсем молодой. Молча указал он мне направление. Я оглянулась на товарок, кивнула им и пошла к двери. От двери шел широкий, длинный, сводчатый коридор. Под ногами цементный пол. За коридором поднималась лестница.

Я отсчитывала повороты и этажи. Первый... второй... третий... Площадка лестницы уперлась в большую, окованную железом дверь. В двери окошечко глазка. Дверь открылась, за нею стоял надзиратель. И снова - коридор. С обеих сторон его - двери камер. Коридор не был сквозным. Он

был поделен на части. Каждая часть отделена окованными дверьми, у каждой двери – надзиратель. Каждая дверь – на замке.

Мы свернули направо. Теперь двери камер шли только с одной стороны. С другой – высокие зарешеченные окна.

Я не успела оглядеться – третья дверь по коридору под номером 7. Надзиратель повернул ключ в замке. Я вошла в камеру.

Переступив порог, я остановилась, пораженная. Прямо передо мною, против двери огромное окно. Конечно, оно зарешеченное, но трехстворчатое, выше человеческого роста, метра полтора в ширину. Сколько света лилось в камеру!

Камера высокая, побеленная. Восемь шагов в длину, шесть – в ширину. Вдоль стен два деревянных топчана, небольшой столик, один табурет. В углу, конечно, параша. На двери – правила внутреннего распорядка, такие же, как во внутренней тюрьме.

«Эх, - мелькнуло у меня в голове, - Шуру бы сюда, на второй топчан». Больше я не успела ни о чем подумать. В соседней камере щелкнул замок. А через какую-нибудь минуту я услышала женский голос. Я бросилась к окну, стремительно дернула створку. Она послушно открылась.

- Кто в пятой камере? – крикнула я в окно.

- Наташа Изгодина, анархистка с Муксолмы, а вы?

- Олицкая Катя, эсерка с Савватия.

- Вещей не брали?

- Нет.

- Фамилии не называли?

- Конечно, нет.

- Кто рядом с вами?

- Пока никого.

Откуда-то издали послышался женский голос. Звучал он тихо. Мы не могли различить слов. Окно моей камеры выходило в небольшой, окруженный стенами дворик. Напротив, метрах в восьми, высилось красное кирпичное здание. Стена была глухая, без окон. Только в первом этаже прорезана входная дверь. За каменными кирпичными стенами забора, окружавшими дворик, видны были еще дворики, поросшие высокой травой. Их всех окружала высокая тюремная стена. По углам, как полагается, вышки часовых.

Из моего окна видны были два дворика. Очевидно, прогулочные дворы. Тогда можно будет видеть гуляющих, подумалось мне.

Опять провели кого-то по коридору. Открылась дверь камеры № 3.

Первая створка окна забита гвоздями, но открывается. Я стучу в стену, узнаю – соседок две – Катя и Люся. Обе с Муксолмы. Передаю о них через окно Наташе. Потом Катя с Люсей передают, что во второй камере Шура С., студентка из Ленинграда. Ее камера – крайняя. Значит, наши камеры все женские. Верхние и нижние этажи пока молчат. Наташа говорит в окно:

- Может, и все крыло женское?

В ее голосе огорчение. Мы строим уже планы, как связаться с мужчинами.

Я начинаю гадать, кого же из женщин приведут ко мне. Раздумья прерывает звук ключа, вкладываемого в скважину моей двери. Я ожидаю появления маленькой женской фигуры... А через порог переступает Шура, такой высокий, такой долговязый... Ошеломленная, я невольно отступаю назад. А Шура стремительно подходит ко мне.

- Что с тобой, Катя?

Но со мной уже ничего. Только Шура уверяет, что при его появлении на моем лице отразился ужас.

Шура знал, что его ведут ко мне. Когда на приеме он отказался назвать фамилию, начальник с насмешкой сказал:

- Ведите к жене, в седьмую камеру.

Что будет? Как будет?.. А пока нам радостно вдвоем в пустой тюремной камере. Мы грязные, голодные, оборванные, но мы – вместе.

Я рассказываю Шуру о наших соседях. Шура знает Наташу и ее мужа, Юру. Его, очевидно, приведут к ней. Я вызываю Наташу к окну, но вместо нее отзывается мужской голос. Я ошеломлена, а Шура, перегибаясь через мое плечо, кричит:

- Юрка, здорово!

Шура очень доволен соседством Юры и Наташи. Он рассказывает мне о них. Оба они с Полтавщины. Анархисты, хорошие ребята. Наташе – 19 лет. Юра чуть старше. Нас вызывают к стене. Во вторую камеру к студентке ленинградке привели ее бывшего мужа. Она с ним разошлась за месяц до ареста. Она не хочет сидеть с ним в одной камере. Называть фамилий нельзя. Что делать?

В корпусе тишина. Изредка щелкает глазок двери. Теперь, когда мы вдвоем, он нас особенно коробит. Мы – вдвоем, мы – наедине, и в то же время под вечным наблюдением человеческого глаза.

Забегали надзиратели, защелкали форточки.

- Личные вещи получать будете?

Из всех камер один ответ.

- Без разрешения старосты – не будем.

Примерно через полчаса новый вопрос.

- В баню пойдете?

- Без мыла, без полотенец, без белья в баню идти не можем.

Может быть, через час мы услышали – идет обход. Открываются двери камер. Когда очередь дошла до нашей, мы увидели человека в белом халате, не то врача, не то фельдшера.

- Согласно тюремным правилам, мы не можем принять этап, не пропустив его через баню. Тюрьма казенным бельем не обеспечена. Получайте личные вещи и идите в баню. Возможны инфекционные заболевания. Администрация тюрьмы не может отвечать за эпидемии, - говорит он каким-то скучающим голосом. Очевидно, ему надоело говорить это по всем камерам.

- Не пойдём, - отвечает Шура.

Дверь за посетителем закрывается. Мы с Шурой переживаем разговор с врачом, но форточка опять щелкает.

- На прогулку пойдете?

Мы устали, но разве можно отказаться от прогулки в новой тюрьме!..

- Конечно, пойдём!

Мы слышали, с тем же вопросом надзор обращался к соседней камере. И загремели открываемые двери. Мы выходим в коридор. Прогулка общая для крыла. Юра, Наташа, Катя, Люся, Шура С. с мужем и я с Шурой. Мы спускаемся с лестницы и выходим во дворик перед нашими окнами. Пересекаем его и выходим на прогулочный двор. Он большой и весь зарос высокой зеленой травой. Никто не ходил здесь до нас – ни тропинки, ни дорожки. Жаль топтать эту траву, но что поделаешь! Мы гурьбой выходим на середину двора.

- Полтора часа прогулки, - говорит нам вслед надзиратель и вешает на стену песочные часы.

Кружком садимся мы среди двора на траву. Нам видны тюремные окна нашего крыла и продольного крыла второго и третьего этажей. Мы болтаем, а будущее – в тумане, мы устали.

- Наташа, спойте что-нибудь, - говорит Шура.

У Наташи чудесный голос. Она поет гимн анархистов. В окнах корпуса появляются люди. Они приветственно машут нам платками. Узнать издали мы никого не может. Все равно, это – наши товарищи. Мы машем им в ответ.

Спокойно ходивший вдоль забора надзиратель явно обеспокоен. Очевидно, у него нет инструкции в отношении пения. Он нажимает кнопку звонка. На вызов приходит старший. Пошептавшись между собой, они сообщают: «Прогулка окончена».

Едва мы зашли с Шурой в свою камеру, как услышали голоса и шаги под окнами. Подойдя к окнам, мы увидели, что через дворик проходит группа наших товарищей, человек пятнадцать. Все они шли с прогулочного двора, расположенного против нашего.

- Шолом! – кричит Шура в окно.

Шолом поднимает голову.

- Шура! Катя! С новосельем!

Шолом всегда шутит. Но, Боже мой, какие они все оборванные, грязные! Брюки – сплошная бахрама.

Гулявшие зашли через те же двери тюрьмы, через которые выпускали нас. И через минуту мы услышали топот ног по нашему коридору. Товарищи возвращались с прогулки мимо нашей камеры. У дверей нашей камеры Шолом громко сказал:

- Привет, Шура, Катя!

- Привет! Привет! – закричали мы в ответ

Ура! С первых же часов жизни стены камер раздвинулись!

Вечером, во время оправки, мы познакомились с нашей уборной. Уборная играет большую роль жизни эков. В нее водят эков из многих камер. Через нее поддерживаются связи с камерами соседнего коридора, с верхними и нижними этажами. Уборные подвергаются систематическим и самым тщательным обыскам, но эки изошряются и почти всегда умеют перехитрить администрацию тюрьмы. От осторожности эков зависит продолжительность связи.

Год провела я в Верхне-Уральском полит изоляторе. С самых первых дней нами были созданы два места для переписки, то есть два почтовых ящика. Оба места продержались до моего отъезда. Но сделаны они были замечательно!

На второй или третий день Шолом, идя на прогулку, бросил в нашу камеру хлебный шарик. В нем оказалась тоненькая проволочка со спичку длиной, кончик ее был загнут, как крючок. Это был ключ.

Вечером по ниточке через окно с верхнего этажа нам спустили записку. В ней дано было указание, как пользоваться ключом.

В уборной в деревянной кошелке для полотенец и в деревянном... (пропущена строка. – Прим. перепечатающего). В древесном сучке – щель, в нее закладывается ключ. Затем, после поворота, ключ поднимает сучок, как пробку. Под сучком была высверлена дыра, в которую входила записка, туго скрученная, по длине и ширине равная мундштуку папиросы.

Обычно, почту нашей прогулки отправлял и принимал Шура. Всего два раза заменяла его я. Даже зная, где искать и что искать, я еле высмотрела нужный сучок и щель в нем.

Ну и берегли же мы эти два места! Вся личная корреспонденция эков шла иными путями. По этим – шла только связь со старостой.

Третий день сидели мы в своих камерах – грязные, без постельных принадлежностей, без вещей и книг. Мы получали ежедневно еду. После соловецкого питания, она нам казалась очень вкусной. В нее входила картошка, свежие овощи, лук. Суп варили из свежего мяса, которого мы на Соловках не видели. Дни чередовались. Один был мясной, другой – рыбный.

Мы получали прогулку два раза в день. Полтора часа до обеда и полтора часа после обеда. Два раза в день, утром и вечером, нас выпускали на оправку в уборную. Остальное время мы проводили в камерах под замком.

Конечно, нам было очень тоскливо без книг, очень трудно без вещей: ни мыла, ни полотенца, ни белья, ни постельных принадлежностей. Месяц не мылись мы, месяц не меняли белья. Особенно трудно было женщинам.

На четвертый день с обходом по камерам пошел начальник тюрьмы. Мы вежливо здоровались с ним, но на его вопрос, нет ли у нас заявлений или вопросов к нему, заявляли, что все заявления и вопросы эков перед ним поставит наш староста. Самым мучительным для нас был вопрос почтовый. Больше месяца не писали мы родным. А начальник уведомлял:

- Почта принимается раз в декаду, в день обхода начальников камер. Сегодня до вечерней поверки можете сдавать письма дежурному по корпусу.

В тот же день вечером после поверки, когда все прогулки окончились, во дворике под окнами нашей камеры раздались шаги, послышались голоса. Мы выглянули в окно. Целая группа наших товарищей со свертками белья под мышками шла в баню. Среди них был наш староста Раснер, он кричал:

- Товарищи, получайте вещи, идите в баню! Подробности сообщу позже!

Партия арестантов вошла в двери здания, расположенного перед нашими окнами. Как удачно, каждые десять дней мы с Шурой можем видеть всех эков, проходящих мимо наших окон.

Как только двери здания закрылись, мы с Шурой принялись передавать камерам:

- Староста договорился. Товарищи, принимайте вещи, собирайтесь в баню!

И уже вызывали надзор, требовали вещи, надзор ворчал:

- То отказывались, теперь всем подавай. Получите в порядке очереди.

Всю ночь и весь следующий день мыли людей в бане. Мы не отходили от окон, караулили. Не с одной партией обменялись мы приветствиями! На следующий день мы получили подробную информацию от старосты.

Неофициально, но фактически староста был признан. Начальник вел переговоры с Раснером по всем вопросам жизни коллектива. Он сказал, что не допустит обхода камер старостой, будет пресекать связь между камерами разных прогулок, но сам добавил, что ему ясно, что эки всеми силами будут поддерживать эту связь. Чья возьмет. Начальник разрешил перевод денег со счета на счет заключенными на одной прогулке. Перевод денег с прогулки на прогулку разрешается по

письменному заявлению, поданному ему во время обхода. Книги, газеты, журналы разрешается передавать с прогулки на прогулку только через библиотекаря тюрьмы. Передача продуктов, вещей – с особого разрешения начальника.

Раснер уведомил начальника тюрьмы, что по всем вопросам нашей жизни переговоры сейчас и впредь будет вести только он. В случае каких-либо сообщений или требований к зэкам опять-таки надо обращаться только к нему. По личным вопросам зэки будут говорить сами с начальником тюрьмы во время обхода.

Староста прислал нам инструкцию распорядка нашей жизни: «Каждая прогулка выбирает ответственное по прогулке лицо, которое держит связь со старостой, ведет учет всех денежных средств зэков на прогулке. Староста сообщает ему, какую сумму может израсходовать на себя каждый здоровый и каждый больной. О состоянии здоровья всех зэков сообщается старосте. Староста пришлет указания, какие газеты и журналы выписывает каждая прогулка. Все продуктовые посылки, получаемые зэками прогулки, делятся между ее членами с учетом больных. В случае надобности перевода денег с прогулки на прогулку перевод будет делаться через начальника тюрьмы.

После получения личных вещей, бани, обхода библиотекаря началась наша повседневная верхне-уральская жизнь.

Тюремный паек был совершенно терпимым. Деньги, которыми мы располагали, уходили, главным образом, на выписку газет, журналов, на почтовые расходы. В основном, прикупили спички, махорку, хлеб. Летом – овощи: огурцы, морковь...

Борьба за права

Верхне-Уральская тюрьма открылась нами. Она не была обжита ни зэками, ни надзором. В ней не было никаких традиций.

Традиции мы привезли с Соловков. Надзор был еще дезориентирован. Его, очевидно, наставляли, как надо держаться с новыми арестантами. Ему внушали, что мы – «враги народа», подлежащие строжайшей изоляции. Вступать в разговоры с нами надзору было категорически запрещено. И в то же время ему внушалось, что мы – не обычные арестанты, а политизолированные.

Попав в новую тюрьму, мы понимали, что с первых дней надо отстаивать свои права, пока еще не установился режим. Перестукивались мы, конечно, и днем, и ночью, нисколько не маскируясь. Из этажа в этаж через окна по нитке передавалась почта. С одного прогулочного двора на другой почта перебрасывалась через забор. Конечно, надзиратели старались ловить почту, иногда им это удавалось. Через окна мы переговаривались, в камерах пели, пели и хором, стоя у окон. Все это шло не без борьбы.

В первые дни, когда мы переговаривались через окна, надзиратели с вышек начинали кричать, заглушая криком наши слова.

Однажды, по распоряжению ли начальства или по самочинству дежурного, по товарищу, говорившему через окно, был дан выстрел. Пуля влетела в камеру, выбив стекло. К счастью, она никого не задела. Сейчас же началась обструкция по всему корпусу. Мы били в двери камер руками, ногами, крышками от параш. Во всех камерах у окон стояли зэки и перекрикивались. Все коридоры заполнил надзор. Этот грохот продолжался до тех пор, пока не явился начальник для переговоров со старостой, и пока староста по нашим нелегальным каналам не дал нам указание прекратить обструкцию. Начальник заверил старосту, что стрелявший снят с поста и будет подвергнут наказанию.

Вторая обструкция была примерно через месяц после нашего приезда. Нелепа она была и никчемна. В послеобеденное время, ожидая вечерней прогулки, мы, как обычно, сидели по камерам и читали. Внезапно нам послышался крик, а затем стук. Мы прислушались. Стук нарастал. Если вначале нам показалось, что стучит одна камера, то теперь стучало целое крыло. Наше крыло стало перестукиваться, пытаюсь узнать, в чем дело. Ничего понять мы не могли, но грохот усиливался и приближался. Коридоры опять наполнялись надзирателями. Они бегали от форточки до форточки дверей, требуя прекращения стука, спрашивая, что нам нужно. Мы сами не знали, что нам нужно, - нам нужно прекращение стука другими.

Тюрьма грохотала. Надзор обезумел. В волчок дверей они просовывали дула револьверов, грозя стрелять. Дверь нашей камеры расшаталась. Что делать, если она сорвется с петель, и мы вылетим в коридор? Я стала держать дверь, чтобы она не сорвалась, а Шура лупил в нее крышкой от параша.

Мы узнали потом, что в камере у Шолома дверь почти сорвалась с петель, и они тоже ее держали.

Я не помню, как закончилась обструкция, а возникла она глупейшим образом. Один из ленинградских студентов получил из дому посылку. Ему пришло в голову передать кусок колбасы товарищу с другой прогулки, просунув его через волчок двери. Идя по коридору на прогулку, он подбежал к волчку камеры и стал просовывать в него колбасу. Надзиратель схватил его плечи и потянул от волчка. Другие зэки, идущие на прогулку, оглянулись и, не поняв, в чем дело, подняли крик. На крики прибежали надзиратели из других коридоров и стали загонять, заталкивать всех в камеры. Тогда застучало все крыло. Стук подхватила вся тюрьма.

Вспоминать об этом как будто смешно, тогда же нам было не до смеха.

Тюрьма! Может ли понять ее человек, не сидевший? Условия, в которых мы находились на Соловках и в Верхне-Уральске, многим зэкам последующих лет казались раем.

Нас не так уж плохо кормили. И камеры были не так уж плохи. Мы получали газеты, журналы, книги, по пяти в декаду от библиотекаря, мы встречались с товарищами по прогулке, в камерах у нас были все наши личные вещи – письменные принадлежности, нитки, иголки, ножницы, даже бритвы. Жены сидели в камерах с мужьями, братья и сестры соединялись на прогулке. Мы имели право написать и получить по три письма в месяц (ближайшим родственникам). Так было. Но тюрьма остается тюрьмой. Человек, лишенный воли, человек, запертый за решетку, всегда мечется по своей камере, всегда меряет ее шагами. Самый воздух тюрьмы отравлен. Отравлены и лица арестантов, серые, землистые, одутловатые. Политических зэков сопровождают всегда специфические условия. Они не чувствуют за собой никакой вины перед своей совестью, перед своим народом, перед человечеством. В большинстве своем это люди, которые во имя блага других, как они его понимают, приносят в жертву свою личную жизнь. Из жизни, в которой они отказывали себе во всем ради борьбы, из борьбы за идеалы, ради которой они причинили боль своим родным и близким, их вырвали и посадили за решетку... Где-то идет борьба, здесь – бездействие, вынужденное, томительное...

В царские времена было легче. Тогда мир делился на два лагеря – угнетателей и угнетенных. Тогда все лучшие люди, по крайней мере, сочувствовали жертвам неравной борьбы.

А теперь? Если у зэка рождалось малейшее сомнение в правильности тактических приемов его партии, если рождалось малейшее сомнение в ошибочности тактике его политических противников, ему приходилось плохо. Ведь он сидел в тюрьме, когда вокруг шла борьба за его идеалы.

Как-то вечером, когда мы сидели и занимались, застучала, вызывая нас, нижняя камера. В ней сидел товарищ, принадлежавший к «народовольцам». Знали мы его мало, связь поддерживали чисто деловую, так как через него шла почта на нижний этаж. Высказывался он всегда очень лево и народнически.

Я ответила на его вызов и стала слушать. По мере принятия слов, сердце мое сжималось. Он стучал: «Я пришел к заключению об ошибочности ряда положений... Я подал письмо с отказом от...»

Мне было достаточно.

- Что ему надо? – спросил Шура.

Я сказала. Мы оба молчали. Нам нечего было отвечать ему.

- Надо известить старосту, - только и сказал Шура.

Тюрьма сломала еще одного человека.

В середине лета к нашей прогулке присоединили еще одну камеру. Вызвано это было тем, что в Верхне-Уральский политизолятор прибыла еще группа зэков, которых решили изолировать от нас. Да и сами они не пожелали установить с нами связи. Мы поняли, что это не социалисты. Так это и оказалось. Это были, по-видимому, первые коммунистические ласточки в советской тюрьме.

Первые зэки-коммунисты

Мы давно уже были уверены, что рано или поздно встретимся в тюрьме с большевиками. За это говорила логика событий. Если инакомыслие приводит в тюремную камеру, если социалисты и анархисты загнаны в политизоляторы, специально созданные для одного крыла рабочего движения, то неизбежно жизнь приведет сюда и оппозиционные течения правящей партии.

Было у меня, да и не у меня одной, не злорадное, но насмешливо-презрительное отношение к прибывшим: «Не рой другому яму, сам в нее попадаешь».

Еще на Соловках из газет мы знали о расколе в правящей партии, об оппозиции и ссылке Троцкого. Кем-то из товарищей была сложена песенка: «Веселые делишки писать в России книжки...», оканчивалась она словами: «Ты, Лева, тиснул зря уроки Октября». Троцкий и иже с ним зажимали рты нам, теперь зажали рот ему самому. В Верхне-Уральском троцкисты сидели в отдельных камерах, гуляли на отдельных прогулках, ни в какую связь с нами не вступали, даже отказывались передавать почту...

Мечты и планы

Заводить семью мы с Шурой считали себя не в праве. Какая семья, если в настоящем и в будущем у нас тюрьма? Но под угрозой близкой разлуки мы все же решили соединиться. Мы часто говорили с Шурой о праве нашем иметь ребенка, о возможности воспитать его. Пока мы обдумывали и обсуждали, я забеременела. Мы встали перед фактом. Новое входило в нашу жизнь, во многом от нас не зависящую. Раньше мы предполагали, что после Шурино освобождения я просижу еще около полутора лет. Теперь мы узнали, что в политизоляторе женщин с детьми не держат. Отправляют в ссылки. Что беременных освобождают за полтора месяца до родов. Для нас это означало, что через какой-нибудь месяц после Шуры выйду из тюрьмы и я.

Для полит экзков был создан в те годы какой-то единый стандарт репрессий. Все мы получали в административном порядке по пунктам 58¹⁰ – 58¹¹ три года полит изолятора, за которыми следовало три года ссылки. Дальнейшее нам было неизвестно, но первое мы знали твердо.

Мы не хотели ссылки. Нас манила воля. Передо мной теперь выбора не было. С ребенком на руках я поеду туда, куда меня повезут. Я буду жить в ссылке, растить ребенка. Обо мне нечего было думать, но Шура... Неужели и он должен быть пригвожден к ссылке? Мечтать мы умели. Хорошо мечтать в тюрьме, на тюремной койке. Мы мечтали о том, что по крайней мере он не будет сидеть в ссылке. Уйдет в подполье.

Мы знали о разгроме всех партийных организаций на воле, о жестоком режиме террора, о невероятно трудных условиях подполья. Мы знали, что все нужно начинать сначала. Знали мы и то, что у большинства наших товарищей очень пессимистические настроения, что они не верят в возможность подпольной работы. Они полагали, что нужно ждать тупика, в который заведет коммунистов их политика. Мы с ними не соглашались. Мы не считали для себя возможным – сидеть и ждать.

Ощущая на себе изо дня в день, из часа в час гнет государства, гнет бюрократической машины, мы мечтали о подлинной социализации, о вытеснении государства обществом из всех сфер человеческой жизни. Мы не только мечтали, мы упорно занимались, читали, обсуждали. Шура штудировал труды Герцена, Лаврова, Чернышевского, Михайловского. Он вылавливал всевозможные статьи из журналов, старых и новых. Следил, насколько это было возможно, за современным развитием социалистической мысли за границей. Книгами и журналами мы были обеспечены хорошо.

В ту пору мы отошли уже от идеалистического понятия демократии. Оно казалось нам расплывчатым и неясным. Чудесная русская пословица: «Живи, и жить давай другим» перефразировалась нами «Человеку дозволено все, чем он не посягает на независимость другого человека».

Демократия трактовалась всеми – буржуазией, коммунистами... Она навязла у нас в зубах. Все хваталось за нее, все аргументировали ею...

Мы стояли за демократию для демократов. В обществе свобода должна быть гарантирована всем, кто не посягает на саму свободу. Принуждение и насилие могут быть применяемы к тем, кто сам применяет или проповедует насилие над другими.

Мы искали и нащупывали новые аргументы, новые пути. Но их должна была подсказать новая жизнь. Кропотливая работа с людьми и над людьми для выковывания кадров на борьбу за свободную, гармонически развивающуюся человеческую личность против левиафана государства.

Время шло. Приближалось время Шурино освобождения, разлуки надолго. Мы решили не добиваться соединения в ссылке, если окажемся в разных местах. Шура будет прилагать все усилия, чтобы бежать из ссылки. С этим решением мы простились в один из весенних апрельских дней. Он уходил на этап. Я оставалась в тюрьме.

Шура уходит на этап

В последний раз обнял меня Шура, стоя уже на пороге камеры. Дверь за ним закрылась. Щелкнул замок.

В нашей камере я осталась одна. Все было полно Шурой. Только – койка его стояла не застеленная одеялом, только – надзор отобрал лишнюю миску, кружку, ложку.

Очень трогало меня в те дни отношение товарищей. Они передавали мне приветы, то и дело спрашивались о моем здоровье. В каждый обход начальника я получала от товарищей с других прогулок передачи. На Пасху я получила от одного из товарищей совершенно изумительную передачу: характерно тюремная, с редким искусством сделанная работа – в маленькой сумочке, сплетенной из разноцветных хлебных шариков, лежала писанка – художественно раскрашенное яичко и брошка, камея, – тоже вылепленная из жеванного хлеба.

Я и все окружающие думали, что мне придется пробыть до освобождения месяца полтора. Но ровно через неделю после отъезда Шуры дверь камеры открылась. Старший объявил:

- Соберитесь с вещами.

Сперва я подумала, что меня переводят из одиночки в общую женскую камеру, но надзиратель добавил:

- Казенные вещи сдать, книги отдать библиотекарю. Белье в стирке есть?

Так готовят в этап. Я поняла, что меня вывозят из тюрьмы.

Прежде всего я прокричала товарищам в окно:

- Меня вызывают в этап! На моем счету 40 рублей. Спросите старосту, на чье имя перевести деньги?

Я стала складывать вещи, а мое сообщение шло к старосте тюремными путями.

Освобождавшихся весной 1926 года было много. Денежный фонд ээков оскудел. Каждый здоровый освобождающийся получал на дорогу всего 5 рублей. Больным выделялось 25 рублей. Такая сумма была назначена и мне. Остающиеся 15 рублей староста предложил мне перевести на имя Наташи.

Пока я собиралась, надзор стоял у меня над душой и торопил. Теперь он прямо говорил:

- Этап ждет. Вы задерживаете этап.

Мне так хотелось оттянуть, выйти на прогулку, проститься с товарищами.

- Почему не предупредили заранее? – ворчала я.

Причину спешки я выяснила потом. Администрация тюрьмы срочно включила меня в уже составленный и подготовленный этап. Настаивал на этом тюремный врач. Наступающая весна грозила разливом рек, бездорожьем. Тюрьма могла оказаться изолированной месяца на полтора. Он не хотел держать беременную в тюрьме сверх срока.

Так почему же не вывезли меня неделю назад вместе с Шурой? Ведь и сейчас дороги уже отказывали.

Последний раз оглядев нашу камеру, вышла я в коридор.

- До свидания, товарищи! – кричала я.

- До свидания, Катя! – кричали мне в ответ из камер.

Я шла коридором. За мной следовал надзор. Он нес мой чемоданчик и торопил меня. Но я не торопилась. Я медленно шла мимо камер, за стенами которых оставались товарищи.

Неделю спустя я на этапе в ссылку

В последнем приемном помещении, где формировался этап, я встретила пять человек, окончивших срок и вывозимых в ссылку. Егорушка Кондратенко и Марья Николаевна Волкова, фельдшерица по специальности, сразу взяли меня под свою опеку.

У ворот тюрьмы нас ждал конвой и три подводы. На них разместились мы, шесть ээков, и семь конвоиров, сопровождавших нас. Мы должны были добраться до железнодорожной станции Миасс. Дальше поездом до Челябинска – пересыльной этапной тюрьмы.

Дорога была ужасна. Кое-где на реках ломался лед. Конвой и возчики всю дорогу сомневались, доберемся ли мы до Миасс. Ехали мы не той дорогой, которой нас везли сюда. Мы пересекали окраины Верхне-Уральска, расположенного близ тюрьмы. Часто дороги заливали лужи, доходившие коням до брюха. Мы ехали на телегах. Колеса погружались в воду. Приходилось подбирать ноги повыше.

У меня шел восьмой месяц беременности. От тряски на подводе по ухабам и рытвинам мне стало нехорошо. Я крепилась, старалась не подавать виду, но Волкова, ехавшая со мной на одной телеге,

волновалась и нервничала. Она ухаживала за мной, орала на извозчика и надзор, требуя осторожной езды. К концу первого дня мы добрались до села.

Подводы остановились у крайней избы. Каким счастьем было слезть с телеги, выпрямиться! Усталые, залепленные с ног до головы комьями грязи, зашли мы в хату. И застыли на пороге. Невозможно было переступить дальше. Ослепительная чистота комнаты остановила нас. Старушка-хозяйка, такая же чистенькая, как ее изба, приветливо шла нам навстречу. Радущие ее и гостеприимство уступало только ее любопытству. Стоило надзирателю выйти за порог хаты, как она оставляла все хлопоты и засыпала нас вопросами. Упорно допрашивала она нас, не мы ли царя убили, правда ли, что нас из серебряной посуды кормят...

Мы были не первым этапом, проходящим через ее хату. Всех, освобождавшихся из Верхне-Уральской тюрьмы, завозили на ночевку к ней. Неделю назад у нее ночевал Шура с товарищами.

Старушка поставила для нас самоварчик. Мы купили у нее молока, сама она угостила нас белыми калачами. Вся ее изба – мы находились в чистой половине, зальце, - была увешана вышитыми полотенцами, картинками, фотографиями.

Позже мы увидели хозяина дома. Был он такой же благообразный и чистый, как хозяйка, но разговорчив не был, скорее был даже угрюм. Старики-хозяева были староверами. Курить и мы, и надзор выходили за порог.

На ночь для нас постелили какие-то тулупы, одежонки, рогожи. Хозяйка жалела нас...

После тюрьмы каждая мелочь вольного человеческого жилья волновала нас, но измученные дорогой мы скоро уснули.

А на рассвете двинулись дальше...

Челябинская пересылка

В пустом классном вагоне вместе с конвоем доехали мы до Челябинска. Там верхне-уральский конвой сдал нас в челябинскую пересыльную тюрьму. И только здесь объявили нам наши приговоры: всех нас сослали на три года в Казахстан. Столицей Казахстана была Кзыл-Орда. Там должны были назначить нам место отбывания ссылки. Сначала мы должны были проследовать туда общим этапом.

В конторе пересыльной тюрьмы нам сказали, что этап идет раз в неделю. А прибыли мы в пятницу, последний этап ушел в четверг. Вероятно, вчерашним этапом ушел и Шура, - хоть бы узнать, куда послали его!

Нас разлучили с мужчинами и, опять тюремными коридорами, повели в женскую тюрьму.

С Шурой из Верхне-Уральска ушла Клавдия Порфирьевна Седых. О ней-то я узнаю, наверное, в пересыльной камере! Может быть, там знают и о Шуре. Мужчины, во всяком случае, обещали мне постараться узнать о нем.

Пересыльные камеры не были так забиты людьми, как в последующие годы. Но, так как этапы по разным направлениям уходили и приходили в разные дни, камеры никогда не бывали пусты. Однако политических мы не встретили.

Нас завели в небольшую пустую камеру. Заперли на замок. От пересыльных уголовных, спокойно расхаживавших по коридору, я узнала, что всех эков, прибывших из Верхне-Уральска – и мужчин, и женщин – вчера отправили этапом в Кзыл-Орду.

До чего же мне было обидно! Поспей мы днем раньше – я бы шла вместе с Шурой!

Этап из Челябинска шел на Самарскую пересыльную тюрьму, и в тот же день я отправила Шуре открытку, где писала, что еду следом, что назначение мое – Кзыл-Орда. В Самаре Шура будет ждать следующего этапа и, может быть, успеет получить ее.

Режим пересыльных тюрем был тогда не строгим. Уголовные свободно передвигались по коридору, а кое-кто и по корпусу. В пересыльных камерах содержалась целая группа матерей с детьми. Тяжело видеть детей в тюрьме. Питание для детей было очень хорошее и они свободно бегали по коридору, но выглядели они все равно плохо.

В те годы тюрьмы для уголовных (в отличие от политизоляторов) назывались исправительными домами. При исправительном доме была организована классная комната, в которой стояли парты, висела большая доска... Нелепо выглядел этот класс с зарешеченными окнами. Вечерами эков водили в бывшую церковь – там показывали кинофильмы.

В понедельник к нам в камеру поступило пополнение – прибыл этап из Москвы. С ним привезли двух анархисток, сестер Гарасевых, направляемых на три года в Верхне-Уральский политизолятор, и четырех социалисток-сионисток, едущих в ссылку в Казахстан.

Сестры Гарасевы, мои сверстницы, были очень взволнованы своим делом. Сбивчиво рассказывали они о легально существовавшей в Москве группе анархистов, о легально существовавшем клубе анархистов, который они посещали, о внезапном аресте членов этого клуба. Старшая из сестер, Таня, произвела на меня очень хорошее впечатление. Была она бледна и слаба. После трех месяцев следствия у нее открылся туберкулезный процесс. С Таней не раз впоследствии сталкивала меня жизнь.

О воле мы от них узнали мало. Или они остерегались нас, или были слишком потрясены своей судьбой.

С социалистами-сионистами я встретила впервые. Я знала о еврейской социал-демократической партии «Бунд», знала о сионистском еврейском движении. А теперь социалисты-сионисты?..

Девушки-сионистки были очень юны. Все они пришли из еврейских местечек. Добиться от них, что представляет собой их движение, я не могла. Ясна была их мечта о Палестине; страстна была их мечта попасть туда, горяча любовь к своему народу. Я задала им такой вопрос:

- Едите вы в ссылку, кругом все чужое и все чужие. Первое время будет очень трудно... Нужен совет, нужна помощь... К кому же обратитесь вы за советом и помощью? К ссыльным русским социалистам? Или к евреям, пусть к буржуа, но к евреям?

- Конечно, к евреям, - отвечали девушки.

Этап уходил. Верхне-Уральск отступал в прошлое. Прощаясь с сестрами Гарасевыми, я просила передать привет товарищам, рассказать о встрече со мной, сообщить о моем и Шурином назначении в Казахстан.

Я уходила на волю, пусть в ссылку... Таня с сестрой шли за тюремные решетки. Тяжело прощаться с человеком, идущим на годы в тюрьму.

И опять в дороге

Арестантов выгнали за ворота, построили по пять человек в ряд и погнали окольными дорогами к вокзалу. Ээки не должны были видеть вольных людей, их же не должны были видеть вольные.

Дорога была мерзкой, грязной. Люди скользили. Конвой подгонял. Переход был не очень долгим. За полчаса мы добрались до путей.

Арестантский вагон, как обычно, был загнан в тупик. Он был один. Набили в него весь этап. Нас, политических, было немного, но уголовных – тьма. Всех нас, мужчин и женщин, загнали в одну клетку. Сразу стало нестерпимо душно – от тесноты, от закрытых окон, от опущенных верхних полок.

Внизу нас сидело десять человек, на верхних полках мужчины разместились по двое. Наши вещи запихнули к нам в отделение – хорошо, что их было немного. Те, у кого было много вещей, побросали часть по дороге к вагону.

Сидеть приходилось согнувшись, скорчившись. От этого особенно страдала я. Товарищи пытались создать мне максимум удобств. Какой там максимум, когда не было и минимума! Главное же – не хватало воды. Рты пересыхали, томила жажда.

И все же настроение было бодрое. Ведь это же... из тюрьмы! А я еще надеялась, что догоню Шуру.

Увы, приехав в Самару, мы услышали, что Шура накануне уехал этапом в Кзыл-Орду. В Кзыл-Ординской тюрьме от группы эзков я узнала, что Федодеев получил направление в Семипалатинск и сразу же попал на обратный этап. Этап в Семипалатинск шел через Самару, Челябинск...

Я чувствовала, что еще месяц этапа не выдержу. Товарищи тоже были уверены, что меня не пошлют на длинный трудный этап. Не сбылись мои надежды на встречу в этапе, но маленькая радость у меня все же была: Шура в Самаре получил мою открытку и в кзыл-ординской пересыльной камере оставил для меня письмо.

Кзыл-Ординская тюрьма

Кзыл-Ординская тюрьма не походила ни на одну из виденных мною тюрем. (Те были царские (старые) тюрьмы с большими мрачными коридорами в глухих каменных зданиях). Глинобитный дувал окружал маленькое, низенькое здание с земляными полами, с крохотными каморками.

Было начало июня. Стояла давящая казахстанская жара. Тюрьма была переполнена. Мы не были разобщены и замкнуты в камерах, - мы жили вповалку. Бичем тюрьмы были клопы. Таких огромных я не видела нигде. Прелести тюрьмы усугублялись рассказами о скорпионах, фалангах и каракуртах...

На счастье, я не задержалась в этом аду. На другой же день меня вызвал тюремный врач, а еще через день – тюремное начальство. Очевидно, от меня спешили отделаться, чтобы не иметь удовольствия принимать роды в камере. Мне объявили, что я по постановлению ОСО ссылаюсь на три года в город Чимкент, куда я буду направлена в ближайшие дни спецконвоем. О Чимкенте я раньше ничего не слышала. Не знал о нем и никто из товарищей. Единственно, нам удалось узнать, что это маленький городок, лежащий на железнодорожной ветке, отходящей от ташкентской железной дороги и идущей на Пишпек.

Вечером объявили мне место назначения, а на утро вызвали с вещами. На мое счастье, один из сотрудников ГПУ ехал по делу в Чимкент.

Впервые после долгого времени я ехала в нормальном вагоне. Мой спутник держал себя вежливо и, очевидно, не опасался, что я куда-либо сбегу. Он был абсолютно прав. Деться мне было некуда. Единственным моим желанием было скорей добраться до места и как-то обосноваться до родов. Денег в кармане у меня были все те же 25 рублей. Товарищи не дали мне истратить за этап ни копейки.

Я не трусила. Я была уверена, что встречу ссыльных, что они мне помогут. Действительность превзошла все мои ожидания.

7. В ССЫЛКЕ В ЧИМКЕНТЕ

В воскресенье рано утром мы прибыли в Чимкент. Прямо с вокзала мой спутник проводил меня в местное отделение ГПУ и сдал дежурному. Учреждение было еще закрыто. Часа полтора просидела я на скамье в коридоре рядом со столом дежурного. Когда пришел начальник, меня вызвали к нему в кабинет. Он предложил мне расписаться, что я обязуюсь два раза в неделю являться на отметку и не имею права удаляться за черту города на расстояние более 4 км. На мой вопрос о жилье он сказал, что никаким жильем ссыльных не обеспечивают, что до тех пор, пока я не устроюсь на работу, я буду получать пособие в размере шести рублей в месяц.

— Может быть, вы укажете мне адрес кого-нибудь из ссыльных? — спросила я.

— Вы сегодня всех увидите. Сегодня день отметки. Могу дать и адрес. Все эсеры живут коммуной на Самсоньевской улице, дом № 8.

Мои вещи мне временно разрешили оставить в ГПУ. Я вышла на улицу очень утомленная, но почти счастливая. Я вырвалась из-под стражи. Я была вольная. Я шла к друзьям.

Встреча с друзьями

Дорога моя вела по прелестной улочке. Маленькие одноэтажные беленькие домики, вдоль них — деревянные настилы тротуаров. По обеим сторонам улицы глубокие канавы-арыки с шумно бегущей водой. Неизвестные мне развесистые деревья. Яркое солнце. Синее небо. На горизонте — снеговые вершины. И все это — сразу после тюрьмы.

Чимкент, как я узнала позже, считался одним из чудеснейших уголков Казахстана, кумысным курортом, местом прохлады. Маленький, крошечный горо-дочек. По населению он был скорее узбекским, чем казахским. Жило в нем много украинцев, переселившихся когда-то. Делился он на две части: Старый и Новый город. Старый город состоял из узеньких улиц, обнесенных дувалом, где не разминуться арбе с арбой. Глухие стены дувалов, глухие стены домов. Ни одна дверь, ни одно окно не выходило на улицу. За этими стенами, скрытая от чужого взгляда прохожего, — женщина.

Новый город состоял из семи или восьми улочек и одной площади. Его можно было пройти из конца в конец за десять минут.

Я легко нашла Самсоньевскую улицу — первый же прохожий указал мне ее. Номеров на домах не было. Дома стояли далеко друг от друга, отделенные садами. Наконец, у одного крылечка я увидела женщину. Она стояла спиной ко мне.

— Скажите, пожалуйста... Она обернулась.

— Катя!

— Клавдия Порфирьевна!!

Мы обнимаемся. Не выпуская моей руки, она ведет меня во двор, в домик.

— Мы вас ждали, Катя. Каждый день Коля Зелигер ходил встречать этап. И сегодня еще не вернулся, а вас прозевал...

— Откуда вы знали, что я еду сюда?

— Нам Шура написал о возможности вашего приезда. Сам он направлен в Семипалатинск. Вообще, ваш Шура не совсем нормальный. Вы можете гордиться. С того самого момента, как мы вышли из тюрьмы, он продолжал жить в ней. Сидит в вагоне и вдруг скажет: «Сейчас обед раздадут. Сейчас на прогулку выпускают». А когда получил вашу открытку, мы чуть не силой вывели его на этап. Хотел остаться ждать вас. Катя, мы были уверены, что вы и он будете ставить вопрос о соединении в ссылке. И ошиблись.

— Вам Шура все объяснил? — спросила я.

— Да. Вы молодцы оба.

В столовой самсоньевской коммуны нас встретила Лена Полетико. Я знала ее по рассказам Шуры. Он был очень дружен с ней, очень хвалил ее. Спокойная, ровная, замкнутая, всегда грустная, Лена встретила меня тепло и заботливо.

Самсоньевская коммуна состояла из двух комнат, кухоньки и коридорчика. В большой комнате помещалась столовая. В ней жило четверо мужчин: Володя Мерхалев, Валентин Кочаровский, Яша Рубинштейн и Коля Зелигер.

Мужчин не было дома. Володя работал в статистическом отделе и был на работе; Валентин Кочаровский не был эсером, он был братом Жоржа, убитого 19 декабря. В коммуну он вошел потому, что был репрессирован за брата и сам льнул к друзьям брата. Он тоже был на работе. Яша, которого я прекрасно знала по Савватию, работал по переписи населения. Не работал Коля. Его я хорошо знала по Соловкам. Совсем молоденький, меньшевик, скромный и робкий, неприспособленный к жизни, единственный меньшевик в чимкентской ссылке, он был принят в эсеровскую коммуну и, как неработающий, стал ее завхозом и поваром. Он пробыл в коммуне, пока в Чимкенте не появились с.-д.

Из беседы с товарищами я узнала, что в Чимкенте отбывают ссылку Дерковская с сыном Вовой. Их сняли с нашего этапа на Соловках и привезли сюда. Было в Чимкенте несколько человек анархистов, была группочка сионистов. Много было ссыльных из духовенства и верующих. С последними связей никаких не было, только что встречи при регистрации.

Нашу болтовню прервал приход Коли. Тоненький, малорослый, с растрепанными волосами, горящими карими глазами, всегда небрежно одетый, — он был немного не от мира сего.

Вот и сейчас он испытывал угрызения совести, что не встретил меня. До сих пор все шло гладко. Все были здоровы, неприхотливы в еде. Теперь на его шею сваливалась я, беременная женщина. Коля считал, что на него легла страшная ответственность. Как кормить? Как поить? Едва успев поздороваться, он заволновался, захлопотал о моем питании, выворачивая все запасы.

Я пыталась умерить его пыл, но Клавдия Порфирьевна и Лена нарочно раззадоривали его.

— Коля, ты учти, всю беременность Катя выдержала на тюремном пайке. А потом — этап в течение месяца... Вся ответственность на тебе.

Все время, что я прожила на Самсоньевской, Коле не было покоя. Днями думал он, что бы приготовить для меня в виде дополнительного питания, с серьезным видом расспрашивал знакомых, чем надо кормить беременную женщину.

Его очень радовало, что эта беременная женщина, действительно изголодавшаяся, особенно за этап, уплетала за обе щеки все, приготовленное им.

К обеду вернулся Володя. За ним — Валентин, Яша. Пришла Надежда Соломоновна. Все они окружили меня заботой, участием, лаской.

Так началась моя первая ссылка. Так встретил меня Чимкент.

Основателями самсоньевской коммуны были Володя Мерхалев и Валентин Кочаровский. Они не были в тюрьме. Они прибыли в ссылку с воли. Здесь обосновались, устроились на работу.

Радушно встречали они всех, идущих из тюрем, принимали к себе, поили и кормили. Коммуна росла.

«Как же иначе должны жить эсеры в ссылке?» — думали они.

Но приезжать стали товарищи, утомленные тюрьмой: люди, в течение ряда лет ни на минуту не остававшиеся наедине сами с собой; люди, спавшие, читавшие, евшие, гулявшие, даже управлявшиеся на людях. Они мечтали об уединении, о возможности побыть наедине, когда никто

не видит, как ты сидишь, стоишь, ходишь, думаешь. Ни волчка в двери, ни товарищеского взгляда...

Часто на Самсоньевской шли горячие споры о том, правильно ли, что вновь прибывшие не принимают коммуны, правильно ли, что они селятся отдельно.

Володю, Лену, Валентина возмущало не то, что их коммуна превращалась в пересылку, что в нее приезжали товарищи и жили до устройства, до того, как оперятся, если можно так выразиться. Они спорили с каждым, каждого радушно принимали к себе и так же радушно отпускали в самостоятельную жизнь. Народа ехало много. Ссылка росла. Приехал Соломон Ильич Штер. Приехали Абрам Исаевич Гельтман, Предит, Богатов. Ехали леваки, анархисты, с.-д.

Нас, выделявшихся из коммуны, тревожило то, что прием новых товарищей лежит только на самсоновцах, но ни о какой материальной помощи они слушать не хотели.

Самсоньевская была нашим центром, здесь собирались мы вечерами, здесь все чувствовали себя дома, у себя.

Поиски нового пристанища

Я недолго скиталась по тюрьмам. У меня не было тяги к одиночеству, но я боялась, что ребенок стеснит товарищей, будет беспокоить их криком и режимом. Жизнь убеждала меня в правильности моих соображений. Еще не было дитяти, а товарищи уже заговорили о необходимости подготовиться. Они купили ванночку, намечали переселение. Мне и Лене они решили отвести большую комнату, а сами переселиться в малую.

О том, что я поселюсь одна, даже не говорили со мной. Коротко и ясно заметили они, что отвечают за меня и ребенка перед Шурой, и никуда меня не отпустят.

За меня вступилась Клавдия Порфирьевна. Она заявила, что ребенку в коммуне будет плохо, что она поселится и проживет со мной до приезда ее старушки-матери, которую ждала через месяца два. А там будет видно.

Мы с Клавдией Порфирьевной отправились искать комнату. Городок был маленький. Обойти его было недолго. Селиться далеко от друзей мы не хотели.

Целый день пробродили мы, и, наконец, наткнулись на чудесную комнату — светлую, большую, изолированную, с деревянным крашенным полом — одним словом, комнату, приведшую нас в восторг. Цена была подходящей. Мы хотели уже дать задаток, но хозяин от задатка отказался, сказав, что у них так не принято, — проживем месяц, тогда будем платить. Он сказал еще, что лучших, чем мы, ему жильцов не надо. Тут же он пригласил нас к себе.

С любопытством зашли мы к нему. Комната была еще больше той, что предлагалась нам, просторнее казалась она и потому, что в ней не было никакой мебели. Пол был устлан кошмами. Вдоль стен на полу — стеганые одеяла и подушки в пестрых наволочках. Посреди комнаты стоял низенький, не выше четверти от пола, столик. Вокруг него на кошмах сидела вся семья. На столике дымилось огромное блюдо с пловом. И женщины, и дети погружали руки в миску и старательно набивали рты; аппетитно облизывали они пальцы и снова запускали их в общее блюдо.

Все гостеприимно потеснились, освобождая нам места. Хозяин не хотел отпускать нас, пока мы не разделим с ним трапезу. Мы с Клавдией Порфирьевной решительно отказались. Мы говорили, что сыты, что спешим домой. На самом деле мы не решались присоединиться к такому столу.

Сегодня еще нас предупреждали: в общежитии с узбеками будьте осторожны — они повально болеют сифилисом и трахомой.

Хозяин явно обиделся. Он не вышел проводить нас, а наутро, когда мы пришли со своими чемоданами и барахлом, через запертую дверь объявил, что никакой комнаты здесь не сдают и сдавать не будут. Объяснений не требовалось — мы нарушили закон гостеприимства.

В тот же день нам удалось найти другую квартиру. Она сдавалась всего на три летних месяца. Но зато это был совсем отдельный домик. Кухонька и комната. Домик был чудесный, дворик вокруг него еще лучше. Все блистало чистотой под хозяйским глазом. Хозяева домика — старик и старушка — переселились на лето в сарайчик, а дом отдавали в наем.

С наслаждением завладели мы этим «особняком».

После тюремных камер, после тюремной жизни мы оказались среди незнакомой нам экзотики юга. Южный базар, чайханы, где при нас на металлических палочках жарили и подавали шашлыки. Скрестив ноги, сидели торговцы в своих длинных синих халатах и ярких тюбетейках. Тут же, на кошмах, посетители из пиал пили зеленый чай. По улицам проходили караваны верблюдов. Больше всего меня поразили погонщики-казахи, они ехали на маленьких осликах, ноги

их почти волочили по земле. Вокруг городка были раскиданы юрты; всюду были мужчины, мужчины, мужчины... Мы хотели видеть и женщин.

Когда я раньше читала о женщинах в парандже, в воображении моем рисовалось воздушное поэтическое видение под легким покрывалом... Бесформенные фигуры двигались нам навстречу. Серый, гру-ботканый покров свисал с голов, закрывая фигуры до самых пят. В балахоне на уровне глаз были прорезаны небольшие отверстия, затянутые грубой волосяной сеткой. Иногда женщина отводила ее ру кой. Тогда мелькали прекрасные миндалевидные черные глаза.

Казашки не закрываются. Они работали наряду с мужчинами. В городе они не жили. Они приходили с гор, с пастбищ вместе с караваном. Те, которых я видела, не были красивы. Широкие, скуластые, обожженные солнцем лица. Тем красивей казались узбечки. И они это знали. Легким красивым движением отстраняли они паранджу на мгновение, достаточное, чтобы разглядеть их овальные лица с огромными черными глазами под узкой полоской бровей. Они любили украшать себя. Нас поразили их брови: длинной зеленой чертой они подводили их.

Узбеки городка жили торговлей. Жены их сидели дома, вели хозяйство, растили детей. Все дома были окружены садами. В садах — уйма фруктов.

Рождение нашей дочери

Недолго побродила я по Чимкенту. Как-то вечером я почувствовала себя плохо. И я, и Клавдия Порфирьевна были неопытны, и мы сразу собрались в больницу.

Больница, коридоры, палаты, дежурные сестры в белых халатах. Как будто все это не походило на тюрьму, — но я почувствовала ее воздух. Опять режим, казенный уклад жизни. Ощущение тюрьмы настроило меня на протестующий лад.

А больница была ужасная. Грязь в коридорах, несвежее белье на койках. Меня даже не свели в ванную мне только предложили сменить застиранное мое белье на казенное. Не так представляла я себе родильное отделение больницы.- Меня возмутила уборная без стульчаков, кишевшая отвратительными белыми толстыми червями. Со скандалом добилась я себе чистого белья на койку.

Рожали тут же на койках в общей палате. Акушерка металась между роженицами.

Сейчас же после родов мне предложили встать, взять ребенка и перейти в соседнюю палату. Мне почему-то казалось, что роженица не должна вставать, ходить, и я заявила, что вставать не буду, пусть меня несут. Повернулась на бок и заснула. Сестры и санитары возмущались, но в конце концов появились носилки, и меня отнесли в другую палату.

Отдельных детских постелек в больнице не было. Дети лежали в кроватях матерей. Температуру у рожениц не измеряли. При родах у меня и у моей соседки прозевали разрывы. Через сутки их случайно обнаружила женщина-врач, которую товарищи просили обратить на меня особое внимание. На пятый день мне стало худо. Со скандалом добилась я старшего врача, а через него — измерения температуры. Термометр показал 40, тогда забегали вокруг меня и санитарки, и сестры, и врачи.

Единственной отрадой в моей больничной жизни было окно. К нему приходили мои друзья. Я одна в чужом далеком городе в ссылке, но ни к кому не приходило столько посетителей, как ко мне, никто не получал столько передач, столько знаков внимания и заботы. Тумбочка у моей койки была заставлена цветами, фруктами и конфетами.

Как-то в окно палаты товарищи сообщили мне о смерти Дзержинского. Как и чем выразила я свое несочувственное отношение к этой смерти, не помню. Но соседка по постели спросила меня: — Почему смерть Дзержинского вас радует? Поняв, что веду себя глупо, все же буркнула:

— Одним негодяем меньше живет на земле, — и уткнулась в подушку.

Екатерина Павловна Пешкова, которую я очень уважала, говорила, как мне передавали, что Дзержинский исключительной души человек, что еще до революции, в ссылках, его называли «ходячей совестью», что именно поэтому его выдвинули на такой высокий пост.

Дзержинского я не знала. Но мне было совершенно достаточно того, что я знала о «19 декабря», о застенках ЧК, возглавляемой им, чтоб положительные отзывы о нем не нашли дороги ни к моему сердцу, ни к моему разуму.

Я рвалась из больницы домой, но у меня не снижалась температура, и врачи меня не выписывали.

Товарищи, узнав об условиях в больнице, о моем нервном состоянии, уговорили одного из врачей выписать меня с тем, чтобы продолжать лечение на дому.

На извозчике приехала за мной Клавдия Порфи-рьевна. Товарищи установили круглосуточное дежурство. Одни закупали продукты, другие готовили, третьи дежурили. Все это было вовсе не так

нужно. Дома температура быстро упала. Теперь я кляла себя, зачем я рвалась из больницы. Чтобы стать обузой для товарищей? Но мне было так хорошо, так тепло от их забот!

И дочка была здоровенькой. Я назвала ее Марией в честь матери мужа, как это было между нами условлено.

Вскоре стали поступать письма от Шуры. В Семипалатинске, как и в Чимкенте, он встретился группой товарищей. Ясно написать Шура не мог, но я поняла, что наши планы не встретили одобрения, больше того, из-за круговой поруки в ссылках, на них было наложено вето.

«При создавшемся положении ничем не оправдана наша раздельная жизнь», — писал Шура.

Он послал письмо Пешковой с просьбой ходатайствовать о нашем соединении. Заявление о соединении нас в одной ссылке следовало подать и мне. Шура писал, что уже устроился на работу, и прислал мне денег. Вскоре я получила сообщение от Пешковой, что мне разрешен переезд в Семипалатинск, а через несколько дней меня вызвали в ГПУ.

Там мне сообщили, что я могу ехать общим этапом к мужу в Каркаралинск, куда его перевели из Семипалатинска. Но, так как везти меня общим этапом с грудным ребенком сложно, мне предоставлено право ехать спецэтапом за свой счет, то есть везти за свой счет и двух конвоиров.

Это было явное издевательство. Где я могла взять средства на оплату и содержание двух конвоиров?

Я получила письмо от Шуры, в котором подтверждался перевод его в маленький поселочек недалеко от Семипалатинска.

В ответ на разрешение мне ехать к нему общим этапом он поставил вопрос о разрешении ему ехать ко мне в Чимкент, так как на спецконвой у нас денег, конечно, не было.

Лето прошло. Наступили холода. К Клавдии Порфирьевне приехала мать, и она поселилась отдельно. Хозяевам нужна была квартира. Оставить меня жить одну с ребенком товарищи не хотели. Звал меня к себе Богатов, звал Предит. Я не шла. Я не хотела стеснять товарищей. Тогда они пришли сами.

Евграф взял на руки девочку, остальные — вещи, и пошли.

В ожидании приезда жены Евграф снял домик. Состоял он из большой комнаты с деревянным полом и кухонькой, тоже не маленькой, но с земляным полом. В комнате стояла широкая мягкая кровать, стол, шкаф, стулья. В кухне не было ничего, кроме плиты и двух скамей.

До приезда жены Евграфа комната была отдана Мусе. Так сказал он. Я была лишена права голоса. Он был хозяином дома. Для себя он сдвинул в кухне скамьи и постелил постель. Примус мой поставили в кухне на подоконнике.

— Ваше дело — дочку растить, мое — все остальное.

Так мы и зажили. Евграф приносил воду из колодца, готовил завтрак и уходил на работу. По дороге он покупал продукты на базаре и в магазине и, вернувшись с работы, готовил обед. Единственное, что мне разрешалось, это залатать, починить что-либо из его одежды. После тюрьмы мы все были достаточно обшарпаны, обтрепаны. На наше счастье, погода была теплая, а остальное нас мало смущало.

С работой в Чимкенте было неплохо. Работали почти все. Ссылных на работу брали очень охотно. Местных культурных сил не хватало, ссылные считались добросовестными работниками. В основном ссылные работали в бухгалтерии, статистиками, плановиками, экономистами и зарабатывали до 100 рублей в месяц. Этого на жизнь хватало. Не так было в северных ссылках. Там жизнь была очень дешевой. Гораздо дешевле нашей, но найти работу не было никакой возможности. Нам приходилось поддерживать товарищей северных ссылок. Для этого мы организовали кассу взаимопомощи. Касса оказывала помощь и местным товарищам временно, до поступления на работу. Помощь товарищам других ссылок была безвозвратной. Кроме нашей эсеровской кассы взаимопомощи, была в Чимкенте и общая касса взаимопомощи — эсеров, анархистов, сионистов. Туда шли особые отчисления. Конечно, обе кассы были нелегальными.

Время шло. Мусе исполнилось уже три месяца, когда Шуру пришло долгожданное разрешение ехать в Чимкент. В этапе он должен был пробыть месяц. За этот месяц я подыскала квартиру. Квартира была плохая. Я сознавала это, но другая не находилась. Товарищи протестовали, я их не слушала. Мне хотелось встретить Шуру в своем доме.

Крохотная кухня была аркой отделена от комнаты-клетушки, низенькой, глинобитной, с земляным полом. Я не работала нигде, но через Володю доставала карточки крестьянских бюджетов для обработки. У меня было несколько учеников, — я репетировала школьников. Помогала мне

соседская девочка лет тринадцати. Пока я давала урок, она возилась с дочкой. Потом я помогала ей в учебе.

Шура добился перевода

Почти четыре месяца было Мусе, когда приехал Шура. Она уже садилась в своей кроватке. Усталый, худой и длинный, склонился он над ней.

— Самое дурацкое состояние: идти самому под конвой, на этап, и все из-за такого маленького существа.

После тюрьмы и этапов впервые виделись мы с глазу на глаз, без надзора и волчка в двери, один на один.

Я не ошиблась. Я правильно поняла все Шурины письма. Прибыв в ссылку, он сразу поставил перед товарищами вопрос о переходе на нелегальное положение, о возвращении к партийной работе по собиранию, прежде всего, партийных кадров.

Никто из товарищей не поддержал его. Все находили, что сейчас не время, что нужно ждать.

Сложность исторической ситуации, сложность своего положения мы понимали. Старая партийная программа не соответствовала настоящим условиям. Съезд партии не созывался долгие годы. Многие положения должны быть пересмотрены и изменены. Выступать от имени партии было невозможно.

Но именно этого требовала работа на воле. Разве не знала история революционного движения тяжелых периодов? Но люди не складывали рук, не гнушались мелкой кропотливой работой.

— Что ж, нельзя, так нельзя. Поживем три годика в ссылке, а там такой минус выберем, где не будет товарищей, которых нельзя подводить.

Товарищи по чимкентской ссылке стали на точку зрения семипалатинцев. Чувствовалось, что люди устали от тюрем. Им надо отдохнуть и физически, и душевно. Если говорить о старых эсерах, освобожденных в 1917 году из ссылок, из тюрем, и после двух лет кипучей жизни попавших снова в застенки, это было более, чем понятно, — а таких было большинство. Молодые товарищи прислушивались к «старикам» и не решались выступить на борьбу под новыми лозунгами борьбы внутри рабочего класса.

Да и вера, что большевики сами дискредитируют себя, была велика.

*

Верят ли крестьяне и рабочие в партию большевиков? Сколь велика прослойка верящих? Почему молчит народ, и долго ли он будет молчать?

Велика была вера всех социалистов в демократию, и никто из них не верил в возможность построения социализма иным путем, путем диктатуры.

Все самые дорогие для нас лозунги глядели на нас с плакатов, со столбцов газет, звучали на собраниях и митингах. Наши лозунги. А видели мы насилие, обман, жестокий произвол. Тирания называлась свободой. Насилие прикрывалось светлыми, дорогими нам словами. И тошно было от фальши, лжи; жутко от наглости, все допускающей и оправдывающей; мучительно от бездействия, от нашей судьбы бесправных, в стороне стоящих зрителей.

В эти годы был брошен новый лозунг — «коллективизация сельского хозяйства». Большевики не сумели овладеть деревней, а стране для восстановления ее разрушенного хозяйства нужны были средства. Кто мог дать их, кроме русской деревни, кроме русского мужика? Как выкачать средства из индивидуального мелкого крестьянского хозяйства, не дав ему ничего взамен? Жизнь требовала реформ.

Коллективизация сельского хозяйства — наш лозунг, наше решение крестьянского вопроса: через производственную кооперацию крестьянских хозяйств — вперед к социализму.

Против производственной кооперации всегда выступали все социал-демократы всех толков. Теперь они провозглашали лозунг «коллективизация». Коллективизация 1927-1929 годов не воплощалась еще во всей своей красе в жизнь, о ней писали еще только прекрасные статьи. Мы им не верили. В наших кругах горячо обсуждался вопрос, во что выльется коллективизация крестьянского хозяйства в условиях большевизма. Мы были полны скепсиса, а Володя Радин поверил: молодой парень, 21 года, сын старого большевика, он пошел дорогой отца.

Он был эсером. Жизнь привела его в тюрьму. На Соловках он много и упорно занимался, был горячим сторонником подлинной демократии. Как всех эсеров, больше всего его интересовал вопрос аграрный.

В Савватии Володя дружил с Шурой, хотя настроен он был значительно правее. Володя освободился из Верхне-Уральска после нас. Мы часто о нем вспоминали, надеялись, что судьба забросит его в наши края. Хотелось встречи, бесед, обмена мнениями. Был Володя удивительно славный, как внешне, так и внутренне. Очень тонкий, худой, с русыми волосами, ясными голубыми глазами, чуть вздернутым носом, покрытым веснушками. Легкая, мягкая, как бы застенчивая улыбка обычно озаряла его лицо. Был он мечтателем. Веры в жизнь, надежды на жизнь было у него — край непочатый.

С Шурой вместе мечтали они об уходе из ссылки. Теперь мы ждали вестей от Володи после освобождения его из тюрьмы. И письмо пришло. Оно было триумфальной песней во славу коллективизации сельского хозяйства. Володя писал, что большевики — честный, идейный народ, что они только сбились с пути. В стране нашей будет осуществляться величайший в мире переворот, кооперированное крестьянство станет хозяином земли, страны, жизни... Он, Володя, хочет отдать все силы на дело претворения в жизнь своих идеалов; он полагает, что все мы обязаны придти на помощь большевикам.

Мы не возмущались настроением Володи, нам было его бесконечно жаль. Жаль за то, что пришлось ему пережить. Жаль за то, что ему предстоит пережить. Жаль, что мы теряем такого товарища.

Шура твердил:

— И будут уходить, гибнуть все такие Володи, потому что человек задыхается в бездействии, потому что нельзя сидеть у моря и ждать погоды. Потеря партией таких людей, как Володя, вопрос, над которым партия должна задуматься.

Приезд Шуриной матери

Путь к нам был долог. Дорога стоила дорого. Но желание встречи превозмогло все. Мы ждали гостей. К Шуре должна была приехать мать, ко мне — сестра. Первой приехала Шурина мама. Я не была с ней знакома и боялась встречи. Из рассказов Шуры я знала, что мать его вышла из семьи потомственных железнодорожников, была хорошей домохозяйкой, и считала, что удел женщины — семья. Я в домашнем хозяйстве ничего не смыслила. Буржуазную семью со всем, к ней причитающимся, ненавидела. В чимкентской ссылке наш дом был единственным семейным домом, куда тянуло одиноких товарищей — холостяков. Мне, волей-неволей, приходилось вести хозяйство. Но вела я его — спустя рукава.

К приезду Шуриной мамы нам удалось сменить квартиру. Мы радовались. Хоть землянка наша не испугает ее. Шура поехал на вокзал встречать мать, а я прилагала все старания, чтобы встретить ее лучше. Я вымыла пол, убрала квартиру, перечистила всю посуду. Нарядилась лучше сама и нарядила Мусеньку. Как назло, именно сегодня у меня заболел зуб. Он не болел с самого соловецкого этапа. Боль портила настроение. Я нетерпеливо ждала. Наконец, я услышала шум колес. С Мусенькой на руках я выбежала. Шура помогал матери выбраться из пролетки. Я не знала, как держать себя с Шуриной мамой. Я знала, что она очень хорошо относилась к первой жене, которая, выйдя вторично замуж, постоянно бывала с сынишкой у бабушки.

— Знакомься, Катя, это моя мама.

Шура стоял рядом с матерью такой сияющий! Возле него высокая, худенькая серьезная, спокойная женщина. Белое маркизетовое платье оттеняло темный цвет лица. Карие глаза, как у Шуры, окаймленные темными кругами, пристально рассматривали меня.

Не очень тепло, не очень приветливо, но первая встреча как-то обошлась. Гостью нашу мы провели в комнату. Она внимательно осмотрелась кругом. Мне показалось, что даже с Мусей она обошлась холодно. Я старалась угостить, накормить Марию Михайловну, но она выпила только чаю с вареньем, отклонив все мои угощения. Не сводя глаз друг с друга, сидели Шура и мать. Шура гладил ее руку и подносил к губам. Изредка спрашивал, изредка говорила она об их московской родне. О Циле, о Шурином сынишке... Мария Михайловна восторгалась мальчиком.

Мне казалось, что мы с Мусей лишние при этой встрече, и я ушла с дочуркой гулять во двор. Но я не находила себе места. Зубная боль мучила, и я решила пойти к зубному врачу. Я вызвала Шуру, сказала ему о своем намерении и ушла.

Вернувшись от врача, я чувствовала себя прекрасно. Я застала Шуру и Марию Михайловну за беседой. Шура взволнованно ходил по комнате. При моем появлении они замолчали. Муси с ними не было. На мой вопрос, где девочка? Шура спохватился. Увлечшись разговором с матерью, он совершенно забыл о ней.

Я вышла поискать Мусю. Я думала, что она у квартирной хозяйки. Ей был уже годик, и она часто бродила с хозяйскими девочками. Но ни Муси, ни хозяйской девочки нигде не было. Я обегала наш дворик, наш садик, вышла на улицу. Чем дальше я искала, тем больше росло беспокойство, поднималось возмущение против Шуры и его матери — забыть о ребенке!

Детей не было нигде, и никто их не видел. Я забежала к ближайшим нашим товарищам, соседям. То была семья с.-д. Малкина. К Малкину в ссылку приехала жена с сыном. Мальчику было около пяти лет, и он часто играл с Мусей. Малкин сидел в саду с одним из своих учеников и вел урок. Он сказал мне, что дома никого нет, что жена ушла на базар. Не зная, куда кинуться, я взволнованная побежала домой, чтобы привлечь к поискам Шуру. На углу я встретилась с женой Малкина. Милая, приветливая женщина, чтобы успокоить меня, обещала помочь мне в поисках, звала к себе, чтобы она могла положить покупки. Отворив двери своего дома, она крикнула:

— Катя! Да вот они!

На полу посреди комнаты лежала моя Муся, а мальчик Малкина и дочка хозяйки укрывали ее одеялом и уговаривали спать. Муся была найдена, и я забыла о своих тревогах, подхватила ее на руки и убежала домой. Со смехом я рассказывала Шуру и Марье Михайловне о ее похождениях. А Шуру мучали поздние угрызения совести. Он взял девочку к себе на колени. Марья Михайловна сокрушенно покачивала головой.

Не знаю, почему сложилось у меня впечатление, что между Шурой и его матерью произошли какие-то трения, что они чем-то недовольны, расстроены.

Я из кожи вон лезла, чтобы сгладить все и сделать, как можно лучше, но жизнь не клеилась. Марье Михайловне не нравилось у нас все. Ее обидело, что Шурин топчан мы вынесли в коридорчик, и он уходил спать туда. Не нравилось, что Шура сам стелит свою постель, что он носит воду и иногда моет пол, что помогает мне выжимать белье, когда я стираю, что он несет ребенка, когда мы идем в гости. Не нравилось, что Муся — некрещеная. Всё не нравилось.

Узнала я об этом через две недели после ее приезда. Случилось это в день Мусино рожденья. Поздравить Мусеньку и нас собралась вся ссылка. Не говоря о наших завсегдатаях-эсерах, пришли с.-д., пришли анархисты, сионисты. В общем, — человек сорок. В саду перед домиком на каких-то скатертях разложили мы угощение. Поставили на скамеечке самовар, взятый у хозяйки, — чашки, стаканы, блюда принесли с собой гости. Мы расселись и разлеглись на земле, кто как и где мог. Сама именинница спала.

Первые стаканы чаю были налиты мною. Потом гости, допив чай, наливали себе сами, и ели кто что хотел. Марья Михайловна пыталась подменить негостеприимную хозяйку, но ее со смехом и шутками отстранили от самовара. Марье Михайловне это не понравилось. Она ушла в дом. Когда гости разошлись, недовольство, накопившееся за две недели, прорвалось наружу.

Завтра же она уезжает, заявила Марья Михайловна. Дня она не проживет в доме со мной. Сперва я ничего не могла понять из упреков, сыпавшихся на меня. Мы оба с Шурой, опешив, молчали. Но когда Марья Михайловна сказала, что не хочет жить под одной крышей с некрещеным ребенком, которого не признает за внука, Шура сказал:

— Что ж, мама, тогда уезжайте, — и вышел из комнаты.

Марья Михайловна повернулась ко мне спиной и заплакала. Я сидела у Мусиной кровати. Мы не обменялись больше ни словом. Потом я вышла к Шуру. Он лежал, уткнувшись головой в подушку.

— Шура, я не понимаю ничего. Почему ты ничего не сказал мне раньше, не предупредил? Ведь можно было...

— Оставь, — перебил меня Шура, — не в этом дело.

Он обнял меня за плечи, и так, обнявшись, мы вышли из дома за город, в степь.

— В первый же день, — стал рассказывать мне Шура, в первые же часы встречи, когда я спросил у мамы, сколько она может прогостить у нас, она ответила, что может и насовсем остаться. Я-то ведь у нее один. Не век же ей жить у своего брата. Дело в том, Катя, что мама не хочет жить моей жизнью. Она видела, что Циля и сын не удержали меня. Потом она решила, что второй брак, вторая семья, второй ребенок... В общем, она надеялась, что ты будешь ее сообщницей, что обе вы удержите меня от пагубной жизни. Когда она приехала и почувствовала, что ошиблась, все и пошло. Я ей в первый же день сказал, что жизнь наша шаткая, но что от этой жизни мы не уйдем — ни ты, ни я. «Что ж, ты и вторую с ребенком бросишь?» — спросила она меня. Я ей ответил, если я ее для революции не

брошу, то она бросит меня. Сказал и спохватился. Так я не должен был говорить. Я думал... я надеялся... она поймет, примирится. Я все равно верю, что в конце концов она поймет.

Когда мы вернулись, Марья Михайловна уже легла в постель.

На следующее утро мы встали так, как будто ничего не случилось. Ни мы, ни Марья Михайловна не возвращались к прежнему разговору. Жизнь пошла по-старому, даже ровней и глаже, чем раньше.

Недели через две Марья Михайловна начала готовиться к отъезду. Она стала говорить, что соскучилась по Москве, родным. Бесперерывно рассказывала она о том, как хорошо живут в Москве, как легко там все купить, все достать, как хорошо люди стали одеваться, какие успехи по службе, какие материальные достижения у Шуриных сверстников.

*

Вскоре после отъезда Марьи Михайловны приехала моя сестра Аня. Конечно, приезд сестры носил совсем другой характер. Ни о каких дальнейших планах жизни мы с Аней не говорили. Кое-что она, конечно, угадывала сама. Она пыталась несколько раз спорить с нами, описывать всякие достижения - советской власти. Не отрицая наличия деспотии, она уверяла, что, если бы мы оказались у власти, то действовали точно так же. Но политических разговоров мы вообще избегали. Они, собственно, ее и не интересовали. Ее просто огорчало, что мы строим так свою жизнь, что не можем жить, как другие люди.

Сестра восторгалась экзотикой, караванами, юртами, узбекской утварью, обычаями. Она уверяла даже, что из окна нашей комнаты, выходящей на голую выжженную степь, видела мираж. Сестра очень подружилась с Валентином Кочаровским. Вместе гуляли они вечерами, мне же было трудно выбраться от маленькой Муси. Но и меня они вытащили в Старый город, в Священную рощу с неприкосновенными священными птицами и другой экзотикой.

Ее присутствие было нам приятно, но ее отъезд не создал пустоты. Нам так хорошо было вдвоем. Муся еще в счет не шла. Она брала много сил, осложняла, но и украшала нашу жизнь.

Жизнь и судьбы ссыльных

В Чимкенте, как я писала, с работой для ссыльных было не трудно. Все, кто хотел, — работали, и заработка на скромную жизнь хватало. Шура работал бухгалтером-контролером и зарабатывал в месяц около 80 рублей. Я немного подрабатывала уроками. Мы питались неплохо, немного приоделись.

Конечно, шестирублевое месячное пособие, выдаваемое неработавшим, было скорее издевкой. Не работали же в нашей ссылке сионисты. Их было человек десять-пятнадцать. Все это были совсем зеленые юноши и девушки. Вырванные из привычной для них жизни маленьких ремесленных местечек, они не умели приспособиться к новой обстановке. Жили они вместе, все вместе мечтали о выезде в Палестину. Бесчисленное количество раз устраивал В. Мерхалев кого-нибудь из них на работу... Больше двух недель они на работе не удерживались. Их поддерживала наша касса взаимопомощи. Но стоило какой-нибудь копейке попасть в их кассу, как она моментально растрчивалась на кино, на конфеты, на чепуху, и они снова сидели голодные. Пьянства тогда среди ссыльных не было. Конечно, ссыльные не были аскетами. Пили вино во время вечеринок, отмечали Новый год, майские праздники. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь из товарищей был пьян.

Порой сионистская молодежь забегала к нам. Изредка кто-либо из нас заходил к ним. Близких отношений у нас с ними не было. Больше других дружил с ними Яша.

В 6 часов утра, когда мы еще только вставали, в комнату нашу ворвался бледный дрожащий Ваня.. — Шура, скорей идите к нам! Сема повесился! — с трудом произнес он, расплакался и выбежал.

Наспех натягивая тужурку, Шура выбежал за ним. Одна, с Мусей на руках, я не находила себе места. Вернулся Шура только вечером. Надо было вызвать врача для констатации смерти. Надо было уведомить ГПУ, сговориться о похоронах, заказать гроб. Надо было успокаивать молодежь, пораженную горем и страхом. Покойник оставил записку. Содержание ее не должно было стать известным никому, кроме тесного круга товарищей.

В сионистской коммуне товарищи установили дежурство. Молодежь ни на минуту нельзя было оставлять одну.

Я не спрашивала, чем было вызвано самоубийство, но я знаю, не попади этот 18-летний юноша в ссылку, он мог бы жить.

Из нас тяжелее всех переживал эту смерть Яша. Сам еврей, он ближе других был связан с сионистами, и не мог себе простить, что не вошел в жизнь молодежи, не сумел уловить

нездоровые настроения, приведшие к трагической развязке. Сам он жил в ссылке очень нервно и очень тяжело.

Что привело Яшу в партию, к революционной борьбе, — я не знаю. Арестован он был на Дальнем Востоке, когда партия существовала там совершенно легально. По типу своему он ничем не напоминал политического деятеля. Больше всего в жизни Яша любил искусство, особенно музыку. Красивый, всегда аккуратно одетый, подтянутый, Яша никого не впускал в свой внутренний мир. Внезапный арест вырвал его из легальной жизни и привел на Соловки. На воле у него осталась жена с грудным ребенком на руках. Материально она не была устроена и с трудом перебивалась. Шила на заказ, билась, как рыба об лед. Обладая прирожденным изяществом и тонким вкусом, Фаня приобрела круг заказчиков. Со временем ей удалось перебраться к родным в Ленинград. Родные ее были люди обеспеченные, жить стало легче, Фаня поступила на курсы кинематографии. Красивую и способную ее ждал успех. Она увлекалась учебой, сценой. И очень любила Яшу.

Яша был скрытным, но все мы чувствовали, что его тревожило окружение Фани. Он предчувствовал, что жизнь разведет их. Он очень любил Фаню, он вообще любил женщин и утверждал, что женщины тоньше, глубже, душевнее мужчин. Женщины отвечали на его отношение сторицей. И молодые, и пожилые, и старые всегда баловали Яшу, чем могли. Окруженный друзьями и женщинами, Яша всегда оставался верен Фане.

В Чимкенте Яша очень подружился с сионистской-социалисткой Мирой, прелестной 20-летней девушкой. Вечно гуляли они вместе, слушали соловьев, рвали цветы, и Мира слушала Яшины рассказы о Фане.

Наконец, Фаня с сыном вырвалась на месяц к мужу. Как яркий, красочный луч ворвалась она в нашу ссылную жизнь. Красивая, оживленная, нарядная, ласковая, добрая, она казалась чудесным, отзывчивым товарищем. Яша расцвел, помолодел, поздоровел. Его сынишка Лева, пятилетний малыш, был не ребенком, а картинкой. И картинкой незаурядной: умный, хорошо воспитанный, прекрасно рисовал... Его рисунки ошеломили Яшу и нас. Мальчик поступал осенью в художественное училище.

С Фаней илевой у всей ссылки установились хорошие отношения. Фаня привезла грудку своих снимков из разных фильмов. Оживленно рассказывала она о своих занятиях, об успехах. Она мрачнела, когда заговаривали о планах на будущее. И еще больше мрачнел Яша. Они очень любили друг друга, они составляли такую прекрасную пару, что радостно было смотреть на них, но Фаня увлекалась миром искусства, в котором жила, а Яша?..

Фаня приехала с целью вырвать Яшу из ссылки, из жизни, которой он жил. Она говорила о том, как трудно получить хорошую роль в фильме, как трудно одинокой женщине пробить себе дорогу. Насколько легче было бы ей жить, если рядом стоял бы ее муж. Тогда положение ее было бы ясно. Фаня говорила, что с теми связями, которые есть у ее родных, можно добиться разрешения жить Яше в Ленинграде. Он должен только отказаться от партии, уйти от партийных дел. Она придумала ему работу, дающую совершенно независимое положение и материальную обеспеченность.

Она привезла с собой краски для раскрашивания материи. Раскрашенные платки, платья, занавеси были очень модны; за них дамы платили большие деньги. Яша быстро освоил это мастерство. Вместе выдумывали они разные узоры, составляли трафареты. Яша стал получать заказы и хорошо зарабатывать и в Чимкенте. Но перебраться в Ленинград он категорически отказался. Ни сам не станет он за себя хлопотать, ни других на это не уполномочивает.

Яша не знал за собой вины. Он не мог отказаться от своих взглядов на жизнь, не мог уйти от товарищей, свернуть с дороги, на которую вступил, перестать верить в свои идеалы.

Фаня мучалась, металась от одного плана к другому. То решала все бросить, остаться в Чимкенте с Яшей, то начинала складывать вещи.

Вместо месяца она прожила у Яши два. Она пропустила все учебные сроки — и все же уехала в Ленинград.

Через два месяца после отъезда Фани Мира получила разрешение выехать в Палестину. Если бы Яша захотел, Мира осталась бы с ним. Яша не захотел. Он понимал, что все отношения с Фаней должны оборваться, но оставался верен и Фане, и Леве. Иначе переживал свою душевную драму Богатое. «Душечка» — окрестили мы его в ссылке. Маленького роста, коренастый, плотный, пожалуй, даже толстый, он был очень добр и жизнерадостен. Он любил жизнь, общество, любил вкусно покушать, поспать. Он много зарабатывал, получив хорошо оплачиваемую должность экономиста-плановика.

Завел себе красиво, со вкусом обставленную квартирку, был хлебосолом. Его тяготила холостяцкая жизнь, хотелось семьи и уюта. В письмах к жене он настаивал, чтобы она ликвидировала московскую квартиру, бросила работу и вместе с сыном переехала к нему. Жена колебалась. Она хотела приехать только в отпуск. Она писала, что не хочет срывать учебу сына. Мальчик учился в четвертом классе прекрасной московской школы. Боялась она потерять хорошую работу. Если бы была гарантия прочной семейной жизни в Чимкенте на годы... Но разве можно быть уверенным? Сегодня Чимкент, а завтра? «Душечка» не распутывал узел, а разрубал.

— Если у меня есть сын и жена, то короткие клочки жизни, которые перепадают на мою долю, они должны быть со мною. Я хочу вырастить из мальчика моего сына. Голос крови... все это чепуха. Сейчас я могу, мне дано оказать влияние на него, и это важнее, чем школы и классы. Никаких гарантий я дать не могу. Все не от меня зависит. Я не могу ехать к ним. Они не хотят ехать ко мне, когда и пока это возможно. Значит, у меня нет сына. Вырастет чужой юноша.

«Душечка» прекратил переписку с семьей.

Валентин Кочаровский, самый юный из нашей ссылки, 21 год, не был эсером, не успел примкнуть к партии, а может быть, и не примкнул бы к ней. Он мало принимал участия в политических разговорах и спорах. Очень привязан он был только к Мерхалеву. В ссылке у него сложился свой круг знакомых среди чимкентской молодежи. Особенно дружил он с двумя девушками-комсомолками.

Мы всегда чувствовали, что местное население сторонится нас. От этих девушек Валентин узнал, что общение с нами противопоказано. Их прямо предупредили, что общение с ссыльными несовместимо с пребыванием в комсомоле. Но девушки не прекратили посещения ссыльных и дружбу с Валентином. Их исключили из комсомола. Мало того, их выслали в ссылку из Чимкента. Мы были — изгой.

Из местных жителей с нами тесно общался всего один человек. Это был глубокий старик, еще при царе сосланный в Чимкент. Здесь он и осел. Стал местным краеведом. Он поддерживал связь с туземным населением по кишлакам, — часто у него гостили жители далеких селений. Им были созданы богатейшие коллекции насекомых и растений края.

Он дружил с Мерхалевым, но на Самсоньевскую заходил редко. К себе зазывал всех очень гостеприимно. Он рассказывал очень интересно о жизни местного населения, о нравах, обычаях, прекрасно владел языком. Он не страшился ГПУ, но наши товарищи, оберегая его, заходили к нему редко.

Местное население

В общем, ссыльные варились в собственном соку. С туземным населением нас разделял язык, да и не очень оно благоволило к русским.

Из женщин я не встретила ни одной, говорившей по-русски, ни одной, снявшей паранджу. Дочка нашего хозяина, тринадцатилетняя Хайри, знала русский лучше других. Паранджу она надела как раз во время нашего знакомства, — скрывала лицо от наших мужчин — и гордилась ею.

Нас очень интересовали нравы и обычаи населения, но увидеть их ближе как-то не удавалось. Жизнь туземцев протекала за высокими дувалами во дворах. Мужчинам нашим вход в них вовсе был запрещен. Нас, женщин, впускали охотно, но мы не понимали друг друга и только обменивались улыбками. Во всех учреждениях и предприятиях края, где работали исключительно русские, было введено обязательное изучение казахского языка. Но преподавание велось формально, и мало кто осваивал язык.

Возглавлял предприятие казах, обычно малограмотный человек. Вел же все дела его заместитель — русский. Казахи уверяли, что после года конторской работы человек заболевает туберкулезом и должен ехать в степь к своим табунам.

Узбеки были более приспособлены к городской жизни. Они занимались торговлей и легче приобщались к культуре. Из их семей многие юноши шли в школы и даже в университеты. Сын нашего хозяина учился в Ташкенте. Какая тогда была путаница и сумятица в головах, можно понять из его свадьбы.

С детства, со дня рождения произошел сговор между родителями жениха и невесты. Родителям невесты выплачивался калым. Этим летом пришлось женить парня и взять невесту в семью. Сын, комсомолец, приехал домой на летние каникулы. Надо было справлять свадьбу. Комсомол требовал гражданской регистрации брака, родители настаивали на соблюдении старинных обрядов. Решено было удовлетворить всех.

Сперва молодые отправились с толпой друзей жениха в загс. Там молодая сняла паранджу, и жених впервые увидел свою невесту. Из загса невеста под паранджой вернулась к себе домой. Наутро сына выселили из отцовского дома к соседям. К дому приближалась свадебная процессия. Впереди шли музыканты с длинными-предлинными трубами. За ними ехал воз, нагруженный доверху приданым невесты, а на нем сидела и сама невеста, укрытая паранджой. За возом шли ближайшие родственники, за ними — толпа гостей и ребяташек. У входа в дом невесту встретили родители жениха, сняли ее с воза и завели в дом. В совершенно пустой комнате один угол был отделен занавесью. За нее завели невесту и оставили одну. Там, в полном одиночестве, она должна была провести три дня и три ночи. Еду в пиалах ей по полу задвигали за занавеску. Три дня во дворе шло веселье. Музыканты играли, гости рассматривали приданое жениха и невесты, развешенное, разложенное во дворе для осмотра. Тайно, незримо для окружающих все три ночи в полном мраке должен был пробираться жених к своей невесте. На четвертые сутки брак входил в законную силу. Родители жениха выводили молодую из-за занавеса, и начиналась повседневная жизнь.

И еще судьбы товарищей

Кажется, в 1927 году к нам в ссылку привезли трех больных товарищей, досрочно по болезни вывезенных из верхне-уральской тюрьмы. У всех трех развился острый туберкулезный процесс. Одной из них была та самая Таня Гарасева, которую я встретила в челябинской пересылке.

Положение больных было очень серьезным. Жара — летом, сырая дождливая погода — зимой вовсе не благоприятствовали их здоровью. У Тани неделями шла горлом кровь. Она могла глотать только куски льда и мороженое. Две других с.-д., Лидия и Катя, температурили беспрерывно. Наличие больных угнетало ссыльных. По очереди обслуживали их товарищи.

Позднее, все трое, как безнадежно больные, они были освобождены от ссылки и вернулись домой умирать. Так думали все. Через много лет жизнь снова свела меня с ними. В условиях воли все они выздоровели.

Несколько встряхнула, оживила нашу жизнь амнистия по случаю десятилетия Октябрьской революции. Мы не рассчитывали на амнистию. Все мы шли в тюрьмы и ссылки не по суду, не за какие-то преступные деяния. Постановлением ОСО, по ст. 58¹⁰-58", даже просто за верность своим идеалам. В тюрьмах и ссылках мы оставались теми же, что были: не отрекались от своих убеждений, не давали обетов молчания. Как же могли мы рассчитывать на амнистию, видя, что политический зажим не ослабевает, а усиливается?

И все же вслед за опубликованием амнистии мы стали получать от товарищей письма с извещением, что кое-кого из товарищей по разным ссылкам амнистируют. Вызвали в ГПУ и нас — несколько человек дальневосточников и меня. Нам объявили, что по амнистии нам сбрасывается четверть срока. Из нашей группы у Надежды Соломоновны Дерковской три четверти срока уже истекли, она получила чистый паспорт и могла ехать, куда угодно. У большинства настроение поднялось. Пошли разные толки. Только Шура ходил мрачный. Он доказывал:

— Очень грустно, что большевики укрепились настолько, что мы им больше не страшны, не опасны.

Шура мог успокоиться. Мы еще были опасны. Не успела дойти весть об амнистии до ссыльных мест, как вдогонку ей неслась новая директива: «Амнистия для политических отменяется». Только те товарищи, которым уже была объявлена амнистия, получили чистый паспорт, воспользовались им и уехали на волю.

К Пешковой полетели наши запросы. Что она могла ответить? Пешкова не могла добиться ответа даже о тех, чьи фамилии уже были включены в список. Объявленная мне амнистия осталась в силе, но чистого паспорта мне не дали. Я могла ехать куда-нибудь в «минус десять».

Нам с Шурой амнистия принесла много волнений. Шура должен был оставаться в ссылке. Остаться мне добровольно ждать его? Все говорило против этого. Сниматься с места и ехать потом всем троим одновременно — трудно материально, тем более, что, если я не поеду сразу же по освобождению, я потеряю право на бесплатный литер. Приехав на новое место, мы оба окажемся без работы. Если я одна с девочкой поеду на новое место, Шура будет пока работать и помогать мне. Через девять месяцев, когда кончится его срок, он приедет в уже обжитое место. А ехать одной с двухлетней Мусей — тяжело и в пути, и на новом месте. Да и расставаться не хотелось.

Принять решение помогло нам ГПУ. В одной из регистраций всем эсерам было объявлено, что ссылка в Чимкенте ликвидируется и всех их перебросят в другое место. За сутки должны были они собраться на этап, сдать служебные дела и явиться в указанный час в ГПУ. Шуре одновременно было указано, что, если я не выеду немедленно из Чимкента, в литере мне будет отказано.

Куда везут товарищей, им не сказали. Ехать с ними этапом я не могла. Какие условия будут в новой ссылке — неизвестно. В нашем распоряжении были одни сутки. Собраться с вещами ссылкеному недолго. Сложней было решить, куда ехать мне с Мусей. Два момента определяли наш выбор, ограниченный десятью пунктами: близость к месту жительства отца, которого мне страстно хотелось видеть, и выбор такого места, городка, в котором не было бы ссылных товарищей, отбывающих «минус». Мы хотели быть свободными от круговой поруки, чтобы отвечать только за себя в случае ухода из «минуса». Ведь к «минусу» мы тоже прикреплялись сроком на три года.

Склонившись над картой, перебирали мы города близ Москвы. При обширной переписке, которую вели ссылные, мы знали о местах пребывания очень многих товарищей. Город за городом отпадали. Казань — большая ссылка. Курск — тоже. Тверь — тоже. Тула... — тоже. Так наткнулись мы на Рязань. От Москвы недалеко, никого из ссылных как будто нет. Расспросили друзей. Никто о «минусах» — ссылных в Рязани не знал. Неожиданно выяснилось, что Таня Гарасева из Рязани. Мы пошли к ней. Таня обрадовалась нашему выбору. В Рязани жили ее родители, старшая сестра с дочуркой. — Поезжайте, Катя, — твердила Таня. — Старички у меня чудесные. Они вам помогут, а вы им обо мне расскажете.

Тут же Таня написала письмо родителям и вручила мне. Утром я проводила Шуру на этап, вечером оставшиеся в Чимкенте товарищи посадили меня с Мусей в вагон прямого пассажирского поезда Алма-Ата — Москва.

8. ПО «МИНУСУ» В РЯЗАНИ

Первый раз после долгих лет ехала я без сопровождающих. Я всегда очень любила поездки, но сейчас... увы, я не была вольной птицей, как раньше. Со мной была дочка, за которую я боялась, которая осложняла каждую мелочь в пути. За последние годы я привыкла к товарищеской среде, отвыкла от посторонних, остерегавшихся общения с нами, клейменными. Мир как бы делился на «своих» и «чужих».

Особенно остро почувствовала я этот отрыв, отъезжая от Кзыл-Орды. В Кзыл-Орде наш поезд стоял полчаса. О проезде я дала телеграмму Пете Лобицыну, нашему товарищу и Шуриному другу, отбывавшему здесь ссылку. Петя недавно женился на сестре Игоря Коротнева, нашего товарища, которого я знала по Соловкам.

Ни с Петей, ни с Надей знакома я не была и, подъезжая к станции, все думала, как мы узнаем друг друга. Сомнения мои были напрасны. Увидя на перроне молодую пару, встречавшую поезд, я сразу узнала их. И они узнали меня по карточке, которую им выслал Шура.

Был жаркий казахстанский день. Надя была в легком белом платье, Петя — в белом костюме. Такие молодые, радостные, веселые! В руках у них были свертки, пакеты... Они прямо засыпали меня ими. Надя спешно говорила:

— Петя хотел цветы... Но в вагоне они так быстро завянут... Здесь курица свежая, только что жаренная, ешьте сразу, и Мусе можно. Нам очень хотелось купить Мусе игрушку, да понимаем, у вас и так вещей много. Тут только одна кукла. Пусть в вагоне поиграет и бросит...

Надя была полна хозяйственными мелочами и заботами. Петя хотел спросить меня о Шуре. В окно разговаривать было неудобно, он просил меня выйти на перрон. Пробриться через вагон с Мусей на руках было трудно. Я колебалась. В разговор вмешались соседи. За день пути Муся познакомилась почти со всеми. Кто-то взял ее у меня с рук. Мы ходили с Надей и Петей по перрону и говорили без конца. Я должна была рассказать о Шуре, о Яше, о всех чимкентских друзьях. Петя рассказывал о кзыл-ординской ссылке, о своей работе.

Петя работал в финансовом отделе Кзыл-Орды, столицы Казахстана. Работа его увлекала. Я в финансах ничего не понимала, но Петя с увлечением рассказывал, что пишет какую-то капитальную работу, что у него уже подобран богатейший материал. «Финансы при социализме» или «Организация народного хозяйства» что ли...

Разногласия между социалистами и большевиками не мешали нам верить в гибель капиталистического строя. Новые социалистические формы хозяйственного устройства интересовали всех. И многие товарищи теоретически разрабатывали эти вопросы.

О чем можно успеть поговорить на перроне вокзала? Звонок к отходу прервал нас. Мы горячо поцеловались, обнялись в последний раз, и я поднялась в вагон. Пока поезд шел тихо, они шли рядом с вагоном, потом замахали платками... Я смотрела на удаляющиеся фигурки.

— Родные ваши, какие веселые и красивые, — сказал кто-то из пассажиров.

— Да, — ответила я. Могла ли я сказать, что это друзья, которых я вижу впервые в жизни. Да, Петя был очень красивым. Он удивительно походил на Чехова какой-то внутренней одухотворенной красотой. В 1938 году он умер в уфимской тюрьме — так сообщалось в справке о его посмертной реабилитации. Дата его смерти соответствует дню суда. Выл ли он расстрелян, покончил ли с собой в знак протеста... Об этом знают только судьи и тюремщики.

С Надей связан большой период моей колымской жизни.

Мы с Мусей ехали в Рязань. Из учебников географии я, конечно, знала кое-что о Рязани. Но сведения мои были убоги. Я дала телеграмму Ане в Малаховку, не сможет ли она встретить меня в Рязани? Я обдумывала, как буду устраиваться в Рязани. «Вещи сдам на хранение, отправлюсь с Мусей к Таниным родным. Пойду искать жилье».

Но подъезжая к Рязанскому вокзалу, я увидела на перроне сестру, рядом с ней стояла Лидочка, ее дочка. Не успели мы с Аней обняться, как она сказала:

— Едем! Я сняла комнату. Правда, на самой окраине города, очень маленькую, очень плохую. Если тебе не понравится, можно потом сменить.

Вместо забот — готовое пристанище! Все тревоги свалились с моих плеч.

Комната, и правда, была крошечная, как конурка, отделенная перегородкой. Небольшое окошечко, ее выходило на застекленный коридор. В комнате стояла кровать, крохотный столик, табуретка. Когда мы четверо вошли, повернуться уже было нельзя. Девочек мы усадили на кровать, чемоданы затолкали под кровать, и тогда только смогли закрыть дверь.

Старушка-хозяйка, милая простая женщина, встретила нас приветливо. Предложила чаю, пригласила к себе в комнату. Сказала, что я могу пользоваться кухней, что Муся никого не стеснит, если будет бегать по всему дому. Живет она одна с внучатами. Старшая — на работе, младшая — в школе. Хозяйка, конечно, не знала, кто я. А я сперва ничего не говорила о себе. Очень поразил ее мой паспорт, когда я дала его ей для прописки. Мне она ничего не сказала, но через стену я слышала, как она недоуменно говорила соседке: «Сама русская, а ни в одном русском городе жить нельзя»... В моем паспорте перечислялось десять городов, в которых жительство ссыльным запрещалось.

Пыталась хозяйка выпытать сведения у Муси, Муся говорила уже чисто, хорошо. На вопрос хозяйки об отце и матери она ответила:

— Мама Олицкая, папа Федодеев, а я Мусенька Федодеева, цесерочка.

Для хозяйки «цесерочка» или «эсерочка» были равно непонятные слова. Откуда Муся взяла это слово? Наверное, не раз слышала от взрослых и усвоила.

На другой день мы с сестрой и с детьми пошли на базар и по магазинам. Рязань после Чимкента казалась мне большущим городом. Огромные магазины, массы толпящегося народа. Где и как... но мы потеряли Лидочку. Аня пришла в отчаяние. Я тоже растерялась. Город был чужой. Долго бегали мы, смятенные, в страхе по базарной площади и, наконец, наткнулись на ревущую Лиду. С ней рядом стоял милиционер. Она все рассказала ему. И что мама приехала с ней встретить тетю, и что тетя приехала вчера и никого здесь не знает, и что они живут сейчас у чужой бабушки. Громче всех свою радость выражал милиционер, ничего не понявший из Ли-диных рассказов. Аня и Лида плакали. Муся вторила им. Я пыталась всех утешить.

Занятые собой, мы ничего не замечали вокруг, пока меня не окликнули:

— Катя!

Кто мог знать меня в Рязани? О, Боже! Передо мной стоял с.-д. с Соловков Исаак Абрамович Розен, близкий друг Симы Юдичевой, часто бывавший в нашей камере.

Я была так уверена, что никого не встречу в Рязани! И вот тебе, пожалуйста, в первый же день... А Розен уже знакомился с сестрой и рассказывал, что здесь в «минусе» живут еще два с.-д. и двое эсеров, жена цекиста Каценеленбоген с двумя детьми и Строганов.

В наших с Шурой планах мы просчитались, но встрече я была рада. Розен был очень милый, умный, начитанный и мягкий человек. Провожая нас домой, он рассказал мне, что поселился в Рязани, потому что в Москве живет и работает его жена. Довольно часто она приезжает к нему. В Рязани очень трудно с работой. «Минусникам» работы вообще не дают. Биржа труда на учет берет, но на работу не посылает. Розен сам жил на переводы с иностранных языков, которые эпизодически удавалось в Москве получить его жене.

Исаак Абрамович обещал зайти вечером, а мы с сестрой отправились к Гарасевым. Сестра завтра должна была уехать, ей хотелось познакомиться с людьми, которые, может быть, смогут помочь мне устроиться в Рязани.

Мы долго блуждали, разыскивая Нагорную улицу. Но зато, когда мы нашли ее и нужный нам домик, познакомились с Таниными родителями, мы были вознаграждены сторицей. Бывают же чудесные люди на свете!

Танин отец, старик-учитель, кроме педагогики, увлекался своим садиком около дома. Он превратил его в чудесный уголок земли. После природы Казахстана я с наслаждением вдыхала аромат нашей природы.

Танина мать, ласковая, милая старушечка, всплакнула над Таниным письмом, а затем всю материнскую нежность вылила на нас с Аней, на наших девочек. Она усадила нас за стол с большим никелированным самоваром и потчевала нас чаем с печеньем, вареньем, всем, что было у них в доме. Первый раз в жизни увидела я у них маленький примитивный радиоприемник. Старушка рассказывала, как пусто стало в их домике, когда арестовали сразу и сына и двух дочек. Никаких политических взглядов у нее не было. Она говорила об огромном несчастье, которое свалилось на ее голову, на ее детей. Она хвалила своих дочурок, сына, она не допускала мысли о совершении ими какого-либо преступления, чего-либо порочащего их.

Мы сидели в столовой за большим обеденным столом, покрытым скатертью. Самовар, чашки с блюдами, чайные ложечки, вазочки для варенья, салфеточки... Такая обычная, такая привычная раньше обстановка, после всех скитаний, казалась мне невозможной, невероятной.

Когда мы собрались уходить, старушка засуетилась. Что предложить? Чем помочь? Ее очень расстроило, что я отказалась взять кровать, матрас, стол, стулья. Но детскую кровать она все же прислала мне в дом с возчиком. Нас она нагрузила таким количеством яблок, что мы едва донесли их. О работе ничего утешительного сказать мне не могли. С работой — трудно, безработных — много. Из-за ареста детей отец был не в почете. Репутация старого педагога была подорвана. Я редко бывала у Гарасевых. Мы условились, что они вовсе не будут приходить ко мне. Близкие отношения со мной могли только усугубить их трудное положение. Так хотела, так просила я. Они же при встрече на улице и, если я заходила, принимали меня, как родную. Милые, чуткие люди!

Работа сестрой-няней

Началась рязанская жизнь. Я прописалась, получила хлебные карточки, прикрепившись к магазину. Стала на учет на бирже труда. Шуре через Чимкент послала свой адрес. Он жил теперь в Мерке, в местечке недалеко от Чимкента. Он уже работал. Выслал деньги. Ежедневно получала я письма.

И. А. Розен познакомил меня с Леонией Максимиллиановной Каценеленбоген. Ее муж, наш цекист, был осужден по процессу 1922 года. Он был приговорен к смертной казни, замененной затем десятью годами тюремного заключения. Л. М. с двумя детьми моталась по ссылкам. Была она лет на 5 старше меня. Революция прервала ее образование. Она ушла с 5-го курса медицинского факультета. Медик по призванию, она сумела в Рязани найти свою работу. Она была старшей медсестрой в доме для грудных детей-подкидышей. Служащие и рабочие воспитательного дома имели казенные квартиры. Занимал воспитательный дом почти целый квартал, имел свою пекарню, свои кухни, лабораторию, прачечную. Леония Максимиллиановна рассказывала, как прекрасно он оборудован. Во главе его стояла женщина-врач — опытный, преданный делу человек. Побывав за границей для ознакомления с постановкой работы там, она применяла теперь все последние достижения. Л. М. радовалась, как многому она может научиться, как широко ставится полезная, нужная работа. Огорчало Л. М., что она не может всю себя отдать делу из-за детей. Муж ее сидел в тюрьме, детей она боготворила. Старший сынишка уже пошел в школу, младшего она поместила в детсадик. Чтобы иметь возможность больше работать, она взяла домработницу. Согласно положению о домработницах, Л. М. предоставила ей квартиру, выплачивала тарифную ставку за 8-часовой рабочий день, раз в неделю работница имела выходной день. В 7 часов утра домработница приступала к работе, в полвосьмого Л. М. уходила на работу. Мальчиков домработница уводила в школу и в садик, убирала комнату, варила обед на четверых. В час возвращался старший мальчик из школы, в 4, зайдя за младшим в садик, Л. М. приходила домой. Они обедали и, вымыв посуду, домработница уходила к себе. Остаток дня, вечер, посвящался детям. Весь выходной день был занят детьми и хозяйством.

Часто и подолгу обсуждали мы с Леонией Максимиллиановной женский вопрос, вопрос раскрепощения женщины от семьи. Пока он решен не был. Общество еще не могло подменить семью. Огорчал Л. М. и другой вопрос, не личный. Низший персонал дома еще не был на высоте. Няни, уборщицы, сестры не помогали и не могли помочь медицинскому персоналу в его экспериментальной научной работе. Л. М. осенила мысль:

— Катя, а почему бы вам не пойти работать сестрой-няней! Идите в мое отделение, как мы сработаемся!

Сперва эта идея просто удивила меня. Но Л. М. так горячо стала убеждать, что им нужны культурные, добросовестные люди, точно выполняющие назначения врача, что я согласилась. Уладить прием на работу меня, опороченного человека, по настоянию Л. М. заведующая-врач согласилась. С требованием от учреждения с биржи труда я получила направление на работу. Работать я должна была посуточно. Квартирная хозяйка согласилась за дополнительную плату присматривать за дочкой.

Робко вошла я вслед за Л. М. и старшим врачом в палаты трудников-искусственников. Шел утренний обход. Сверкающая чистота. Высокими стеклянными перегородками и ширмами разделена палата на клетки. В каждой клетке детская кроватка и тумбочка. На тумбочке стопка чистых пеленок. Все блестит чистотой. Но в кроватях лежат не дети, а скелетики маленьких старичков, обтянутые кожей. Каждого ребенка осматривали, взвешивали, записывали суточные назначения. Заметив мое подавленное настроение, Л. М. шепнула:

— На втором этаже размещены трехлетки. Цветущие ребята! Все они вышли отсюда, из этих клеток... Трех дней достаточно было для меня в «питомнике», чтобы увидеть то, чего не видела Л. М. Врачи осматривали детей, делали назначения, в молочной кухне приготавливались всякие смеси, а сестры-няни перепутывали все. Они совали ребенку любую бутылочку с соской и если он достаточно быстро ее не выпивал, пересовывали ее в ротик другому. Иную порцию высасывала сама няня.

Врачи делали выводы о том, как реагирует ребенок на питание, вычерчивали диаграммы веса и температуры, меняли состав питания... а ребенок либо вовсе не ел, либо поглощал смеси всех сортов. А разве состав смеси был истинным? С молочной кухни, с общей кухни продукты уходили на сторону. Приняв меня в свою среду, сестры-няни учили меня, как нужно выносить продукты, чтобы не попасться.

— Нечего этих сифилитиков жалеть, — уверяли они. — Матери у них — проститутки, отцы — пропойцы... О них заботятся, а наши детишки с голоду пухнут!

Что я могла ответить? Они воровали, чтобы накормить своих детей. В семье моей квартирной хозяйки дети ели картошку с солью, и той были рады, если ее было вволю.

Целый вечер проговорили мы с Л. М. Огорчение ее доходило до отчаяния. Какое счастье, что вы пришли к нам! Теперь мы наладим работу! Я с сомнением покачивала головой. Через два дня меня вызвала в кабинет старший врач. Глядя в сторону, она сказала:

— Я вынуждена снять вас с работы. На этом настаивает профсоюз. Вы ведь не член профсоюза?

Я не огорчилась. Я облегченно вздохнула. Л. М. приняла мое увольнение трагически.

Дело оказалось простым. Заведующей «питомника» было указано на недопустимость принятия на работу лиц с поражением в правах. Ей прямо сказали: «Достаточно, что у вас работает Каценеленбоген».

Л. М. Каценеленбоген

Настроение у Леонии Максимиллиановны было очень тяжелое. Как-то вечером она сказала мне:

— Мне хочется рассказать один случай из своей жизни. Его я себе никогда не прощу. Передам ее рассказ, как сумею.

— В 22-ом году шел суд над эсерами. Все остро переживали его. Смертный приговор мужу был заменен десятью годами тюрьмы. У меня на руках было двое детей. Вы знаете, как детей Виктора Чернова забрали в ГПУ? Меня тоже хотели арестовать, отобрать детей. Я долго с ними пряталась, скрывалась. Потом меня вместе с детьми выслали. После попытки забрать их у меня, я стала, как ненормальная. Я не отходила от них ни на шаг. Мы могли сидеть голодные и холодные, но оставить их я не решалась. Товарищи в ссылке помогали мне жить. От мужа вестей давно не было. И вот однажды меня вызвали в местное ГПУ. Я была готова ко всему. Арест, так арест... Но вместе с детьми. Я оделась сама, одела мальчиков и мы пошли. Мне предложили войти в кабинет начальника, я вошла вместе с детьми. Начальник встретил меня очень любезно, даже предупредительно. Это еще больше насторожило меня.

— В нашей тюрьме, — сказал начальник, — содержится один заключенный, который тяжело болен. Он просит свидания с вами. Я решил пойти ему навстречу. Вы можете посетить его в камере.

Это прозвучало для меня невероятно. Когда и где допускали посетителей в камеры?! Я не поверила. Я сразу решила, что это ловушка. Крепко держа детей за руки, я сказала:

— Хорошо, я пойду в камеру, но вместе с детьми. Начальник стал убеждать меня в том, что это невозможно.

— Кто же болен? — спросила я. — Он назвал Агапова.

Агапов отбывал срок вместе с моим мужем в Бутырской тюрьме. Начальник показал мне заявление: «Прошу разрешить мне свидание с Л. М. Каценеленбоген. Агапов».

Почерка Агапова я не знала. Записку сочла подделкой. Я не верила честному слову начальника, что свободно выйду из тюрьмы, что дети подождут меня в его кабинете. Я отказалась оставить детей. Меня отпустили домой.

Оказалось, что начальник говорил мне правду. Эсеры после суда, после замены смертной казни десятью годами заключения попали в ужасные условия строжайшей изоляции. И все же в тюрьме они связались друг с другом, повели борьбу за режим. Они объявили голодовку и условились голодать до конца, до удовлетворения всех своих требований. Они предвидели возможность развоза и голодать решили до соединения всех. Их-таки развезли в разные места. Агапов попал в нашу городскую тюрьму. От мужа он знал, что я отбываю здесь ссылку. Агапов был тяжело болен. Ему грозила смерть, он понимал это, но голодовки не снимал. Когда начальник получил указание, что требования голодающих удовлетворены и Агапова надлежит вернуть обратно в Москву, везти голодающего он не решался:

— Бессмысленно умирать, когда голодовка выиграна, — говорил он Агапову.

Как гарантии, Агапов требовал свидания со мной. Ему сказали, что я отказалась от свидания. Агапов не поверил ни в мой отказ, ни словам начальника о снятии голодовки. Голодающим его повезли в Москву. Его довезли, он выжил. В этом мое спасение. И все из-за детей, из-за страха...

Л. М. разлюбила свою работу. Она увидела то, чего не замечала раньше. Нашим процессникам сократили срок с десяти до пяти лет. Каценеленбоген, как и другие, пошел в ссылку. Л. М. с детьми уехала к мужу. Я очень горевала, расставаясь с ней.

Невозможно смириться с такой жизнью

Были у меня и еще попытки устроиться на работу. Более трех-четырёх дней меня на работе не держали. Шура писал: «Близится конец моей ссылки. Расти Мусю. Не унывай. Приеду, разберемся во всем вместе».

После тюрьмы и ссылки в дальние края я попала в центр России. Пять лет — не такой большой срок. Пять лет — не разрывают связи с прошлым. Я стала досягаема для близких. Только папа не мог приехать ко мне. Дорога ему была не по силам. Аня приезжала. Она свезла к себе на три дня Мусю, познакомить с дедом.

Я просила разрешения съездить на пару дней к отцу, который жил теперь у Ани в Малаховке. Мне отказали.

Собрались ко мне в гости сперва тетя, потом Рая. Обе встречи были очень нежными, очень трогательными, проникнутыми воспоминаниями детства и юности. Они навезли мне подарков, приветов от друзей. Но все же пять лет, проведенные в разных условиях, наложили отпечаток на нас самих.

— Мы поэтизировали жизнь, Катюша, — говорила мне Рая. — Основное и главное в человеке — это его желудок. Все идеалы, все стремления возникают, когда человек сыт. Грубо говоря, брюхо диктует. Ты паришь в облаках! Надо смотреть на жизнь реально. У тебя есть все для счастливой жизни: муж, прелестная дочка, а ты коверкаешь жизнь и свою, и ее. Откуда ты знаешь, что большевики не правы? Жизнь налаживается...

— Чья жизнь налаживается?

Я не видела налаженности жизни. Я видела полуголодную жизнь моих хозяев, сестер воспитательного дома, нужду рабочего люда. Я видела запуганность, придавленность, молчаливое, робкое подчинение властям.

И тетя говорила мне:

— Жизнь налаживается; интеллигенция вся примирилась с большевиками. И большевики оценили ее, создают условия для работы. Ты знаешь, Пьерик получил уже звание профессора, ему создали прекрасные условия для научной работы. Если бы ты захотела...

Я не хотела. Мир моей юности стал для меня далек. Там остались два человека, верные идеалам моих юношеских лет — папа и Дима. Как я мечтала о встрече с ними!

Меня окружала чужая, незнакомая мне жизнь. Дорог-путей к людям у меня не было. Я нигде не работала, ни с кем не встречалась. Где могла я завязать знакомство? Да и знакомство со мной было людям противопоказано. Я сталкивалась с людьми в магазинах, на бирже труда, на базарах, в очередях. Там било в глаза недовольство, нужда, лишения.

Биржа труда была переполнена безработными. В магазинах ограниченное питание выдавалось по карточкам. Сперва магазины поразили меня чудесными витринами со всевозможными товарами. На мой вопрос продавец ответил просто: «Это — бутафория».

Чему научились люди — это говорить, произносить речи казенным, суконным языком.

На базарах крестьяне продавали продукты по бешеным ценам. Они были доступны лишь ответственным работникам и спекулянтам.

В те годы для партработников существовал партмаксимум. Коммунист, на какой бы ответственной работе он ни находился, не мог получать более 360 рублей. Рядовой рабочий зарабатывал от 50 до 100 рублей. Фунт мяса на базаре стоил 50 рублей.

Семья моих квартирохозяев жила очень трудно. Ко мне они привыкли и относились хорошо. Хозяйка была милой и заботливой старушкой. Овдовела она давно. Муж ее был железнодорожником, обходчиком путей. От старых времен у нее оставался домик из трех комнат и кухонька. Жила она со своей младшей дочерью, которая работала на фабрике, изготавливающей фотобумагу, и воспитывала трех осиротевших внуков, учившихся в школе. Кланы уходила на работу в 6 утра и возвращалась в 6 вечера. Обычно, ее задерживали собрания и «ударники». В дни полочки Кланы приносила с собой лакомства — кусок колбасы, селедку, семечек. В обычные дни ели картошку с солью. Школьники, особенно мальчишки, жили какой-то пустой жизнью. Учились плохо, целыми днями гоняли голубей или слонялись без дела. Книг у них в доме я не видела. Старушка была религиозной, но образа и иконы висели в задней комнате, за занавесью. В субботние дни и по большим праздникам к вечеру завешивались все окна, отодвигался занавес и зажигалась лампадка. Обычно незапертая дверь закрывалась тогда на замок. Этого требовала Кланы. Она была комсомолкой.

— Если зайдет кто из товарищей, увидит иконы, расскажет на работе, тогда — увольнение.

В комсомол Кланы вступила, чтобы устроиться на работу.

Меня поражала замкнутость людей. В гости друг к другу почти не ходили. Может быть, объяснялось это тем, что угостить было нечем. Но даже молодежь не общалась между собой. Вечерами город был пуст. Не было видно веселой, гуляющей толпы. Я вспоминала свою юность — Курск... школьные годы... Куда делись оживленные, веселые группы молодежи?..

Хозяйка рассказывала мне об ужасах, пережитых Рязанью, — доносах, расстрелах, подвалах ЧК. «За слово, ведь, за слово сажают». Как-то хозяева показали мне коменданта ГПУ. «Он собственноручно расстреливает в подвалах и от каждого убитого берет себе на память зуб». Может, то были вымыслы, но откуда-то шли эти слухи об ужасах застенков.

Мне пришлось слышать много страшных рассказов о расправах с валютчиками. Приходилось слышать рассказы и о частых психических заболеваниях среди сотрудников ГПУ.

Верить рассказам или не верить? Со мною в стенах ГПУ во время следствия и допросов ничего недозволенного не допускалось.

Удручала меня странная опустошенность жизни людей, придавленность, пришибленность, запуганность.

При содействии Строганова, работавшего в правлении Потребсоюза, мне удалось получить уроки по преподаванию коммерческой арифметики на вечерних курсах повышения квалификации счетоводов.

Коммерческую арифметику я сдавала в институте. Зачетные книжки у меня были. Этого оказалось достаточным для предоставления мне работы. К занятиям я усидчиво готовилась, но на первом же уроке, войдя в класс, была потрясена — передо мной в аудитории сидели убеленные сединами старцы — бухгалтеры, счетоводы. Все они были работники-практики, начавшие с учеников — мальчишек на побегушках. Они никогда не слышали о коммерческой арифметике, не проходили даже школьной арифметики. Не знакомые с теорией, они обладали практикой, прекрасно справлялись с работой и вовсе не хотели учиться. Однако учеба была принудительной и явка на уроки — обязательной.

Первые уроки прошли хорошо, класс был полный. Пришедшие на занятия проявляли интерес, задавали вопросы, радовались облегчающим вычисления приемам. Я увлеклась, мне показалось,

что я помогаю людям освоить их дело. Но с каждым днем посещаемость падала. Я винила себя в том, что не смогла заинтересовать аудиторию. Своим отчаянием я поделилась с кем-то из преподавателей курса. Мне сказали, что посещаемость падает не только у меня. Строганов успокаивал меня, что я могу спокойно продолжать занятия и получать 20 рублей за час.

— Занятия обязательны, — говорил он. — Если вы заявите о плохой посещаемости, будут гонять людей силой, под угрозой увольнения. Деньги на курсы ассигновали, и курсы проведены будут. То же твердили мне другие преподаватели.

Если бы хоть одни и те же люди приходили на занятия, если бы я чувствовала, что пять-шесть человек заинтересованы занятиями! Нет, каждый раз приходили другие.

Я познакомилась с одним из слушателей, и он объяснил мне:

— Учиться никто не хочет, даже не может: нет времени, нет сил. А сорвать занятия нельзя. Вот и ходят по очереди, как на дежурство. А начальство знает об этом, гоняет помаленьку, чтоб класс пустой не был, чтобы формально, пусть на бумаге, в отчете, занятия шли.

Я отказалась от работы, аргументируя свой отказ семейным положением. Новых попыток устроиться на работу я не делала, я ждала Шуру. И только заходила на биржу труда, регистрировалась, справлялась о работе.

Снова Шура с нами

Наконец, Шура приехал. С Мусей встретили мы его на вокзале. За восемь месяцев Муся отвыкла от отца, не шла к нему на руки, цеплялась за меня. Но всего два часа понадобилась ей для восстановления прежних дружеских отношений.

С первых же дней приезда Шуры мы стали искать новую квартиру. В моей было терпимо нам вдвоем. Теперь, когда мы были с Шурой вместе, когда мы хотели поговорить, лишь психологическая отгороженность от хозяев дощечками стесняла нас. Да и тесно было втроем.

Комнату мы нашли легко. Была она незавидная, но изолированная, с отдельным ходом. Понравилась нам и хозяйка. Хозяин был пенсионер, рабочий — на железной дороге. Хозяйка — приветливая и добрая женщина. Жили старики вдвоем. Поговорив с нами, хозяин припомнил старые годы, стачки и забастовки 1905-го, первые месяцы 1917-го, организацию железнодорожников ВИКЖЕЛ. В сдаваемую нам комнату хозяин притащил две кровати, из своих комнат — большой стол и пару стульев. В просторной кухне, которой они почти не пользовались, мне было разрешено хозяйничать, как мне хотелось.

Шура стал на учет на бирже труда. После трех лет работы в ссылке он стал квалифицированным счетным работником. Биржа послала его на работу, но в предприятии, узнав, кто он, сразу же отослала его обратно на биржу труда. Три раза посылали его на работу, три раза снимали. На своем опыте проверил Шура то, что писала ему я, что говорили товарищи.

Мы хотели перейти на нелегальное положение. Но предварительно Шура должен был оглядеться, подготовить условия. Для этого нам нужно было некоторое время жить и работать.

Частных предприятий в то время не было. В государственные нас не брали. Уже давно назревало у меня намерение пойти в ГПУ требовать работы. Но я ждала Шуру. Теперь мы были вместе, теперь мы оба были без работы и оба пришли к моему давнишнему желанию.

Мы сообщили о нем Розену и другим «минусни-кам», жившим в Рязани. Они в один голос отговаривали нас, считая наше решение бесплодной затеей. Они уже обращались в ГПУ, но получили ответ, что для посылки на работу существует биржа труда, а они-де в эти вопросы не вмешиваются. Нас не убедили товарищи, мы стояли на своем.

Мы предупредили товарищей, что без положительного ответа домой не вернемся, и в случае чего наши вещи просим переправить в ГПУ.

Утром Шура и я с Мусей пришли в ГПУ и подали письменное заявление на имя начальника, настаивая на личном приеме. Начальник вызвал нас поодиночке — сначала Шуру, потом меня. Начальник заявил, что никаких препятствий к устройству на работу с их стороны нет, что ведает трудоустройством биржа труда, что предписывать ей они ничего не могут. Мы же говорили, что жить без работы не можем, а с работы нас сразу снимают, узнав, что мы «минусники», что, очевидно, есть какой-то неписанный закон о работе для нас. Заканчивая беседу, мы заявили, что до тех пор, пока нам не будет гарантирована работа, мы из ГПУ не уйдем, так как идти нам некуда. Жить без работы мы не можем.

Выйдя из кабинета начальника, мы уселись на скамье в коридоре. Время шло. Несколько раз нам предлагали очистить помещение. Мы не двигались и забавлялись с Мусей. Наконец, начальник

снова вызвал Шуру. Шура вернулся с двумя заклеенными сургучными печатями конвертами, адресованными на биржу труда.

— Я сказал, что, если не получим работы, вернемся назад, — сообщил мне Шура.

Заведя Мусю домой, мы пошли на биржу.

Конечно, нас очень интересовало, что таят в себе конверты. Узнать это мы не смогли, но результат был ошеломляюще быстр. Через какой-нибудь час мы оба были направлены и приняты на работу. Я — делопроизводителем в контору Гиза, Шура — счетоводом-калькулятором в Заготкассе.

Срочно надо было устроить Мусю. Детсады были переполнены, детей не принимали. Хозяева согласились присматривать за девочкой в часы нашей работы. Смущало меня, что я попала в так наз. идеологическое учреждение.

С биржи мы несли обычно путевки, но начальник Гиза сразу проговорился, ему было предложено принять меня... по телефону. Рад он не был, но мною заинтересовался. Из делопроизводства он сразу изъял какие-то папки с секретными документами. И все-таки через мои руки проходили циркуляры об изъятии отдельных книг, статей, журналов.

Заведующий Госиздата Ш. был пренеприятным субъектом. С высоты своего завовского величия относился он к служащим, заискивающим перед ним. Он третировал уборщицу, заставляя себя обслуживать, как в учреждении, так и вне его. Со мной он пытался установить какие-то своеобразные отношения, даже вести дискуссии, но вскоре понял, что я ему совсем не ко двору.

В Гизе было два человека, не заискивавших перед Ш., возчик и я. Возчик, крестьянин из рязанской слободки, не был членом профсоюза, не боялся остаться без работы — «с лошадью не пропадешь».

Ш. считал, что мы разлагаем коллектив. Мы не подписывались на заем, не посещали собраний, не принимали участия в ударниках, не ходили на демонстрации. Служащие недоумевали. Возчик их не удивлял, то был крестьянин, который не боялся безработицы. Но я?.. Почему меня приняли на работу? Почему меня не снимают с работы?..

Очевидно, бухгалтер что-то узнал, среди служащих пошел шепоток: ...Олицкая зачислена в штат по прямому указанию, снять ее с работы нельзя...

Среди сотрудников учреждений, среди работников предприятий было глубокое убеждение, что в их среде обязательно находятся информаторы — говоря простым языком, шпионы и доносчики.

Ни разу не слышала я в нашей конторе разговоров о жизни, о газетных сообщениях, событиях дня. Ни до тех пор, пока я была на подозрении, ни после.

Выяснили служащие, кто же я, после заполнения одной из очередных анкет с тысячью и одним вопросом. После этого сотрудники конторы и магазина изменили ко мне отношение, то есть на людях они держали себя так же, но когда я случайно оставалась одна с кем-либо, со мной говорили иначе.

Очень остро, очень болезненно пережила я в Госиздате празднование 1 мая. Все готовились к празднику. Витрины, плакаты, лозунги. И все они, огромное большинство, были хорошие, близкие мне по содержанию, говорили о свободе, о равенстве, о братстве, о подлинной свободе трудового народа. А я должна была стоять в стороне. Ошеломлял меня и народ, празднующий 1 мая. Подлинной праздничной радости и инициативы не было. Казенно спускались лозунги, казенно составляли плакаты. Рабочие без желания, под страхом увольнения шли на демонстрацию, жалея о потраченных на нее часах. Как-то мелко подленько было это затаенно-молчаливое поведение.

Бывали случаи, когда зарвавшийся Ш. начинал орать на кого-либо из работников конторы. Каких только позорных эпитетов он ни изрыгал: и саботажники, и прихвостни буржуазии, и обыватели — контора молчала, никто не поднимал головы от своего стола. Раболепство! Мой голос был «гласом вопиющего в пустыне».

При мне он перестал ругаться, но сотрудники предупредили меня, что он расправится со мной, что он способен на любую провокацию, и в конторе меня не оставит, не потерпит.

Ничего против меня Ш. не успел предпринять. Заболела Мусенька, и я сама ушла с работы.

Условия моей работы были неприятны. Жизнь наша при работе нас обоих шла кувырком. Беготня по магазинам, приготовление пищи, уборка, стирка, забота о Мусе, о ее воспитании отнимали все свободное время. И Муся была заброшена, и мы оба не имели времени читать, заниматься, жить. Нам думалось, если я брошу работу и возьму на себя только хозяйственные заботы, мы сможем иметь досуг. Так и случилось.

Жить материально нам стало труднее. Шура набирал сверхурочной работы. Но за то время, что он был на работе, я справлялась с хозяйством. Вечера стали принадлежать нам. Библиотека в Рязани была неплохая, мое знакомство с сотрудниками Гиза помогало доставать интересующую нас литературу.

Приезд брата Димы

Мы ждали брата. Шесть лет не виделись мы. Мне очень хотелось познакомить Диму с Шурой. Каким он стал? Ведь рассталась я с ним, когда ему было 18 лет. Что пережил он за эти годы? Ссылка с отцом в глухое село, жизнь без работы, на жалкие гроши, возвращение в Москву, педагогическая работа... Остался ли он прежним, или изменился? Заговорим ли мы с ним, как бывало, на одном языке? Встретят ли сочувствие у него наши планы? Может быть, он, как многие наши товарищи, трезво смотрит на создавшиеся условия?

Я ходила по перрону и думала. Сперва перрон был пуст, потом стал заполняться пассажирами, встречающими, провожающими. Обычная железнодорожная суета.

Наконец, раздалась паровозные гудки, и из-за поворота с нарастающим гулом вынырнул поезд. Я встала в стороне от суетящейся публики. Из вагонов выходил народ. Во все глаза смотрела я... Сейчас, вот сейчас я увижу Диму. Я ждала, но появился он неожиданно. Идет прямо на меня и улыбается. Дима... Конечно, Дима... Но взрослый, совсем не такой, каким я его запомнила. 18 лет и 24 года...

Почему все они должны были погибнуть, а я одна выжила, не умеющая даже толком рассказать о них? Дима приехал всего на три дня. Он не мог отлучиться на более долгий срок из-за работы, из-за отца, которому были необходимы его уход, его помощь.

Пока мы ехали, мы говорили только о прошлом. Тяжелую школу прошел Дима за эти годы. Восемнадцатилетним юношей он выехал из Москвы с отцом-инвалидом на руках в «минус 32». Они выбрали Курскую область, там все же были знакомые, друзья прежних лет. Не надолго им разрешили остаться в Курске. С вокзала заехали они к родителям наших друзей, которые с отцом были близки в прошлые годы. Те до смерти испугались. Отцу и брату было неприятно видеть их тревогу, и они не задержались у них. В 7 км от Курска, в с. Шуклинка, сняли они себе избушку.

Радостно было слушать, что мои школьные друзья, Оля и Матвей, не перепугались, помогали, чем могли, навещали их в деревенской глуши. Конечно, работы у Димы не было. Жили, во всем себе отказывая, но не горевали. Читали вместе старые дореволюционные журналы, научные статьи. Под папиным влиянием Дима рос. Большинство прежних знакомых сторонилось, опасалось встреч. Но были и другие, которые тянулись к отцу и брату. К концу срока ссылки брату разрешили переехать в Курск. По окончании срока они перебрались к Ане в Подмоскowie. Дима получил работу преподавателя биологии на одном из рабфаков в Москве.

Дома все наши воспоминания окончились. Шура со своей напористостью шел к цели. С Димой нам говорилось легко. Молчаливое созерцание жизни угнетало и его. Наступает возраст, когда накопление знаний, опыта не удовлетворяет уже, когда нужно приложение своих сил, пробуждается жажда деятельности. Дима ждал встречи с нами.

Если мы прожили эти годы в кругу друзей, с которыми могли обсуждать все интересующие нас вопросы, то у Димы было широкое поле для наблюдения жизни и один лишь собеседник — папа. Он очень много дал брату, но папа был человеком прошлого поколения. С радостью услышали мы от Димы, что все же он не совсем одинок, что есть у него друзья, которые так же, как и он, ждут встречи с нами. Друзья его, студенты, только что окончившие вузы, не примирились с окружающей действительностью, искали новых путей. Их, как и Диму, отталкивала не только наша советская действительность, но и действительность западно-европейского капиталистического мира. Друзья Димы не были связаны с кем-либо из социалистического мира, с его деятелями. Найти связи, проверить, сличить свои установки с установками социалистов, было их желанием и стремлением.

В Москве связей у Димы не было. Но его ленинградские друзья уже ждали Диму, торопили. Они не знали, что сейчас возможно, что реально, но точно знали — так жить дальше нельзя. Надо выйти из полосы молчаливого созерцания подлости, пошлости и покорности.

Дима говорил:

— Дайте нам листовки. Мы их размножим и распространим. Друзья хотят указаний, руководства, они ищут третий путь — не с коммунистами и против капитализма. Они зовут вас в Ленинград, они ручаются, что создадут для вас условия. Для начала возьмут на себя всю черновую работу.

Наша попытка идеологической работы

На другой же день Шура сел за письмо ленинградской группе. Нам нужно было познакомить ее с нашими установками, с нашими обоснованиями. Не со всеми противниками советского строя могли мы пойти рука об руку. Лозунг «Долой коммунистов!» не интересовал нас, не сближал нас с людьми. «Вперед к социализму!» — был наш лозунг. Вперед, с того места, на котором мы находимся, не отступая ни на шаг. Вперед, исходя из конкретных условий сегодняшнего дня.

В своем письме Шура уделял основное внимание разбору оппортунистических позиций западно-европейского рабочего движения, позиций Каутского, Бауэра, Ренера; рассматривал лейбористское движение в Англии. Этим письмом нам хотелось выяснить настроение тех людей, с которыми мы хотели вступить в связь, вместе бороться за будущее. Самое сложное в нашем положении заключалось именно в том, что недовольных, противников советской власти было слишком много. И с огромным большинством этих противников нам было вовсе не по пути.

Встреча с Димой была первой обнадеживающей нас встречей. Вскоре произошла и еще одна такая встреча.

Неожиданно ко мне зашел Н., работник Гиза. Знакомство мое с ним было меньше, чем шапочное. Он, конечно, знал, что я и мой муж ссыльные социалисты. Мы о нем не знали почти ничего.

— Скучно стало бродить по улицам, забрел на огонек, — сказал он.

Сперва разговор не клеился. Мы все чувствовали себя натянуто. Но постепенно разговорились о книгах, о кино, о мелочах жизни.

Н. зачастил к нам. Приходил он обычно поздно вечером, когда город засыпал. Ясно было, что он хочет сделать свои посещения к нам незаметными. Разговоры шли, что называется, вокруг да около. Однажды он попросил нас зайти к нему, познакомиться с женой. И тут уже прямо прибавил:

— Только приходите вечерком попозже. У нас никого не будет, никто не зайдет. Мне бы не хотелось, чтобы знали о нашем знакомстве. Жена у меня славная, на нее я, как на себя, полагаюсь.

Сперва мы с Шурой отнеслись к этому знакомству с подозрением, но постепенно Н. начал завоевывать наше расположение. Он никогда не затрагивал злободневных вопросов, не интересовался жизнью в ссылке, настроениями наших товарищей. Даже бежал от этих тем. Он просил от нас указания книг для чтения. Сын крестьянина, окончивший четыре класса, он стремился пополнить свое образование. В то же время нам все казалось, что он ищет разрешения определенных, важных для него вопросов.

Связь с деревней у него была тесная. Еще до революции ушел он мальчиком из села и поступил работать рассыльным в книжный магазин. Теперь он был продавцом в отделе научной книги.

В большинстве рязанских сел мужчины в деревнях не оставались, уходили на заработки. Крестьянствовали в деревне женщины, его мать и сестры. В 1929 году в деревне нарастали грозные события коллективизации. Организовывались колхозы. Крестьянство в них не шло. Оно держалось за свои участки, свою коровенку и лошаденку. В ту пору крестьянство даже пренебрежительно относилось к городу и к горожанам. Оно вывозило на базар товары, но заламывало за них несусветные цены.

— На что нам ваши бумажки, — говорили торговки на базарах, — что на них купишь? Идите в свои магазины и жрите по карточкам.

Мне самой приходилось выменивать у крестьян молоко, масло, муку на белье, на соль, на мыло. Иначе прожить было невозможно.

Часто горожане ворчали на крестьян, но люди, связанные с деревней, думали иначе. Они ощущали тиски, все теснее сжимавшие деревню.

Никогда марксисты не верили в революционность русского крестьянства, не верили в роль производственной кооперации. Только необходимость заставляла большевиков выбрасывать лозунги, близкие деревне. Они отводили крестьянам третьестепенную роль, хотя основную массу населения страны составляло крестьянство. На таких настроениях выращивались и кадры, которые посылались на работу в деревню. Деревня должна была дать средства, дать во что бы то ни стало. Надо было брать, брать любыми способами.

Помню фельетон Кольцова, очень характерный для того времени. «Срочная телеграмма в сельсовет: «Отгрузите три вагона воробьев!» И крестьянам была дана команда заготавливать

воробьев». Возможно, Кольцов утрировал. В статье утверждалось, что сие не измышление, а факт. Крестьянство грузило воробьев в вагоны.

Аналогичных случаев, может быть, не столь анекдотичных, было немало. О жизни деревни с тоской и болью много рассказывали нам Н. и его жена. Летом мы с Н. встречались на прогулках за городом. Разговоры наши стали откровенней, отношения ближе. Однажды он спросил Шуру :

— Вы в Москве не бываете? Мой двоюродный брат мечтает о встрече с вами.

Двоюродный брат Н. был печатником. Работал он на ротационке, выпускающей «Правду». Выл он квалифицированным рабочим, хорошо зарабатывал. неплохо жил с семьей — женой и маленькой дочуркой.

На всякий случай Шура взял его адрес. Мы уже давно обсуждали поездку в Москву. Поездка, конечно, была связана с риском. И мы все отодвигали ее, потому что я хотела съездить к сестре, повидать отца. Я считала себя обязанной съездить. Отец был стар, он все болел. Долго ли осталось ему жить? Привезти его к нам не было никакой возможности. Мне же на заявление о поездке к безногому отцу было отказано.

Малаховка. Дачное местечко. Маленькая станция возле Московско-Рязанской ж/д. Езды до нее от нас было всего три часа.

Поездка к отцу

Я все-таки решила ехать к отцу. Чтобы моя поездка прошла незамеченной квартирохозяевами, соседями, я решила ехать на одни сутки. Чтобы лишний раз не появляться на вокзале, мы попросили Н. купить мне билет.

Встреча с отцом была и радостной и тяжелой. Папа очень постарел и ослабел за это время, что мы не виделись. Он усадил меня возле себя и заставил рассказывать все пережитое на Соловках, в тюрьме, в ссылке.

Я рассказывала. Приукрашать жизнь я не считала себя вправе. Папа плакал. Я никогда раньше не видела отца плачущим. Теперь по его старческим щекам текли слезы. Он хотел побороть их, но у него не получалось, он тихо всхлипывал. Видеть папины слезы было невыносимо. Над чем он плакал?

Над моей судьбой? Над попорванными идеалами своей юности? Над своим бессилием? Над нашей обреченностью?

Я утешала отца, как могла. Я уверяла его, что ни на минуту не жалею о так сложившейся жизни, что иной я не мыслю себе, что я счастлива.

— Вы... вы герои! — твердил папа.

Я улыбалась ему, я ласкала его руки. Честно говоря, я улыбалась сквозь слезы. Было горько, что даже встречей я ничего, кроме горя, не принесла отцу. Дальнейшие наши планы я не открыла отцу. С Димой при папе мы не обменивались о них ни словом.

Если Шура уйдет из ссылки, мне грозит арест. Если мы оба уйдем, он ждет нас обоих в недалеком будущем. На нелегальном положении долго не живут.

Когда я собралась уезжать, Дима пошел проводить меня на станцию. Теплой лунной летней ночью мы шли лесной тропочкой, тесно прижавшись друг к другу.

— Я переслал ваше письмо, — говорил Дима, — и получил ответ. Они ждут Шуру к себе. Подготавливают условия. Недели через две один из них приедет ко мне для личных переговоров. Я очень, очень рад встрече с вами, легче дышать стало. Только не могу я решить одного — могу ли пойти с вами? Что будет с папой?

Я ничего ему не ответила. Я не знала, что ответить. Непосильная жертва собой была и там и тут.

Когда я стояла уже на площадке вагона, когда колеса уже дрогнули, Дима сказал:

— Во всяком случае, после встречи с ребятами я приеду к вам хоть на денек

В 6 часов утра, когда я подходила уже к нашему домику в Рязани, мне встретилась хозяйка.

— Куда это вы так рано ходили?

— Прачка просила принести пораньше белье для стирки, — соврала я.

Дома все было в порядке. Шура собирался на работу. Никто не заметил моего отсутствия.

Конспиративная поездка Шуры в Москву

Моя поездка сошла благополучно. Теперь стала на очередь Шурина. Моя носила чисто личный характер, Шурина была деловой. Она должна была стать первым нашим шагом к цели. Конечно,

она была сложней моей. Мужчине передвигаться без паспорта труднее. В любой момент могли потребовать военный билет. Если здесь, в Рязани, будет замечено его отсутствие, чем объяснит он свою поездку в Москву?

Выбирая место, мы надеялись не встретить в нем ссыльных. Мы ошиблись в расчетах. К счастью, Ле-ония Максимилиановна уехала к мужу, но оставались Розен, Биск, Строганов, наконец, Яша Рубинштейн. Собственно, за последнего совесть у нас была спокойна. Яша после амнистии, коснувшейся его как дальневосточника, уехал к сестре в Брянск. От него шли грустные письма. На работу устроиться он не мог. Сестра и ее муж оказались чужими. Приехавшая к нему Фаня настаивала на его переезде в Ленинград. В Ленинград он съездил, пожил там около двух недель и убедился, что и Фаня, и ее семья полагают, что для жизни с Фаней и сыном в Ленинграде поступиться ему надо немногим — отказаться от партии, от политических убеждений, от политической деятельности, которой он все равно не занимается в ссылке. Фаня ждала его шесть лет, ломала свою жизнь и Левино детство. Тогда он был связан приговором. Теперь его отказ от заботы о ней и о сыне ничем не оправдан. Ей, Фане, уже 32 года, она хочет пожить и для себя. Перед ней — широкая дорога. Она зовет его идти вместе. Яша вернулся в Брянск. Он писал о жутком чувстве одиночества, он хотел просить о переводе его в Рязань. Мы с Шурой недоумевали. Нам очень хотелось видеть Яшу, но в Чимкенте он был против наших планов. Может быть, разрыв с Фаней и жизнь в Брянске изменили его решение. Мы написали ему, что рады были бы его приезду, что настойчиво звали бы его, если его не остановят наши соображения, знакомые ему по Чимкенту. Яша приехал. Первое время, казалось, он разделял наши планы. Он принял участие в наших беседах с Димой, но чем конкретнее становились наши шаги, тем скептичней относился к нам Яша. Узнав о поездке Шуры в Москву, он решил к нам в эти дни не заходить. Нам казалось это нелепым. Страусовой манерой прятать голову... Если Шура засыпется, что изменится от того, был ли Яша у нас или нет?

Никто, кроме Яши и Н., не знал о поездке Шуры. Н. взял для Шуры билет.

Пока Шура отсутствовал, я молила Бога, чтобы никто не заходил, чтобы никто не спросил, чтобы не пришлось объяснять... Но все прошло благополучно. Шура проверил кое-какие старые связи. Не дали они ничего, кроме моральной поддержки и какой-то очень старой эсеровской литературы.

Уцелевшие в Москве старики, работники пятого года, обросли повседневностью, состарились и физически и душевно. Они радовались встрече, возможности вспомнить былые годы, узнать о старых друзьях. Собственно, на них Шура и не рассчитывал. Жили они легально, и связь с ними могла лишь облегчить провал, так как они, безусловно, под наблюдением.

Зато знакомство с двоюродным братом Н. воодушевило Шуру.

— Маленькая, чистенькая квартира. Живут они втроем. Кухонька, комната. Когда я пришел, у него был какой-то товарищ по работе. Велся общий, показалось мне, малозначащий разговор. Но постепенно я вник в суть его. У них в типографии вводили новую ротационную машину и непрерывно требовали все новых темпов в работе, новых рекордов. Несколько дней назад произошел несчастный случай. Рабочему перебило ноги, пришлось ампутировать. Рабочие были убеждены, что несчастный случай — результат гонки, рекордистики. В цеху после аварии стихийно возникло собрание. Заговорили люди, терпение которых иссякло. Одни говорили осторожно, другие громче. Администрация перепугалась, вызвала представителей горкома, горсовета. Появился и представитель ГПУ. Произносились грозные речи, в конце концов, рабочим предложили разойтись, обещая серьезно ознакомиться с условиями работы, с техникой безопасности, с оплатой труда. Наиболее активно выступавших на собрании вызвали в ГПУ. В числе вызываемых оказался и Б. с товарищем. «Думали домой не вернемся», — говорили они, а им с три короба наговорили и путевку в Сочи на курорт дали — купить решили. Когда приятель Б. ушел, жена Б. поставила... (пропущено несколько слов — прим. перепечатавшего го), а мы проговорили за полночь. Б. говорил: «Нет сил терпеть и выхода не видно. Квалифицированные рабочие еще могут прокормить себя и семью. Об остальных говорить нечего». До последнего времени Б. помогали из деревни, но теперь и деревня разоряется. В деревне у Б. жили старики-родители. Он должен был им помогать, а он от них тянет то яички, то масло, то сахар. «Теперь дожили — хоть стариков к себе бери. В колхоз идти они не хотят, а их все больше притесняют. Дров рубить не дают, сено косить не дают, корову на выгон не пускают. Взял бы я их к себе, — говорил Б. — да не прокормить. И жить негде, видите, одна комнатуха. Мы еще хорошо живем, а вы в новые дома к рабочим зайдите. Ад сущий. Одна кухня на 5-7 комнат. В комнате 3-4

человека, не меньше. Взрослые на работу уйдут, придут домой — надо еду готовить. Все бабы вокруг одной плиты. Не жизнь, а какая-то склока. Не на ком горе сорвать — на самих себе срывают. А начнешь говорить о беспорядках, — хоть в семье, хоть на работе, — живо рот зажмут. Сколько от нас рабочих убрали! Самых лучших. Ну, и молчишь! И молчать не под силу стало. Мне браток про вас рассказывал, потолковать захотелось».

Б. просил Шуру приезжать, останавливаться у него. Много обещать он не мог, но ночлег, угол в своем доме он обеспечит. А на указание Шуры о риске — только махнул рукой. С Шурой он договорился о встрече после своего возвращения с курорта.

Странное, совершенно неожиданное впечатление произвел на него курорт:

— Настоящих рабочих там раз, два и обчелся... Больше все какие-то барыньки и господа. Условия жизни замечательные. Питание, чистота, порядок. Книжки, кино, клуб свой. Я ем — просто давлюсь. Думаю, мои дома такой пищи не видят. И телятина, и свинина, и котлеты, и яички... фрукты в вазах на столах — ешь, сколько хочешь. Барыньки да господа носами крутят — то не вкусно, то не солоно... Вот где насмотрелся я, на кого наш брат работает. Ребятишек по селам и городам обобрали, а там роскоши всякие. Были господа и есть господа — вот с чем я с курорта приехал. Рабочим рассказал. Меня зачем туда послали? — Чтоб молчал. А я правду увидел.

К Шуриному изумлению к его второму приезду Б. приготовил целый ящик шрифта. Шрифт этот для нелегальной типографии был непригоден. По первому же оттиску можно было узнать, из какой типографии взят шрифт. Шурино объяснение очень огорчило Б. Сокрушенно говорил он о том, сколько труда и тревог стоило товарищам взять и вынести этот шрифт.

Вокруг Б. группировалось какое-то количество единомыслящих рабочих. Ни с кем из них Шура не стал знакомиться. Он ознакомил Б. с условиями конспиративной работы. Рассказал об организации цепочки из пятерок, в которых один человек только является связующим звеном. Ему же оставил Шура обращение к рабочим, нечто вроде письма, листовки.

Смерть отца. Арест Димы

Через несколько дней после Шурино возвращении из Москвы рано утром в парадное нашего дома постучали. Я вышла открыть. На пороге стояли Аня и Дима. Оба сразу! Сердце у меня упало. А папа? С кем остался папа? Они молчали. Я повернулась и ушла в свою комнату. Муся еще лежала в своей кроватке. Я прильнула к ней и заплакала. Я не могла ничего объяснить Шууре, не могла ничего сказать. Мне казалось, что у меня теперь нет никого на свете, кроме моей маленькой девочки. Аня и Дима вошли в комнату. Шура, растерянно стоявший надо мной, понял все. В тот же день Аня с Димой уехали.

Беда, говорят, никогда не приходит одна. Не прошло и месяца, как Аня приехала снова. По лицу ее я поняла, что что-то случилось. Войдя в нашу комнату, Аня сказала: «Дима арестован».

Во время своих поездок в Москву Шура ни разу не встречался с Димой. И все же у нас мелькнула мысль, что арест его связан с нами. Аня, наверно, прочла наши мысли.

— Вы тут ни при чем. Он сам виноват.

Вот что рассказала нам Аня.

В связи с постановлением суда по делу промпартии, вынесшему смертный приговор ряду подсудимых, по всем предприятиям и учреждениям проводились собрания рабочих и служащих для одобрения ими смертных приговоров.

Вернувшись с работы домой, Дима рассказал Ане, что избежать собрания ему не удалось. Явка была обязательной. После речей, перед тем, как был поставлен вопрос на голосование, он вышел из помещения, где проводилось собрание. Но когда он вернулся в зал, ему сказали: «А мы вас поджидали. В этом вопросе мы хотим быть единодушны». Голосование проводилось простым поднятием рук. Дима не поднял руки в одобрение смертной казни. Он не голосовал и против. Он воздержался. Раздраженно обратился к нему председатель собрания: «Что же вы думаете, Дмитрий Львович, что революцию можно делать в белых перчатках?» Дима был убежден, что ответил очень осторожно: «Нет. Но я думаю, что на 14-ом году революции можно найти другие пути пресечения»...

Аня сказала Диме, что его песенка спета. Дима ей возражал. Но через несколько дней принесли повестку, вызов в ГПУ. Аня была уверена, что домой он не вернется. Дима спорил...

— Я носила ему передачи. Уж такая моя судьба, все вам передачи таскать.

Сейчас Диму уже отправили в лагерь на пять лет.

Не говоря о личных переживаниях, арест Димы был большим уроном для нас. Потеря каждого человека в нашей ничтожно маленькой группе — большой урон. Мы думали, что с арестом Димы оборвется и ниточка, связывающая нас с Ленинградом, но в этом мы ошиблись. Сердито ворча, Аня говорила:

— Не понимаю, почему вдруг Димин приятель заинтересовался тобой. Ты, по-моему, не была с ним знакома. Я дала твой адрес. Меня это все мало касается. Но неужели тебе все еще не надоела политика?

Когда Шура ушел на работу, и мы остались вдвоем, я сказала Ане, что лучше бы ей ко мне не приезжать во избежание всяких последствий. Аня вспыхнула:

Во-первых, она ничего не боится, во-вторых, она совершенно лояльный человек, никакого отношения к нашим делам не имела и иметь не будет. Считает наше поведение глупым и ненужным.

— Вы коверкаете жизнь и себе, и мне. Ты подумай, Катя, как бы мы хорошо жили, — ты, Шура, Дима и я, — если бы вы выбросили из головы вашу дурацкую политику.

Одобрjali бы, голосовали за смертную казнь, как ты?

Аня пожала плечами.

— Сейчас большевики держат вас в тюрьмах. Придете к власти вы, вы будете держать в тюрьмах их.

Тысячу раз мы говорили с Аней об одном и том же. Я не стала ей возражать.

Усиление репрессий

Аресты, смертные приговоры, политика, проводимая в деревне, — все указывало на усиление репрессий.

Из ссылок, из «минусов» одно за другим стали приходить письма, сообщавшие об арестах. Арестовывали — без всякой на то причины. Арестовывали людей, оканчивающих сроки, просто, чтобы не отпускать их на волю. Заколдованный круг вокруг нас смыкался. За тремя годами изолятора шли три года ссылки, затем три года «минуса» и новый арест.

Срок моего пребывания в «минусе» тоже истек. На мой вопрос о снятии с меня ограничений мне сообщили, что никаких новых распоряжений относительно меня нет.

Создавшееся положение заставляло нас форсировать события. Не было гарантии, что не сегодня, так завтра, нас не возьмут и не посадят за решетку. Шура рвался на волю. С 19 лет он скитался по тюрьмам и ссылкам. Все эти годы он настойчиво учился, думал. Его мировоззрение крепло и принимало форму стройной системы. Он делал прогнозы и выводы. Ему уже исполнилось 30 лет. Он задыхался в обстановке бездействия. Он хотел жить, действовать, нести свои убеждения людям. Со мной было иначе. Я не чувствовала себя в силах внести свой вклад в жизнь, намечать новые вопросы, вести за собой людей. Не хватало всего того, что стимулировало Шуру. Решающим во мне было другое. Было оно, конечно, и у Шуры. Мы видели перед собой ужасную, доводившую до содрогания, коллективизацию, ее подлинное лицо. Когда все ужасы на селе были уже совершены, газеты запестрели статьями о головокружении от успехов. Успеха, конечно, не было. Были сожженные деревни, был вырезанный скот, были толпы арестантов и переселенцев, и были крестьяне, насильно загнанные в колхозы. Страна стояла перед страшной перспективой голода.

Я жила в городе. Я слышала рассказы приезжающих из деревень. Проходя по улицам Рязани, я видела магазины, торгующие конфискованным у кулаков добром. Продавались там замызганные подушки в пестрых цветастых наволочках, самотканые половики и попоны, стоптанные сапоги, поношенные тулупы и валенки. Продавались старые ведра, чугуны, ухваты. Продавалась поношенная детская одежда — штанишки, рубашечки, платья. Я слышала рассказы о том, как карательные отряды выгребали из хат кулаков, из кулацких печей чугуны и горшки с кашей. Я не могла не верить рассказам. Все эти «товары» я видела в магазинах.

На Рязанском вокзале я видела хозяев раскулаченного имущества. Десять лет уже без перерыва шло в России раскулачивание. Кто из кулаков остался на селе к 1929 году? Вдоль перрона, глубокой осенью, на дожде и в слякоти сидели крестьянские жены и матери, старухи и молодые. С ними были детишки. (Мужчин угнали вперед). Сутками высиживали они на вокзале в ожидании поездов на север. Позже мне рассказывали жены коммунистов, возвращавшихся из отрядов по раскулачиванию, об отчаянии их мужей. Но ведь революцию не делают в белых перчатках... И коммунисты, стиснув зубы, искореняли гидру революции — русского мужика. Деревня мстила, то и дело хоронили жертв кулацкой расправы.

Я возвращалась домой к Мусе, смотрела в ее ясные глазки и думала: Муся вырастет, Муся спросит: «Мама, что ты делала в эти страшные годы головокружения от успехов?» И я отвечу ей: «Я растила тебя, Мусенька. Я оберегала тебя. Я затихла, притаилась в нашей комнате и дрожала за твою жизнь». Мне было очень тяжело. Ведь у каждого есть дети, старики-родители. Каждый, идущий за народ, приносит в жертву свое личное.

В 1924 году, когда я вступила в борьбу, я оставила старика-отца, инвалида. Как же я смею не оставить сейчас мою девочку? Как я могу требовать от людей непокорности, непримиримости, мужества и жертв, если я сама не решаюсь выйти на борьбу?

Не раз в эти тяжелые дни вспоминали мы с Шурой о Володе Родине. Где он? Где осуществляет коллективизацию? Убит крестьянами или покончил с собой?

Споры с Аней доводили меня до бешенства. На каком основании можно требовать от крестьян такой высокой сознательности, почему они должны обобществлять свои крохи? А интеллигенция? А рабочий класс? Они не доросли до коммуны? Раскулачивают нищих. У этой раскулаченной бабы добра в сто раз меньше, чем у каждой горожанки. У нее и у ее мужа с детских лет руки в мозолях, со двора гонят ее Буренку, потому что баба не идет в колхоз, потому что сама хочет доить свою корову.

9. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Подготовка к переходу на нелегальное положение

Сперва мы думали, что Шура перейдет на нелегальное положение один, а я останусь с Мусей. Мы видели, как матерей с крошками на руках гнали общим этапом. Конечно, на меня окажут нажим для получения показаний о Шуре. Чем таскать девочку по тюрьмам и этапам, не лучше ли отослать ее к бабушке? Постепенно мы пришли с Шурой к выводу, что переходить на нелегальное положение надо бы обоим. Моей задачей станет найти квартиру где-нибудь в Подмоскowie.

Как-то вечером заговорили мы о наших планах с Яшей. Угрюмо выслушал он нас. Он не возражал. Он знал о наших планах, когда переселился в Рязань. Но разделить с нами наши планы он не захотел. Что случится с ним, пусть случится. Мы не должны над этим задумываться. Но в нашу попытку он не верит и участия в ней не примет. Из предосторожности Яша перестал бывать у нас.

Трудностей перед нами было очень много. Нам обещали поддержку в Москве и Ленинграде, но обещали ее люди неискушенные, неопытные в нелегальной работе. Да и связь с ними до перехода на нелегальное положение была затруднительна и нежелательна.

Прежде всего, нам нужны были фальшивые документы. Документы в те годы были примитивные, но каждому человеку требовалось их уйма. Конечно, нужно иметь паспорт. Кроме того, нужна была справка с места работы, документ о регистрации с биржи труда. Каждый приезжающий в город должен иметь документ о снятии с учета в смысле продовольственных карточек, так как люди прикреплялись к продовольственным магазинам.

Шуре нужен был военный билет. Мы знали, что в Москве на толкучке из-под полы продают паспорта. Но нам негодились эти неизвестного происхождения документы. Мы знали, что нелегальных бродяг в России тысячи, в большинстве это — сбегавшие от раскулачивания крестьяне. Они просто скрылись от ареста, жили тихонечко, устраивались на работу. Нам нужно было другое.

У меня были старые документы об окончании школы, курсов, что-то аналогичное было у Шуры. Мы сняли копии с этих документов и заверили их в горсовете. Копии мы написали так, что при разрезании листка пополам на одной половине его оказалась печать и заверяющая ее подпись. На чистой оборотной стороне мы написали нужные нам удостоверения. Особенно старались мы над моими документами. Шура не предполагал прописываться, жить легально по фальшивке. Я же должна была и на службу устроиться, и квартиру обеспечить чистой.

Как-то Н. принес нам женский паспорт, найденный им. Был он выдан на имя Зои Григорьевны Камышниковой. Паспорт был недавно выписан и нигде не прописан. Возраст владелицы паспорта совпадал с моим. Карточка, довольно туманная, пожалуй, имела со мной отдаленное сходство. Собственноручной подписи на паспорте не было. Мне очень не хотелось брать этот паспорт. Чем-то нечистым веяло мне от этого документа, может быть, жи вого человека. Но Шура и Н. меня уговорили, а все остальные справки мы подделали на имя, поставленное в паспорте.

Мучительным был для нас вопрос о Мусе. Бабушка соглашалась взять ее к себе. Она примирилась с неизбежной участью сына. Она подолгу гостила у нас в Рязани и подружилась с девочкой. Она водила ее в церковь. Мне казалось, что она хочет забрать ее от нас и окрестить. Что было делать? Отослать Мусю к бабушке и уйти в жизнь и борьбу? или остаться около Муси и смотреть на происходящее, притаившись в своей норе? Да и это не помогло бы. Товарищей то там, то тут арестовывали без всякого дела с их стороны. Уцелеть в те годы означало отречься от субъективной правды и признать объективную ложь.

А как показала жизнь, 1937 год, и это бы не помогло.

Мы решили отправить Мусю к бабушке. Девочке исполнилось пять лет. Как все дети, живущие среди взрослых, развита она была не по летам. Мы остерегались говорить при ней о многом, ребенок удивительно быстро схватывал разговоры окружающих. Узнавала я о разных ее мыслишках совершенно случайно.

Муся с восторгом приняла наше решение отвезти ее к бабушке. Целыми днями рассуждала она о том, какие игрушки возьмет с собой. Отвезти ее обещала дочь нашей квартирной хозяйки, едущая в Москву по делам. Но накануне отъезда, ложась спать, Муся прижалась ко мне и сказала:

— Мама, вы с папой никуда без меня не уедете?

И без конца стала повторять свой вопрос и плакать. Она требовала бесконечных уверений, что мы не уедем.

На вокзал провожать Мусю мы поехали оба. Всю дорогу до вокзала она ликовала. Дочь хозяйки везла с собой еще и своего сынишку. Дети восторженно зашли в вагон, уселись у окна. Муся спокойно простилась с нами. Улыбалась нам через окно, но в самый последний...

(Вероятно, пропущено 2 стр. — прим, перепечатаваемого.)

Отъезд

Шура ушел, я стала готовиться к отъезду. Шура уехал «в никуда». Я должна была ехать куда-то. В какой-нибудь подмосковный город, устраивать жизнь, искать квартиру, работу. Чтобы не возбудить подозрений, мне нельзя ехать без вещей. А что я могу взять с собой, незаметно вынести из дома? Я мысленно перебирала в голове вещи. Складывать вещи до вечера я не могла. Комната наша до последней минуты должна оставаться неизменной.

В понедельник, когда на часах пробилло восемь, я уже знала, что Шура не вернется, где бы он ни был. Оставалось дожидаться вечера. На мое счастье старики-хозяева ушли из дому и сказали, что вернутся поздно. В узел, в одеяло поспешно связала я вещи. «Встречусь с ними, скажу — белье в стирку несу». Я складывала все, что считала необходимым взять, и тут же маскировала комнату, чтобы она сохранила жилой вид, если кто случайно заглянет. Узел получился большой. Выйти с ним из дома я могла, но тащить его до самого вокзала мне было трудно. И я решила взять с собой мешок.

Поезд отходил поздно. На улицах было темно. Выйти на какие-нибудь задворки, запихнуть узел в мешок... Тогда и уйти удобней. Платок, полушалок надеть по-крестьянски, по-деревенски, по-бабьи. В вагоне преобразуюсь в даму под карточку на паспорте. Я сшила постельник, чтобы в вагоне переложить в него вещи. Только бы не встретить по дороге кого-нибудь из знакомых, сослуживцев, работников ГПУ. Ведь за три года жизни в Рязани в лицо меня знали многие. В Москве думала я купить чемодан, чтобы появиться по-людски на место. Будет он пустой — и пусть, как в витринах магазинов — бутафория!

Так скоротала я день. На работу я уже не пошла.

На улице смеркалось, когда я вышла из дому. Узел был велик и тяжел. Я пробиралась к вокзалу задворками. Кругом шли пустыри. У какого-то длинного забора я остановилась, огляделась по сторонам, вытянула мешок и затолкала в него узел. На голову по-деревенски завязала платочек, на плечи, накрест, повязала шаль. Подлиннее опустила юбку. Закинув на плечи мешок, сгибаясь под ним, зашагала к вокзалу. Билет у меня был взят заранее. Поезд, которым я должна была ехать, формировался в Рязани. Его вагоны стояли уже на путях, когда я подошла, никого не встретив. Никем не замеченная, забралась я на верхнюю полку и прикинулась спящей. Суетня в вагоне все увеличивалась. Мне было грустно и смешно. Глупейшим казался маскарад. Встреть меня кто — вышло бы лучше, хуже?.. Ни один человек не бросил на меня подозрительного взгляда. А поезд уже подрагивал, покачивался. Рязань осталась позади.

Я лежала на верхней полке и думала, и не думала, и спала, и не спала. Назад путь был отрезан, впереди — неизвестность. Встречу я Шуру в Москве или не встречу? Даже этого я не знала. Если все в порядке, — встречу. Правильно ли я поступила, не удержав Шуру и идя за ним? Иначе поступить я не могла. Не я ли всегда говорила: жить, видеть подлости и молчать — трусость или предательство. Против творящегося кругом каждый честный человек должен протестовать. Вот и Дима молчал до тех пор, пока сделка с совестью была возможна. Жизнь и порядочность принудили его нарушить молчание.

В Москву мы прибыли рано утром. Еще в поезде я упаковала вещи в постельник и на вокзале сдала их на хранение в кассу ручного багажа. Зашла в дамскую комнату, оделась, причесалась под Зою. Непривычно взбитые волосы, непривычная шапочка, непривычный синий костюм. Измененной видела я себя в зеркале. О неузнаваемости речи, конечно, быть не могло. Я просто репетировала для прописки Зою Камышникову.

До встречи с Шурой оставалось много времени. Я отправилась бродить по Москве. Семь лет назад уехала я из нее. Много воспоминаний всплывало на каждой улице, в каждом переулке. Здесь недалеко жила моя приятельница, но я не хочу встречи... Встреча со мной компрометирует каждого. Если я сверну за угол, я могу пройти мимо дома, в котором сейчас живет Муся. И этого нельзя. От соблазна сажусь скорей в автобус и еду в зоосад. На Кудринской я зашла в закусочную, поела и снова зашагала. По Поварской на Арбатскую площадь и бульварным кольцом снова на Кудринскую. Я больше не хотела бродить, а села на скамейку. В руках у меня была книга, купленная в одном из вокзальных киосков. Я раскрыла ее, склонилась над ней, но читать не могла. Напротив меня висели большие уличные часы. То и дело поглядывала я на них, торопила взглядом стрелки.

Шуру я увидела издали. Он тоже попытался изменить внешность. В новом сером пальто, в новом сером козыристом кепи. В последнее время он отпускал маленькую курчавую бородку. Теперь — крошечные усики-эспаньолку. Как и я, он несколько изменился, невнимательный взгляд, может быть, и проскользнул бы мимо, но рост, походка... Мне казалось, они выделяют его из толпы прохожих. Шура подошел, мы поздоровались за руку, как добрые знакомые. Глаза наши и улыбки сияли навстречу друг другу. Через два часа у Шуры какое-то деловое свидание...

По ряду соображений местом моего жительства Шура предполагал город Серпухов. Поезд на Серпухов отходил через три часа. Прибывал он на место в 4 часа дня. До вечера мне нужно было найти себе пристанище. Мы условились, что через неделю этим же поездом Шура приедет ко мне. Я выйду встретить его на вокзал. Тогда, в зависимости от моих и его успехов, будем планировать дальнейшее.

Времени у нас было немного и, потолковав о моем выезде из Рязани, о его первых шагах в Москве и посмеявшись над нашим маскарадом, мы разошлись. Я отправилась на Рязанский вокзал, чтобы забрать вещи и перебраться на Курский. Купив себе по дороге чемодан, вложила в него книжку, какие-то мелочи и купленные продукты. «Итак, — говорила я себе, — Зоя Григорьевна Камышникова едет в Серпухов». В поезде я придумала себе биографию, причину переезда в Серпухов. Какая бы ни подвернулась мне хозяйка квартиры, она будет спрашивать, и я должна быть готова ответить. Надо все обдумать, запомнить, не сбиться в мелочах. Выдуманная мной история была проста.

Я разошлась с мужем. В Москве найти отдельную квартиру не было возможности. Дочку я оставила у бабушки. Сама хочу попробовать устроиться в Серпухове, так как мне говорили, что здесь легко с работой. Поступлю на работу, возьму дочку к себе. Пока не обоснуюсь материально, буду ездить в Москву, проведовать ее.

Выбросить из своей биографии Мусю я не могла.

Серпухов

Поезд остановился на ст. Серпухов. Я вышла из вагона. Город — чужой, и я — не я. За плечами — сожженные корабли, впереди — все под знаком вопроса. Прежде всего, надо найти приют.

Сдав, как и в Москве, вещи на хранение, я шла по незнакомым улицам, вглядываясь в стены, в двери... Я искала объявления о сдаче комнат. Расспрашивать прохожих мне не хотелось. Я шла и шла. Миновала центральную улицу, вышла к окраинам. Домики стали меньше, заборы меж ними длиннее. Прохожих встречалось мало. Очевидно, все они знали друг друга. На меня оборачивались, присматривались. Наконец, одна старушка, сидевшая на порожке крыльца, спросила:

— Видно, кого разыскиваете на нашей улице?

— Нет, бабушка, квартиру себе ищу, комнату.
— Ишь ты, — сказала она, — видно приезжая?
— Приезжая.
— Что ж ты, семейная или одинокая?
— Одинокая.

И детей нет?

— Нет, я для себя одной ищу.
— Что ж, ты работать или в командировку?
— Работать буду, если устроюсь...

— Ну и хорошо, что одинокая, с детьми теперь никто не пускает. Жаль, я вчера только жиличку пустила, я бы лучше тебя взяла. Попробуй, зайди через два дома к моей куме. Говорила, если найдется одинокая, — пущу.

Я поблагодарила разговорчивую старушку и пошла по указанному адресу. Славный домик с аккуратными, чистенькими оконцами и крылечком стоял внутри ограды. Из окон его неслись звуки радио. Я долго стучала в дверь. Наконец, за ней послышалось какое-то движение. Дверь открылась. На пороге передо мной стояла точь-в-точь такая же старушка.

— Бабушка, мне сказали, что вы комнату сдаете?
— Что ты, что ты! Откуда у меня комната? Кто тебе сказал?
— Кума ваша сказала, что вы одинокую женщину пустили бы.

— А ты одинокая? ни детей, ни мужа нет? А ну, зайди. Что ж мы на крыльце-то стоим?

Через сени мы вошли в маленькую кухоньку, почти всю занятую русской печью. Старушка начала допрос с пристрастием. Попутно она сообщила мне, что комнаты у нее, собственно, нет, а есть перегородочка. Что живет с ней еще жиличка, недавно ее пустила, так, бездомная. Из села ушла. На чулочной фабрике работает.

Я рассказала старушке выдуманную в поезде историю. Что я разошлась с мужем, что бил он меня страшно, из дома выгнал, что дочка моя живет у бабушки, и там останется, а я устроюсь на работу и буду к ним ездить.

Старушка разохалась надо мной, посокрушалась над женской долей, стала меня успокаивать, что я без мужа лучше проживу и что с работой здесь легко устроюсь, что в Серпухове идет большое строительство.

В общем, квартирный вопрос теперь был решен. За 12 рублей в месяц я становилась обладательницей перегородки. При мне перетасила старушка постель дочки в зальце. В маленькой комнате, отгороженной не доходившими до потолка досками, остались столик, кровать и этажерка. Я попросила сегодня же прописать меня, так как завтра иду на биржу труда и прикреплять продуктовые карточки. Я отдала ей все справки для заверки в милиции по месту прописки и паспорт. Подавая документы, руки мои дрожали. Я была счастлива, что могу отдать их кому-то. Сама я спешила удрать на вокзал за вещами.

На мое счастье, старушка была подслеповата. Взяв паспорт и взглянув на карточку, она разохалась над тем, как я изменилась, до чего мужчины нас доводят. Я поахала вместе с ней и ушла. Домой я не торопилась. Мне хотелось придти к возвращению хозяйки. В милиции ни за что бы не поверили, что в паспорте моя фотография. Безумие, сплошное безумие было брать этот паспорт. Но теперь сожалеть поздно. Сойдет с рук, и немедленно уничтожу его, сожгу — «потеряю». Я возненавидела паспорт, возненавидела чужое имя Зои Камышниковой.

Но все обошлось хорошо. Когда я уже в сумерках вернулась домой, хозяйка отдала мне паспорт и заверенные справки. Я сейчас же запрятала этот проклятый паспорт в самый дальний угол чемодана. А через несколько дней, воспользовавшись отсутствием хозяйки, сожгла его в русской печи, смешав золу кочергой. На следующий день я пустила в ход остальные фальшивки. За них я не беспокоилась. Они были без фото, и они были хорошие.

Просто и легко прикрепилась я карточки в продовольственном магазине. Просто и легко встала на учет на бирже труда, зарегистрировавшись, как счетовод.

Не успела я опомниться от всех своих удач, как биржа послала меня на работу. Серпуховской строительной конторе требовался счетовод. С трепетом взяла я направление из рук барышни, сидевшей за окошечком посылки на работу. Ну, какой я счетовод? Шура в последнее время натаскивал меня в счетной работе. В Чимкенте я работала на разрядке крестьянских бюджетов. Три недели проработала я калькулятором в пошивочной. Это было все.

В стройконторе старший бухгалтер, познакомившись с направлением, послал меня к бухгалтеру материального склада. Тот мне очень обрадовался:

— Наконец, нам прислали настоящего счетовода! А то все шлют девочек со школьной скамьи. Учи их! А мы завалены работой. Вы знакомы с копиручетом?

Я была готова провалиться на месте.

— Вот как раз с ним я не знакома.

— Ну, это не важно! Зная счетоводство, вы быстро разберетесь. Я вам сейчас объясню, — он подвел меня к большому письменному столу. — Это будет ваш стол. Прежде всего, вы проверите уже разнесенные документы. Надо разыскать ошибки. Приступите к работе завтра с 8 часов утра. Часок мы с вами вместе поработаем.

Так началась моя жизнь и работа в Серпухове. Жила я очень замкнуто. Ни о чем, кроме работы, не беседовала со служащими. Вечерами сидела в своей комнате и читала. Хозяйка не могла нарадоваться на свою тихую квартирантку.

Ровно через неделю я встретила Шуру на Серпуховском вокзале. Вместе отправились мы обедать в серпуховскую столовую. Потом пошли в городской скверик. Вечером Шура должен был уехать. Шура был рад моим успехам. У него дела шли куда медленней. На каждом шагу встречались препятствия, требующие отсрочки. Сейчас он собирался съездить в Ленинград, по возвращении оттуда снова заехать ко мне. Хорошо, что у меня теперь был адрес, по которому он мог писать, известить меня о дне встречи.

Чрезвычайно трудно было доставать бумагу. Она продавалась только по ордерам учреждениям. На почте в одни руки давали по 2-3 почтовых листочка. Ученические тетради распределялись только по школам. Не было возможности достать шапирограф-ские чернила, достать восковку. Очевидно, шапиро-графский состав придется варить самим, но достать желатин очень трудно. Московские друзья Шуры начали потихоньку покупать желатин у спекулянтов. Но те продавали по два, по три листочка, а драли по 75 копеек за листок. С деньгами тоже плохо, заработки так малы, что сэкономить на них почти невозможно. Ему никто не говорит об этом, но он сам видит, как тяжело его питание ложится на семьи, где он ютится. Шура возлагал большие надежды на Ленинград.

В конце 1931 года страна буквально кишела нелегальными, бежавшими из деревень, жившими по липе, или вовсе без документов. Уходили из сел раскулаченные или ждавшие раскулачивания, бежали ссыльные и переселенцы. Мне часто приходилось с ними сталкиваться. Они не очень скрывали свое положение. Население относилось к ним сочувственно. Шли они в места, где был большой спрос на рабочие руки, где набирали чернорабочих, не присматриваясь к документам. Позже мне пришлось видеть целый колхоз, возникший из сбежавших с Украины «кулаков». Сбежав, они могли работать на железнодорожном строительстве. Вместе со строящейся дорогой продвигались вперед, жили в бараках. При возведении одного большого моста в Калужской области надолго задержались в одном месте, а когда работа закончилась, осели на новой земле.

Жиличка моей хозяйки тоже была беспаспортной из семьи раскулаченных. Родных ее выслали на север, а она ушла. Было ей 19 лет. В Серпухове она устроилась на работу в чулочную мастерскую, получила справку с места работы, по ней прописалась. Она тосковала по сельской жизни, по сельской молодежи.

С питанием в Серпухове, как и в Рязани, было очень трудно. Но я не ощущала голода, живя одна на свою зарплату. Обедала я в столовой, хлеба, выдаваемого на карточки, мне хватало, кое-какие продукты я привезла с собой из Москвы.

Магазины были пусты. По карточкам отпускали мизерное количество товаров, на базарах все продавалось по невероятным, недоступным ценам. С Украины шли слухи о настоящем голоде. В Серпухове от голода не умирали. Я видела очень истощенных людей, но умирающих на улице не видела. Изредка в магазинах появлялся какой-либо товар. Сразу выстраивалась очередь, люди бежали со всех сторон узнать, что дают, (бежали и с работы). В полдень уборщица нашей конторы разносила чайдля служащих, конечно, без сахара. Брала его далеко не все. Не у всех было что-нибудь к этому стакану чая. Если уборщица сообщала, что в магазине напротив продают булочки, контора пустела. Как-то, возвращаясь домой, я увидела большую очередь у продовольственного магазина. Я ненавидела очереди и не интересовалась ими, но из разговоров суесящихся у магазина людей я узнала, что в продажу поступила горчица, лавровый лист, перец, уксус и желатин. Кажется, первый раз в жизни я засуетилась, как бы достать, как бы пролезть,

пробиться к прилавку. Кажется, никто, кроме меня не интересовался желатином. Я не имела ни малейшего представления о весе желатина, о том, сколько нужно взять, сколько можно спросить. Наконец, я стояла уже перед продавцом, и он спросил:

— Сколько вам отпустить?

— Килограмм, — бухнула я первую пришедшую мне в голову меру веса.

— Зачем вам столько? — удивился приказчик.

— Я для детского дома беру. Счет мне выпишите, — врала я.

Приказчик начал отвечать. По мере того, как росла на весах груды листов желатина, росло во мне чувство ужаса. «Куда я дену? Как донесу?» Мне казалось, что на мою растущую грудку смотрят все покупатели, все продавцы. Наконец, я получила огромный сверток. Стоил он ерунду, а Шура говорил, что в Москве за листочек берут 75 копеек. Вот где можно нажать состояние! С трудом вышла я с пакетом из толпы, наполнившей магазин. Все рвались достать уксус, перец, лавровый лист. Теперь как идти по улицам? Как пронести пакет домой?

При виде покупки в руках у человека в те времена все прохожие оборачивались, спрашивали: где купили, что купили? Проклятые листочки желатина топорщились, прорывали бумагу. Кое-как пробежав улицу, я завернула его в снятый с себя жакет. Благополучно донесла я желатин до дома, засунула его в чемодан и заперла чемодан на ключ.

В свой очередной приезд Шура был в восторге от моей покупки. Зато следовательно после моего ареста ни за что не хотел поверить, что желатин я купила в магазине. Просто купила! Они были уверены, что я скрываю какой-то сложный путь, покрываю замешанных в его добывании людей.

Шуре тоже было чем похвалиться. Так же случайно, как я желатин, добыл он глицерин. Теперь мы могли сварить шапирографскую массу. Сварить... Но где и на чем? У Шуры были готовы для печатания две листовки. Люди жаждали листовок для распространения. Мы добыли бумагу.

Шура измотался за последние месяцы скитаний, работа двигалась медленно, и ускорить ее было невозможно. Короче говоря, Шура решил где-то прописаться по своим фальшивым документам. Моей хозяйке мы преподнесли нежданно-негаданно сюрприз — ко мне приезжает мой двоюродный брат — под таким соусом Шура появился в нашем доме.

Дарья Михайловна привыкла ко мне, относилась неплохо. На двоюродного брата сперва косилась, а потом стала подмигивать мне добродушно и даже уговаривала меня основать новую семью. Но согласится ли она принять в дом мужчину, прописать Шуру?

Неделя времени была у меня для обработки Дарьи Михайловны, а в случае отказа — для отыскания новой квартиры. Я повела подготовку осторожно, и Дарья Михайловна решила покровительствовать нам, благословить нас под своим кровом. Цель была достигнута. Она решила прописать Шуру. Но я сама чувствовала себя довольно погано. Я привыкла к старушке и все думала о том, что скажет она, когда в один прекрасный день к ней в дом явятся с обыском и арестом? По условленному адресу написала я Шуре открыточку, приглашая его к себе. Шура приехал. Дарья Михайловна прописала его, поздравила нас, прочитала нам наставления. Мы начали семейную жизнь. По своим документам Шура стал на военный учет, устроился на работу бухгалтером-контролером в Плодоовощсоюз. Мы жили в моей комнатенке и радовались беспрерывно включенному радио, дававшему нам возможность спокойно говорить обо всем, не боясь быть услышанными.

По субботним вечерам Шура уезжал в Москву, в воскресенье возвращался. Часто он привозил какие-нибудь весточки о Мусе. Последний раз он виделся с матерью, встретившись с ней на улице случайно. Он рассказал мне, что девочка здорова, что Циля подарила ей новую шапочку, Муся все твердит о том, как покажется в ней папе и маме, — пусть посмотрят, какая она красивая. Шура говорил, что девочку все полюбили и балуют.

Долго не могла я уснуть, возбужденная рассказами о дочке. Утром я проснулась от крика Муси, от ее зова: «Мама! Мама!» Голос был так реален, так жалобен. Я вскочила, села на кровать, взглянула на часы: семь. Проспала. Я стала будить Шуру. Зов Муси стоял у меня в ушах, мучил меня.

— Шура, — сказала я, — я люблю Мусю больше, чем тебя.

Заботы дня, дней, сгладили крики из моей памяти.

С переездом Шуры ко мне, мы не ограничивались питанием в столовой. Вечерами я часто варила картошку, кипятила чай на примусе, стоявшем с разрешения хозяйки в холодном коридорчике у входа в дом.

Поздно вечером, когда все в доме уснули, сварили мы на нашем примусе шапирографскую массу и вылили ее остывать в купленный нами кухонный противень — лист, соответствующий листу заготовленной нами бумаги.

Теперь вечерами, когда хозяйева укладывались спать, мы с Шурой печатали листовки. Восковки мы так и не достали, писали шапирографскими чернилами. Каждый лист давал нам до 30 хороших оттисков, в редких случаях до 40. Звуки невыключаемого радио прикрывали шум от прокатываемого валика. Часто мы заменяли его простой платяной щеткой. Работа двигалась очень медленно, но мы были упорны.

Выпустить листовки за эсеровскими подписями мы считали себя не в праве. Мы подписывались, как «Группа действия за дело народа», но аншлаг эсеров «В борьбе обретишь ты право свое» мы оставили.

Конечно, теперь, более чем через 30 лет, я не могу припомнить содержания листовок, они были присоединены к моему делу. В арест 1949 года следователь, листая мое дело, вычитывал отдельные цитаты из них. Тогда они были целы, хранились в архиве. Одна из них содержала анализ экономического положения страны. Говорилось в ней о разорении народа, об обнищании, бесправии и моральном разложении. Говорилось о диктатуре партии, о перерождении ее, о появлении мощной бюрократической прослойки. Нами ставился вопрос о том, двигается ли страна к подлинному социализму или прорастает в госкапитализм или в госсосоциализм. Вторая листовка была заглавлена — «Будет ли война?» Конец 1931 года. До мировой войны 1941 года — десятилетие. Но анализ действительности уже тогда показывал неизбежность войны при той политике, какую осуществляла партия. В листовке доказывалось, что предстоящая война в корне будет отличаться от предшествовавших войн. Что она будет носить характерную особенность, особенность политическую, особенность борьбы двух систем. Я не могу пытаться подробнее остановиться на их содержании. Я могу спутать и вложить в них мысли, которые приходили нам позже, в течение ряда лет. Но я четко помню, что в них был призыв к борьбе с тотальным строем за подлинную демократию. За демократию для всех демократических течений, за свободное рабочее движение, свободные профсоюзы, свободную кооперацию. Они призывали к борьбе против единой монополярной всевластной партии большевиков, захватившей законодательную и исполнительную власть, диктующей свою волю, свою линию поведения через все захваченные ею рабочие и кооперативные организации. Они призывали к борьбе против централизации, против Левиафана-государства, порабащивающего человеческую личность, сковывающего ее всестороннее гармоническое развитие. Листовки наши говорили, наконец, о логическом развитии пути, по которому большевики ведут страну. Я помню хорошо фразу: «Мы переживаем цветочки, ягодки — впереди!»

Теперь, переписывая эти строки, я невольно думаю, что «ягодками» оказались события, получившие название «культ личности».

Смерть Муси

В следующую субботу Шура должен был ехать с нелегальным грузом. Мы торопились и успели. Шура уехал с первой партией наших листовок. Они предназначались для Москвы и Ленинграда. Конечно, ждала я его возвращения с напряжением. Поезд приходил поздно. Весь домик наш спал, когда я выбежала на его стук. Как-то необычно, как-то странно вошел Шура в комнату. Он, не смотря на меня, отворачивался, медленно снимал пальто. Не знаю что, но что-то страшное читала я на его лице.

— Шура, что, что случилось?

— Муси больше нет.

Я ждала всего, что угодно, но только не этого. Я не поняла фразы.

— Как нет? Что значит НЕТ! Опустившись на стул, Шура плакал.

— Ее забрали в НКВД? — спасала я себя какой-то надеждой.

Он отрицательно покачал головой. Не веря себе, не веря ему, я произносила самое страшное слово, которое он не решился произнести: «умерла»? Умерла... Я не верила тому, что говорила, и знала, что это так. Прошлое воскресенье Шура привез такие радостные вести о ней...

Слово за словом выжимал Шура из себя. Слово за словом обрушивалось на меня бездной отчаяния. Шура плакал, я не могла плакать.

Муся умерла в тот понедельник. Моя Муся умерла в тот час, когда я проснулась от ее крика, от ее печального, жалобного зова: «Мама!»

В прошлое воскресенье вечером Муся начала кашлять, хрипеть, потом задыхаться. В доме забеспокоились, всполошились, сбежали в аптеку, стали вызывать скорую помощь. Безрезультатно. Девочке становилось хуже. В 6 утра, как только появилась возможность, ее снесли в детскую амбулаторию, оттуда с диагнозом — круп — немедленно отправили в больницу. В больнице врачи сказали «поздно», но по настоянию бабушки попробовали сделать операцию. Муся умерла в 7 утра. Последние часы она не могла уже ни говорить, ни плакать. Она жалобно смотрела на бабушку.

Я не смогла плакать, отчаиваться. Никто не должен был знать, что я потеряла ребенка и как потеряла. В ушах моих звучали ее слова: «Мама, вы с папой никуда не уедете?» А мы — уехали. Перед глазами стояли ее протянутые руки из вагона поезда.

Дома я брала в руки Мусину фотокарточку и смотрела на нее. Видела же я Мусю не такой, как на карточке, — во всех других видах, позах, живая стояла она передо мной. И я откладывала карточку. Застывший образ мешал мне видеть ее живой, многообразной, изменяющейся, то плачущей, то смеющейся.

И на всю жизнь я поняла тогда, что фотографии только заслоняют собой живую память о человеке. Они нужны посторонним, не видавшим, не знавшим, не помнящим.

Еще острее я поняла это, когда Шурина мать прислала мне фотографию Муси в гробу. Только не это. Только не так...

Как могли, жили мы с Шурой. Как могли, ходили на работу. Переехали на новую квартиру. Как могли...

В следующую субботу мы сделали то, чего не должны были делать. Мы оба поехали в Москву. Мы поехали к Шуриным родным. Я должна была увидеть Шурина мать.

Как мы приехали, как мы пришли... Знаю, что там, у родственников Шуры, была его мать, была моя сестра. День этот был, как в тумане. Только одно я помню, только одно не прощу людям. Сказал это один человек, а думали так многие.

Я не плакала, слушая рассказ Марьи Михайловны. У меня не было слез. Шура плакал. Он сидел, согнувшись у стола. Из глаз его текли слезы. Шурина мать вытирала их платком. И его дядя сказал:

— Что же ты плачешь теперь? Сперва сам бросил ребенка, а теперь плачешь?

— Шура, уйдем. Ради Бога, уйдем! — просила я.

Но мы не ушли. Нас схватили за руки, нас стали уговаривать. Мать Шуры и сестра нас удержали. Мы были там еще какое-то время, но мы замкнулись в себе.

Арест

Первая партия листовок ушла, мы готовили вторую. За нею к нам должны были приехать.

Днем мы были загружены служебной работой, по ночам печатали листовки. Мы изматывали себя до отказа. Это спасало нас от тяжелых, мрачных дум.

Был апрель. Ночь лунная, теплая. Часов около двух мы затушили лампу, улеглись. Мы еще не уснули, как внимание наше, всегда настороженное, привлек шум машины. В нашем глухом маленьком переулке машины ночью? Шум заглох у нашего дома. Мы сели на кровати. Мы уж знали, в чем дело.

В парадное застучали. В доме жили не мы одни. Не зажигая лампы, ощупью, уничтожал Шура кое-какие бумаги, адреса. Стук повторился раз, другой...

Он, очевидно, разбудил соседей. Мы услышали шаги, скрип двери. Вопрос и ответ: «Телеграмма». Мы спешно одевались. Сомнений у нас не было. Прятать нам было нечего — ни шапирограф, ни толстые пачки листовок не спрячешь, не уничтожишь.

— Восемь месяцев продержались мы с тобой, Катя.

Стучали уже в дверь нашей комнаты: «Получите телеграмму».

— Собственно, она нам не нужна, — сказал Шура, открывая дверь.

Пять человек ворвались в комнату. На пороге остановился шестой, наш сосед по квартире. Его взяли, как понятого, присутствовать при обыске. При взгляде на него мы с Шурой невольно улыбнулись. Во все время обыска с лица понятого не сходило выражение страха и любопытства.

Заслонив собою дверь, как будто мы могли сбежать, один из пришедших — полный представительный коренастый человек в штатском, — спросил, обращаясь к Шура:

— Ваше имя! отчество и фамилия?

Шура сказал: — Федодеев, Александр Васильевич.

— Ваше? — спросил он меня.

— Екатерина Львовна Олицкая.

— Очень хорошо, что сознаетесь.

— Предъявите, пожалуйста, ордер, — перебил его Шура.

— Пожалуйста, — и человек в штатском протянул две бумажки.

Ордера были выписаны с указанием двух фамилий.

— Пройдите в переднюю, — сказал он мне. — Необходим личный обыск. Я вышла. Два конвоира вышли следом за мной.

Женщины с ними не было. Обыскивали они меня очень поверхностно. И мы вернулись в первую комнату. Там все уже было разворочено, разбросано. Поднимали полы, простукивали стены. Не касались одного — наших чемоданов, стоявших на виду. Их ошеломило наше жильё. Вещей-то, собственно говоря, не было. Очевидно, они думали, что в чемоданах белье...

Не только мы были фальшиво живущими людьми. Фальшиво было все — наша квартира, наша обстановка. Стоило притронуться к ней, как все полезло наизнанку: из-под занавесок, салфеточек, скатертей вылезали пустые деревянные ящики. Даже кровать, когда с нее сдернули одеяло, оказалась лишенной тюфяка и подушек. Вместо тюфяка — наше пальто, вместо подушек наволочки с бельем.

На их заявление:

— Скромно живете! Шура ответил:

— Пожалуй, не будете утверждать, что продались международной буржуазии.

— Очевидно, не придется, — сказал толстяк. В это время один из обыскивающих взялся за чемодан.

— Не ломайте замок, — сказал Шура и подал ключ.

Листовки, шапирограф, груды бумаги и желатин были извлечены на свет.

— А это что? — торжествующе спросил человек в штатском.

— Что видите, — ответил Шура.

Наш сосед, понятой, аж приподнялся на стуле и заглянул в листовку. Толстяк грозно взглянул на него и прикрыл листовку портфелем. Улыбаясь, Шура сказал, что понятой обязан знать, что взято при обыске. Толстяк только сверкнул глазами, понятой же поник и, казалось, что он совсем врос в свой стул. Но толстяк сделал просто. Пренебрегая правилами обыска и протоколирования, он предложил понятому удалиться. Не поднимая глаз, тот вышел. Тогда толстяк начал заниматься листовками, просматривая их, подсчитывая листы. Протокол был прост. Изъято при обыске: шапирограф один, листовка № 1 — 50 штук, листовка № 2 — 50 штук, глицерина — 1 флакон, желатина листов Н., бумаги листов Н.

— Собирайте свои личные вещи каждый отдельно.

Собраться нам было недолго. Каждый из нас взял по пустому теперь чемодану и засунул в него свое барахло. Положение чекистов было хуже. Куда упаковать изъятое?

— Вы разрешите уложить все это в ваш туалетный столик? — не без сарказма ткнул толстяк в валявшийся на полу ящик.

— Пожалуйста.

Когда все было упаковано, он предложил сопровождающим его людям взять наши и изъятые у нас вещи и рукой указал на дверь.

От нашего дома до вокзала было очень близко. Все же эти несколько метров мы проехали на машине. На перроне вокзала нас с Шурой разъединили. Толстяк с Шурой вошли в один из классных вагонов, меня другой сопровождающий любезно посадил в соседний вагон. Проводнику он предъявил два билета. В вагоне он предложил мне занять место у окна, сам устроился напротив. Никто из пассажиров не обратил на нас внимания. До самой Москвы мы оба будто спали. В Москве спутник повел меня какими-то запасными путями. После вагонной духоты я жадно дышала свежим воздухом. Мне нравилось идти вдоль уходящих куда-то рельсовых путей. Я ведь знала, ждет меня тюремная камера. Мы прошли через узенький дворик, через какую-то калиточку вышли на улицу. И сразу попали в толпу пешеходов. Мой спутник предложил мне остановиться у калитки. Он напряженно осматривался. Получилась неприятная для него накладка.

У калитки его должна была ждать машина. Ее не было. Мы ожидали. Не из приятных было у него положение. Отойти от меня он не мог. Двигаться в густой толпе тоже было неудобно. (Пропущена одна строка — прим. перепечатав.) Он нервничал. Он не знал, что я не собираюсь бежать, что бежать мне некуда, Я спокойно шла в толпе, он неотступно следовал за мной. Так шли мы до первого переулочка. Свернув за угол, мы снова стали. На его счастье довольно скоро вынырнула из-за угла пустая легковая машина. Он остановил ее. Шофер не хотел брать пассажиров, но ему пришлось уступить при взгляде на предъявленный документ. Мне же предстояло еще одно удовольствие — в открытой машине пересечь всю Москву.

Сперва я не знала, куда меня везут, но вскоре догадалась, что мы едем к Бутыркам. И перед нами выросли ее стены. Ворота открылись, машина въехала в тюремный двор. Выйдя из машины, мы пересекли двор и вошли в здание тюрьмы — огромное, залитое электрическим светом помещение. Всюду надзиратели группами и толпами. Очевидно, утренняя пересмена.

10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ

Под следствием в Бутырках

Один из надзирателей двинулся к нам, ему передал меня мой спутник. Путь мой был недалек: тут же, в нижнем этаже щелкнул замок одной из многочисленных камер. Камера, в которой я очутилась, так поразила меня, что я не услышала поворота ключа за собой. Длинная, узкая, без окна. Стены до половины окрашены в коричневый цвет. Вдоль стены длинные, тоже коричневые, деревянные нары. Камера освещалась лампочкой, пропущенной с коридора высоко над дверью. Из камеры отверстие было затянуто проволочной сеткой. Удивительное дело, нет обязательной параша! Я застучала в дверь. — Дайте парашу!

— Здесь не полагается, — последовал ответ. — Подождите минуту, сейчас пустим в уборную.

Я услышала в коридоре характерный стук ключа о пряжку пояса — условный сигнал Бутырской тюрьмы: «Внимание, заключенный выпускается на коридор!»

Уборная была близко. Она тоже поразила меня множеством стульчаков, кранов для умывания. Где я? Очевидно, не в одиночном корпусе.

Вернувшись в камеру, я занялась осмотром стен. Много имен и фамилий было нацарапано на них, все незнакомые. Но вот эсер Сорокин, пять лет на Соловки. А мы-то думали, что после нас там не будет политических! Я нацарапала свою фамилию и дату ареста. Пусть стена кому-нибудь передаст ее. Потом я ходила по камере. Долго ходила. Я не знала, день сейчас, вечер или ночь. За последнее время я очень устала от непрерывного нервного напряжения. Теперь все — не надо ни к чему стремиться, ничего добиваться. Лечь вот на эти деревянные нары и отдыхать. Так я и сделала — легла и заснула. Разбудил меня поворот ключа.

— Олицкая, к следователю!

Пройдя длинным рядом коридоров, я вошла в кабинет к следователю. За прекрасным письменным столом, в светлой просторной комнате сидел толстяк, производивший у нас обыск. У стола — два кожаных кресла, у стены — кожаный диван, на полу ковер, на окнах занавеси. Движением руки следователь предложил мне сесть на стул, стоявший против него у стола.

— Вы, Екатерина Львовна, наверное, устали и хотите есть?

— Устала не очень, а есть хочу. Мне еще ничего не давали.

Следователь нажал кнопку звонка и попросил надзирателя принести завтрак. Вынул из ящика пять пачек папирос, коробку спичек и передал мне.

— Вы ведь курите? У нас здесь с этим неважно. Одну коробку он открыл и поставил передо мной. Мы оба с удовольствием закурили.

— Прежде всего, хочу представиться. Я — Ш., буду вести ваше дело. С вашим мужем мы уже побеседовали. Кстати, все ваши деньги переведены на его лицевой счет. Он просил половину перевести на ваше имя, в ближайшее время я это сделаю.

В кабинет вошла молодая женщина в белом фартуке, белой наколке на голове. На подносе она несла завтрак — стакан чаю и три тарелочки с едой.

Французская булка, нарезанная кружочками колбаса, ветчина и халва.

— Неплохо питаетесь, — сказала я.

— Да, у нас буфет неплохой, — согласился Ш.

— Мы оба с вами устали, Екатерина Львовна. Следствие я начинать не буду, но мне надо кое-что уточнить. Вы не отказываетесь от того, что все отобранные мной при аресте вещи принадлежат вам и вашему мужу Александру Федодееву?

— Федодеев, — сказала я, — будет говорить сам, а я признаю, что все изъятое, занесенное в протокол, подписанный мною, принадлежит мне.

— И вы не отказываетесь от содержания листовок? Оно ведь знакомо вам?

— Я признаю, что содержание изъятых у меня на квартире листовок отражает мое мнение.

— Ну, на сегодня все. Можете идти, отдохайте. Я встала, забрала со стола папиросы и спички, сказала:

— Вы предупредите, чтоб папиросы пропустили в камеру?

— Да-да, конечно.

Из кабинета следователя надзиратель повел меня другой дорогой. По железной лестнице мы поднялись на второй этаж, свернули в... *(Пропущена одна строка — прим, перепечатаваемого.)*

У одной из дверей надзиратель остановился. К нему подошел дежурный по коридору, отпер дверь, и я очутилась в нормальной тюремной камере. Довольно просторная, она освещалась высоко под потолком расположенным зарешеченным окном. Койка, тумбочка, стол, параша... В углу — калорифер центрального отопления. На дверях — правила тюремного распорядка. Теперь я почувствовала, что попала на место.

Я рада была тому, что я в одиночке. Дверь еще раз открылась. «Личный обыск». Еще раз: выдали подушку, простыню, полотенце, две миски, ложку, кружку, чайник. Все. Теперь потекут дни следствия. Долго ли продлятся они?

По закону следствие должно быть закончено в течение двух месяцев. Сколько же продлится мое?

В тюремной одиночке от двери к окну всегда стертая, протоптанная шагами арестантов дорожка. Часто арестанты ведут счет шагам. Ходьба — успокоение. Единственно доступное им занятие. Многие эки ставят перед собой задание — вышагать за день определенное количество шагов. Шагают с утра в ожидании оправки, шагают перед обедом и ужином, пока не послышится в коридоре гроыхание посуды, шагают после вечерней оправки, ожидая сигнала ко сну. В подследственной одиночной камере эку нечем занять время. Особенно пусты дни, пока следователь не разрешит пользоваться книгами тюремной библиотеки. Раз в декаду библиотекарь обходит камеры. Одна книга выдается на десять дней.

И я ходила взад-вперед по камере. Первые дни заключения, когда много свежих впечатлений от воли, когда есть о чем напряженно думать, время проходит быстро.

Между моим первым и вторым арестом протекло восемь лет. Следа не осталось от былой романтики восприятия тюрьмы. Какую позицию займет следователь? Мое поведение на допросах было для меня ясным! Мне мучительно хотелось знать, как проследили нас. С какого времени мы попали под наблюдение. Арестован ли еще кто по нашему делу. Была ли оставлена засада в нашей квартире. У нас с друзьями, которые должны были приехать за ли стовками, было условлено — только при виде свечи, стоящей на окне, входить в дом. Свечу я уложила в чемодан, взятый при аресте.

В ходе допроса я могла бы установить кое-какие детали. Может быть, проговорится следователь. Но в конце концов, это — праздное любопытство, а каждое мое слово может быть использовано следствием при допросах других. Слово — серебро, молчание — золото. Слава Богу, меня взяли с листовками, политическая позиция моя ясна без всяких слов.

На допрос меня вызвали скоро, чуть ли не на следующий день, вернее, на следующую ночь. Все допросы всегда почему-то проводились ночами.

Допрос вел Ш. Держал он себя очень корректно. Осведомился о здоровье, сообщил, что внимательно ознакомился с нашими листовками, и хотел бы теперь побеседовать со мной по ряду вопросов. Я ответила, что никаких бесед в следственном кабинете вести не буду, что моя точка зрения достаточно освещена в имеющихся у него материалах. На его вопрос, что мы собирались делать с листовками, я сказала «складывать в чемодан». И он и я понимающе улыбнулись. На вопрос о том, где мы достали желатин, я честно ответила, что купила его в серпуховском продмаге. Следователь мне не поверил. Он спросил, где мы достали печать для заверки удостоверений. Я опять честно ответила, что печать поставили в Рязани, в райисполкоме. Следователь снова не поверил.

С полчаса просидели мы друг против друга, любезные, корректные, потом он сказал:

— Давайте запишем в протокол, Екатерина Львовна, что от дачи показаний вы отказываетесь.

Я согласилась.

По подписании протокола, следователь спросил у меня, нет ли каких претензий к тюремному режиму. Претензий нет, но я попросила разрешение на получение книг.

— Как! Разве вы не пользуетесь тюремной библиотекой? Обязательно сообщу.

В это время где-то за стеной раздался крик, отчаянный крик мучаемого кем-то человека. Я вздрогнула, взглянула пристально на следователя.

— Ах, это допрашивают валютчика. С ними, знаете, иначе нельзя. — Но все же он нажал кнопку звонка и появившемуся на пороге надзирателю сказал: — Скажите, чтоб там прекратили.

— Значит, все же рассказы о том, что творится в ваших застенках... Следователь перебил меня:

— Я вызову вас в ближайшие дни для вручения обвинительного заключения. Пока вы можете идти.

И снова позвонил и передал меня вошедшему надзирателю. Я ушла от следователя, не узнав ничего, буквально ничего о моем деле.

И потекли дни, один за другим... Я получала книги. Библиотекарь выдавал мне пять книг на декаду.

Библиотека бутырской тюрьмы была очень богатая. Странно, ее почти не коснулась чистка. Я получала такие книги, которые на воле достать было нельзя. Каталога, конечно, не было, но я просила библиотекаря приносить мне книги по определенным вопросам, и он приносил. Читением я была обеспечена. Кроме книг я получала тюремный паек и пятнадцатиминутную прогулку.

На прогулочном дворе я гуляла одна. Я пыталась стучать в стены, на стук никто не отвечал.

Прошел месяц, прошел другой. К следователю меня тоже не вызывали. Плохо было то, что на счет мне деньги так и не перевели. Следователь не выполнил своего обещания. К тюремному пайку я не могла ничего прикупить — ни папирос, ни спичек. Я, правда, получала политпаек — тринадцать папирос и десять спичек на день. Я ими обходилась, — спички я научилась колоть надвое.

Плохо было с бельем. В камеру я пришла без единой вещи. Мне приходилось кое-как стирать мое белье в бане, высушивать на калорифере. Но я зарядилась терпением. Я не позволяла себе думать о личном, о прошлом, о будущем. Много времени уделяла я изучению немецкого языка.

В начале третьего месяца меня вызвали из камеры. Я была уверена, что меня ведут, чтоб объявить мне приговор. Я была почти уверена, что мне объявят срок заключения пять лет. Я слышала еще раньше, что людям с нелегального положения дают такой срок. Я была готова к нему.

Переступив порог следовательского кабинета, я увидела своего следователя и рядом с ним Шуру. Шура сидел за столом против следователя. Выглядел он очень плохо, это бросилось мне в глаза сразу.

Я стремительно прошла через кабинет к нему. Шура поднялся мне навстречу, мы крепко пожали друг другу руки. Но следователь вскочил и почти развел наши руки.

— Садитесь здесь, — указал он мне на стул против Шуры по другую сторону стола. — Ваш муж просил у нас свидания с вами. Так как следствие по вашему делу, собственно, закончено, мы решили удовлетворить его просьбу и предоставить вам получасовое свидание.

Я смотрела на Шуру, — бледное, землистое, отекшее лицо...

— Ты голодал? — спросила я.

— Это неважно. Как видишь, я чувствую себя хорошо.

— Сколько дней?

— Одиннадцать, — ответил Шура.

— Вам не для этого предоставлено свидание, — перебил нас следователь. Шура заговорил очень быстро.

— Я очень беспокоился. Ведь ты сидишь без денег, без выписки продуктов. Следователь обещает перевести деньги с моего лицевого счета.

— А ты?

— Я получаю посылки от матери. «Значит, о нашем аресте знает Марья Михайловна», — мелькнуло у меня в голове. Шура продолжал.

— Следователь заверил меня, что следствие скоро будет закончено. Тогда нам дадут длительное свидание. Пока мне обещаны книги и газеты.

— Ты все время сидел без книг?

— Да.

Сергей Сидоров

Не помню, о чем я спросила Шуру, но кто-то из-за моей спины вмешался, бросил реплику. Я быстро оглянулась. Я не заметила раньше присутствия четвертого в кабинете. На мгновение я встретила взглядом с человеком в чекистской форме, сидевшим за моей спиной на диване. Всего на одно мгновение встретились мы глазами, сидевший опустил голову, даже прикрыл лицо рукой. Тогда я не обратила на этот жест внимания. Я была увлечена беседой с Шурой. Мы пытались сказать друг другу что-то, понятное нам одним. Но когда свидание на ше кончилось, когда я вернулась в свою камеру и стала заново переживать все мелочи нашей встречи, меня встревожил вопрос: что за человек сидел за моей спиной? Почему его лицо показалось мне таким знакомым? Где я могла его видеть? Почему он закрыл лицо рукой?

Я не могла вспомнить. Когда я улеглась на койку и закрыла глаза, лицо незнакомца снова всплыло передо мной. Я всматривалась, всматривалась в него... и вдруг оно исчезло. На место его всплыло другое — лицо юноши, которого я знала восемь лет назад. Лицо под студенческой фуражкой, еще безусое. Я хотела взглянуть в него, но оба лица слились в одно. И я уже не могла себе представить ни того прежнего, ни сегодняшнего. «Сергей Сидоров», — вслух сказала я и села на койке. Я хотела, чтобы этот кошмар пропал, исчез, я хотела разделить, размежевать оба эти лица и не могла. Прошлое оживило во мне с такой реальностью, как будто это было вчерашним днем...

К нам домой, — ко мне, к Диме, к отцу — входит Сергей Сидоров. Он говорит пароль. Мы знаем, он послан к нам для вовлечения в эсеровскую группу. Сергей держит связь с ЦК партии эсеров. Он руководит работой группы, вербует новых членов. Из всей нашей студенческой группы при аресте удалось скрыться только Сергею. Мы гадаем, кто выдал нас. Мы подозреваем кого угодно, но не его.

За моей спиной в следовательском кабинете сидит человек. Он сидит так, чтобы на лицо его падала тень. При первом взгляде моем, он отворачивается и закрывает лицо рукой...

Я не в силах улежать, я вскакиваю с койки. Я отмечаю мои подозрения, но в памяти вдруг встает: Шура же сказал, «мой следователь — Сидоров».

Но Сидоровых так много, как я могла подумать! Я отгоняю мысли, я запрещаю себе так думать о Сергее, о юноше, с которым мы вели душевные беседы. Именно Сергей сообщил нам о расстреле на Соловках... Теперь я знаю, как были убиты на Соловках социалисты. Знает об этом так же точно и следователь по эсеровским делам Сидоров.

Только год спустя при встрече с товарищами я узнала с абсолютной достоверностью о тождестве двух Сергеев Сидоровых. Вслед за нашей группой Сидоров предал в 1925 году ЦБ эсеров. Был он уже в 1924 году предателем или стал им позже, будучи арестован? Разницы, собственно, нет. Но мне почему-то хочется верить последнему. Хотя едва ли тогда он смог бы занять пост следователя...

Голодовка

Переживания эти пришибли меня. Они легли таким гнетом на душу, что я оказалась выброшенной из полосы ровного, спокойного ожидания приговора.

Заявление следователя об окончании следствия по нашему делу оказалось ложным. Я понимала, никакого следствия по нашему делу не производится. Нас просто хотят взять измором. Деньги с Шурино-го счета на мой не перевели. Пятнадцатиминутная прогулка и однообразное питание привели к тому, что я потеряла аппетит и почти не притрагивалась к еде. Прошло ведь около пяти месяцев сидки. Белье мое и одежда изнашивались. Казенного женского белья в Бутырках не было.

В один из особо тяжелых дней я разругалась во время обхода с начальником тюрьмы и подала заявление о прекращении содержания меня на продовольственном режиме. Я требовала: газеты, часовой прогулки, права на переписку с родными, получения моих носильных вещей и (добиваться так добиваться!) свидания с Шурой.

В заявлении своем я указала, что по словам следователя следствие уже давно закончено, и я требую применения ко мне подследственного режима. В случае неудовлетворения моих требований, я приступаю к голодовке.

Я чувствовала, что слабею с каждым днем. Пусть же они там в следственных кабинетах поймут, что сломить меня им не удастся. Медленно терять силы и гибнуть за этой решеткой я не хочу.

Лучше ускорить события. Может быть, мне была необходима просто нервная разрядка. В общем, я подала заявление с указанием срока — семь дней. По истечении их я начала голодать.

Я отказалась от приема пищи. В камере произвели обыск. Отобрали курево, отобрали книги.

Через три дня в камеру пришел начальник тюрьмы. Он сообщил, что мне отказано в моих требованиях и что мне следует снять голодовку.

Теперь настроение у меня было хорошее. Я только рассмеялась ему в ответ. Ежедневно в мою камеру заходил врач. Он измерял температуру и предлагал принятие пищи. Я мало ходила по камере, больше лежала. На пятнадцатый день голодовки в мою камеру вошла сестра и надзиратель. Сестра объявила, что меня переводят в больницу.

Больница была расположена в нижнем этаже тюремного здания. По коридорам Бутырской тюрьмы я шла сама. На лестнице пошатнулась и сестра взяла меня под руку.

В больнице, не дав передохнуть, меня сразу завели в ванную комнату и предложили принять ванну. В ванне первый и пока последний раз в жизни я лишилась сознания. Очнувшись я в больничной камере на койке. Вокруг было чисто, светло. Постель была чистая, приятная. Рядом — тумбочка. Склонившись надо мной, стояла женщина-врач.

— Вы будете кушать?

Я отрицательно покачала головой.

— Вы очень слабы. Только чашечку молока.

— Уйдите, пожалуйста, из камеры, — попросила я ее.

— Это не камера, это палата больницы. Я врач, я говорю вам о вашем здоровье. Каждый день голодовки отнимает у вас год жизни.

Не отвечая, я повернулась лицом к стене. Я не чувствовала ни мук голода, ни других страданий. Мне хотелось только спокойно лежать. Я слышала, как закрылась дверь. Врач ушла. Через несколько минут дверь снова открылась, но я не повернулась на скрип. Тогда раздался мужской голос:

— Олицкая, вы в состоянии говорить со мной? Я обернулась, села на кровати. На стуле посреди комнаты сидел какой-то чекист.

— Что вам нужно?

— Я приехал, чтобы сказать, что ваши требования — невыполнимы, ваша голодовка — безнадежна. Неужели вы хотите умереть? Врач говорит...

Я перебила.

— Нет, я хочу жить, но в условиях, в которых вы меня держите, жить нельзя.

— Но мы не можем создать вам иной режим, пока не закончится следствие. Вы же сами затягиваете его, отказываетесь давать показания. К тому же голодовка, как метод борьбы, больше не существует.

— Как же вы пишете о голодовках политзаключенных в тюрьмах Европы? Только для нас вы отменили голодовку как способ борьбы? На минуту он осекся.

— Я пришел к вам, чтобы предупредить вас. Меня прислали, чтобы предложить вам снять голодовку. Иначе будет применено искусственное питание.

Злость, беспомощная злость охватила меня. Конечно, я была в их руках, конечно, они могли сделать со мной, что угодно.

— Вон из камеры! — закричала я. — Но если вы примените искусственное питание, то проводить его будете или в карцере, или свяжите меня. Я предупреждаю вас, я все разобью!

Чекист выскочил за дверь. В изнеможении опустилась я на подушки. И вдруг мне ясно представилась картина, происходившая в моей палате... Полный, лоснящийся от жира следователь, и перед ним в кровати взбешенная, истощенная женщина, изрыгающая дикие крики. Мне стало смешно. Я рассмеялась. Видимо за мной следили. Открылась форточка. Очевидно, там, за стеной, решили, что я сошла с ума. В камеру вошла врач.

— Надо покушать, — сказала она. — Ведь вы себя изводите.

— Нет, — ответила я, — это они меня изводят.

— Хотя бы кусочек сахара.

Она положила два кусочка на тумбочке возле меня и ушла.

Мне страшно хотелось запустить вслед ей этим сахаром. Но я удержалась. Пусть лежит. Ведь меня он не соблазняет.

Моя камера открывалась трое суток подряд в часы обеда. На тумбочку ставился стакан молока и блюдечко с сухарями. Минут через двадцать еда убиралась, сахар оставался лежать. Я уже не вставала с *койки*, но чувствовала себя неплохо. У меня ничего не болело, голова работала ясно. Боялась я одного — применения искусственного питания. Я придумывала, что делать, если его применят.

На девятнадцатый день голодовки в камеру вошел мой следователь Ш., и я как-то сразу почувствовала, что голодовка выиграна.

— Я уполномочен вам объявить, что мы нашли возможным удовлетворить ваше желание. Вы будете, начиная с сегодняшнего дня, получать «Правду». Вы получите получасовую прогулку. В очередной день передач с вами снесется Красный Крест и узнает, в чем вы нуждаетесь. Здесь для вас уведомление от Пешковой, — он положил на стол карточку, — так как тюрьма не обеспечена женским бельем, вам придет его Пешкова. Следствие по вашему делу будет закончено через две недели. Свидание с мужем мы сейчас дать вам не можем, просто исходя из вашего состояния.

Я задумалась. Мне самой было нежелательно показаться Шуре в моем теперешнем состоянии, но отказаться от вести о нем?.. А следователь говорил:

— Ваш муж здоров, он не думает голодать, он спокойно сидит и ждет приговора.

— Хорошо, — сказала я, — я отказываюсь от свидания, но вы передадите ему мое письмо и вручите мне ответ. Пока я не получу письма от мужа, голодовки не сниму.

Следователь опустил руку в карман, вынул блокнот, вырвал из него листок, протянул мне. Я написала: «Дорогой Шура, беспокоюсь твоим здоровьем, сама чувствую себя хорошо. Целую, Катя». Следователь взял у меня листок, прочел его и сказал: — Постараюсь доставить ответ как можно скорее.

Он ушел из камеры. Через час у меня на столике лежал очередной номер газеты «Правда», в руках у меня было письмецо — несколько строк, написанных Шуриной рукой. Вслед за письмом мне прислали стакан бульона, два крутых яйца и два белых сухарика.

Я вспомнила окончание голодовки в Соловках. Кормили меня не по Крониду. Сразу накормили всласть.

Жить стало веселей. Ежедневно мне присылали в камеру газету. От Пешковой я получила не только две смены белья и платье, но и продуктовую передачу — колбасу, масло, сахар, белый хлеб. Вернувшись из больницы в тюремную камеру, я получила получасовую прогулку.

Перевод на Лубянку-2

А время шло. Прошло две или три недели.

Однажды дверь моей камеры отворилась в неположенное время. Мне предложили одеться и вывели из камеры. Перед тюрьмой стоял «черный ворон». Везли меня долго. Из «ворона» я вышла во двор какой-то тюрьмы. Опять коридор. Тюрьму я узнала. Это была «Лубянка-2». Меня ввели в камеру до смешного похожую на мою прежнюю.

Зачем меня привезли сюда? Новый режим?.. Опять без книг, без газет, без прогулок. Во внутренней тюрьме ничего, конечно, не дадут. Я попыталась стучать в стены. Без ответа. Тишина. Я не думала, что во внутренней тюрьме меня продержат долго. Допросят несколько раз и назад, в Бутырки.

Я убивала время, как могла. Лепила из хлебного мякиша шарики, колечки, звездочки... Вспоминала и повторяла отрывки из стихов, какие только приходили в голову. Выдумывала продолжение судеб героев прочитанных книг.

Как-то в ожидании обеда я сидела на койке. Неожиданно отворилась дверь. Вошли двое. Маленький, щупленький, тоненький быстрыми шагами прошел в камеру. Второй, старший, я его уже узнала, остановился у дверей.

— Я начальник внутренней тюрьмы ОГПУ. Прошу встать, — отрапортовал тонкий.

Я удивленно смотрела. Такого со мной еще не случалось. По традиции еще с царских лет политзаключенные не вставали при входе начальства. Ко мне до сих пор не предъявляли такого требования. Пораженная, не успев подумать, подняв удивленно брови, я сказала:

— Ну, положим, я не встану.

Не успела я закончить свою фразу, как начальник круто повернулся и пошел к двери. В дверях он остановился и бросил надзору:

— На opravку из камеры не выпускать!

От изумления я раскрыла рот, а потом рассмеялась. Новая мера воздействия. Им уже нечего отнять у меня. Отнимают выливание и вымывание параши! Что ж, они сами будут ее выносить, что ли? И что я теряю от этого?

Вечером меня не выпустили на оправку. Не выпустили утром. И на следующий вечер. Я ходила по камере и улыбалась. Я сочинила стихотворение о начальнике, о параше, которая постепенно наполнялась остатками еды, водой и всем остальным. Я помню из него два куплета.

Ну, положим, я не встану.
А, хотите продолжать!
Надзиратель, запрещаю
На оправку выпускать!
Удивленно смотрит Катя
И не может разрешить.
Ты скажи, параша, сколько
Можешь дней в себя вместить?

Шутка превращалась в жизнь. Параша наполнялась. По моим расчетам емкости ее хватило бы еще дня на три. Я попросила дежурного надзирателя бумаги и карандаш для подачи заявления. Получив их, я написала моему следователю примерно так: «В связи с тем, что по распоряжению начальника внутренней тюрьмы меня не выпускают из камеры на оправку, и я не имею возможности вылить парашу, как только параша наполнится до краев, я вынуждена буду прекратить прием пищи, чтобы параша не проливалась на тюремный пол».

Улыбаясь, дала я свое заявление надзирателю. В тот же день меня вызвали к следователю.

— Что у вас там опять происходит? — спросил он меня.

— Ничего, кроме того, о чем я вам написала.

Следователь просил меня рассказать ему все подробно. Я предложила ему обратиться к начальнику тюрьмы.

— Но я не могу понять, чего вы требуете?

— Я ничего не требую. Не могу же я требовать права выливать парашу хотя бы раз в сутки.

— Можете идти, — сказал следователь. — Завтра или послезавтра я вызову вас на допрос. Через полчаса или через час после моего возвращения в камеру меня выпустили с парашей в уборную. Через неделю, в очередной обход начальника, ни он ни я не упомянули о происшедшем. Только через три недели меня вызвали на допрос. К удивлению, я увидела за столом не моего следователя, а какого-то совсем молодого человека. Допрос он вел грубо, какими-то окриками.

— Кто кроме вас и Федодеева входил в группу? Кто вам оказывал содействие при побеге?

Довольно спокойно я ответила, что у моего следователя запротоколирован мой отказ отвечать на подобные вопросы.

— Я заставлю вас ответить! — крикнул он, стукнув кулаком по столу.

— Кричать я умею не хуже вашего, — сказала я. — В таком случае я с вами разговаривать не буду.

Внезапно зазвонил телефон. Следователь вызвал конвоира и велел отвести меня, заявив, что допрос продлится завтра.

Дрожа от возмущения и злости, вернулась я в камеру. Ни завтра, ни послезавтра меня на допрос не вызывали. Через неделю меня снова перевели в мою бутырскую одиночку. Я снова получила газеты, книги, передачи Красного Креста. Для чего меня возили на Лубянку?..

Снова в Бутырках — в общей камере

Одиннадцать месяцев просидела я в одиночной подследственной камере. Я привыкла к своему одиночеству. И когда надзиратель как-то вечером пришел и сказал, что меня переводят в другую камеру, я не захотела идти. Надзиратель успокаивающе сказал: Да вас в общую.

Вот этого я-то и боялась.

Я не верила в возможность встретить в тюрьме товарищей, политзаключенных-женщин. Попасть к спекулянткам, к уголовным — я не хотела. Я потребовала вызова старшего. Ждать мне не пришлось. Старший был в коридоре.

— Придется вам пойти. Камера ваша нужна. Мы все крыло ремонтируем. Да и переводят вас к людям хорошим.

Старшие за одиннадцать месяцев присмотрелись ко мне. И он уговорил меня идти. Он обещал принять мое заявление к начальнику. Я собрала свои вещи. Из камеры бралось все — и тюфяк, и

одеяло, и книги, и газеты. Мы прошли недалеко. Спустились этажом ниже. Вещи нес старший. Я несла книги и газеты.

Камера, в которую я вошла, была точь-в-точь такой, как моя. Но стояло в ней четыре койки. И сидели две женщины. Две койки были застланы. На одну из свободных положила я свой узел. Положив газеты и книги, я повернулась к старшему:

— Давайте бумагу для заявления.

Он подал мне бумагу и карандаш. Мысленно я уже писала заявление — или приговор или одиночка — в общей подследственной камере я сидеть не буду.

— Газету вы завтра принесете мне сюда?

— Да, — ответил старший и ушел.

Тогда я обернулась к своим сокамерницам:

— Давайте знакомиться. Я — Олицкая. По делу эсеров. Молоденькая, приятная на вид женщина, сказала:

Я — Мара Ловут. Старушка промолчала.

— Вы по какому делу? — спросила я. Теперь промолчали обе.

— То, в чем обвиняет следователь, вы смело можете говорить... Меня перебила старушка.

— А вы по какому?

— Я — эсерка. Взята после побега из ссылки с нелегального положения одиннадцать месяцев назад...

Старушка только пожевала губами.

— Где же вы были эти одиннадцать месяцев? — спросила Мара.

— В Бутырках в одиночке. Возили на месяц во внутреннюю.

— И газеты получаете на подследственном? — спросила старушка.

— Получаю после голодовки, — ответила я.

Старушка замолчала. И тут я поняла, что мои сокамерницы относятся ко мне с подозрением. Я разостлала постель и села на койке писать заявление.

— А нам бумагу для заявления дают только в день обхода, — сказала Мара.

— Я потребовала сразу, когда объявили о переводе. Я не буду сидеть в общей камере, я требую одиночку.

— Разве одиночки лучше? — удивилась Мара.

— Мне лучше.

— Вы сказали, что вы эсерка, — спросила старушка. — А где вы были раньше?

— На Соловках, потом в Верхне-Уральском полит-изоляторе, потом в ссылке в Чимкенте.

А я здесь в Бутырках тоже с одной эсеркой встретилась. С Колосовой.

— Колосова арестована?! — я подскочила на койке. — А ее муж?

— И муж тоже.

— Но за что? Ведь Евгения Евгеньевича ни разу не арестовывали с 1917 года. Он вел легальную литературную работу.

Старушка попросила меня рассказать о Соловках. После одиночного заключения мне приятно было говорить. Но старушка быстро перебила меня.

— Кого вы лично знали на Соловках? Мне почудилось, — допрос с пристрастием, — но об этом я могла говорить.

— Разве всех перечислишь, — улыбнулась я. — Иваницкий, Мухин, Фельдман, Тарасов...

— Тарасов — мой муж, — сказала старушка.

— Борис Растович? — я сидела уже у нее на койке и пожимала ей руки. Теперь, верит она мне или нет, я могла говорить о прошлом без конца. Я хотела знать о Борисе Растовиче. Когда я назвала фамилию моего мужа, оказалось, что Тарасова знает Шуру. Наш разговор перебил надзиратель. Он просил вернуть карандаш и сдать заявление. Карандаш я отдала, заявление на его глазах порвала и бросила в парашу. Я решила остаться в камере. Мне показалось, что надзиратель усмехнулся. Чёрт с ним, я спешила вернуться к разговору с Тарасовой.

От нее я узнала о больших арестах весной 1932 года. Арестовано много старых эсеров, никогда не арестовывавшихся при советской власти, спокойно, легально живших в Москве и работавших: Колосов, его жена, Ховрин и др. Тарасова говорила, что арестовано много сотрудников Красного Креста, помогавших Пешковой в ее работе. В числе последних была и Тарасова. Причина ареста непонятна, ей обвинение до сих пор не вручено, хотя она сидит уже

почти полтора месяца. Мы разговаривали, а Мара сидела в стороне на своей койке, грустно опустив голову. Нам стало жаль ее, мы решили и ее втянуть в разговор. И мы перешли на тюремные дела.

Мара и Ольга Петровна перед моим приходом собирались есть тюрю. Сухари, высушенные на калорифере, они натерли чесноком, полученным в передаче, и залили кипятком. Теперь мы уселись над миской. Я никогда не любила и не ела чеснок. Они меня уговорили; иначе же мне будет неприятно чувствовать запах чеснока. Я попробовала тюрю и упрекнула их в надувательстве. Мне так вкусно пахло чесноковой колбасой, а вкуса колбасы во рту не было.

Тут же я узнала о Маре Ловут. Мара была правоверной коммунисткой. Она твердила о своей верности и преданности генеральной линии партии. В тюрьме это звучало несколько странно. Мару обвинили в троцкизме. Арестовали ее в связи с арестом ее подруги Хели Марецкой. От Мары я узнала о больших арестах среди членов компартии. Дело, которое ей вменялось, было связано с делом Стецкого и Марецкого. Мара уверяла, что никогда ни в какой оппозиционной группировке не была, и в то же время не верила в свое освобождение из тюрьмы. Удивительно.

Следователь на допросах запугал ее вконец. Очень красочно рассказала Мара о своем появлении в тюрьме. Она никогда и не помышляла о тюрьме:

Когда меня ввели в камеру и заперли дверь, я осталась стоять у порога. Потом вошла эта ужасная женщина и велела мне раздеться. Я не могла. Она сама стала снимать с меня все: и рубашку, и чулки. Она распустила мои волосы, заглянула в уши, в зубы... Я вся дрожала от стыда, от ужаса.

Обыск кончился. Женщина ушла. Прямо на голое тело надела Мара пальто, надвинула на голову кепку и села на койку. Так просидела она до утра. Утром к ней в камеру внесли щетку и велели подмести камеру. Но Мара не сдвинулась с места. Щетку унесли. Предложили идти на opravку. Мара не пошла.

— Если бы не Ольга Петровна, — говорила она, — я бы с ума сошла.

Ольга Петровна улыбалась. Бывшая каторжанка, она не испугалась тюрьмы. В камере мы вели с Ольгой Петровной только обычные разговоры о том о сем. Мы не хотели говорить при Маре. Не хотели и не могли. На прогулочном дворе мы оставляли ее одну, и кружа по дорожкам, отводили душу друг с другом. Я рассказала Ольге Петровне всю историю нашего с Шурой отъезда из «минуса», об отрицательном отношении товарищей к нашей попытке работать на воле. Ольга Петровна отнеслась ко всему сочувственно. Она призналась, что месяца два назад она, вероятно, осудила бы наши действия. Теперь же, в тюремной камере, сев ни за что, ни про что, она сочувствовала нам. Ей, старой каторжанке, импонировало то, что сели мы не впустую, что взяли нас с дела, пусть неудавшегося — провалы возможны всегда.

— Может быть, я говорю так сейчас, потому что все равно всех взяли, и тех, кто ничего не делал, спокойно работал и жил в ссылках и «минусах». Уж лучше садиться так, как мы.

Тарасова рассказала мне много о воле. Она рассказала и о Колосовых, с которыми была близка.

Мы с Тарасовой ломали голову над тем, что же вызвало волну новых арестов.

Маре Ловут первой из нас троих объявили приго вор — три года политизолятора. Она была в отчаянии. Ее товарка, Хели Марецкая, уже отбывала срок в Суздале.

Троцкисты в тюрьмах всегда отгораживались от нас. Мара говорила нам, что она не троцкистка, что она последовательница генеральной линии партии, что ее арест — роковая ошибка. Она общалась с нами, была приветлива, даже обещала нам, скрепя сердце, что если встретит кого из наших товарищей, передаст им о встрече с нами в Бутырках. О большем мы ее не просили. Мы были благодарны ей за это. Пусть товарищи знают о нашем аресте. Мара сдержала свое обещание. Попав в Суздаль, она сообщила о нас.

Этап в Суздаль

Наконец, настал и мой черед. Меня вызвали к следователю, и он объявил, что по постановлению ОСО приговариваюсь я к пяти годам содержания под стражей и для отбытия срока направляюсь в Суздальский политизолятор. Тут же следователь сообщил мне, что все мои личные вещи, хранившиеся на Лубянке, сгорели во время пожара, что до прибытия в Суздаль я должна выслать список с перечислением имевшихся у меня вещей.

— Что ж, — ответила я, — без вещей легче на этапе будет.

— Деньги ваши переведены все на счет Федодеева. Так как вы едете вместе, перевод делать нет смысла.

Я не шла, а как на крыльях летела в нашу камеру рассказать обо всем. Теперь все пошло быстро. Для проформы меня вызвали к врачу. И прощай Бутырки, прощай Москва!.. С грустью простилась только с Тарасовой. Потом я узнала, что она пошла в ссылку.

В «черном вороне» встретились мы с Шурой после года следствия. Шел апрель 1933 года. В «вороне», кроме нас не было никого. Но говорить о многом было нельзя — конвой за перегородкой.

В столыпинском вагоне нас рассадили по разным клеткам, но во всем вагоне нас было двое. Нас везли во Владимирскую пересыльную тюрьму, где пять дней мы должны были ждать этапа на Суздаль. Пять дней провели мы в известном Владимирском центральном. Шура — в мужской тюрьме, я — в женской. Мы получили по пять лет заключения. Год предварительного засчитывался. Значит — на четыре в Суздаль.

11. СУЗДАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР

В 1923 году старинная русская обитель, известный Суздальский монастырь, был использован ГПУ под тюрьму. Здесь раньше заточали важнейших государственных и церковных преступников. О заточении в Суздале я знала, конечно, из истории, о Суздале советских лет — слышала.

По приезду в Суздаль нас с Шурой сразу разъединили.

Толстые красивые кирпичные стены окружали монастырь. Чистыми усыпанными желтым песком дорожками повели меня в глубь огромного сада. После года, проведенного в камере, он казался мне сказочным. Зеленела трава, набухали почки. Там и тут по саду были разбросаны старинные здания. В одно из них завели меня. Был то тюремный каземат или монашеская келья? Помещение было крохотное. Может быть, полтора метра в длину, может быть, метр в ширину. Сводчатый потолок, толстенные стены. В одной из стен — узкое высокое окошечко, забранное ветвистой решеткой. За ним — гуща зеленеющих кустов. Окошечко было открыто. Все три часа, которые я провела в этой келейке, я простояла возле окна. В узкую щель его заглядывали солнечные лучи, лился весенний душистый воздух. От самой же кельи веяло каменной плесенью. Каково было людям, погребенным здесь на годы... Может быть, здесь была заточена жена Петра I, Евдокия.

Политизолятор — длинное, узкое, двухэтажное здание — было когда-то монастырской гостиницей. На юг смотрели окна камер, на север — окна коридора. По коридору нижнего этажа я и конвоир шли недолго. Миновав семь дверей, я вошла в восьмую, стоявшую открытой. Только решетка на окне, дверь с волчком, форточка с затвором напоминали о тюрьме. Камера — четырехугольная комната с огромной печью, глубоко выступавшей в комнату, с обычным комнатным окном... На стене у двери — умывальник, под ним на табурете — таз, рядом — помойное ведро с крышкой вместо параша. На двери — правила внутреннего распорядка. Я остановилась прежде всего перед ними. Ничего не изменилось с 1926 года. Такие же точно висели у нас в Верхне-Уральске. Я подошла к окну и залюбовалась. Зеленеть, деревья, цветы, трава... В отдалении, прямо против моего окна, стояла старинная высокая звонница. Где-то далеко за садом, за звонницей стены, окружавшей кремль (теперь стены тюремной ограды), золотом горели кресты на куполах, видны были колокола — большие и малые. Из моего окна не видна даже вышка часового.

Я знала, за стеной камеры — товарищи; кто неизвестно, но — друзья. Скоро я увижу их на прогулке. Скоро увижу и Шуру. Я беспрерывно бодрила себя. Весь этот год я не позволяла себе думать о Мусе. Но теперь, когда начиналась полоса ровной жизни, я не могла отогнать грустные мысли. Буду жить изо дня в день, а Муси — нет и никогда не будет.

Я стояла у окна и смотрела вдаль. Весь этот год я пыталась перестукиваться, узнать о соседях по камере. Теперь мне незачем стучать, я увижусь со всеми. Но стена передала стук — мелкую дробь вы зова. Я подошла к стене, дала ответную дробь. «У печки приложите ухо к стене», — стучали соседи. Четкими ударами в стену вели они меня, указывая место. Я приложила ухо. Нежданно-негаданно:

— Катюша, привет от всей камеры! К нам привели Шуру. Говорит Шолом.

Не знаю, чему я больше обрадовалась, соседству Шолома или тому, что Шура рядом. И вдруг — недоверие. А может, не Шолом? Пусть Шура у них, но откуда они знают, что я здесь? Вместо приветствия я требую к стене Шуру. Шурин голос... Шура говорит мне:

— Катя, через час будет прогулка. Обо всем договоримся. Как я рад, что с нами Шолом.

Стена умолкает.

Значит, и Шолом опять попал в тюрьму? За что? Из Верхне-Уральска он вышел позже, ссылку отбывал на севере, в Нарымском крае, потом был где-то в «минусе», жил с женой и детьми.

Теперь, когда все было ясно, все было просто, я почувствовала, как бесконечно устала я за этот год. Мне захотелось лечь на койку, закрыть глаза и уснуть, уснуть...

Но двери камер стали открываться. Сначала вдали, потом все ближе и ближе... Вкладывается ключ в замок моей камеры. Дверь открывается, перед ней люди — много людей, кажется мне. Впереди всех — долговязый Шура, рядом — маленький и коренастый Шолом, за ними — незнакомые грузинские лица. Все приветствуют меня, все жмут мне руки.

Надзор суетится:

Выходите на прогулку, там увидите, а то я двери закрою.

Чуть наискось от моей камеры — дверь на прогулочный двор. С шутками и смехом, как всегда, Шолом первый спускается со ступенек. Мы выходим во двор. Чуть отступив от дверей, мы снова останавливаемся, начинаем знакомиться. На нашей прогулке девять человек. Эсеры — Ховрин, Берг, Либеров, мы с Шурой; один социал-демократ, кажется, Комаров; один левый эсер, Брухимович; двое грузин: Дженория и Ихшиели; один из них — с.-д., второй — член Демократического центра, националист.

Шура просит, прежде всего, дать нам возможность побыть вдвоем, хотя бы минут пятнадцать. Ведь мы год не виделись со дня ареста — одни, без надзора.

Товарищи разбредаются по дорожкам дворика. Мы с Шурой обходим круг, другой... И у грузин терпения не хватает. В тюрьме так ждут свежих людей, с воли. Они завладевают мной. Я иду с ними, мы разговариваем, рассматриваем наш прогулочный двор. Они вводят меня в курс суздальской жизни, спрашивают о жизни на воле.

Дворик наш чудесный. Он совсем не похож на голую площадку верхне-уральского дворика. Здесь кольцом вдоль тюремной стены идет дорожка. Везде деревья, кустарничек, трава. Сирень! Два куста сирени, жасмин и — какая прелесть! — мои любимые нарциссы! На каждом шагу открытия! Вдруг целая грядка клубники! А рядом — помидоры, огурцы!.. Боже мой, теннисная площадка!..

Пока я смотрю во все глаза, Ихшиели объясняет мне:

— На нашем дворике три прогулки. Наша, социалистическая, и две коммунистические. Коммунисты в камерах над нами, во втором этаже, в камерах идущих за нашими по коридору. За стеной — еще прогулочный двор. На нем тоже три прогулки, одна коммунистическая и две социалистические. Я удивлена количеством троцкистов.

— Троцкистские прогулки никаких связей с нами не держат, через них нельзя послать даже тюремную почту.

Я узнала, что в Суздале и Хеля Марецкая и Мара Ловут. Из крупных большевиков сидит здесь Иван Никитович Смирнов. Интересный сосед у Ховрина. Он не отвечает на стук, на прогулку выпускается один, строго изолирован от всех. Говорят это — Рютин, переведенный сюда из Ярославского изолятора.

Где-то в стороне от нашего корпуса стоит старый корпус. Он весь заполнен троцкистами. Связи у нас с ними нет, но иногда вечерами они перекрикиваются с троцкистами нашего корпуса. В старом корпусе сидит брат И. Н. Смирнова. У троцкистов преимущество в режиме. Они могут получать в месяц десять писем, мы — только три.

Нашу беседу прерывает крик с соседнего двора:

— Привет!

— Привет! — орет Шолом, проходящий как раз мимо стены, разделяющей дворы.

— Кого к вам привели?

— Шуру Федодеева! Катю Олицкую! — орет Шолом.

— Катя, Шура, привет!

— Привет! — отвечаем мы.

Надзиратель спокойно ходивший вдоль корпуса, ускоряет шаг, спешит к стене. Он опоздал. Шолом размахивается... через стену перелетает мешочек с почтой. К мешочку для веса привязан камешек. Товарищи кричат приветствия, они получили почту.

Грядки на нашем прогулочном дворике разделены на три части. Каждая треть принадлежит одной прогулке. Грядка с клубникой общая, ею никто не занимается. Я беру над ней шефство. Интересно вызревают ли ягоды, вишни.

— Чуть розовеют, — говорят товарищи, — не хватает выдержки. Помидоры снимаем зелеными, делим между всеми и созревают они в камерах на окнах.

На нашем дворе сидел один эсер-агроном, страшный любитель своего дела. Он выращивал во дворе и получал в камере какие-то тончайшие сорта табака, мастерил ситечки, вороночки, и из купленного в ларьке молока изготовлял необычайный сорт сыра. Им интересовался Мичурин. К нему с запросами приезжали Андреева, Катанян. Наш дворик при нем имел вид опытного участка. С его уходом, по окончании срока, все заглохло. Одичала клубника, заключенные продолжали выращивать только помидоры. В камере соседей стояло лимонное дерево, выращенное ими из косточки лимона. Летом товарищи выносили лимон во двор. Ему было пять лет. В конце концов, заключенные вынуждены были отдать лимон начальству тюрьмы, в камере лимонустало тесно.

В середине нашего двора стоял деревянный столик, врытый в землю. Около него — две скамьи. Вокруг него собирались товарищи. Мне хотелось к ним. Я боялась обидеть грузин, но время шло. Я извинилась перед ними и ушла к своим. Грузины разошлись, по одному зашагали они по кругу. Они сидели десятый год. Каждый мерил шагами взад-вперед, взад-вперед прогулочный двор десятый год.

У столика Шура рассказывал товарищам нашу неудавшуюся попытку работать на воле и наше следствие. Мы отдавали себя на суд товарищей. Мы говорили об отрицательном отношении к нашей попытке товарищей в ссылках. Мы все-таки отстаивали свое мнение о необходимости при первой возможности переходить к делу. Шолом сразу и целиком стал на нашу сторону, он только вздыхал:

— Эх, Шура! связался бы ты со мной... Знал бы я... А то теперь, как олух, сиди ни за что, ни про что.

Старики колебались. Теперь, когда наша попытка окончилась неудачей, это было для нас уже много. Старики — Ховрин и Берг — были замечательными людьми. Очень разными.

Ховрин и Берг

Ховрин был интеллигент. Только в 1917 году, после революции, он вернулся с каторги. Он остался верен и прошлому своему и партии, но участия в революционной работе после 1917 года не принимал. Он весь ушел в научную работу. Еще будучи на каторге он полюбил север России, сроднился с ним. Все свое время он отдавал работе по освоению русского севера. До 1932 его не арестовывали. Он не воскуривал фимиам большевикам и не отрекался от своих политических взглядов, он вел научную работу, которую считал нужной и важной. Почему его арестовали теперь, в 1932 году, ему было неясно. Следствие не вменило ему никакого преступления, и все же полгода его продержали в Бутырках, а затем вынесли приговор — год заключения под стражей. И сам он посмеивался, и окружающие недоумевали, — что за «детский» срок? Было Ховрину пятьдесят восемь лет. Дома, в Москве, у него осталась жена, о которой он очень беспокоился. Она слала ему посылки, приезжала на свидания. Ховрин был серьезно, неизлечимо болен. С царской каторги вывез он сердечную астму. Приступы болезни были очень тяжелыми. Ховрина поместили в одиночку под особое наблюдение врача. Врач разрешил ему держать в камере сильнодействующие лекарства. Никто не опасался, что Ховрин может покончить с собой.

Сидел он стойко, бодро. Из Москвы он выписал в камеру свои рукописи, необходимые книги, и в камере продолжал научную работу. Шесть месяцев провел он с нами. Всегда спокойный, ровный, заботливый к товарищам. Больной, нуждающийся в особом питании, он принципиально сидел на тюремном пайке. При получении посылки он выносил ее всю на тюремный двор, делил поровну между всеми. Врачи запретили ему курить, но он курил, и много. Правда, только какой-то особый трубочный табак, который присылали ему из дома. Вся наша прогулка знала и уважала его. Уважала его и тюремная администрация, хотя ни с одним вопросом он к ней не обращался. Во время обхода камер начальник тюрьмы заставлял Ховрина всегда на ногах, но при входе его Ховрин не произносил ни слова. Как-то он долго не получал вестей от жены. Он беспокоился, не спал ночами, осунулся. Мы советовали ему обратиться с запросом к начальству. Но для себя Ховрин категорически отметал возможность обращаться к «ним», как он говорил, с чем бы то ни было. Как бы плохо ему ни было, он никогда не вызывал тюремного врача. Ховрин отбыл свой срок в Суздале. Мы все и он знали, что за изолятором последует ссылка. Мы все очень боялись за него, ему предстоял общий этап. А что такое общий этап знали и мы, и он. Мы стали его уговаривать, упрашивать потребовать спецконвоя, отказаться идти общим этапом. Старик был неумолим.

— Пусть делают свое дело, я с ними ни о чем говорить не намерен.

Он ушел от нас, ушел на этап. Через полтора месяца мы узнали, что *Ховрин умер на этапе, не дойдя до места ссылки.*

Ефрем Соломонович Берг, — высокий, худой, суровый с виду, с огромными жилистыми кистями — был сыном еврея-кантониста. Вырос он в Петербурге. На работу пошел мальчишкой. Ефрем Соломонович был резок и прям. Его сильный, чуть хрипловатый голос, его несгибаемо-строгие суждения изумительно сочетались с четкостью и бережностью в отношении людей. Проведший долгие годы в тюрьмах и ссылках, был он исключительно нежным, любящим семьянином и отцом. Когда он говорил о своей семье, о двух дочках, тогда уже взрослых девушках, складки на его лице расходились, и оно становилось мягким и добрым. В 1905 году Берг работал в подпольной организации эсеров на Путиловском заводе. Был арестован, в тюрьмах получил он и общее, и политическое образование. Знания его были глубоки и обширны. И только язык, склад речи выдавали его происхождение. Прекрасный оратор, сильным и выразительным голосом он говорил «лаборатория» и «колидор», и никак не мог отделаться от оборотов, к которым привык с детства. Он обычно не замечал своих ошибок, а если замечал, то очень сердился на себя. Несмотря на эти дефекты речи, именно ему было поручено произнести речь в 1918 году над могилой Плеханова. Ефрем Соломонович был членом ЦК нашей партии. Считанные месяцы провел он на воле после Октябрьской революции. Тюрьма сменялась ссылкой, ссылка — тюрьмой. Ему уже шел седьмой десяток, а он был живой, жизнерадостный. Он недолюбливал социал-демократов. Очень резко относился к левым эсерам. Но в тюрьме он не признавал никакой тюремной политики, внутрикамерных склок, полемик. В тюрьме он любил играть в домино и в козла. Во время игры увлекался, сердился, и так заразительно смеялся, как никто другой. О теоретических вопросах сегодняшнего дня Берг не любил говорить. Он разрешал их в себе и только для себя. Нам с Шурой казалось, что Ефрем Соломонович остро чувствует свою ответственность, как *бывший* цекист, боится своего авторитета в партийных делах. Будучи давно и длительно оторван от жизни, он не решался принимать определенные решения. У Берга, как у огромного большинства, срок был три года. Мы проводили его из Суздаля в ссылку. Кажется, в Мерв. Много позже я узнала, что *Берг там умер.*

Либеров

Значительно моложе их был Либеров. Ему было 42-43. Для меня и он принадлежал к старому поколению эсеров, людей, пришедших в партию до революции. Энергичный, живой, верящий в себя и неудержимо ждущий приложить свои силы к жизни, Либеров тяжелее других переносил тюремное бездействие. Он очень любил поэзию, пытался писать сам, но мне его стихи казались надуманными, осложненными образами и метафорами. Стоял он на самом левом крыле нашей партии, но к левакам не ушел. За многое осуждал он наших цекистов, многое ставил в вину партии. Он пересматривал, болезненно переживал пройденный путь. Часто во время прогулок я с интересом слушала его рассказы и выводы. Когда он говорил о прошлом, я слышала в его голосе и искренность и глубину.

— Наша партия первая заговорила о социализации земли. Это был ее основной лозунг, ее душа, ее конкретное отличие от всех других социалистических течений. И что же мы, рядовые работники, став у руководства земельными органами делали? Брали землю? Нет. *Мы натягивали вожжи и до предела сдерживали народное движение.* К нам являлись выдвинувшие нас крестьянские депутации: «Вы эсеры, осуществляйте вашу программу-минимум». А мы им должны были отвечать: «Ждать надо, братцы. Ситуация не та. Ситуация сложная». Упустили, не сумели, не оказались на высоте своих идеалов.

Либеров лично знал Фани Каплан, стрелявшую в Ленина. Он видел ее, когда она приехала с юга в Москву с решением совершить террористический акт. Либеров говорил мне, что партийное руководство не приняло ее предложения стрелять в Ленина, отклонило его. Либеров все же считал, что не было принято достаточно действенных мер, чтобы удержать Каплан. Каплан, по его словам, была энтузиасткой, чистой и устремленной натурой.

— Я никогда не стану большевиком, — говорил Либеров. — Я всегда останусь их горячим противником, но отказать им в том, что они знают, чего хотят, нельзя. Нельзя отнять у них кипучей деятельности, жизнеспособности и целеустремленности. Эх, — мечтал он, — уехать бы куда-нибудь на крайний север, на Новую Землю! Там жить и рабо тать. По крайней мере, дело бы какое-то делал, не коптил тюремные стены. Зря уходит жизнь, здоровье, силы, годы.

Шолом Брухимович

О Шоломе Брухимовиче мне трудно говорить. Если о других я знала, что говорю беспристрастно, то, говоря о Шоломе, я сознаю, что очень любила его.

Во время раскола партии Шолом ушел к «левакам». Он страстно обвинял партию, к которой при надлежала я, в совершенных с его точки зрения, ошибках: и все-таки я его очень любила, как человека, именно как человека. Горячий, и смелый, Шолом не поддавался все заволакивающей повседневности тюремного режима. Он не очень задумывался над всякими программными тонкостями, не лез в теоретики и лидеры. Своей рабочей башкой он разбирался в сложной цепи практических вопросов, интересов рабочего люда. Выше всего для него была личность трудящегося человека. Споры он любил и в спорах был горяч. Правда, он больше любил говорить, чем слушать собеседника. В повседневной жизни не было товарища, заботливой и участливей его.

*'

В революцию Шолом пошел еще совсем ребенком. Старшие братья Шолома принимали активное участие в революционном движении 1905 года. Шолому было тогда лет 10. Маленький еврейский мальчик помогал братьям, передавал записки, переносил листовки. Последние он запикивал в свои штанишки, становясь круглым, как пузырь. Штанишки обвисали под бумажным грузом. Раз он чуть не потерял и их, и листовки.

В 1905 году его братья были казнены. Как-то уже после их смерти, когда готовилась общая забастовка завода, мальчик услышал, что один из цехов завода бастовать не хочет. Он пошел снимать рабочих с работы. Залез на стол, иначе его вовсе не было бы видно, и произнес речь. Он говорил о чувстве товарищества, о единстве, о солидарности, о своих старших братьях, казненных за рабочее дело. К концу речи он заплакал. Слезами ли... но мальчик добился цели: цех забастовал.

После первого ареста, а 1918 году, Шолом бежал с этапа, засыпав махоркой глаза конвоира. На нашем прогулочном дворе Шолом держал связь с другими прогулками. Держать такую связь мы могли, только перебрасывая почту на соседний прогулочный двор. Над нами и рядом с нами сидели троцкисты. Они отказывались поддерживать нашу связь.

Около недели просидели мы с Шурой в разных камерах. Потом его перевели ко мне. Как в Верхне-Уральске, мы были вместе. Жили книгами, занятиями и газетными сообщениями. Они не веселили. Рос и креп фашизм. Франко. Гитлер.

Колосовы

Осенью, наверное, в августе, товарищи сообщили, что к нам на прогулку привели Колосова с женой. Еще по дороге в Суздаль, когда я сказала Шура, что Колосовы арестованы, Шура размышлял о встрече с Евгением Евгеньевичем. Колосов считался одним из крупнейших наших литераторов. Он работал по истории народовольческого движения. Был учеником Н. К. Михайловского. После 1905 года он жил в эмиграции в Италии. Туда он вывез весь архив Михайловского. Колосовым была выпущена большая работа о Михайловском.

Колосову было лет 55-56. Жене его 52. Оба они были глубоко возмущены своим арестом и возбуждены. Жили они в Москве совершенно легально. Ни с каким подпольем связаны не были. Он написал много работ, выпущенных Госиздатом: большую книгу о Шлиссельбурге под названием «Государева тюрьма», прекрасную книгу «Жуковский», содержащую описание жизни Жуковского в Шлиссельбурге и написанный им и найденный Колосовым роман, а также письма Жуковского своей невесте, книгу «Сибирь при Колчаке». Последняя работа Колосова, изданная за несколько месяцев до ареста, — «Народовольческая журналистика», — продолжала волновать его. При издании книге была предпослана статья Веры Фигнер. Последняя придерживалась по народовольческим вопросам иных взглядов, чем Евгений Евгеньевич, и он готовил новую работу с возражениями Фигнер. Эта его работа была сорвана арестом.

Шура спросил Колосова о его работе над архивом Михайловского. Мы сразу почувствовали, что задела его любимейшую тему. Евгений Евгеньевич рассказывал о своем знакомстве с Михайловским, о его привычках, костюме, манере речи. Колосов мог говорить о Михайловском часами. Возвращаясь в 1917 году из Италии на родину, Колосов не знал, какие судьбы ждут революцию, и весь архив Михайловского оставил на хранение у своих итальянских друзей. Узнав

об архиве, большевики захотели получить его. Итальянцы отказались выдать архив без соответствующих указаний Евгения Евгеньевича. В Суздальский политизолятор к Колосову приезжали Андреева и Катанян. Они просили его передать архив. Евгений Евгеньевич заявил, что если они пустят его в Италию, он будет разрабатывать архив и печатать его, но большевикам, идейным противникам Михайловского, архива он не доверит. Колосова получила срок два года. Колосов — три. Они рассказали нам о массовых арестах в стране, о повальных арестах среди бывших народовольцев и членов Общества бывших политических ссыльных и каторжан.

Убийство Кирова. Волна арестов

Что шли большие аресты, тюрьма чувствовала: поступали все новые заключенные. Как-то вечером постучал нам в стену Шолом. Обычно мы не перестукивались. Зачем? Увидимся на прогулке. Очевидно, что-то срочное. Шолом сообщил, что к ним в камеру привели Алексея Алексеевича Иванова.

Иванов входил в правительство, организованное группой правых эсеров в Архангельске (оккупированном тогда английскими войсками) вне связи с партией, независимо от нее. Позиции, занятые архангельским правительством, были осуждены партией. Все последние годы Иванов жил в Ленинграде. Работал, политикой не занимался. После пятнадцати лет мирной жизни, в 1932 году, его арестовали. За шесть месяцев под следствием его один или два раза привели на допрос и постановлением ОСО заключили в Суздальский политизолятор. Никакого состава преступления ему вменено не было. На все свои запросы о причинах ареста он получал объяснение, что сидит он не за какие-либо совершенные им преступления, а в связи с «политической ситуацией».

Настроение всех, встречаемых нами на прогулке было тяжелое. Люди устали от тюрьмы. Может быть, все усугублялось голодом. Голод был и на воле. В изоляторе нас кормили одной кислой капустой, и та была тухлой. Летом на смену ей приходила пареная крапива. Мы молчали, мы знали, что голодает вся страна.

Камера, в которой жили мы с Шурой была сырая и темная. Состояние моего здоровья резко ухудшилось, и тюремный врач решил направить меня в Москву, в Бутырскую больницу. Мне очень тяжело было отрываться от тюремного коллектива, но пришлось ехать.

В Бутырках меня посадили в строго изолированную камеру. Мне прописали электрический душ, ванны, давали какие-то лекарства. И, самое главное, изумительно кормили. Я получала масло, молоко, яйца, компоты, кисели, мясные блюда, ужины. Диагноз врачей был — нервное истощение на почве малокровия. Трудно лечить нервное истощение в тюремной одиночной камере. Книги у меня были, в остальном я была отрезана от всего мира. Недели две прожила без всякой вести о воле, без связи с кем-либо. И вдруг в маленькой уборной, в которую меня водили на оправку, я прочла над краном на известью выбеленной стене нацарапанные слова: «Катя, привет!» Быстро затерла я буквы и нацарапала: «Кто вы?»

Наверное, надзиратели больницы отвыкли от связи между заключенными, которую надо было ловить. Впрочем, на том же месте, я прочла: «Возьмите шарик, поставьте крестик». На полу в углу, вжатый в стену, лежал хлебный шарик. Я схватила его. У крана умывальника на стене я поставила крест. В камере я раскрошила шарик. В нем была записочка. «Я — Селивестров. Вывезли из Суздаля вчера. В Ленинграде 1 декабря убит Киров. Как здоровье? Завтра там же».

В голове у меня все помутилось. Кем убит Киров? Как убит? Почему Селивестрова привезли в Москву? Почему на больничное крыло? Что произошло в Суздале?

Утром я оставила записочку в уборной в хлебном шарике. Мой шарик пролежал весь день, ночь и следующий день. Селивестрова, очевидно, куда-то перевели. Вопрос о том, что произошло на воле, мучил меня. В тревоге ждала я конца лечения. Я умоляла врачей выписать меня из больницы. Температура за месяц несколько снизилась. Как из тюрьмы на волю, рвалась я из Бутырок в Суздаль. Там газеты, там товарищи, там жизнь... казалось мне. И наконец меня перевезли!

В Суздале я сразу засыпала Шуру вопросами. Ничего не зная, я связала в одно вызов Селивестрова в Москву и убийство Кирова. Шура сперва ничего не мог понять из моих вопросов. 5 декабря анархист Селивестров был вызван из Суздаля на лечение, никакой связи с событиями 1 декабря и в помине не было. Об убийстве Кирова товарищи узнали из газеты. Первое газетное сообщение смутило их. Как и я, ставили они вопрос, почему Кирова? И кто совершил покушение? Террор признавали и прибегали к нему в царское время эсеры. В период советской власти партия

эс-эр признала террор недопустимым. О том, что выстрел могли произвести и коммунисты, никому не приходило в голову. Марксисты всегда были противниками террористических актов. В следующем номере газеты уже были подробные сообщения. Киров был убит выстрелом в затылок. Ни один эсер не выстрелит в спину противника из-за угла. Товарищи успокоились. Почему убит именно Киров, мы не знали, но в наших глазах выстрел был знаком борьбы в рядах коммунистической партии. Для нас неприемлемы были позиции всех течений компартии. Все они говорили о диктатуре, о монопартийной системе, душили всякое инакомыслие. Социалистическое движение было ими сообща раздавлено, разгромлено. Теперь начались столкновения, борьба за власть в их рядах.

Мы жили газетными сообщениями. Мы чувствовали, что назревают какие-то события. Понять их из-за тюремной решетки мы не могли. В соцсектор новых арестантов не поступало. Все социалисты давно уже были загнаны в тюрьмы и ссылки. В комсектор непрерывно привозили новых заключенных. Мы знали об этом по их крикам в окна. В начале 1936 года на нашу прогулку выпустили трех новых заключенных. Сиониста-социалиста с Соловков, грузинского социал-демократа с Колымы и социал-демократку Попову из Ленинграда. Впервые подробно узнали мы о режиме новых лагерей. Впервые увидели специфические лагерные костюмы — ватные штаны, телогрейку, бушлат. Сиониста перевели с Соловков по хлопотам родных. Социал-демократ голодал за перевод с Колымы три недели. Тасю Попову я знала по Соловкам она была в числе тех трех студенток, которых мы застали в кремлевской пересылке. Тогда ей было девятнадцать лет. Тогда она не принадлежала ни к какой политической партии. Большевики сами определили ее дальнейший путь. В 1924 году Тасю арестовали на каком-то студенческом собрании. Три года просидела она на Кондострове в группе беспартийных студентов. И ее послали в ссылку еще на три года. Ссылная среда определила Тасино мировоззрение. Она полюбила социал-демократа Массовера вышла за него замуж, у них родился сын. После ссылки, по хлопотам родителей, она вернулась в Ленинград. Оба устроились на работу. Сынишка рос. Никакой нелегальной работы они не вели. Они встречались с тесным кругом знакомых, в своей среде вели беседы, обсуждали, конечно, общественные и политические события. После убийства Кирова в Ленинграде начались массовые аресты. Арестовали и Тасю с мужем, как арестовали всех, бывших ранее под судом. Все, арестованные по одному делу с Тасей, пошли в ссылку. Тася получила три года политизоляторатор. Тасино дело взволновало меня тем, что всколыхнуло прошлое. Предал Тасю и оговорил Вова Коневский. На следствии при очной ставке Тася установила это точно. Может быть, ее не послали в ссылку именно потому, что не хотели, чтобы она сообщила товарищам, кто предал и оговорил их. Я вспомнила мои споры с Примаком, мои упреки ему в жестокости и черствости. Больше всего Тася убивалась о крошке-сыне, оставшемся со старушкой-матерью в Ленинграде. Тася рассказывала о переполненных тюрьмах, о перегруженных этапных вагонах.

Женитьба брата Димы

В январе 1936 года у меня была радость. Я не получала посылок ни от кого, и вдруг в форточку двери мне передали посылку из Архангельска. Незнакомой рукой был написан адрес отправителя «Д. Л. Олицкий». О Диме я не знала больше четырех лет. В 1931 году он был арестован и послан в лагерь на Урал. Значит, он закончил свой пятилетний срок и теперь в ссылке в Архангельске... С нетерпением разбирала я посылку. (Она, конечно, была вскрыта и проверена надзором.) Содержимое посылки удивило меня, даже ошеломило. Продукты, — это понятно. Но вышитые салфеточки, розовенький маленький цветочек из тонкой резины, нитки-мулинэ, флакончик духов... Посылку собирал не Дима! Я нашла три носовых платочка. Метки гладью — на одном «Е. О.», на втором — «Д. О.», на третьем «Н. О.». Я запрыгала от радости. Димка женился! Мои догадки подтвердились в день выдачи писем. Дима писал мне, что он в Архангельске с Надей. Надя работает в краеведческом музее, он — по озеленению Архангельска. Оба счастливы, оба меня целуют и ждут письма.

Что за Надя? Откуда взялась Надя? Дима писал коротко, сжато, чтоб письмо не было задержано цензурой. Из позднейших писем от брата я узнала, что с Надей он встретился в Ярославле. Но почему он очутился в Ярославле, оставалось неясным. Главное же — я знала теперь, что Дима жив, здоров — и не один.

Антагонизм между социалистами и коммунистами

Тюремная жизнь шла своей обычной колеей. По газетам старались мы уловить скрываемое за официальной трактовкой события. Особенно остро волновали события в Испании. Многие товарищи рвались туда, где шла борьба с фашизмом. Кое-кто из заключенных в наивной вере подал заявление отпустить их в Испанию, в ряды добровольцев. Они давали честное слово вернуться потом в СССР в тюрьму для отсидживания положенного срока.

Шолом рвал и метал:

— Держать нас здесь, не дать бросить нам свои силы в борьбе за рабочий класс!

Нам с Шурой подобные заявления казались наивными. Мы не понимали происходившего на воле. Не понимали ситуации, за которую посадили Колосова, Ховрина, Иванова и др. Волновал нас обсуждавшийся в те годы вопрос о единстве рабочего, коммунистического и социалистического движения во Франции. Как могли вести подобные переговоры французские социалисты с коммунистами, зная, что русских социалистов держат в тюрьмах? Непонятна была позиция Ромэна Роллана и Горького.

Соцсектор в политизоляторе сокращался. Люди заканчивали сроки и уходили в ссылки, новых заключенных не поступало. Коммунистический сектор беспрерывно увеличивался. Социалистических прогулок стало две, коммунистических — четыре. Связи между нами по-прежнему не было. Коммунисты подчеркивали свое отношение к нам, как к контрреволюционерам, мы видели в них сторонников деспотии. Возмущало нас и поведение их в тюрьме. Тактика наша по отношению к администрации была совершенно различной. Мы знали, например, что объявляя голодовку, они прячут сахар, чтобы поддержать свои силы. Они легко приступали к голодовкам и так же легко снимали их, не добившись ничего, компрометируя тем самым метод борьбы голодовкой. Мы знали, что многие из них писали покаянные письма: отказывались от фракционной борьбы, клеймили свое прошлое...

А затем, будучи освобождены, снова вели фракционную работу. Они осуществляли лозунг — в борьбе все средства хороши и цель оправдывает средства. Мы были сторонниками этического социализма. Мы понимали, что революция не делается в белых перчатках, но построение социалистического общества не мыслили себе путем насилия, угнетения, подавления. Движение к цели, к социализму должно осуществляться путями, воспитывающими борцов за социализм.

В газетах стали появляться статьи и речи о новой Сталинской конституции, самой демократической конституции в мире. Опороченная ранее большевиками на выборах в Учредительное собрание «четырёххвостка» (прямое, всеобщее, тайное, равное голосование) поднималась на щит. Мы не верили, мы недоумевали — в чем тайна очередного трюка? Мы знали, что допустить свободное волеизъявление большинства коммунисты не могут. В нем — их гибель. Не подготовкой ли к новым выборам по новой конституции являются бесчисленные аресты, бешеная травля троцкистов? Все проклятия, все клеймящие эпитеты газетных столбцов были теперь направлены на них. О нас газеты почти не упоминали. Первый грозный удар над страной, нанесенный партией, нами был познан так:

Мы услышали крики из коммунистических камер, они сообщали в старый корпус, И. Н. Смирнова вывозят в Москву. Оппозиционеры Суздаля были очень взволнованы делом Кирова. Убийство приписывалось некоему оппозиционеру Николаеву, будто бы мстившему за расправу со своими товарищами. По разговорам через окна мы знали о их возмущении такой интерпретацией, о каком-то не то поданном, не то долженствующим быть поданным заявлении. Возглавлял все их позиции Смирнов. Вызов Смирнова они связали с делом об убийстве Кирова. Через несколько дней после вызова Смирнова пошел по изолятору слух, что Смирнов в Москве объявил голодовку. Затем стало точно известно, что, проголодав четыре дня, он снял голодовку. Начальник тюрьмы вручил его жене письмо от него с просьбой переслать ему через начальника его вещи и рукописи. Потом в газетах появились сообщения о преступлениях, совершенных троцкистами, и готовящемся большом процессе над ними. В числе привлеченных к делу оказался и И.Н.Смирнов.

Грозно звучали речи на суде. Грозно клеймили врагов народа. Подсудимых обвиняли: во вредительстве, в заговоре, в связи с иностранной разведкой. Прокурор требовал смертного приговора. Смертного приговора требовали резолюции с собраний рабочих и служащих. Тяжело было читать эти газеты. Ошеломило нас и признание подсудимыми своей вины.

Судя по газетам И. Н. Смирнов, как и другие, признавал себя виновным во всех возводимых на него обвинениях. Как могло это случиться? Мы часто слышали его разговоры в окна с заключенными, знали о его взглядах и установках последних дней.

В день получения номера газеты о приговоре и приведении его в исполнение начальник изолятора вызвал жену Смирнова к себе. Он молча подал ей газету. Строки об отказе в помиловании и об исполнении приговора были подчеркнуты красным карандашом. Мария лишилась сознания. К ней был вызван тюремный врач. Затем она была водворена в их бывшую камеру. Номер газеты ей оставили на столе. В коридоре к дверям камеры приставили часового, ни на шаг не отходившего от волчка, все время открытого.

Мы в это время по своим камерам читали приговор суда. Все выступавшие на суде подсудимые признавали себя виновными. Каялись, превозносили генеральную линию партии, топили себя в море грязи. Если бы нашелся среди обвиняемых хоть один человек, отвергший обвинение, отстаивавший свои убеждения! Может быть, мы заколебались бы, может быть, мы кое-чему в обвинениях и поверили. Почему не нашлось среди обвиняемых человека, который решился бы умереть с гордо поднятой головой, как шли когда-то на казни революционеры? Почему подсудимые находили в себе мужество годами сидеть в тюрьмах, не раскаиваясь в своих преступлениях, и только процесс убедил их? Почему шли они на казнь, оклеветав себя, своих товарищей и свое дело? Или на открытый процесс вывели тех, кого удалось сломить в процессе следствия? Какими же средствами сломили волю таких старых, испытанных членов партии? Пытками? Угрозой казни? Обещаниями даровать жизнь?

Кто-то заговорил о гипнозе. Кто-то о гриме, о подставных лицах. Мы терялись в догадках, но твердо знали одно — было не так, как изображено.

Страна готовилась к принятию самой демократической конституции в мире, к самым демократическим выборам — и уставлялась эшафотами. Шли новые разоблачения, намечались новые процессы. Из газет мы узнали о самоубийстве Томского. На прогулках оппозиционеров царил мертвая тишина. Мы ничего не понимали.

*

В конце 1936 года я получила отчаянную открытку от Димы. Из нее мы поняли, что арестована его жена, что в ссылке идут массовые аресты.

«Жизнь кончена. Впереди нет просвета», — писал Дима.

Я ответила, просила писать еще. Писем от него больше не приходило.

Жизнь шла, как обычно. Мы готовились к Новому Году. В самых последних числах декабря на нашем прогулочном дворе начались какие-то странные земляные работы. Когда мы выходили на прогулку, мы видели раскопанные площадки, вырытые ямы. 31 декабря срубили несколько деревьев. Мы решили в очередной обход начальника поставить вопрос — зачем рубят деревья? Нам было жаль яблонек и вишен.

На прогулке 1 января мы поздравляли друг друга, старались заглянуть в будущее. Что несет нам новый год? В 1937, в апреле, мы с Шурой должны были окончить пятилетний срок заключения. Можно было уже мечтать о будущем.

И снова этап

Вечером, когда все прогулки были окончены, в дверь нашей камеры вошел дежурный:

— Олицкая, срочно собирайтесь с вещами. Мы с Шурой опешили, а он продолжал:

— Сдайте все тюремные вещи, получите белье из стирки. Если у вас есть деньги на квитанции, сдайте ее дежурному по коридору.

Круто повернувшись на каблуках, старший вышел. Мы остались стоять. Мы понимали, что меня берут на этап. Ничего еще не сообразив, мы услышали крик Таси Поповой:

— Товарищи, меня берут с вещами из тюрьмы! Шура тоже крикнула:

— Катю берут с вещами из тюрьмы! Мы слышали, как крик наш покотился от окна к окну. И новый крик... Теперь уже по прогулкам оппозиционеров:

— Смирнову берут с вещами!

Больше женщин в изоляторе не было. И сообщение по окнам шло уже в новой формулировке: «Женщин берут с вещами. Женщин вывозят из тюрьмы!»

Тюрьма замолкла. Очевидно, по камерам пошло обсуждение.

Мне надо было срочно собирать вещи. Пришел надзиратель за миской, библиотекарь за книгами. Так вот сразу расстаться... Шолом кричал и вызывал нас с Шурой к окну. Милый, наивный Шолом! Он думал, что женщин выпускают на волю. Ведь подготавливается самая демократическая в мире конституция...

Мы с Шурой не разговариваем — перебрасываемся короткими фразами. Через три месяца конец срока. Так и так увидимся в ссылке.

— Катя, может быть, ты на волю. Оставь мне часы.

— Конечно. Но не верится мне в волю.

И мне не верится. Последнее, Катя, если придется голодать, то только по принципиальным вопросам — и ты, и я. Даешь слово?

Дверь открывается. На пороге надзиратель, старший. Мы с Шурой последний раз обнимаем друг друга. Я выхожу в коридор. Дверь за мной запирается. Шура в камере остается один.

Ни встречи, ни весточки... Прощание навсегда. Не думали мы, не ожидали, не предполагали ни тогда, ни годы спустя. По крайней мере, я. А Шура?

Я шла коридором, следом за мной — конвоир.

— До свидания, товарищи! — кричала я у каждой двери.

— До свидания! — неслось мне из-за дверей. У дверей камеры Шолома я приостановилась:

— Шолом, до свидания!

— До свидания, Катя, на воле!

Корпус был позади. Товарищи — позади. На ходу я думаю о Шуре. Уходящему всегда легче. Я буду сейчас что-то узнавать, куда-то двигаться. Он ходит один по замкнутой камере.

12. 1937 ГОД

Познавание ожидавшего меня началось с первых же шагов. В камере административного корпуса, куда меня завели, появилась женщина для обыска. Мой чемодан перерыли она и надзиратель вместе. Надзиратель унес его. Женщина приступила ко мне. Много, очень много раз подвергалась я личному обыску. Такого гнусного и отвратительного я еще не переживала. Очевидно, бабенка прошла особую школу. Мне было приказано раздеться догола, руками ощупала она каждую впадину на моем теле. Раздвигала пальцы рук и ног. Заглядывала в рот и ощупывала уши.

— Поднимите руки, заложите их за голову, расставьте ноги, нагнитесь.

Кого унижала она? Меня? или себя? Кто разработал такие изысканные приемы обыска?

Женщина отобрала у меня все шпильки, булавки, срезала все пуговицы с одежды, все крючки, застежки от пояса для чулок. Потом она предложила мне одеться.

— Одеться?! — я удивилась. — Это невозможно. Я не вешалка, на которую можно все навесить.

— Об этом говорите с начальством, — гордо бросила мне женщина и, полная сознанием исполненного долга, собрав в горсть все изъятые у меня застежки, вышла из камеры.

Недоуменно стояла я над своей одеждой. Рубашку я могла надеть. Но штанишки? — из них была вы нута резинка. Чулкам не на чем было держаться. Из ботинок были выдернуты шнурки. Набросив рубашку и платье, я уселась рядом со своими монатками, поджав ноги.

— Вы готовы? — спросил надзиратель, заглядывая в волчок.

— Нет, — ответила я, — и не буду готова. Меня лишили возможности одеться. У меня отобрали все застежки.

Через несколько минут в камеру вошел старший.

— Почему вы не одеваетесь? Металлических предметов и длинных шнурков заключенным иметь не разрешается.

— Давайте одежду такого покроя, чтоб держалась без завязок и застежек.

Старший помолчал и вышел. Я сидела над своим тряпьем и думала. Милый-милый наивный Шолом! «Женщин выпускают на волю!»...

Минут через двадцать вернулся старший. В руках у него были только что срезанные с моего белья застежки.

— Пока тюрьма не имеет женского белья, можете пользоваться.

— Дайте иголку и нитки.

— Дежурный даст.

Получив от дежурного иголку и нитки, я принялась за шитье. К очередной кампании тюрьма, очевидно, не подготовилась. Мы были первыми, к которым применялся новый режим.

Едва я успела одеться, в камеру привели Тасю. Ее подвергли такому же обыску, как и меня. Мы очень обрадовались друг другу: по крайней мере, вдвоем.

— Вы понимаете что-нибудь? — спросила я.

Тася отрицательно покачала головой. Такая всегда бодрая, она хмурилась.

Дверь камеры снова открылась, вошла женщина и остановилась у порога. Вид ее говорил о том, что она перенесла нечто ужасное. Была она бледна, руки ее дрожали, она еле держалась на ногах. Мы догадались, кто она. Но, чтобы не ошибиться, Тася спросила:

— Вы — оппозиционерка?

— Я — жена Ивана Никитича Смирнова, — сказала она, закрыла лицо руками и заплакала. Что мы могли сказать ей? И все же я сказала:

— Пройдите, сядьте. А Тася добавила:

— Не надо так. Мария подошла к нам:

— Меня везут на казнь, — сказала она дрожащим голосом. У нас с Тасей перехватило дыхание.

— Вам объявили что-нибудь?

— Нет. Мне просто велели собраться с вещами. Но я знаю, они убили его, теперь убьют меня. Ведь я — живой свидетель его жизни.

И я и Тася стремились успокоить Марию.

— Почему же взяли из изолятора и нас, зачем вас свели с нами? Единственное, что мы теперь знаем, это то, что женщин изолировали от мужчин. Что будет дальше, увидим...

Нам принесли ужин. Сообщили, что ночевать мы будем здесь, в этой камере. Может быть, это была самая страшная ночь в моей жизни. Мария была на грани безумия: то ей мерещилась казнь Смирнова, то саму ее вели на казнь. Два раза в своей камере она пыталась покончить с собой. Ей помешали. Теперь она говорила, что должна выжить, чтобы засвидетельствовать, что все показания Смирнова на суде — ложь, что она знает его жизнь, его мысли до самых последних дней. Мария сидела всю ночь, не отрывая глаз от волчка, уверяя, что ее могут застрелить через волчок в затылок. Тася тоже была угрюма:

— Неужели нас везут на следствие? Неужели они строят какой-нибудь новый процесс социалистов? Я никогда не боялась следствия, а теперь боюсь. Мне жаль Марию. Но вы присмотритесь, только безвыходное положение толкает ее к нам. Даже теперь она боится, что ей припишут связь с нами.

Тася была права. Мария как-то подчеркивала свою отдельность от нас. Отчаяние бросало ее к нам, но она тут же говорила:

— Я не хочу, чтоб надзор видел, что я общаюсь с вами.

В ее обращении к надзору было что-то приниженное, заискивающее.

В Ярославский централ

Не смыкая глаз, провели мы эту ночь. Подняли нас рано. На улице было еще темно, когда нас вывели из тюрьмы и посадили в «черный ворон». Двое конвоиров сели с нами в клетку, остальные поместились позади.

Когда машина остановилась и двери открыли, нам пришлось переступить всего несколько шагов — дверь вагона была открыта. От дверей «ворона» до дверей вагона в два ряда стоял конвой с ружьями в руках. Сквозь строй прошли мы в вагон.

— Какой ужас! — шептала Мария. — Вы видите, они глаз с меня не сводят.

Это действительно было так. Мы обе заметили, что один из надзирателей неотступно следовал за Марией.

Нас с Тасей завели в одну клетку вагона, Марию — в другую. Больше заключенных в вагоне не было. Конвой разместился в коридоре. В тишине вагона мы с Тасей слышали ворчание конвоиров: «Третьи сутки бессменно возим и возим...»

В Суздале на этап нам выдали сухой паек, буханку черного хлеба и какую-то соленую, вонючую рыбу. Такой отвратительной рыбы мы еще не видели. Грязи на ней было больше, чем соли. Хлеб мы взяли с собой, рыбу бросили в камеру. Теперь мы о ней жалели, нам хотелось есть.

Куда нас везут, мы не знали. В вагоне мы пробыли несколько часов. К вечеру того же дня нас высадили из вагона, стоявшего в тупике, и пересадили в огромный крытый грузовик. Машину открыли в тюремном дворе. Вокруг двора были высокие каменные стены, впереди большой, очень большой корпус тюрьмы. Машина ушла. Окруженные конвоем, мы трое остались стоять во дворе. Первой вызвали меня. Простясь с Тасей и кивнув Марии, я пошла в тюрьму. Миновав ряд коридоров и переходов, я попала в маленькую одиночную камеру, во всем сохранившуюся с царских времен. Привинченный к стене табурет, привинченная к стене койка. Новым был щит над высоко расположенным под потолком окном. Щит напоминал о внутренней тюрьме, но был он не металлический, а свежесколоченный из только что обструганных желтых досок. В камере я нашла свой чемодан.

— Ваши вещи? — спросил надзиратель.

— Мои, — ответила я.

— Это все, что у вас было? Проверьте. Я порылась в чемодане.

— Все.

— Возьмите, — сказал старший надзиратель. Тот взял чемодан, и они ушли.

Я опустила доску привинченного к стене сидения и села. Мне хотелось сосредоточиться, понять, что происходит со мной. Осторожный, едва уловимый стук в стену, прервал мои мысли. Стучала Тася. Ее перевели в соседнюю камеру. Тася сообщала, что рядом с ней посадили Марию. Наше перестукивание прервало щелканье форточки. Просунулась голова дежурного:

— Собирайтесь в баню.

— Как я могу собраться, если вы забрали все вещи?

Форточка захлопнулась. Я слышала, как открылась она в дверях Таси и в дверях Марии. Через несколько минут распахнулась дверь моей камеры:

— Получите ваши вещи, — надзиратель внес чемодан. — Соберитесь в баню.

Боже! Что за чехарда с нами и нашими вещами? Я быстро вынула белье, мочалку, полотенце. Приятный сюрприз: в баню нас повели всех троих вместе. Баня была хорошая, большая, вместительная.

Когда мы остались одни, Мария прошептала:

— Мы в Ярославском центральном.

В прежние годы Ярославская тюрьма слыла в нашей среде за штрафную. Режим в ней был суровее, заключенные строже изолированы друг от друга. Мы слышали, что год назад социалисты-заключенные добились для себя политрежима. Мы с Тасей осмотрели все стены, скамьи бани и предбанника, нашли много записей, но знакомых фамилий не встретили. Из бани нас развели по одиночкам. Очевидно, у нас будет и общая прогулка. Во всяком случае, мы можем общаться через стену.

Как мы и предполагали, на вечернюю оправку нас вывели всех вместе. Наша уборная, как и камеры, была расположена в нижнем этаже. Над нами, из уборной второго этажа, мы услышали громкую мужскую речь. Нарочно нагнувшись над спусковой трубой, мы с Тасей заговорили громче. И сейчас же:

— Женщины, кто вы? — ясно прозвучало сверху.

— Социалистки из Суздаля! — крикнула Тася. — А вы?

— Я социал-демократ, Зелигер.

— Коля, здравствуй! Я — Тася Попова, со мной Катя Олицкая.

— Сколько вас?

— Нас трое.

— Кто третья?

— Ради Бога, не называйте меня! — прошептала Мария.

Мы с Тасей переглянулись.

— Не наша. Оппозиционерка, — сказала Тася.

— Почему вас перевели?

— Ничего сами не понимаем. У вас какие-нибудь новости есть?

— Нет. Живем обычно.

— Так будут, — сказала Тася.

Я спросила, кто из наших товарищей сидит в изоляторе. Коля назвал ряд фамилий и добавил:

— Здесь много оппозиционеров, они интересуются, кто с вами.

Мария, явно прислушиваясь к называемым фамилиям, отрицательно покачала головой.

— Она не хочет себя назвать, — передали мы в трубу.

— Пока прощайте, — сказал Коля. — Подумаем о связи с вами. Может быть, вас переведут к нам на прогулку.

Мы услышали звук открываемой наверху двери, шарканье ног по коридору и четкий крик, разнесшийся по всему трехъярусному пролету тюрьмы: «К нам привезли трех женщин из Суздаля!» У старожилов Ярославской тюрьмы были неплохо налажены связи. За вечер и ночь Коля успел что-то предпринять. Раненько утром мы услышали крик за окном:

— Тася! Тася!

Тася откликнулась в форточку. Я напряженно слушала, стоя под окном в своей одиночке.

— Вы знаете немецкий? — спрашивал мужской голос, и сразу же по-немецки: — Ищите в уборной под умывальником. Поняли?

— Гут! — крикнули мы вместе с Тасей. К нашим дверям неся надзиратель:

— Прекратите крик!

Но крик уже прекратился. Мы нетерпеливо ждали оправки. В уборную нас снова выпустили всех троих. Тася сейчас же бросилась к умывальнику. Я стала у дверей на страже. Тася долго искала, но ничего не находила. Мы открыли кран, чтобы звук воды свидетельствовал о том, что мы умываемся. Мария требовала, чтобы мы не искали, за нами могут следить. Я молчала. Тася шарила рукой. При одном из движений она зацепилась за какую-то ниточку. На пол упала тонкая, туго свернутая бумажная трубочка. В ту же минуту лязгнул ключ, и дверь отворилась. Тася выскочила в отделение со стульчаками, я наступила на надзирателя:

— Мы еще не умылись, мы не стучали. Зачем вы открываете?

— Время истекло, поторапливайтесь, — сказал надзиратель и запер дверь.

Мария стояла и тряслась от страха. Тася вышла к нам бледная.

— Я выбросила записку в трубу, — сказала она.

Мне показалось, что меня лишили чего-то радостного, чего-то светлого. Молча, торопливо мы вылили параша, умылись и разошлись по камерам. И вдруг я слышу Тася стучит в форточку: «Зер гут!» Я недоумеваю. А Тася уже стучит мне в стенку: «Все хорошо. Все. До прогулки».

Я все-таки ничего не поняла. Скорей бы гулять. После утреннего чая нас троих вывели на прогулку во двор. Двор был большой, куда больше нашего суздальского, но голый. Вокруг двора асфальтовая дорожка. Середина, как и у нас в Суздале в последние дни, изрыта ямами. Кое-где вкопаны новые высокие деревянные столбы. Привлекло наше внимание, что и часть окон забрана щитами. Щиты все новенькие. Мы слышали раньше еще в камерах стук работ. Очевидно, это готовили щиты. Мария шла рядом с нами.

— Строят виселицы, — говорила она. — В камере щит, как крышка гроба.

Нечутко, нехорошо, но нам с Тасей надо было уединиться. Мы повернули и пошли по кругу в обратном направлении.

— Я записку не выбросила, — сказала Тася. — Я не хотела, чтоб Мария знала. Катюша, ни Коля, ни другие ничего не подозревают. Живут, как мы жили. Коля пишет, что у них политизоляторский режим, что добились они его год назад, что в обход начальника они будут говорить о присоединении нашей прогулки к ним.

Усиление режима

Нас вывезли из Суздальского изолятора. Нас подвергли дикому обыску. У нас то отбирали, то возвращали личные вещи. Окна наших камер были забиты щитами. Мы понимали, что это неспроста. Очевидно, круто завинчивается режим. Мы просто попали первыми. Как дать знать товарищам? Как предупредить их?

Вернувшись в камеру, мы стали проверять режим. Мы вызвали старшего и стали требовать газету, приема от нас писем, книги из библиотеки. Ответы были сбивчивые и неясные. После нашей ссылки на правила внутреннего распорядка, висевшие в камере, дежурный снял их и унес.

Неопределенное, переходное состояние длилось недолго. Мы даже не успели ответить Коле на его записку. Вечером, после проверки, когда тюрьма обычно погружалась в тишину, в коридоре началось движение. Защелкали форточки камер, затем стали отпираться двери. Мы с Тасей прислушивались, изредка перестукивались через стену. Потом по коридору разнеслись крики: «Зелигер в одиннадцатой!» «Н. в шестнадцатой!» Мы поняли, эков разводили по одиночкам. Они кричали, в какую камеру, кого

завели. «Началось, — постучала мне Тася, — теперь они в камерах со щитами». Потом мы слышали, как открылась камера Марии. Мы слышали ее шаги мимо дверей по коридору. Следом открылась моя форточка:

— Собирайтесь с вещами.

И сейчас же загремел затвор. Дверь распахнулась. На пороге стоял дежурный. При нем я собрала свои вещи. Я ничего не могла простучать Тасе. Проходя мимо ее двери, я громко сказала:

— До свиданья, Тася!

Надзиратель громко цыкнул, указал рукой на лестницу. Я поднялась по ней на третий этаж. Лестница шла в центре одиночного крыла тюрьмы. С обеих сторон она была забрана густой металлической сеткой. Виден был весь трехъярусный пролет крыла. По молчаливому указанию надзора я свернула вдоль лестницы к южным камерам. Мимо четырех дверей я прошла, пятая распахнулась передо мной.

— Олицкая в пятой камере! — громко крикнула я и переступила через порог. Стремительно закрывшаяся за мной дверь чуть не сбила меня с ног.

Камера была такая же, как внизу. На окне щита еще не было. Его набили на другой день. Но койки было две. Я не успела ничего сделать, ни о чем подумать, как открылась дверь. Я увидела Тасю и услышала ее крик:

— Попова в пятой!

Как и меня, ее почти втолкнули в камеру, захлопывая дверь. Очевидно, нашим переводом была закончена операция переводов на нашем крыле. Наступила тишина. Мы с Тасей были счастливы хоть тем, что оказались вдвоем. Быстро застелили мы свои койки и легли. Спать, конечно, не могли. Мы понимали, что теперь началась реорганизация Яро славской тюрьмы. Теперь и Коля, и его товарищи поймут это.

День за днем мы выясняли, что же ждет нас. Мучительно хотелось знать, что произошло в мире, чем вызван новый зажим режима. До первого января 1937 года как будто ничего особенного не случилось. Мы ежедневно получали газеты. Что вызвало завинчивание режима тюрьмы?

Наутро на окна нашей камеры навесили сколоченный из досок щит. Мы слышали стуки молотков у соседней камеры, и дальше, и внизу. Перед обедом в камеру к нам пришли с обыском. Обыск был такой же, как при вывозе из Суздальского изолятора. Три женщины суетились по камере и вокруг нас. Казалось, они вылизывают каждый квадратик нашего тела, камеры, пола и стен. Опять отобрали все наши личные вещи, оставили по смене белья и платья, надетые на нас, обувь и верхнюю одежду. Мы просили вызвать к нам старшего, дежурного по корпусу, начальника тюрьмы. Мы просили дать нам бумагу, карандаш для заявления. Нам объявили, что до очередного обхода начальника никто никаких заявлений от нас принимать не будет.

К вечеру нас вывели на прогулку. Посередине прогулочного двора была выстроена изгородь из сплошных досок. Она представляла собой четыре клетки. Нас пропустили в одну из них, и заперли дверь. Размером клетка была чуть больше нашей камеры.

— Разговаривать не полагается. Ходить по кругу, заложив руки за спину. Прогулка пятнадцать минут, — отрапортовал прогулочный. Сам он поднялся на помост, шедший вдоль всех четырех клеток и заходил вдоль них. Мы не заложили рук за спину. Мы ходили с Тасей и пытались разговаривать, хотя говорить нам и не хотелось. Через пятнадцать минут нас вернули в камеру.

На другой день, а может через два дня, во время оправки, мы слышали крик:

— Я, Н., объявляю голодовку!

За ним следующий, и следующий... Каждый заключенный, возвращаясь из уборной, кричал, проходя по коридору, свою фамилию и объявлял о голодовке. Затихшие, сидели мы с Тасей и считали. Фамилии были нам незнакомы. Нам было понятно все. Товарищей, как и нас с Тасей, лишили маленьких тюремных прав. На завинчивание режима заключенные отвечали голодовкой. Наутро, на следующий вечер мы слышали все новые фамилии примкнувших к голодовке людей. Услышали мы и голос Коли.

— Я, Зелигер, объявляю голодовку за политрежим.

До сих пор голодовку объявляли неизвестные нам люди. Социал-демократы всегда были яркими противниками голодовки. Если заголодал Коля, значит, заголодали социал-демократы.

Из соседней с нами камеры на стук не отвечали. Но до нас доносилось перестукивание соседних камер. Включиться в него мы не могли, но мы понимали, что люди сговариваются о голодовке за режим. Мы с Тасей не разделяли действий товарищей. Жизнь социалистов вот уже более пятнадцати

лет протекала в изоляции. Сидели они без перспектив на будущее. Сидели на годами сложившемся режиме. И вдруг по неизвестным им причинам их внезапно лишают всего. Только питание пока оставалось хорошим. Не думают ли товарищи, что это местная ярославская реформа?

Тася и я были вывезены из Суздаля. Теперь мы поняли, какие земляные работы велись в Суздале на прогулочном дворе. Там строились такие же клетки для прогулок. Мы были уверены — и там навесили на окна щиты. Меры, применяемые к нам, не ярославские, а всесоюзные меры. Пережив коллективную голодовку на Соловках, мы знали трудности и сложности групповой голодовки. При разобщенности и неоднородности коллектива мы не верили в возможность проведения ее. Мы считали голодовку заранее обреченной на неудачу. Но... что могли мы предпринять? У нас, вновь прибывших, не было связи с коллективом. Мы не могли повлиять на решение товарищей. А режим тюрьмы? Думать и решать было нечего. Товарищи голодают за режим. Можем ли мы не присоединиться к ним?

— Я не сниму голодовки, иначе как в камере с Массовером, — сказала мне Тася. — А если развезут нас всех, разобшат, изолируют, что тогда?

Я молчала. Январь шел к концу. В апреле кончался срок моего заключения. Если нас разъединят, развезут, потом придут ко мне в камеру и скажут: «За какой режим вы боретесь? Снимайте голодовку, поправляйтесь — и в ссылку». Моя голодовка могла быть только голодовкой солидарности. Пока будут голодать Тася и ее товарищи, буду голодать и я. Иного выхода я не видела. Тревожную ночь провели мы с Тасей. Наутро, когда нас выпустили на opravку, идя по коридору, мы прокричали:

— Попова объявляет голодовку!

— Олицкая объявляет голодовку! Вернувшись в камеру, мы отказались принять хлеб. Все шло обычным в таких случаях порядком. Нам предлагали хлеб, обед, ужин. Мы не принимали еду. Тогда явился старший и дал нам по листку бумаги и карандаш. Мы с Тасей написали заявление на имя начальника тюрьмы. Мы требовали содержания нас в тюрьме на политрежиме, согласно вынесенному нам приговору. Старший ушел. Через полчаса к нам в камеру вошли трое надзирателей для производства обыска. Что могли они отобрать у нас, когда и так все было отобрано? Надзиратели взяли табак, спички, теплые вещи. Тася не курила. Мне, конечно, было тоскливо без папирос, но к этому я была готова. Мы принимали в камеру только воду.

Голодовка обещала быть длинной, надо было беречь силы. С первого же дня мы залегли на койки. Тасю больше всего мучило то, что она не могла дать весточку матери о своем переселении в Ярославль. Конечно, она болела за своего трехлетнего сына. Я много думала о Шуре, о нашей внезапной разлуке, о том, что и как переживает он и товарищи в Суздале в эти дни. Шура сказал мне на прощанье — голодать только по политическим мотивам. Я не могла не голодать сейчас, хотя через два месяца кончался срок моего тюремного заключения. Может быть, именно потому, что мне предстояло *выйти* на волю, я не могла оставить товарищей в борьбе за режим, в котором им придется сидеть годы.

В первые дни голодающие еще выходили утром и вечером на opravку. Тогда по коридору разносился крик: «Катя, Тася, привет!» На шестой или седьмой день выходы из камер прекратились. На десятый — с обходом по камерам прошел врач. Низенький, румяный, упитанный, он измерял температуру, прослушивал пульс, уговаривал снять голодовку.

Мы прислушивались к хлопанью дверей. Судя по звуку открываемых и закрываемых дверей, голодало все крыло. Все его три этажа.

Ото дня ко дню силы наши падали, но голова оставалась ясной. Мечтать о будущем мы с Таней не могли. Мы не верили в победу, в возврат политизо-ляторского режима. Отсчитывая дни, Тася думала о горе матери, не получающей писем от нее больше месяца. Мы думали о том, что привело к слому режима. Что произошло на воле? Произошла неудавшаяся попытка свержения власти? Газет не было. Вести не доходили ниоткуда.

На четырнадцатый день голодовки снова захлопали двери камер, открывались и закрывались они быстро. Значит, шел обход. Дошла очередь и до нас. В камеру вошел военный в сопровождении старшего. Он отрекомендовал себя как начальник Ярославской тюрьмы особого назначения. Смысл его слов сводился к тому, что политизоляторов больше не существует, что мы находимся в тюрьме особого назначения и режим изменен не будет. Ни личные вещи, ни газеты, ни письменные принадлежности в камеру допускаться не будут. Продолжительность прогулки — пятнадцать минут. Переписка с ближайшими родными — раз в месяц. Он предложил снять голодовку. Мы

ответили, что голодовку не снимаем. С коек мы уже не поднимались, говорили немного, больше молчали и думали про себя.

Я никогда не забуду одной горькой минуты. Я лежала на своей койке, повернувшись лицом к стене. Очевидно, я уснула. И вдруг мне послышался Шуриный голос. Шура окликал меня. Я забыла, что я в камере Ярославля, что со мной не Шура, а Тася. Я была уверена, что увижу его. Я повернулась, резким движением села на койке. Тася лежала полуприкрыв рукой глаза. В ответ на мое резкое движение она отвела руку от лица.

— Что с вами, Катя?

— Ничего, — я легла снова. Острое чувство утраты, утраты последнего реального ощущения Шуриной близости.

Силы наши теперь падали быстро. Отношения с Тасей у нас были хорошие, но были мы очень разные. Тася страстно хотела жить с сыном, с мужем. Наша голодовка казалась ей ужасной бессмыслицей, неоправданным концом жизни. Ей казалось правильнее выдержать любые условия тюрьмы, напрячь все силы на выживание в любых условиях, чем бесперспективно умирать от голода.

Мне думалось по-другому. Умереть в тюрьме за право на жизнь не так уж плохо. Хуже умереть, не борясь за условия, ведущие к сохранению жизни. В условиях политизолятора люди теряли силы, слабели, болели, но все же выживали. В условиях запертого режима гибель ждет многих. Выдержит ли его сама Тася? Мне только казалось, что голодовка все равно не будет выиграна, не выдержит коллектив. Если большевики вводят режим со ставкой на наше полное уничтожение, не погибнувшие во время голодовки будут умирать постепенно. Почему хуже умереть борясь, если верить в победу, завоеванную смертью. Короче говоря, смерть в борьбе оправдана.

Тася отрицательно покачивала головой. — Никакого значения, никакого смысла наша голодовка иметь не будет, смерти будут напрасными.

— Зачем вы голодаете, Тася?

— А как я могу не голодать, когда голодают товарищи? Передо мной выбора нет. Я не могу не умирать, хотя все мое существо протестует против смерти.

Тася была по-своему права. Но именно то, что голодали люди с таким настроением, обрекало голодовку на неудачу.

На пятнадцатый день снова неурочное открывание и закрывание дверей. Но на этот раз двери камер оставались открытыми долго. Это не мог быть обычный обход. И вдруг... До нас донесся не то крик, не то стон. Необычный в нашей тюрьме звук. Мы затихли, насторожились. Вот уже вышли люди из соседней камеры. Открылся волчок нашей двери. Кто-то разглядывал нас с коридора. Потом дверь открылась. Первым вошел в нашу камеру тюремный врач. За ним шесть надзирателей в белых халатах. За ними сестра с большой стеклянной клизмой и длинной резиновой кишкой в руках.

Искусственное кормление...

Мы обе поняли сразу, хотя не знали, как оно производится. Камера сразу стала тесной от вошедших в нее людей.

— Выпейте молока, — сказал врач, — ваше положение угрожающее. Умереть мы вам не дадим, мы применим искусственное питание.

Мы молчали. Врач повернулся к сестре.

— Питательная клизма готова?

В клизму была налита бело-желтая жидкость — смесь молока, сахара, яйца. Я хотела повернуться лицом к стене, но сильные мужские руки схватили меня, перевернули на спину и прижали к койке. Два надзирателя держали меня за ноги, двое прижимали голову и руки к постели. Я не могла шевельнуться. Я могла только стиснуть зубы. Но врач левой рукой зажал мне нос, а правой ввел в рот какую-то пластинку — разжал, повернул, и во рту у меня оказался какой-то расширитель.

— Не сопротивляйтесь, — сказал врач, — лежите спокойно, иначе может получиться прободение пищевода.

Как будто я, проголодавшая пятнадцать дней, могла сопротивляться в руках четырех здоровых парней. Сестра подняла кружку со смесью. Врач стал вводить кишку в пищевод.

— Глотайте, глотайте, — говорил он мне.

Я не могла ни глотать, ни не глотать. Судорога сводила горло. Я понимала всю безвыходность моего положения. Я просто задыхалась. Из моих глаз лились слезы. Трубка вырывалась,

выскакивала изо рта. Питательная смесь выливалась на постель. Три раза вводил врач кишку. Какое-то количество смеси разлилось, какое-то было введено.

Когда кружка опустела, врач вынул кишку, расширитель и минут пять массировал мне живот. Смесь должна была впитаться, заключенный лишен был возможности прибегнуть к рвоте. Меня отпустили. Врач повернулся к Тасе. Чтобы не видеть издевательства надо мной, Тася отвернулась к стене. Возле нее на карауле стояли два надзирателя.

После пережитого у меня была страшная слабость. Из глаз все еще текли слезы. Во рту было сладко, я должна была сознаться, приятно до наслаждения. Но общее состояние было ужасное. Пережив кормление сама, я вся дрожала за Тасю. К счастью, у Таси оно прошло иначе. Горловых спазм у нее не было. Жидкость спокойно поступала в желудок. Закончив свое дело, врач сказал: — Снимайте голодовку. Будем все равно кормить. Сперва так, затем каплями через нос, затем через задний проход. Голодовка безнадежна.

Искусственное питание применяли через день. Тася переносила его легко. У меня ни одно кормление не проходило нормально.

На двадцать первый день голодовки Тасю взяли из моей камеры, увели в другую. Мы грустно простились.

В одно из кормлений врач обратил внимание на мое состояние. Измерил температуру, оказалось 38,3°. Кормление он отменил. Как я была счастлива. У меня ничто не болело. Оставшись одна в камере, я еще лучше слышала жизнь тюрьмы. Во время кормления до меня доносились стоны и хрипы из коридора. Очевидно, не одна я трудно переносила кормление. Кормили меня теперь раз в четыре дня. На тридцатый день голодовки в мою камеру вошли четыре человека в штатском и начальник тюрьмы.

— Здравствуйте, — сказал один из них. — Мы приехали к вам из Москвы, чтобы урегулировать наши вопросы. Ваши требования не могут быть удовлетворены. Политизолаторов больше не существует.

— Зачем же вы ехали? Нам не о чем говорить.

— Нет, есть о чем. Мы все же идем вам на уступки. Мы сочли возможным удовлетворить некоторые ваши требования. Если вы сейчас в состоянии, давайте обсудим, что выполнимо из ваших требований. Ведь вы голодаете уже тридцать дней. Как ваше самочувствие?

Как проникнуть в мысли и чувства этих с сочувствием смотрящих на меня людей? Не помню деталей разговора. Они перечисляли: центральную газету дать в каждую камеру невозможно, передача газеты из камеры в камеру недопустима, но разрешается выписка областной газеты. Письменные принадлежности будут выданы — только стандартного образца, бумага пронумерованная. По мере использования ее надо сдавать, и она будет храниться до освобождения. Личные вещи будут отданы в камеру. Переписка с родными ограничивается двумя письмами в месяц — одно к вам и одно от вас, нельзя перегружать цензуру. Родные могут слать денежные переводы — пятьдесят рублей в месяц, на них можно закупать нужные предметы в тюремном ларьке. Продолжительность прогулки будет установлена до одного часа ежедневно. Посылки от родных допущены быть не могут. Я перебила:

— Сегодня первое марта. Тридцатого апреля у меня кончается срок. Входить в обсуждение режимных вопросов я не буду. Я голодаю за режим по солидарности с товарищами. Если они не снимут своей голодовки, — я буду голодать дальше.

— В тех камерах, что мы обошли, вопросы уже согласованы, и ваши товарищи кушают, — из портфеля он извлек пачку заявлений. Он зачитал мне ряд фамилий, в числе их была Тасина.

— Как я могу вам поверить? Он развел руками.

— Если Попова голодовку сняла, я голодовку сниму, — сказала я, — но не раньше, чем буду с ней в одной камере.

— Мы не возражаем против вашего соединения, но как сможете вы перейти из камеры в камеру? Вы так слабы. Мы принесем вам записку от Поповой.

— Обо мне не беспокойтесь, я перейду, — а с вами мне разговаривать больше не о чем.

Вежливо раскланявшись, все четверо ушли. Начальник вышел вслед. Он не проронил ни слова. Через полчаса в мою камеру вошла женщина. Она несла поднос со стаканом молока и блюдец с сухарями. Сквозь открытую дверь я увидела тачку, на которой стоял бидон с молоком и корзина с грудой сухарей. Очевидно, заключенные стали принимать питание. Но Тася?

Я сказала женщине, что приму питание только в камере Поповой. Еще минут через пятнадцать надзиратель открыл дверь и сказал «пойдемте». Я встала и пошла. Меня немного шатало, но я опиралась о стенку. И идти пришлось недалеко — всего пять камер разделяло нас. Тачка с молоком и сухарями двигалась уже на нижнем этаже.

Когда надзиратель открыл дверь Тасиной камеры, Тасенька — бледная, исхудавшая — сидела на койке. Рядом на тумбочке стояло молоко и сухари. У другой койки стояла такая же порция для меня. Я не подошла к Тасе. Я сразу села на соседнюю койку. У меня пересохло во рту, и не хватало дыхания. Мы смотрели друг на друга и молчали. Потом Тася сказала:

— Что ж, давайте есть. Я ей ответила:

— По коридору разносят молоко и сухари.

— Я слышала, камеры принимают питание. Но все ли?

И молоко, и сухари показались нам очень вкусными. Но увы, их было страшно мало.

Мы с Тасей считали, что голодовка проиграна. Конечно, как будто бы соблюден компромисс. В тот же день мы получили номер ярославской областной газеты. Через несколько дней нам выдали стандартный грифель, ручку и по тетради. Нам вернули наши личные вещи и книги. Мы написали домой, сообщив новый адрес: Ярославль, почтовый ящик №... Нам дали часовую прогулку, но в клетке. Где и в чем была гарантия, что завтра все эти блага не будут отобраны? Не был признан старостат, не было связи с другими заключенными. Тася уверяла, что и без голодовки мы получили бы эти блага, продуманные, взвешенные законодателями заранее.

Питание после голодовки нам дали прекрасное. По величине бака, развозившего питание, мы знали — голодало много народа.

Тася поправилась очень быстро. Я не поправлялась. Температура лезла в гору. Болел бок. Меня питали усиленно, но впрок ничто не шло. Однажды, раскашлявшись как-то ночью очень сильно, я выплюнула целый сгусток крови и гноя.

У тюремных сидельцев всегда настроженный слух. Малейшее движение на коридоре ухо четко ловит. О жизни в тюрьме мы знали по звукам из коридора. Были шумы стандартные: проверка, оправка, раздача еды, обход начальника. Каждый новый неожиданный звук в коридоре привлекает внимание. По шорохам и звукам мы с Тасей поняли, что голодавших заключенных куда-то перевели, на их место привели новых. Вместо мужских шагов по коридору слышалось постукивание женских каблучков. Доносились женские голоса. Часто был слышен женский плач. Мы с Тасей недоумевали. Откуда взялось такое количество женщин-политзаключенных? Нам стало ясно, что мы в женской тюрьме или в женском крыле, во всяком случае. Это подтвердилось, когда на коридорах всех трех этажей появились женщины-надзиратели. Они выпускали нас из камеры, водили на прогулку, сопровождали в баню. Только старшим по корпусу был мужчина, да библиотекарь, да начальник тюрьмы, да врач.

Женщины были молодые, нарядно одетые в пестрые шелковые платья, завитые, с подкрашенными губами, подведенными бровями. Они были настрожены, молчаливо-враждебны. Добиться от них чего-либо было трудно. Они боялись всего, дрожали перед администрацией: не решались вызвать лишний раз старшего, до минуты подсчитывали время, отведенное на утреннюю оправку, на умывание, скрупулезно отмеривали нитку, когда мы просили иголку с ниткой, чтобы зашить дыру. Мужской надзор в массе своей лучше женского. Мы ежедневно теперь получали газету. (Январь и февраль не знали мы, что творилось на свете.) Не сразу мы поняли и из газет, что же произошло за это время. Процессы. Бесконечные судебные процессы. У нас распухли мозги от напряжения, от желания понять, чем это вызвано. Процесс Зиновьева, Каменева, процесс Бухарина, процесс Ягоды, убийство врачами Горького и его сына... Ясности никакой не было. Мы не могли понять, кто сидит рядом с нами в тюрьме. Кто эти женщины? Чем вызваны непрерывные истерики и слезы. Камеры не перестукивались. На наши стуки соседи не отвечали. В тюрьме стояла гробовая тишина.

Однажды нам удалось подслушать обрывки разговора заключенной со старшим по коридору. Из него мы поняли, что заключенных, окончивших срок не освобождают. Тогда я подумала, что и мне нечего ждать 13 апреля. Я была рада, что есть время подготовиться к удару. Теперь обе мы, Тася и я, напряженно ждали тринадцатого, чтобы проверить наши наблюдения, чтобы точно знать.

Новый срок

Мы не ошиблись. 13 апреля в форточку нашей камеры надзиратель подал мне бумажку и карандаш.

— Олицкая, распишитесь.

Я прочитала, что слушалось дело такой-то и такой-то, осужденной по таким-то статьям, и постановлено «содержать под стражей пять лет, с 13 апреля 1937 года по 13 апреля 1942 года.

Прочитав бумагу, я подписала: «Читала Е. Олицкая». Вернув ее надзирателю, пошла к своей койке. Форточка что-то долго не закрывалась. Надзиратель смотрел на меня. Может быть, он ждал слез, вопросов, протеста.

Тася приняла это сообщение ближе к сердцу, чем я.

— Мы не выйдем из этой тюрьмы, — говорила она.

Отчаяния у меня не было. Я была подготовлена к этому. Но как поступить? Обойти молчанием, никак не реагировать? Этого я не могла. Долго ходила я по камере и думала. Голодать? — Бесполезно. Голодать в виде протеста несколько дней — бессмысленно... Я потребовала у дежурного карандаш и бумаги для подачи заявления прокурору. Я протестовала против незаконного вынесения мне приговора без суда и следствия. Я знала заранее, что заявление мое останется без ответа, и потому закончила его примерно так: «В случае неполучения ответа на мое заявление, я вынуждена буду считать, что приговор вынесен мне не за какие-либо деяния, мною совершенные, так как я все эти годы находилась в тюремной камере, а за мои социалистические убеждения».

Я прочитала мое заявление Тасе. Думать и действовать иначе, я не могла. Меня держат в тюрьме за мои мысли и убеждения, и ничего другого, как сидеть в тюрьме, мне не оставалось.

Из дома и я и Тася получили по письму, по пятьдесят рублей денег. Из тюремной библиотеки набрали научных книг, книг на иностранных языках, решили жить, как сможем. Я все успокаивала Тасю, быть может, через год, когда кончится ее срок, «ситуация» изменится. Тася и верила и не верила. Газеты продолжали нести вести о новых процессах.

Неожиданно Тасю вызвали с вещами из камеры. Тяжело было нам прощаться. Мы обещали друг другу: кто первым выйдет на волю — при первой возможности уведомит родных другого. Мы выучили адреса, я — Тасиной мамы, она — моей сестры.

В одиночке, без Таси, я прожила одну неделю. Мне выдали арестантскую форму — синяя юбка с желтой полоской на уровне колен, синяя кофта с желтой полоской у ворота, у подола и на манжетах рукавов. Не помню, при Тасе или уже без нее, все личные вещи были снова отобраны. Оставили лишь обувь, верхнюю одежду, шапку, шарф, перчатки — то, чем не снабжала тюрьма, заведшая женское белье и платье. Оставили личные книги. Прогулку тоже сократили до получаса.

В один из дней мне заявили, что меня переводят в другую камеру. Камера была расположена в том же крыле и на том же этаже. Когда надзиратель открыл дверь и впустил меня в новую камеру, я увидела пожилую женщину в такой же, как у меня, арестантской форме, сидевшую за столом перед открытой книгой. Она едва ответила на мое приветствие и продолжала читать.

Я, как опытная заключенная, сразу же приступила к освоению нового жилья: заняла свободную койку, разложила свои немногочисленные вещички, поставила постель, на нее положила мои личные книги и газету. При виде газеты женщина вдрогнула.

— Вы получаете газету?

— Да. А вы?

— У меня на лицевом счету нет денег на выписку. Я протянула женщине газету и сказала:

— Я — эсерка Олицкая, переведена к вам из другой камеры. Вы здесь давно?

Губы старушки сжались плотней, брови нахмурились.

— Я — коммунистка, я ни в чем не виновата, — и она погрузилась в газету.

Мне было очень любопытно познакомиться с новой категорией заключенных, расспросить о многом... Но если она не хочет?.. Я тоже взялась за книгу. Не все одинаково реагируют на одиночество. Мне одиночка всегда была милее. Сидеть с чужим человеком трудно. Моя сокамерница, правоверная коммунистка, не хотела, очевидно, общаться со мной. Мне ее общество не было нужно.

Но со всякими острыми углами и столкновениями общение все же постепенно налаживалось. Мне было неуютно и тяжело с ней. Вероятно, непомерно тяжелей было ей со мной.

Я знала, за что и почему сижу. Она не знала, не понимала, вся тянулась к той, во всяком случае на словах, прославляемой ею жизни. Она была человеком малообразованным,

неприспособленным к книжной жизни. Ей нужен был собеседник, но не такой, как я. Ей страшно было общаться со мной на глазах у надзора. Ведь я была — настоящей преступницей, подлинным «врагом народа».

Постепенно я узнала биографию моей сокамерницы. В 1918 году она, работница одной из ленинградских фабрик, вступила в партию большевиков. Окружавшие ее родичи были коммунистами. Один из них, ее деверь, старый большевик, был особенным авторитетом в ее глазах. В 1929 году он примкнул к оппозиции. Уверенная в его честности, идейности и убежденности, она, не разбираясь в тонкостях партийных разногласий, подписала какую-то декларацию оппозиционеров. Ни в какой оппозиционной деятельности она не принимала участия. Работала на заводе, растила сына. В 1935 году после убийства Кирова начались массовые аресты в Ленинграде. Забыв о своей подписи, М. вспомнила о ней, когда ее вызвали в КК райкома.

— Деверь мой тогда был уже в ссылке. Я шла за ЦК. Я с ним никаких связей не поддерживала. Успокаиваю себя тем, что многих вызывают. В кабинете нас много сидело, ждали очереди. Вдруг вижу идет мой знакомый. И его, значит, вызвали. Ни я, ни он виду не подали, что знакомы, не здороваемся. Как чужой он прошел, а сел на стул все-таки рядом со мной. Посидел, а потом шепотом спрашивает: «Вас по какому делу вызывают?» Я ему отвечаю: «Не знаю, а вас по какому?..»

Я перебила М.

— Вы говорите, что вы за генеральную линию, что вы, верный член партии, пришли в свой райком. Зачем же вы шептались, зачем скрывали свое знакомство?

Такое время — все дрожали, все боялись.

— Не понимаю. Если бы я пришла в мой партийный райком, я бы ничего не скрывала от моей партии.

М. не дала мне говорить, она вскочила, заметалась по камере.

— Оставьте меня. Оставьте меня.

Мы замолчали на несколько дней. По-человечески, я знала, я должна была бы побережь эту несчастную женщину. Но я не могла. Передо мной была несчастная старая женщина, вероятно, плохо разбирающаяся в политике, но ведь она была членом *правящей* партии. Я была враждебна, я не щадила, я говорила, что думала.

Спустя несколько дней мы заговорили. Я могла бы молчать и дальше, зарывшись в книги и думы, но М. нечем было жить — книги ее утомляли.

Я узнала, что М. была исключена из партии и сослана в Колпашево на три года. Она считала дни до окончания срока, а пришел 1937 год.

— Какой ужас, — говорила она. — В ночь, когда казнили Зиновьева, собаки в Колпашево так выли. Все мы знали — свершилось страшное...

Я перебила:

— Но как так можно думать? Почему колпашевские собаки учуяли смерть Зиновьева?

И снова М. срывалась с места, бегала по камере, и снова мы умолкали на несколько дней.

Я, пожалуй, и жалела ее. Положение ведь, правда, было трагическое. Когда стали арестовывать в ссылках, и ее арестовали в Колпашево, дали новый срок — пять лет. Сына ее, восемнадцатилетнего юношу, выслали из Ленинграда. Она считала, что сгубила и свою и его жизнь. М. не получала ни писем, ни денег. Денег и у меня было мало. Я берегла их на выпуск газет, и в тюремном ларьке покупала только папиросы и спички. Раз в декаду заключенным разрешалось купить пять пачек папирос. В тюремный паек курево теперь не входило. Я привыкла растягивать эти пять пачек на десять дней. Но М. — тоже курила, не могла же я курить одна.

В один из обходов начальником камер я, объясняя причину, просила перевести некоторую сумму денег на лицевой счет М. или разрешить мне выписывать десять пачек на двоих. Начальник категорически отказал и в том, и в другом. Причину отказа он отказался объяснить. С насмешкой в голосе он предложил выписать махорку и так как бумаги не полагалось, то трубку к ней. М. решила попробовать курить трубку, (пропущено несколько слов — примеч. перепечатавшего)... у нас отобрали, поскольку ее не положено хранить в камере. Пять дней в декаду мы курили, пять дней мучились в ожидании ларька. Плохо было и с книгами. Каждой из нас разрешалось взять в библиотеке по две книги на декаду. Я брала только научные книги или книги немецкого языка. М. — только беллетристику. Я прочитывала и ее, и свои книги, М. — только свои. Когда кроме чтения нет другого занятия, книг хватает на два, на три дня. А остальные?..

В карцере

В каждой книге стоял штамп: «Никаких пометок, помарок, обозначений на книге делать не разрешается». М. упустила из виду это правило: ногтем отмечала она строку, на которой остановилась. Я об этом не знала. В результате получилась довольно неприятная история. Дверь нашей камеры отворилась:

— Кто в камере на «О»? — спросил старший.

— Я — Олицкая.

— Идемте со мной.

Я вышла из камеры и в сопровождении надзирателя двинулась по коридору. Надзиратель командовал: «налево», «направо», «вниз по лестнице», «прямо»... Наконец мы вошли в большую камеру без окон, освещенную электрической лампой. В противоположной стене ее была открыта маленькая дверь. Как только я переступила через порог, дверь за мной захлопнулась. Передо мной была глухая стена. Шаг в ширину, два шага в длину. На полу, на четверть от пола — низенький настил из досок. За густой металлической сеткой над самым потолком — маленькая электрическая лампочка. Где я и что со мной — я не понимала. Но дверь снова открылась, на пороге возникла юная девушка в свет-лорозовом шелковом платье, едва доходившем до колен. Завитые волосы обрамляли ее лицо, а накрашенные губы произнесли:

— Обыск. Разденьтесь догола.

Она забрала всю мою одежду, включая чулки и рубашку и, указав рукой в угол, произнесла — «там» и вышла.

Я осталась босая, голая, с распущенными волосами. На полу в углу я разглядела серый сверток. Подняв его, я увидела огромный арестантский халат из грубого солдатского сукна. Из него вывалились большие лапти, сплетенные из лыка. Не знаю почему, но в душе моей поднялась такая нежность к этим лаптям! С детских лет, с Сорочина, наверное, я не видела нашей русской крестьянской обуви. Вы со мной, мои милые русские лапти. Вы — привет мне от моего народа. Вы пробрались в тюрьму, чтобы ободрить меня в трудную минуту.

Я сунула ноги в лапти. Две ноги мои вошли бы в один. Надела халат — рукава его свисали чуть не до пола. Сукно шерстило тело. Но почему-то этот арестантский маскарад рассмешил меня, и я от души рассмеялась. В ту же секунду в щелку заглянул надзиратель, очевидно, решив, что я сошла с ума. А я, подобрав полы халата, присела на низенький настил и размечталась. Вероятно, надзиратель доложил старшему, что заключенная ведет себя, как не положено. Во всяком случае, дверь открылась. Старший с порога объявил, что по приказу начальника я заключалась в карцер на пять суток. Я просто вытаращила глаза — за что?

— Сами знаете, — ответил старший.

— Нет, не знаю, но очень рада узнать, какие карцеры в советских тюрьмах.

Дверь захлопнулась, я опять уселась на настил. Теперь я знала, что мне предстоит пять суток скоротать здесь. Что такое пять суток по сравнению с вечностью. Вообще, карцер правильный. Холодно, полусумрак, не узнаешь, — день или ночь. Вытянуться на настиле нельзя. Ноги упираются в стену. Ходить негде, да и лапти валяются с ног. Халат шерстит все тело. Три раза в день открывалась дверь камеры, мне давали по кружке холодной воды и по куску черного хлеба. Я сама не могу объяснить, почему у меня все пять дней было самое прекрасное настроение. Может быть, потому что я была совершенно одна, сама с собой. Я перебирала в памяти все стихи, какие помнила, читала вслух. Надзиратель часто открывал волчок и смотрел на меня. Вряд ли ему встречались заключенные, так переносившие карцер. Мысль об этом смешила меня, и каждый раз, когда он открывал волчок, я довольно улыбалась. Как мое поведение преломлялось в глазах надзора, не могу сказать, но мне чудилось в нем что-то дружественное. И случилось почти невероятное: надзиратель, протягивая мне хлеб в форточку, шепнул: «Один день еще осталось потерпеть». «Вытерплю», — с улыбкой ответила я.

Когда я вернулась в камеру, моя сокамерница поднялась мне навстречу, обливаясь слезами. Она всхлипывала и ничего не могла сказать. Во всем она винила себя. После увода меня из камеры ее перевели на карцерный режим, все вещи вынесли из камеры. Ее посадили на хлеб и воду. Ей объявил старший те же пять суток на карцерном положении за то, что в библиотечных книгах найдены пометки на полях, сделанные ногтем. М. созналась в своей вине. Она уверяла, что не придавала значения таким меткам, она говорила о моей невиновности. Начальство это не

интересовало. Оно накладывало взыскание. И самое худшее — ведь карцер был уже позади — на месяц лишало нашу камеру возможности пользоваться библиотекой. Вот это был удар! Месяц без книг. Целый месяц.

Тянется время...

Чтобы убить время, я прибегла к всегда спасавшей меня тюремной «музе». Я сочиняла всякие стихи еще во время голодовки. Тогда я не могла записать их. Теперь у меня были карандаш и бумага.

Первым я записала «Моей звездочке, светящей в окне»:

Изменяются нравы, обычаи,
Изменяются судьбы людей.
Пусть столетия пройдут, — но как нынче,
Любоваться звездой моей,
Моей яркой лучистой красавицей,
Старость, юность ли, будут всегда,
Узник к ней, если тюрьмы останутся,
Грустный взор устремит и тогда.
И ее голубое мерцание
Оросит его душу светло,
Проникая в унылое здание,
Как ко мне проникает оно.

Часами могла я стоять в двух шагах от окна (ближе подходить не разрешалось) и, заглядывая в щель над щитом, смотреть на мою звездочку.

Написала я и «Товарищу»:

Мы с тобой не встречались давно,
Не припомню лица твоего,
Не припомню имени даже,
Что же ты мне, товарищ, расскажешь?

Может быть, стихи помогли мне перенести пустые дни этого месяца. С сокамерницей я не могла говорить. Я ежечасно чувствовала, что кроме обиды и горечи, у нее ничего не осталось, фальшивить перед ней я тоже не могла, хотя и жаль мне ее было. Молчание же мое действовало на нее угнетающе. В чем найти выход? В доброте, в сочувствии, в мягкости? Мне претило ее всепрощение к тем, кто калечил жизнь и ее, и мою, и тысячи других. Я давала себе слово никогда ничего не простить и не забыть. Не за себя. Нет. За тех, кто окружал меня. За Россию, над которой производился страшный эксперимент. Все существо протестовало против суда истории, в котором всегда возвеличивались победители, какими бы путями они ни шли, что бы ни попирали ногами. И сейчас возводили на пьедестал Петра I, Ивана Грозного — страшные страницы русской истории. В противовес, мне думалось, что побеждали тьму, расчищали путь для будущих поколений не победители и завоеватели, гарцующие на конях и угнетающие народ, а страдальцы, — покоренные, но не побежденные. Сибирь осваивали беглые, раскольники, декабристы, сумевшие выжить и пронести через жизнь свою веру. Если что доброе разовьется и уцелеет из русской революции, а в конечном торжество революции и победу социализма я твердо верила, то это будет то, что в муках и страданиях создает наш народ не с помощью победителей, а вопреки им. Кончилось утомительное сидение без книг. Опять в нашу камеру зашел библиотекарь, и опять я забила в книгу. Систематически заняться каким-нибудь предметом я не могла. Я читала, что попадается по самым разным отраслям знаний. Чем больше было книг, тем больше я радовалась. Многие я задерживала месяцами, менялись книги только моей соседки. Я читала книги по астрономии, геологии, по истории культуры. Хорошие — перечитывала по нескольку раз. Месяцы шли. Тюрьма приняла устроившийся, завершённый вид. Женский надзор сменил шелковые платья на строгую форму надзирательниц. Состав заключенных, очевидно, был укомплектован. Все камеры были заселены женщинами. Питание мы получали удовлетворительное, но как и все, я с моей сокамерницей теряли аппетит. Идя на оправку, мы ежедневно выносили остатки хлеба, каши, супа. Груды таких остатков мы видели в баке, специально поставленном возле уборной. Нередко из камер доносились плач, истерики. Вне этого была гробовая тишина. Малейшее повышение голоса в камере обрывалось надзором. Говорить заключенные должны были шепотом.

Однажды, в начале 1938 года, тишина эта была нарушена. В коридоре послышалось какое-то движение, шум, беготня. В нашу камеру проник запах гари. Мы узнали, что горела тюремная каптерка. Заключение из некоторых камер переводили в другие. Нас перемещение не затронуло. Но потом другие заключенные рассказывали мне, что кто-то из перемещенных сообщил, что в Ярославской тюрьме заключалась Мария Спиридонова.

Я ежедневно и упорно стучала в стену, надеясь вызвать соседей. Откликов долго не было. Как-то на стук мой дробью отозвалась соседняя камера. Но поднявшиеся было надежды скоро рухнули. Соседка ежедневно безбоязненно постукивала в нашу стену, но перестукиваться она не умела и, вероятно, не хотела. Тысячу раз выстукивала я ей тюремную азбуку, она ее не применяла. Два раза стучала она — утром и вечером. Очевидно, это означало «доброе утро» и «спокойной ночи». Позже, при вывозе из изолятора я с ней встретилась. Это была киевлянка Зина Фраткина.

От одуряющего бездействия я распустила концы моего шерстяного вязаного шарфа и чулок. О железный край койки, а потом кусочком стекла, найденным случайно в уборной, я из обгоревших спичек вытачивала крючки для вязания и тайком от надзора вязала какие-то никому не нужные кружева, салфеточки. Для М. моя выдумка оказалась спасением. Со страстным рвением она принялась за такую работу. Она оказалась мастерицей и придумывала всякие способы вязки. У нас не хватало ниток и, довязав салфеточку одним узором, она распускала ее и вязала другим. Она не была достаточно осторожной и два раза засыпалась с вязкой. Надзор отобрал салфеточки и вызвал женщин произвести обыск. Но крючка они, конечно, не нашли. Мы бросили крючки на пол, а кому бы пришло в голову рассматривать обгорелую спичку?

Кому мешало наше вязание? Почему оно преследовалось?

Весна сменилась летом, лето — осенью и зимой, и опять пришла весна. Мы не видели зелени: ни травки, ни цветочка, ни листика на дереве. Однажды между выступом стены и асфальтом дорожки я увидела и сорвала желтую головку одуванчика. Я принесла его в камеру, но действовала недостаточно осторожно. Прогулочный надзиратель заметил и доложил, и при входе в камеру надзиратель отобрал у меня цветок.

Большое развлечение доставила мне раз мышка. Она выглядывала в отверстие вентиляции, расположенной в углу под парашей довольно высоко от пола, поводила усиками, сверкала черными бусинками глаз. Но оказалось, что М. ужасно боится мышей. Она вскрикнула, забралась с ногами на койку, умоляла меня прогнать мышонка. И махнула на мышку полотенцем. От перепуга мышка свалилась на пол и забегала, забилась вдоль стен. Ни одной щелки, никакого выхода из камеры не было. Мышка попала в тюремную одиночку. Забыв о тюрьме, о режиме, о тишине, разговорах шепотом, М. вскочила на табуретку, привинченную к стене, и заорала во весь голос. По коридору к нашей двери примчалась надзирательница, заглянула в волчок, громыхнула форточкой двери:

— Что такое?

— Мышь! мышь! — орала М.

Может быть, надзирательница тоже боялась мышей, форточка захлопнулась. Через несколько минут в ней показалось лицо старшего.

— Чего кричите. Мыши испугались? Тоже мне преступники! Гоните ее. М. дрожала на скамье.

— Куда гнать? — спросила я.

— Ну, поймайте, да в парашу.

Ловить мышь и бросать ее в парашу я не собиралась. Я сидела на койке и смотрела на мечущуюся по камере мышь. Не было на полу ни одного укромного уголка для нее. Весь пол был гладок и виден как на ладони. Тогда надзиратель открыл дверь, шагнул в камеру. В ту же секунду пронзительно взвизгнула надзирательница. Мышка шмыгнула прямо ей под ноги в коридор.

— Ш... Ш... Ш... — зашипел старший. Дверь нашей камеры затворилась. Мы слышали, как за дверью старший отчитывал надзирательницу. Возможно, ее вопль спас нас от карцера или от других неприятных последствий.

От сестры я получала раз в месяц коротенькое письмо. Из писем я поняла, что Дима арестован, что Шура получил новый десятилетний срок без права на переписку.

Я рада была хоть тому, что Аня цела, жива и здорова.

Забитые женщинами, политическими преступницами, тюрьмы, рассказы М. о забитых до отказа этапных камерах, об аресте поголовно всех ссыльных, статьи Ярославской областной газеты — все говорило о политике террора и репрессий. Но я не понимала ни причин, ни масштаба событий.

Нежданно-негаданно в один из сереньких тюремных дней открылась дверь нашей камеры.

— Кто на «О»? Я ответила.

— Соберитесь к начальнику тюрьмы.

Какого еще сюрприза ждать от начальника тюрьмы? Я вышла из камеры. Вели меня долго. Кабинет начальника — чистая, огромная, светлая, прекрасно обставленная комната: гардины и ковры, диваны и кресла, красный письменный стол... Ведь бывает же такое! Ни щита, ни решеток на окнах...

— Я вызвал вас, чтобы сообщить, что в ближайшие дни вы от нас переводитесь.

— Куда?

— Это вы узнаете позже. Я хотел вам сообщить, что все ваши личные вещи, хранящиеся на складе тюрьмы, пойдут за вами следом и будут вручены вам на месте. (Это он соврал. Вещей своих мы не получили.)

— Это все? — спросила я.

— Все, можете идти.

Я вернулась в камеру. Я не успела рассказать М. о своем вывозе куда-то, как снова открылась дверь. Теперь вызывали М. Разговор с начальником был тот же. Теперь мы прислушивались к звукам в коридоре. Одна за другой открывались двери камер, заключенных выводили и приводили. Что это? Развоз тюрьмы? Мы были выбиты из колеи и взволнованы. Куда? Зачем? Ждет нас облегчение нашей участи? Хуже, пожалуй, быть не может.

На другой день во внеурочное время открылась дверь камеры.

— Без вещей обе следуйте за мной. Шума не производить, ни слова не говорить.

Молча вышли мы с М. из камеры. Спускаясь по лестнице, я увидела такое непривычное для пустынных коридоров тюрьмы зрелище, что остановилась. Остановилась и идущая со мной М.

Вдоль всего нижнего коридора двумя рядами выстроенные друг к другу в затылок стояли женщины, одетые в арестантскую форму. Молодые и старые, перепуганные, взволнованные. Нас подвели и поставили в строй. И тут же мы увидели, что сверху по лестнице спускаются еще и еще... Подходят к нам, становятся в строй. Вдоль строя взад и вперед шагали надзиратели.

Сколько было пар, я не могла сосчитать. Подходили все новые. И снова команда:

— Ни слова не произносить. Шума не производить. Друг от друга не отставать. Шагом марш!

Змеей поползла вереница женщин по коридору, выползла на тюремный двор, обогнула прогулочные клетки, тюремное здание и сквозь наспех открытые широкие двери вползла в другое здание. Это была баня. Но не та, в которую водили нас обычно. В этой мыли большие этапы.

Между заключенными забегали надзирательницы, раздавая железные кольца.

— Раздевайтесь. Одежду надевайте на кольца. Снимите номерок с кольца, получите мочалку, мыло. На мытье дается 10 минут.

И тут все женщины заговорили. Молчание было нарушено.

— Это невозможно. Мы не можем вымыться в десять минут.

Женщины торопливо раздевались, спешно сдавали кольца, получали мыло, спешили захватить таз, место поближе к крану.

Отвыкшая от людей, я дико озиралась в этой толпе голых женщин. Напряженно вглядывалась в лица, — быть может, я кого-нибудь встречу здесь из своих. Может быть, Тася здесь. Я не мылась, я проходила по бане, спрашивая, нет ли социалистов. От слов моих женщины шархались в сторону. И только одна не проявила испуга.

— Я ваша соседка по камере Зина Фраткина. Я несколько раз видела вас в щелку волчка, когда вас выводили на прогулку.

В это же время ко мне подошла маленькая очень худенькая черная женщина.

— Я сию по делу социал-демократов Армении. Люся Оранджанян.

Все кругом мылись. Мы с Люсей спешили обменяться торопливыми словами. А в двери уже слышались окрики:

— Выходи. Воду закрываем.

Нас выстроили парами и снова развели по камерам.

13. ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — НА КОЛЫМУ

На следующий день утром, сразу после оправки и завтрака, так же, как накануне, со строгим предупреждением, нас вывели из камер, но на этот раз с вещами. Собственно, вещей почти не было. По маленькому узелку: пара чулок, пара носовых платков, шарф, косынка, перчатки...

Так же попарно повели нас из тюрьмы на прогулочный двор, в прогулочные клетки. В каждую завели человек по сорок. Двор был полон надзора. В нашу клетку зашли женщины надзирательницы и стали производить обыск.

День был теплый, даже жаркий. На вышках клеток стояли дежурные. Женщин сгрудили в одну половину клетки и, вызывая по одной, обыскивали и перегоняли в другую половину. Арестантки толпились, присматривались друг к другу, через щель поглядывали в соседнюю клетку, где происходил такой же обыск.

По окончании обыска каждую вызвали поименно: «Фамилия, имя, отчество, статья, срок...» и выпускали из клетки на тюремный двор.

Во дворе стояли крытые черные машины. Много машин. Каждая заполнялась людьми до отказа. В машину втискивали столько женщин, что повернуться, двинуть рукой не было возможности. Мы задыхались, а машина стояла. Тронулись мы, очевидно, когда был погружен весь этап. Машины шли недолго. Когда двери нашей машины открылись, мы увидели целый состав красных товарных вагонов, и нас перегнали в вагон. Он был разделен на две половины. В каждой, встречно друг другу, шел четырехярусный настил из досок. На нижних нарах можно было сидеть, согнувшись, на верхних — только лежать. Молодых загоняли на верхние нары, пожилые размещались на нижних.

Вагон был уже полон, но надзор загонял все новых и новых арестанток. В конце концов, на нарах разместилось по десять человек. Лежали в ряд, плотно, плечо к плечу. Согнуть ноги было невозможно. В середине вагона, против вагонных широко раздвигающихся дверей, было оставлено пустое место. Там, в углу, дыра-параша, закрытая тяжелой деревянной крышкой.

Сколько нас было в вагоне, я не помню. Много было. Очень много. Было невероятно темно, невероятно жарко. Наверное, переносимо, потому что за перегон от Ярославля до Владивостока, тянувшийся ровно месяц, из нашего вагона вынесли на разных остановках только трех полуживых женщин. Одна из них, маленькая хрупкая пожилая женщина, конечно, не могла выдержать такого этапа. Она страдала астмой. Задыхаться она начала с первого же дня. Говорила она мне, что астму приобрела на каторге, которую отбывала по эсеровскому делу. После 1917 года стала коммунисткой, попала в Ярославль и в наш этап. В нем ее жизненный путь и оборвался.

Другие две были еще совсем молоденькие. Ярославль подорвал их здоровье. На этапе после недели пути они не смогли больше принимать пищу, ту пищу, которую нам давали.

На этапе я, наконец, вошла в прямое соприкосновение с массой женщин, которые заполняли Ярославскую тюрьму особого назначения. Никого из социалистов, кроме Люси, я не встретила. О ней я узнала, что в 1936 году она была арестована в ссылке. Люсю привезли в Ярославль. Как и я, она мечтала встретить своих товарищей. С Люсей мы сразу заговорили на одном языке. Но остальные? С любопытством и интересом приглядывалась я к ним. По их статьям я знала, что передо мной всё политические преступники. Все они, за редким исключением, были осуждены на десять лет тюремного заключения по статьям 58¹⁰ — 58¹¹ и 58⁸ — террор и соучастие.

Я смотрела и не верила своим глазам и своим ушам: разношерстная, разнообразная, ни по какому признаку, кроме арестантской одежды, не объединенная масса. Одни из них были чрезвычайно возбуждены, другие молчаливы и податливы. Одни верили, что теперь выяснена их невиновность и их везут в ссылку, другие полагали, что массовый вывоз всей тюрьмы не может быть признаком пересмотра дел и вывоз можно объяснить лишь переброской в другую тюрьму или лагерь. Проведшие годы в замкнутых камерах, — кто по двое, кто по одиночке, — женщины не замолкали. Каждая стремилась рассказать свое дело, свое следствие, свой незаслуженный приговор. Самым страшным для них было, что все они сидели за несовершенные ими преступления. Меня поражало, что им было понятно то, о чем они говорили. Никогда не слышала я раньше об избиениях во время следствия, о пытках. Обрушилось на меня и то, что все они, или почти все, подписали протоколы с вымышленными показаниями против себя и других. Я слушала разговоры их между собой. Кое-что рассказывали мне соседки по нарам.

Привлекли мое особое внимание две совсем юные девушки — Тамара и Нина. Подружились они в Ярославле, а теперь старались быть вместе. Они забрались в верхние нары вагона, и смотрели

на нас вниз. Лица их были по-тюремному серыми и отеками, но глаза сверкали живо и молодо. Они были счастливы, что вырвались из Ярославской одиночки, заинтересованы творящимся вокруг, верили в лучшее будущее. Срок у них был большой, — десять лет тюремного заключения. Но они и мысли не допускали, что просидят все десять лет. «Мы изучаем жизнь», — говорили они. Рядом с ними не то узбечка, не то таджичка — нацменка, как говорили женщины.

«Оппозиционерки»

— Вы не узнаете? Ее фотография была напечатана во всех газетах. Она подносила букет Сталину, и он обнял ее. Она первая, снявшая паранджу, первая, вступившая в комсомол. Она простояла двадцать четыре часа на допросах в жарко натопленной комнате в шубе. Семь ночей ей не давали спать. Она такая убежденная. До сих пор она считает, что все мы — враги, и только с ней произошла какая-то ошибка.

На нижних нарах против меня — женщина огромного роста. Крупная, широкоплечая. Лицо у нее опухшее, дряблкое, щеки свисают мешками. О ней мне рассказывает моя соседка.

— Я с ней встретилась в камере для беременных. До 1937 года она была начальницей лагеря. Говорят, зверь была. После разоблачения Ягоды ее тоже арестовали. На следствии она оговорила всех — думала, ей лучше станет. Пришла она в камеру до допросов еще важная, толстая, в три объёма. Все мы — враги, убить нас надо. А как стали ее на допросах таскать и бить, — от нее ничего не осталось. Били ногами, топтали, произошел, конечно, выкидыш, тут же, в камере. А через сутки опять на допрос.

— Где же ваш ребенок? — спрашиваю я.

— Восемь месяцев пробыла я с ним в лагере для мамок. Потом отняли, а меня на этап. Прямо из рук моих вырвали. Трое у меня. Старшие после ареста хоть вместе остались, а этот... и не разыщешь потом. А какой карапуз крепкий, — она заплакала.

— За что вас взяли? — спрашиваю я, чтобы отвлечь ее.

— Мой отец и брат были оба оппозиционеры. Отец — большевик еще с царских времен. Его взяли, потом арестовали брата. Я им всё передачи носила. Раньше я была комсомолкой, а когда отца арестовали, меня из комсомола исключили, а мужа — из партии. А в 1937-ом взяли и мужа, и меня; мой отец чудесный, честный человек, а от меня требовали на следствии, чтобы я его оклеветала. Двое старшеньких моих в детском доме. Воспитательница мне о них в тюрьму сообщала, а маленький где-то в яслях при лагере остался...

Наш разговор о детях слышали другие арестантки. Услышала его и Зинаида Тулуб, невысокая пожилая женщина с изумительными горящими глазами. Тулуб не вмешалась в наш разговор, она просто заговорила вслух. Может быть, сама с собой, может быть, обращаясь ко всем.

— И все-таки я — самая несчастная. Я ни в чем не виновата перед нашей родной коммунистической партией. Я не принадлежала к партии, но я остаюсь верна ей. Я — преданный партии советский писатель. Я работала над своей книгой, над большим историческим романом «Людоловы». Десять лет я жила, погруженная в ту эпоху, в свою работу. Моя книга одобрена, она принята к печати. Пусть это так надо, я буду сидеть в тюрьме. Я не ропщу. Я одинока, у других остались дети, я знаю это. Им тяжело, но о детях партия наша позаботится. Их возьмут в детские дома, их воспитают. А у меня, у меня в квартире, из которой меня увели осталось двенадцать кошек, кто о них позаботится. Кто их накормит?

Ответом ей были гневные крики:

— Кошки! Она смеет говорить о кошках!

С кем-то из женщин началась истерика. Матери очень остро переживали разлуку с детьми. У большинства дети были еще малые. Писательница сжалась, поникла, непонятая никем. Позже она обратилась ко мне с вопросом.

— Я слышала вы не коммунистка. А кто же вы?

— Я — эсерка.

— Эсерка? Об эсерках я знаю, но ведь это было так давно... А сейчас?

— Я не отказываюсь от партии. Как я думала раньше, так я думаю сейчас.

— Боже мой, — воскликнула она восторженно. — Так вы же ихтиозавр! Не обижайтесь, пожалуйста. Я ничего плохого не думаю о вас. Мне просто удивительно встретиться с ископаемым. С ихтиозавром. Мне очень хотелось бы побеседовать с вами, но не сейчас. После

ареста у меня что-то как оборвалось внутри. Неужели и вы не поймете, что я непрерывно думаю о моих маленьких зверьках. Ведь они погибнут, а какое им дело до политики.

Я молчала. Тулуб не производила на меня впечатление ненормальной. Она очень охотно, очень здраво говорила о своей литературной работе, о своих занятиях над архивными материалами. Она прекрасно знала историю Украины. Еще... она говорила о кошках. О политике, о следствии, о тюрьме она не говорила.

Нюра-Нэлля

Со мной рядом на нарах лежала молодая простая приятная женщина лет тридцати двух. Открытое доброе деревенское русское лицо. Говор ее тоже был народный. Нюра мне сказала, что она малограмотная и в деле своем никак не разбирается. Срок ей положили — десять лет заключения и пять поражений в правах. Статья КРТД — 58⁸ через 17. Буквы изумляли меня. В приговоре почти у каждой арестантки указывались буквы. Я не сразу сумела расшифровать их. КРД, КРТД, ПШ... и еще, и еще...

У Нюры детей на воле не осталось. Остался у нее любимый. Меня очень удивило его имя «Вольдемар». Больше всего она говорила о нем. О том, как она счастлива, что он не арестован, уцелел. Нюра говорила, что на следствии его имени не называли, и она не называла, хотя из-за этого ей пришлось промолчать о том, где и с кем проводила вечера. Нюра безотчетно радовалась вывозу из тюрьмы. Она не надеялась на освобождение. Она мечтала о лагере.

— В тюрьме я зачахла совсем. Все о смерти думала. Камера — что второй гроб! Если б я читать могла. Я ведь только свою фамилию подпишу, а больше нет. Если в лагерь везут, там работа будет, время скорей пройдет. Вот бы мне по моей специальности работы получить.

— А какая у вас специальность?

— Четыре года я на кухне работала. Уже помощником повара стала. Подмосковные вы? Не обессудьте, я вам свою всю жизнь расскажу. В камере передумала. Ходишь и думаешь. Ходишь и думаешь...

Жила я в селе, школу четырехлетку кончила. Деревню всю нашу в колхоз перевели — мне еще шестнадцати не было. Я больная была: хотела — работала, хотела — нет, не закрепленная еще. Мечтала учиться... И встретился мне тут Вольдемар. Шофером работал, мимо нашего сада ездил. Недалеко от нас дом отдыха был для высших московских начальников. Вольдемар начальников туда на отдых возил. Он меня и сманил туда на кухню работать посудомойкой. У него там знакомые были... Если бы вы моего Вольдемара видели. Такой парень. Не курит, не пьет, и красивый, и умный. Наверно, за то его и взяли вождей возить. Я там всех в доме повидала. И Калинина видела. Они больше обыденно приезжали, реже на день, на два. А уж отдых у них был — прямо царский. Из еды все, чего душа ни пожелает. Поработала я там года три, меня за работу отличили, повышать стали. Все сулили на курсы поваров послать. И с Вольдемаром мы хорошо жили. Хотели уж зарегистрироваться. В камере я все о нем думала. Пока в Москве была, он мне в тюрьму передачи носил. Говорил — дождусь. А где дожждаться. Как мне сказали — десять лет, сразу поняла — не дождется. Взяли нас с кухни сразу всех.

— За что же вас всех взяли?

— Об этом я думать не хочу. Террористка я, вот я кто. Отравить мы кого-то хотели. Убийцы мы. Слыхано ли дело — с убийцей я работала, убийце помогала. Я на последнем свидании говорю Вольдемару: «Отрекись. И живи, хоть я не виновата».

— Почему вы его так, на французский лад, зовете?

— Очень ему так нравилось. Он меня Нэллей звал. Мы, говорит, теперь хозяйева страны, пусть и имена у нас благородными будут.

С Нюрой у меня установились хорошие приятельские отношения. Простая и милая женщина, она истосковалась в тюрьме. Она отзывалась на горе каждого, и была счастлива, если ей удавалось поговорить о Вольдемаре. Делом своим она вовсе не интересовалась. Она не подписала протокол допроса, сфабрикованный следственными органами.

— Как бы я Вольдемару в глаза глянула, если бы сама на себя такое написала?

Зеленый лук

На одной из остановок дверь вагона открылась. Конвоир с порога объявил:

— Можем купить для вагона зеленого лука. Составьте список, у кого есть деньги на лицевом счету, и укажите, на какую сумму купить луку.

В вагоне оживились. Составить список поручили мне как опытному тюремному сидельцу. Лук выписывали все, у кого были деньги, — кто на двугривенный, кто на полтинник. Я составила список, подсчитала, сдала дежурному по вагону. Нам принесли большую кипу зеленого лука.

— Вы список составляли, вы и делите, — сказали мне женщины.

Я разделила весь лук на равные кучки по числу нар с тем, чтобы каждая нара разделила между лежащими на ней людьми.

Когда я разнесла кучки по нарам, — сперва шепотом, потом все громче, — поднялся ропот. Оказывается, я разделила неправильно. Надо было делить не на равные кучки, а пропорционально собранным деньгам. Почему выделен лук тем, кто не вносил денег? То есть тем, у кого их не было.

— Я не на волю еду, я деньги беречь должна...

— Я не могу кормить нищих...

— Это наши последние крохи, мы не можем угощать...

Сперва я не поняла. Потом растерялась. Всего, кажется, я могла ждать от заключенных со мной каких ни каких, а все-таки коммунисток, но этого!.. Кажется, на глазах у меня даже выступили слезы.

Я тоже была измотана тюрьмой, как остальные. Я злилась, что из-за этого паршивого лука плачу. Только чтобы справиться со слезами, я стала гневно говорить о том, как раньше жили в тюрьмах социалисты: как делились каждой крошкой, как не считались с тем, чьи деньги, и учитывали больных и ослабевших. Не помню всего, что я наговорила, но вагон как-то затих. Луковый вопрос не решался и не обсуждался. Но я заметила, что большинство осталось мною недоволено. Многие, кто раньше прочил меня в старосты вагона, стали теперь сторониться. Но кое-кто выразил мне сочувствие. Среди них была Тоня.

«Враг народа» Тоня Букина

Тоня Букина была моей ровесницей. Революция 1917 года застала ее работницей одной из фабрик Ленинграда. Заработок ее был ничтожно мал. 23 февраля вместе с другими работницами вышла она на демонстрацию. Революционная волна захватила и перевернула всю ее жизнь. Тоня вся отдалась общественной работе, вступила в партию большевиков. Работала и училась. Ее, как активистку, послали на курсы повышения квалификации. Потом она стала работать женорганизатором. Она полюбила своего партийного товарища, но ей некогда было налаживать свою семейную жизнь, воспитывать сына. Всю жизнь она моталась по партийным командировкам. 1937 год застал ее на партийной работе в Донецкой области. Я спрашивала Тоню о судебных процессах, ведь пережила она их еще на воле. Тоня сказала:

— Я могу сказать только, как я пережила их. В 1936 году был первый процесс. Тогда я ненавидела врагов народа, партии, изменивших Родине и революции, продавшихся капиталистам. Я безгранично верила ЦК и органам государственной безопасности. Аресты все новых и новых людей страшили и радовали. Мы выявляли врагов. Но когда арестовали работников нашего обкома, наших прямых руководителей, мы растерялись. Как это могло случиться, что ни я, ни мои товарищи не почувствовали, не заметили предательства в руководстве... Я вместе со всеми требовала смертной казни. Я шла к женщинам-работницам и разъясняла им настоятельную необходимость беспощадной борьбы. Не успели мы опомниться, как арестовали руководящих работников нашего райкома. Это были люди, с которыми я работала рядом. Среди них были мои близкие друзья. С ними я прошла много дорог революции. С ними я пережила первые процессы. Мне казалось, я теряю рассудок. Все оказались предателями... Я не знала, кому и чему верить, если эти люди предали. Я металась, я не жила. Я бы, наверное, сошла с ума, но, к счастью, меня арестовали. Сперва при аресте я подумала, что меня оклеветали предатели, и не сомневалась, что следствие выяснит мою невиновность.

На первом же допросе следователь не стал ни в чем разбираться. Его ничто не интересовало. Он предложил мне подписать показания, в которых не было ни слова правды. Он требовал от меня клеветы, лжи. Я не хочу говорить, как велся допрос. Он велся, как у других. Но случилось так, что весь этот кошмар спас меня. Спас, потому что я поняла, что мои друзья не были предателями. Ведь о себе-то я знала точно, знала твердо. Ведь я-то в своей работе руководствовалась директивами ЦК.

— Вы подписали показания? — спросила я.

— Нет, — она отрицательно покачала головой.

— А вас били?

— Об этом я не хочу говорить. Я не понимаю, что случилось, как случилось, что могли означать все эти ужасы. И, что ужасней того, что я пережила?! Следователь сказал мне, что я коммунистка, и партия требует от меня подписи. Я не подписала. Мой сын, мои родные, друзья считают меня врагом народа. Ведь я до ареста сама так думала о других.

«Крупный рогатый скот»

Вагон шел медленно. Вечером надзор проводил поверку. Стуком деревянного молотка в дверь вагона он предупреждал нас о ней. Тогда нас загоняли всех в одну половину вагона и, пересчитывая поштучно, с руганью, грубо перегоняли в другую.

Никто не говорил нам, куда нас везут. Но мы знали, что поезд движется на восток. Раз в день нам давали отвратительную похлебку. В вагон втискивали бак с тепловатой, напоминающей помой жижей. И выдавали по триста граммов хлеба. Раз в день нам приносили бачок с водой. На каждую заключенную приходилось по пол-литра.. Хочешь — умывайся, хочешь — пей. Чтобы скоротать время, женщины затеяли чтение наизусть стихов и поэм. Удивительной чтицей оказалась Женя Гинзбург. Молодая красивая брюнетка, — кажется, сотрудник Казанского университета, — она обладала изумительной памятью. От слова до слова с большим мастерством читала она нам всего «Евгения Онегина», всю «Полтаву», всего «Медного всадника», всё «Горе от ума». Ее чтение подслушал надзор. Войдя в вагон, он потребовал выдачи книг. Уверениям, что книг нет, он не поверил. Дико ругаясь, обшарил весь вагон, но книги, конечно, не нашел.

Большинство женщин нашего вагона были коммунистки, взятые с руководящих постов. Ни одна не признавала себя виновной, но и ни одна не возмущалась, не протестовала. Все они, моля, просили и ходатайствовали о пересмотре своего дела. Они знали про себя и не верили другим.

Поезд наш двигался очень медленно. Часто останавливался на станциях и полустанках. Пока поезд шел, мы могли говорить друг с другом. На остановках надзор требовал абсолютной тишины. Малейшее громко сказанное слово вызывало не окрик, а стук молотком в стену.

Недели через две пути, на одной из остановок, — кажется, это был Новосибирск, — нам велели выйти из вагона и построиться по пять человек в ряд. Собачий лай морозом пробежал по коже. Каждую держал на поводке надзиратель.

— Смотрите, смотрите, — сказала мне соседка, глазами указывая на вагоны.

Мелом, размашисто на стенках товарных вагонов было написано: КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ. Такая надпись на нашем вагоне, такая же на следующем... Состав был большой. Неужели во всех вагонах — арестанты?

Так вот почему надзор не окликал нас, а бил молотком в стены! Вот почему нам запрещалось вести разговоры на остановках, приближаться к маленьким отверстиям под крышей вагона, заменявшим окна. Всё продумано, всё взвешено. Везут на север состав за составом — крупный рогатый скот.

На меня эта надпись не произвела впечатления, но мои соседки были подавлены.

Когда мы построились, раздалась новая команда:

— Три шага вперед. Стоять молча, не оглядываться.

Оглядываясь или не оглядываясь, но мы видели, что открылись двери соседнего вагона. Из него вышли женщины в арестантской одежде. Потом открылись двери третьего вагона. Снова женщины.

Когда все три вагона построились, началась поименная переключка. К переключке мы, конечно, прислушивались. Всё как и в нашем вагоне. Те же сроки, те же статьи. И вдруг я услышала — Лобыцина Надежда Александровна. Срок десять лет, ст. 58-8 через 17.

Много хлопот надзору с женщинами. Как бы они ни боялись, как бы ни дрожали от страха перед конвоем — со штыками наперевес, собаками, окриками — заставить их держать строй почти невозможно. Через каждые 10-15 шагов строй ломался. Конвой ежеминутно останавливал колонну, ежеминутно повторял: «Шаг влево, шаг вправо рассматривается как попытка к бегству. Стреляем без предупреждения».

Женщины жались друг к другу, как испуганные овцы, а строй ломался. В общей сумятице, толкотне я отставала и отставала, но сколько ни оглядывалась, я не могла разглядеть, узнать в колонне второго вагона Надю.

С многочисленными остановками, под крики надзора и лай собак дошли мы до какого-то высокого забора. С перекличкой запустили нас через широкий двор в огромное пустое помещение. Вторая перекличка, и опять переход. Нас завели в огромную баню. В помещении ко мне сразу протянулись сквозь толпу три женщины.

— Вы не узнаете меня, а я вас сразу узнала, — сказала одна.

Я вглядывалась. Что-то знакомое было в стоящей передо мной изнуренной, истощенной женщине. Пышная рыжеватость волос, глаза... Нади... Неузнаваемая, но все-таки Надя.

Галю Затмилову, жену левого эсера Павлова, я не знала. Не знала я и Лену, жену эсера Новикова. Все три были беспартийными, жены своих мужей, не больше.

И сразу же, тут же в предбаннике, они спешно рассказывали мне об уфимском процессе. Вся уфимская ссылка, где жили они с мужьями, была арестована. Был создан вымышленный процесс. О мужчинах они ничего не знали. Их, женщин, допрашивали, — вернее, их принуждали давать ложные показания. Их вызывали по одной в зал суда, где заседала тройка, и зачитывали приговор. Десять лет тюрьмы и пять поражений в правах. Все трое они говорили одновременно. Хотели что-то сообщить, о чем-то спросить...

Галя Затмилова была раньше комсомолкой. В Уфе она познакомилась со своим будущим мужем, левым эсером, и от комсомола отошла. Настроена она была очень лево, и очень взвинчена и возбуждена, и понять из ее рассказа я ничего не могла. Они что-то говорили мне об Ирине Константиновне Каховской, арестованной по тому же уфимскому делу, о Марии Спиридоновой.

Лена Новикова, маленькая, худенькая, вся сморщенная от истощения и болезни, тихонько стояла рядом и тяжело дышала. Ее муж был арестован за несколько дней до нее. Дома осталась малолетняя дочка.

Конечно, ни Надя, ни Лена, ни Галя не подписали ложных показаний. Они точно знали от мужей, что никакой подпольной работы в уфимской ссылке не велось. Все они испытали в тюрьме приемы следствия тех лет. Если так обращались с беспартийными женщинами, то что должны были пережить их мужья... Женщины очень обрадовались встрече со мной. Их тяготила окружающая среда коммунисток, оправдывавших все происходящее, где каждая утверждала свою невиновность, непричастность к совершаемым кем-то злодеяниям.

В сумятице, в толчее предбанника под окрики надзора: «Раздевайся. Вещи сдавай», я ничего не могла ни понять, ни осмыслить.

В присутствии мужского надзора женщины разделись, нанизали свои одежды на круглые металлические кольца и сдали их для прожарки. Банная обслуга выделила каждой женщине крохотный кусочек мыла. Надзиратели, выбритые, вымуштрованные, одетые тщательно в военную форму, выстроили голых женщин в шеренгу и приказали им идти вперед по одной. В дверях стоял конвоир. Указывая пальцем, он считал каждую: «раз, два, три...». За дверями шел коридор. Вдоль всего коридора шеренгой стояли надзиратели. Мимо них вереницей шли женщины. Будто нарочно, на стене висело огромное зеркало. В нем отражалась вся картина: строй надзора и вереница голых женщин.

Женщины потуплялись, сжимались от унижения. Но кто же был унижен? Голые арестантки или охраняющий их надзор?

И все же огромное большинство арестанток дрожало с головы до ног, глаза их были полны слез:

— Мы больше не люди, мы хуже скота.

Я же смотрела на телохранителей наших и думала, — люди ли они? и пославшие их?

Баня изумительная, роскошная. Она была разделена перегородками на массу маленьких кабин. В каждой кабине душ, таз, в двери вмонтировано зеркало. Как хороша вода после двухнедельного пребывания в душном и тесном вонючем вагоне. Намылиться и стать под душ. Это ли не блаженство?

Но внезапно поступление воды прекратилось. Пять минут, положенные на мытье, истекли. Мылом вспенены волосы, в мыле все тело. Кого это интересует? Дана команда. Вода перекрыта. Одевайся и выходи.

Мы стирали полотенцами мыло. Волосы слипались, клейкие от грязи. В раздевалке мы получили свое же грязное белье. Оно было еще теплым от прожарки. Чье-то кольцо с одеждой затерялось, чье-то свалилось на пол в лужу. По нему прошли чьи-то ноги... Окрики, ругань, угрозы...

И снова строй. Снова мы загнаны в вагон. Я снова лежу на нарах, вытянувшись в струну, сжатая между соседями. Мысли... Разгадать бы загадку. Надя, Галя, Лена... Тяжкие преступницы. Что с мужчинами, если так гонят их ни в чем не повинных жен?

Мне страшно жить среди этих людей

В вагоне начинаются заболевания. В основном, на почве истощения. Женя Гинзбург декламирует «Мцыри», Маруся И. читает Маяковского. На остановках мы замолкаем. Но на ходу поезда, чтобы подбодрить себя, заключенные составляют хор. Кто-то предлагает спеть «Интернационал». Возмущенные реплики: «Как можно? Мы заключенные, мы не имеем права». И вдруг кто-то запекает «Широка страна моя родная...» Я вздрагиваю, приподнимаюсь на нарах. Что это? Фарс или издевательство? А хор подхватывает и по всему арестантскому вагону звучат слова: «Где так вольно дышит человек». Я ничего не понимаю. Я смотрю на поющих женщин. Только что их голых прогнали сквозь строй мужского надзора. Запертых в арестантском вагоне, их везут, как крупный рогатый скот... «Широка страна моя родная...» Где же предел человеческой подлости или глупости? Наверное, я-таки ихтиозавр. Или еще какое-нибудь доисторическое животное.

С противоположной полки смотрит на меня Р. У нее умное лицо, острые насмешливые глаза. Она шепчет Зине: «Все это было бы так грустно, когда бы не было смешно».

Неожиданно на верхних нарах начинается истерика. Я ненавижу истерики, но на этот раз, по крайней мере, хор смолкает.

Кто же окружает меня? Кто эти несчастные женщины? Лучшие ли это люди партии? Или отбросы, балласт? За что и почему? Кому понадобилась такая их участь?

Скоро месяц, как мы на этапе. Всех нас шатает, — кружится голова. Раз начавшиеся, месячные кровотечения у женщин не останавливаются. Нет воды, нет смены белья. Нет даже просто лишней тряпочки. Рубашки, бюстгалтеры — все разрывается на бинты.

Чем дальше мы едем на восток, тем упорней идет разговор о Колыме. О ней слышали на воле, о ней рассказывали ужасы. Мне не страшны ужасы Колымы. Мне страшно жить среди этих людей.

Владивосток. Пересыльный лагерь

Поезд прибыл во Владивосток. Какое счастье вырваться из вагона. Воздух, небо, деревья, трава зеленая... Нас всех шатает. С трудом, поддерживая друг друга, идем мы к женской пересыльной зоне лагеря. Вокруг все необычно, — сопки, деревья, море. Я вспоминаю японские и китайские рисунки, виденные на шкатулках, на открытках, в книгах. Раньше они казались мне декадентством, теперь мне кажется, я начинаю понимать восточную живопись. Какая красота, воздушность, прозрачность! Сил нет, а хочется идти дальше. Но впереди опять тюрьма, опять решетка.

Мы идем теперь уже не по-вагонно. В нашей пятерке Надя, Галя, Лена, Люся и я. Мы четверо еще держимся. Но Лена еле передвигает ноги. Мы ведем ее под руки. У Лены — порок сердца.

Я ошиблась. Нас ждала не тюрьма, а нечто худшее: высокий деревянный забор; вышки караульных; вокруг колючая проволока.

Женская зона состояла из нескольких длинных, сколоченных из досок, барачков. В барачках — сплошные нары в два яруса. Зона была почти пуста. Недавно отошел пароход на Колыму, с ним были вывезены все заключенные. Со следующим пароходом отправят на Колыму нас. Пароход идет обычно раз в две, в три недели. В барачке мы застали нескольких женщин. Две из них прибыли с последним пароходом с Колымы. Их рассказы нас очень интересовали, но мы смертельно устали. Мы не легли, мы свалились на нары. Мы еле поднялись по звону колокола на ужин. В зону въехала походная кухня, — огромный котел с тюремной баландой. С мисками в руках выстроились в очередь заключенные. Каждый из нас получил по пол-литра жидкой мучной жижи, в которой плавали редкие, круто затертые галушки. Мука слегка подгорела. Суп был равно отвратительный на вкус, на цвет и на запах.

На пересылке мы пробыли около двух недель. Дважды в сутки, утром и вечером нас кормили этой похлебкой. В зоне был ларек. За свои деньги заключенные могли покупать продукты. У нас пятерых денег не было. Мы сидели на баланде. В барачках было не очень темно, не очень грязно. Мы были предоставлены самим себе. Надзор, в основном, был за колючей проволокой. Мы могли выходить из барака, ходить по дворику зоны. После месяца, проведенного в вагоне, после Ярославской тюрьмы это было уже не мало. Оказалось, что наш этап был составлен из женщин,

сидевших в Ярославской, Казанской и Суздальской тюрьмах. Последнее меня поразило. Если в Суздале была женская тюрьма, то мужчин куда-то вывезли. Куда? Где теперь Шура? Где товарищи? Что с ними?

Мы узнали, что забор отделяет мужскую зону от женской. Снести с мужчинами стало моей заветной целью. Среди женщин я не встретила своих товарищей, может быть, среди мужчин окажутся друзья?

Галя, Лена, Надя, Люся и я — все мы хотели хоть что-нибудь узнать о мужчинах. Там ведь могли быть наши друзья или люди, слышавшие о них. Способа связаться с мужчинами тайно не было. И я просто, проходя мимо забора мужской зоны, прокричала несколько раз:

Товарищи, в женской зоне есть социалисты, нет ли социалистов у вас?

— Узнаем, — ответил мужской голос. Я и Надя нетерпеливо ходили вдоль забора. И нам ответили:

— Здесь есть два социалиста-сиониста и левый эсер Самохвалов.

— Позовите Самохвалова, — крикнула я: Я хорошо знала Михаила — он был старостой левых эсеров на Соловках.

— Я— Самохвалов. Кто вы. Я назвала себя, Надю, Галю.

— Вы ничего не слышали про мою жену Веру? — спросил он.

— Нет. А вы про Шуру и Петю?

— Тоже нет. Ждите записку.

Сквозь щели забора Михаил передал нам записку. Мы просунули ему записку в ответ. Мы взаимно просили при встрече с друзьями передать о нас. Договоривались на Колыме разыскать друг друга.

Узнав, что едем без белья, без вещей, без постельных принадлежностей, мужчины прямо через забор перекинули нам пару смен мужского белья, полотенец, наволочек и даже подушку. Назавтра мы условились снова обменяться письмами, но ночью мужской этап ушел на Колыму.

О Михаиле Самохвалове я узнала только семь лет спустя. Он умер на Колыме от истощения, кажется, в 1942 году.

Мужчины за забором откликнулись на мой вызов. Они позвали Самохвалова. Не так реагировали женщины нашего этапа. Крик наш через забор, вызов социалистов, разговор с ними — возмутил женщин.

Против нас возник целый заговор. Возглавляли его Мария Крутикова и Лиза Котик. Не взяли бы на следующий день Михаила на этап, не знаю, чем бы все кончилось. Женщины решили не дать нам осуществить преступную связь. Они считали, что я подвожу всех, навлекая на всех угрозу репрессий.

Мария Крутикова была директором какого-то завода в Ленинграде. К никакой оппозиции она никогда не принадлежала. Считала себя самым верным и преданным сторонником ЦК, была страстной поклонницей Сталина. Педантично и сухо, как вообще было в ее характере, соблюдала она все директивы партии. О том, как протекал ее процесс, она никому не говорила. Она знала, что произошла ужасная ошибка, писала прошение о пересмотре дела. На воле, в Ленинграде у нее остался сын. Сын ее будет расти в сознании того, что мать его — заклятый враг народа. Родные отреклись от нее, и они правы. Она сама отреклась бы от каждого, осужденного советским судом. Родные верят партии, значит, они не могут поверить ей. Мария попала в среду врагов народа. Они, как и она, отрицают свою вину, но кому она должна верить — партии или им? Кому можно верить, кроме себя самой и партии? Теперь Мария столкнулась с этой, враждебной ей, средой врагов народа, врагов подлинных.

Сидя на пороге арестантского барака и злобно глядя на меня, Мария говорила:

— Вот кто — причина наших бед. Котик ей вторила:

— Если бы я могла, я собственными руками задушила бы социалистических гадов.

Мария Крутикова говорила, что, даже отбыв срок, она не вернется домой. Она и не вернулась. В 1949 году она покончила с собой.

«Не рой другому яму...»

Когда я слушала рассказы о следствиях 1938-1939 годов, о требовании следователей подписывать вымышленные протоколы, о методах допроса с побоями, карцерами, пытками, о диких обвинениях в терроре и вредительстве, я ничего не понимала, кроме разве того, что понадобилось

уничтожить малейшую тень оппозиции. Правителям понадобилось уничтожить свидетелей русской революции, свидетелей всех лет борьбы. Для меня все происходящее казалось логическим следствием принятых раньше установок.

Если человеческая мысль взята в шоры и мыслить разрешается лишь по определенной указке, все инакомыслящие преследуются законом, если вслед за эсерами в ссылки и тюрьмы попали социал-демократы, затем анархисты, леваки, оппозиционеры, то круг преследуемых должен был расширяться. А круг угнетателей — сужаться. Как пуганые вороны, должны, в конце концов, пугаться гонители того куста, на котором сидят.

Иногда во мне поднималось даже чувство злорадства по отношению к окружавшим меня коммунисткам. Они ведь попали в яму, вырытую для других. Они одобряли в свое время, да и сейчас одобряют, гонение за мысль, за слово, за убеждение. Они рукоплескали смертным приговорам своим бывшим вождям.

Что перенесло русское темное крестьянство за эти годы? Кто шел по этапам, когда они руководили жизнью страны?

Злорадство мое умерялось чувством жалости: лежачего не бьют. Но за долгие годы, прожитые в бараке, мне пришлось встретить всего несколько человек, вызвавших мое уважение.

Беда обрушилась на этап неожиданно. Вечером, едва наступили сумерки, Верочка, моя соседка по камере, ослепла. За нею ослепла Маша. Обе они вышли из барака на вечернюю проверку и не смогли вернуться в барак. Их привели другие.

Нас охватил ужас. Слепота распространялась. Одна за другой женщины теряли зрение. «Врача, врача!»

Слепота охватила почти всех заключенных. Вечерами, в сумерки, зрячие водили слепых. Поводырей становилось все меньше. Я потеряла зрение одной из последних.

Наконец, на наше счастье, амбулатория достала где-то рыбий жир. Я выздоровела после первой же принятой ложки жира.

Три дня отдыхали мы во Владивостоке. Валялись на нарах, толкались по дворику, слушали бесконечные рассказы о Колыме, где, как пелось в песне: ...«двенадцать месяцев зима, остальные — лето». Девушки с Колымы рассказывали нам, как в бараках замерзают заключенные и по утрам их оттаскивают на подводы. Скрюченные трупы везут к оврагу и сваливают в него. Засыпать землей необязательно. Вечная мерзлота. Заполненные трупами овраги только притрушивают землю. Без суда и следствия, по воле начальников лагерей, сидят зэки в карцерах, их расстреливают. Политические и уголовные содержатся в одних и тех же бараках. Для женщин страшно — страшной режима — насиливание. Женщины всегда должны быть настороже, держаться скопом.

Уйти от страшных толков было некуда. Женщины мечтали о выходе на работу, о каком-нибудь занятии. Честным трудом хотели они доказать свою преданность советской власти. На четвертый день нас и выгнали на работу. Недалеко от зоны лагеря находилась большая огороженная площадь. На голой земле лежали большие кучи гальки. Рядом стояли большие тяжелые тачки. Женщинам выдали тяжелые подборочные лопаты, кайла и носилки. Нам велели грузить тачки галькой и перевозить к забору. Работа была очень тяжелая. Ослабленные и тюрьмой и этапом женщины изнемогали. Норм не было, но люди рвались к работе сами. Огромное большинство в нашем этапе были люди умственного труда, многие никогда не держали в руках ни кайла, ни подборочной лопаты. Носилки, на которых лежала куча гальки, прижимали женщин к земле. К концу рабочего дня результаты труда были совсем незаметны.

Ночью женщины стонали от боли в руках, ногах, поясницах.

Полное отчаяние наступило у арестанток на следующее утро, когда заключенным было предложено ту же кучу гальки, которую они перенесли вчера, снести на прежнее место. Часть женщин возмущенно отбросила лопаты в сторону. Часть не работала, держа инструменты в руках. Но большинство продолжало работать из последних сил. Запомнилась мне фигура одной 50-летней еврейской женщины, бухгалтера по специальности. Маленького роста, сгорбившаяся, она сжимала своими маленькими руками ручку кайла. Пальцы ее еле охватывали эту ручку. Держала она ее не за конец, а возле самого кайла. Как курица, чуть поднимая кайло от земли, копала она кучу. Из глаз ее текли слезы, поднять носилки она не могла вовсе, совсем уж не могла подвести лопату под кучу гравия.

Убедившись в бессмысленности заданной нам работы, я и еще кто-то, стоя в стороне, смотрели на происходящее. Никаких неприятных последствий за «отказ от работы» не последовало, если не считать угроз и окриков конвоя. Большинство же, огромное большинство, со слезами на глазах, закусив губы, хмуро глядя под ноги, кайлили, грузили, переносили гальку из одной кучи в другую, и обратно. Кто-то сказал, что работу дают нам из медицинских (гуманных) соображений: физический труд необходим для сохранения здоровья.

Наш этап прибыл во Владивосток летом, когда курсировали пароходы. Партию за партией заключенных перевозили на Колыму. Из рассказов женщин, работающих в зоне, мы узнали, что не так было зимой, когда навигация была закрыта, когда приезжающие эшелонами заключенные ждали здесь открытия навигации.

Зимой 1938-1939 годов в зоне свирепствовала страшная эпидемия сыпняка.

Когда мы ослепли, нас стали водить на прием к врачу в амбулаторию.

— У вас нет сестры в лагере? У нас во время операции работала сестрой Олицкая. Ее вывезли этапом на Колыму.

У меня мелькнула мысль: «Надя... На Колыме мы с нею встретимся!» Скорее бы этап. Встреча с Надей стала для меня необходимостью. Черной овцой среди белых чувствовала я себя в этом стаде. Я знала, почему и за что я сижу. Я не принимала строя общественной жизни там, за решеткой. Вокруг меня были матерые преступницы, изменницы Родины, совершившие страшные вредительские акты, террористки, подготовлявшие убийства, если судить по приговорам; на самом деле, я — нераскаявшийся противник среди безвинно осужденных активных борцов за существующий строй. Над ними тяготели страшные преступления, а они опасались общения со мной, дабы не скомпрометировать себя общением с врагом народа. Никогда во время следствия меня не били, не истязали, я спокойно отказывалась от дачи показаний.

Что же произошло на воле?

На нарах надо мной лежит молодая женщина. Она беспартийная, она — КВЖДистка и статья у нее ПШ. Я прошу ее расшифровать, я не понимаю, какое преступление скрывается за этими буквами. Женщина начинает рассказ издалека.

Ее отец работал на Китайско-Восточной железной дороге. Вся семья жила с ними в Китае. Когда дорога была передана Китаю, всех сотрудников вывезли в Советский Союз. Ей было 17 лет. Семья поселилась в Москве. Отец работал. Потом родители ее умерли, она стала работать машинисткой. А в 1938 году ее арестовали и предъявили обвинение в шпионаже в пользу Китая.

— Я с выезда из Китая ни одного китайца в глаза не видела, ни одного письма оттуда не получила. И вдруг... шпионаж — восемь лет тюрьмы и пять поражения. Со мной вместе были арестованы сестра и брат. Сестра умерла на этапе, что с братом — не знаю.

Глаза ее тупо смотрели в одну точку.

— Что же означает ваша статья ПШ?

— Как же вы не понимаете? Подозрение в шпионаже. Ведь материала для обвинения в шпионаже нет.

— Вы получили восемь лет тюрьмы, потому что вас подозревают в шпионаже?

— Да. А вот Ася, — она показывает мне на очень красивую 20-летнюю девушку, — у нее 58 статья, 6-ой пункт. Шпионаж. Она получила 20 лет и 5 поражения.

На пароходе на Колыму

Арестантки боялись Колымы, боялись появления пароходов, — и все-таки ждали их с нетерпением. Самое страшное в тюремной жизни — этап. Он сгружает людей в кучу, гонит, понукает, окрикивает... Грязь. Плохое питание. Жажда. В рваных затасканных одежонках валяются заключенные на нарах, на полу, в битком набитых пересыльных камерах или арестантских вагонах. Этапный паек всегда хуже тюремного, воды не хватает не только на умывание — о нем и речи нет — на питание. В тюрьмах есть хоть какие-то правила, на этапе — произвол конвоя, грубые окрики, «Шаг влево, шаг вправо рассматривается, как попытка к бегству. Применяется оружие. Смерть на месте». Сколько людей ни за что, ни про что погибало на этапах. Единственное благо этапа — встречи с новыми людьми, с арестантами других камер, других тюрем. Вести от арестантов, идущих с воли... Все эти блага ощущаются тогда, когда этап составляется медленно, когда в него вливаются новые партии арестантов. Наш этап пережил это, когда нас вывели из одиночных камер Ярославской тюрьмы, когда объединили женщин

Ярославской и Суздальской тюрем. Месяц в теплушке товарного вагона, три недели на пересылке во Владивостоке, психологическое утомление и физическое изнурение, кое у кого желание снестись с родными, дать весть о себе, получить весть о них, наконец, желание знать, что же ждет нас впереди, заставляло нетерпеливо ждать отправки.

Весть о том, что пароход с Колымы вернулся, что в ближайшие дни нас будут вывозить, взбудоражила всех.

Огромный трюм парохода был разделен на две части. Большую из них загрузили женщинами, в меньшую — еще плотней — набили мужчин. Наш трюм был разгорожен на клетки. От пола до потолка шли досчатые настилы в четыре яруса. В середине трюма был узенький проход к лестнице на палубу. Вход в трюм был плотно закрыт. Конвоя в трюме не было.

Чтобы уместиться арестантки должны были по мере погрузки залезать и ложиться на нары. Надя, Галя, Лена и я зашли в трюм почти последними. Нам достались нижние места недалеко от входа, прямо на полу. Внизу было не так душно, но мимо наших голов все время шныряли чьи-то ноги, подола чьих-то юбок.

В море было тихо. Пароход шел почти не покачиваясь.

Сразу после погрузки в трюм нам принесли еду. Я помню большие толстые матросские сухари; ничего более вкусного мы давно не ели. Дали нам и суп, ничем не напоминавший тюремную баланду. Женщины твердили, что нас так хорошо кормят потому, что иначе не выдержать морской болезни.

Нашему этапу повезло с погодой. Пароход шел тихо. Но люк был закрыт, свежий воздух в трюм не поступал. Нас было в трюме человек 250, дышать стало нечем. Женщины начали стучать, требуя открыть люк. Люк не открывался, часовой стучал прикладом в крышку, требуя тишины. Потом он приоткрыл люк на узенькую щель, грубыми окриками и громоханием затвора отогнав женщин от люка, он крикнул, что, пока пароход не выйдет в открытый океан, люк будет закрыт.

К счастью, с нами не было женщин-уголовниц. Поэтому не было ни ругани, ни драк, ни споров. Все как одна, мы старались держаться, помочь друг другу. Но чем мы могли помочь, когда не хватало воздуха? У многих началась рвота. Рвота с верхних нар стекала на соседние вниз. Весь пароход стал вонючим и скользким. Мы держались до тех пор, пока одна из женщин не начала биться в истерическом припадке, может быть, то была эпилепсия, и ее соседка не упала с верхних нар. Трюм превратился в ад. Со всех сторон неслись крики, вопли: «За что? За что?» Упавшая на пол, лежала без движения. Она лишилась сознания. Тогда мы ошалели. Несколько человек, еще державшихся на ногах, кинулись к люку. Мы били в него сперва руками, потом снятой с ног обувью. Мы требовали врача.

На этот раз врач явился. Двух больных женщин вынесли на палубу и отнесли в больницу. В люке была оставлена узкая щель. По пять человек заключенных по очереди стали выпускать на десять минут на палубу.

Когда пароход миновал Японские острова, люк нашего трюма совсем открыли. Нам разрешили выходить на палубу и в уборную по очереди маленькими группками. Выходя на палубу, мы видели, что люк мужского трюма закрыт наглухо. Мы слышали стуки и крики мужчин.

Наш рейс был удачным. Мы добрались до Магадана в пять суток.

Люся, заболевшая и отставшая от этапа, приехала следующим пароходом через три недели. Везли ее на пароходе «Джурма». Ей не повезло: штормило и пароход шел девять дней. В проливе, неподалеку от Японских островов на пароходе возник пожар. Потом говорили, что уголовные разобрали стену в трюме, проникли в каптерку, разграбили ее и подожгли. Люся рассказывала нам, как дымом заволакивало трюм, как метались они, задыхаясь, не понимая, что происходит. Горящий пароход увидели японские суда. Они подошли к «Джурме», предлагая помощь. Капитан «Джурмы» отказался и вывел горящий пароход в открытое море. Когда японские суда удалились, женщин вывели из трюма на палубу. Мужской трюм так и не открыли. Трупы задохшихся от дыма были выброшены за борт. Сколько было человеческих жертв мы не узнали.

Около двух месяцев работали в Магадане эки на переборке обгоревших ящиков с продовольствием. Все обгоревшие, задымленные продукты, негодные к употреблению вольным, были отданы в каптерку лагеря. В лагерьной столовой мы стали получать забракованное печенье, пряники и другие продукты. Медицинская экспертиза постановила — при незначительном потреблении отравления не произойдет.

Переход до зоны был длинен. Сколько ни бился наш конвой, сколько ни грозил штыками и прикладами, сколько ни лаяли бегавшие кругом овчарки, построить этап конвойным не удалось. Люди не шли — шатались. Через каждые 50-100 шагов строй останавливался, подтягивались отставшие, равнялись ряды, пересчитывались пятерки. Измученные, спотыкающиеся, шли мы и все-таки чувствовали изумительный воздух, видели природу, суровую и величественную. Сопки, холмы, сопки, а в отдалении — горные хребты... Идти бы так, и пусть пересылка будет дальше, как можно дальше.

Была ли то пересылка? Низкие помещения; мы свалились прямо на пол, положив под голову кулаки, или облокотившись друг на друга. Этапные мытарства еще не были закончены. Предстоял прием этапа. Предстояла баня. Тогда уже — в зону лагеря.

14. НА КОЛЫМЕ

Мне трудно, почти невозможно было понять психологию арестанток моего этапа. Правовверные коммунистки, оправдывающие все сущее, кроме своего ареста, конечно, очень тяжело реагировали на происходящее с ними. Может быть, только на словах они не осуждали происходящего, не выражали протеста. Лучшие из лучших твердили о том, что там в центре не знают о происходящем на местах, о методах следствия, о произволах на этапе. Они ощущали болезненно, остро свой позор, стыдились самих себя. Я не понимала, как можно стыдиться ложного обвинения, а не возмущаться им, просить о пересмотре своего дела, а не требовать его. Ведь передо мной не обыватели, передо мной борцы за счастье народа, борцы за справедливость, члены самой передовой, самой непреклонной партии мира.

Я не понимала женщин моего этапа.

Нас привели в баню. Блаженство — сбросить с себя потное и грязное белье. В одну кучу приказали нам сложить все наше арестантское белье и обувь. Каждой из нас дали по кусочку мыла со спичечную коробку и запустили в баню. Баня была просторная, с деревянными лавками, чанами и шайками. Никто нас не торопил. Воды мы брали — сколько хотели. Банщицы были ласковы и приветливы. Не сразу мы поняли, что банщицы — это мы сами, эки, отбывающие сроки в лагерях. Только крепче, здоровее нас были они. Они не получили тюрем, они по приговору получили лагеря и сразу проследовали этапом на Колыму. Все прелести этапа они пережили, но вошли в него не изнуренные тюрьмой, сразу же после двух-трех месяцев следствия. Следствие и у них было тяжелое, но они успели уже оправиться от пережитого.

В бане было хорошо, в раздевалке сразу стало плохо. В тюрьмах мы не подвергались санобработке. Санобработка стала первой «прелестью» лагерной жизни. Вымывшихся женщин осматривали на вшивость. Женщинам сбрасывали волосы на всех частях тела. Вшивости в нашем этапе не было. Косы свои женщины нашего этапа отстояли. Кажется, в первый раз я услышала вопли протеста. Женщины остаются женщинами. Отчаяние их перешло в бурную радость, когда они стали получать одежду. Каждая получала комплект. Трусы, бюстгальтер, рубашка, платье, пара чулок и обувь. Первого сорта были все эти вещи. А платья были нетюремного образца — разноцветные: красные, синие, зеленые, — в клеточку, в полоску, в цветочках... Выстроившись в очередь за комплектами, женщины загляделись на платья. Они высматривали, высчитывали в груде комплектов, какой достанется. Одни мечтали о синих, другие — о красных. По получении комплектов, сразу же начался обмен. В одевалке шла примерка платьев, строили планы на перешивку.

Не выдали нам резинок. Нужно укрепить чулки, но как? Ведь мы были голы, у нас не было ни одной тряпочки, ни одной завязочки. Обувь принесла горе. Нам выдали огромные тяжелые ботсы, всем — одного размера. Шнурков в них также не было. При каждом шаге опускались чулки и хлопали на ногах ботсы. Приветливые банщицы успокаивали нас — в лагере все обойдется.

Женская зона Магаданского лагпункта

Строем в пять человек в ряду стояли мы теперь перед воротами женской зоны Магаданского лагпункта. Деревянный частокол, в несколько рядов колючая проволока, по углам — вышки с постовыми. Большие деревянные ворота, у ворот — вахта. Через открытые ворота мы видели большой двор, во дворе в отдалении толпились женщины-заключенные, глазели на нас. По обе стороны двора, как по улице, стояли невысокие деревянные бараки.

Из калитки ворот вышло лагерное начальство. Опять равнение строя, опять поименная переключка: имя, отчество, фамилия, год рождения, место рождения, национальность, статья, срок — проходи в зону.

По одной отделялись мы от строя и проходили в ворота лагеря, и каждой из нас вахтер бросал: — Прходи в самый последний барак.

По одной проходили мы и к бараку. Лагерницы сочувственно смотрели на нас, но не подходили, не заговаривали. Бог знает, какими путями узнали они о прибытии тюрзаковского этапа. Для нас освободили целый барак, — самый плохой барак в зоне. Тюрзачек пошлют на самые тяжелые подконвойные работы. У тюрзачек грозные статьи и длинные сроки заключения.

С нашим этапом прибыло распоряжение: в связи с ослабленностью зэков в течение 21-го дня за зону на работу не выводить, кормить — вне нормы питания.

Лагерницы всматриваются в наши лица, прислушиваются к называемым фамилиям. Может быть, прибыла с этапом знакомая, может быть, прибыл кто из родного города. Вероятно, вид у нас и правда измученный. У многих лагерниц на глазах блестят слезы. Себя мы не видели, к лицам своих со-этапниц привыкли, мы не замечали ничего особенного.

Лагерницы объяснили нам потом свои слезы.

— Нам казалось, что входят мертвецы, кости, обтянутые кожей. Нет молодых, одни старухи.

Старый барак. Почерневшие от времени доски. Низкий, черный от копоти и времени потолок. Маленькие оконца плохо пропускают свет. Во всю длину барака, по обе стороны его, — столбы. К ним прибиты сплошные нары в два яруса. Посредине барака — железная бочка-печь и длинный стол.

Вызванные по списку, мы получили по одеялу, по наволочке, по полотенцу, по простыне. В глубине зоны у стога набили матрасовки и наволочки. Я все время думала об одном — где-то на Колыме находится Надя. И вдруг слышу звонкие голоса: «Кто из вас Олицкая? Где Олицкая?»

Спрашивают две молодые, оживленные женщины. Я поднимаюсь с нар. Они идут ко мне. Может быть, одна из них Надя? Тогда которая?

— Вы — родственница Надежды Витальевны, вы — Катя? — приветствуют они меня.

Эти женщины сдружились с Надей на этапе. Они сообщают мне, что Надю месяца два назад вывезли в глубину, в совхоз «Эльген». Они рассказывают мне, что во Владивостоке Наде сообщили, что ее муж прошел этапом на Колыму. Через забор мужской зоны ей бросили камень с привязанной к нему запиской. Больше ничего узнать ей не удалось.

— Я могу написать Наде?

— Да-да, конечно, — отвечают девушки. — Мы научим вас, как послать письмо, чтобы дошло скорей. А сейчас мы забираем вас к себе в барак. Мы даем ужин в честь вашего приезда.

Я колеблюсь, я говорю, что я не одна, что со мной подруги, я не хочу и не могу оставить их одних в первые часы.

— Сколько вас? — спрашивают девушки. Они забирают нас четверых. Девушки отличались от нас так же, как отличался их барак от нашего. Барак их был с вагонной системой нар. Все нары были застланы стандартными суконными одеялами. Стол был покрыт белой простыней, всюду разложены белые вышитые салфеточки. Обе подруги одеты в черные юбки и белые размеренные блузочки. Жили они рядом на верхних нарах. Посреди нар была расстелена салфетка, на ней расставлено угощение. Хлеб, нарезанный ломтиками, кетовая икра, консервированные крабы, искусственный мед и сливочное масло, — что было куплено в лагерном ларьке, что получено в посылках из дома.

Зора Г. пришла в лагерь по делу анархистов сроком на пять лет. Ее товарка получила такой же срок, кажется, по делу троцкистов. В лагере они уже были около года, работали на посыльных работах, вырабатывали хорошую категорию питания. В общем, как-то приспособились к лагерной жизни. Обе они хотели подбодрить нас. Они старались говорить об отрадных сторонах лагерной жизни, умалчивая о мрачной стороне ее. Это им не очень удавалось, мало радостного было вокруг. И все же они твердили — самое страшное позади.

— Вы счастливые, попали сюда по окончании «гаранинщины». 1938 год на Колыме был страшным годом.

Наш тюрзаковский этап действительно состоял из измученных, истощенных физически, ослабленных женщин. Даже начальство дало предписание кормить нас вне категории и не выпускать на работы три недели.

Мы жили в бараке. Ходить по другим баракам неразрешалось. И хотя правило это не соблюдалось, мы почти не ходили. Обещание начальника Ярославской тюрьмы не было выполнено, личных вещей мы не получили. Кроме лагерной одежды, у нас другой не было. Деньги у многих на лицевом счету были, и не малые, но по лагерным правилам заключенная могла получить в месяц 50 рублей. Первое время этой суммы не выдавали. У большинства же денег на счету не было. Из барака мы ходили в лагерную столовую завтракать, обедать и ужинать. Большое чистое помещение уставлено маленькими столиками, у входа в столовую каждая заключенная получала ложку, которую должна была сдать при выходе. В бараке иметь ложки не разрешалось.

Питание выдавалось по категориям от выработки. Категорий было три. Пол-литра супа получала каждая заключенная три раза в день. По третьей категории (для зэков, не выполнивших норму на 80%) кроме супа, выдавалось 300 грамм хлеба в сутки; по второй категории (зэки, выработавшие норму свыше 80%) давали дополнительную кашу и 800 грамм хлеба; по первой категории (выработка 100%) заключенные получали на обед и ужин ту же кашу, что и по второй, и добавочную порцию макарон или вермишели, или манной каши в обед. Зэки, перевыполнявшие норму, получали первую категорию и булочку или хворост, или какое-либо иное «прем-блюдо».

Свежего мяса, свежих овощей, картофеля мы не получали. Чаще всего в меню входила соленая рыба. Кета вареная, кета соленая, горбуша казались нам изумительно вкусными. Старые лагерницы рыбу не брали, не ели — она им опротивела. Они, обычно, уступали ее нам. Мы поглощали все. В общем, мы сразу стали сыты, вернее, не голодали.

Поразило меня в жизни заключенных то, чего я никогда не встречала в пройденных мною раньше тюрьмах. В среде лагерниц, осужденных по политическим статьям, была развита торговля, как своими вещами, так и тюремным пайком. Когда-то арестанты-социалисты делились всем, ущемляя здоровых, поддерживая больных, осуществляли в тюрьме коммуну. Здесь было не так. Имевшие деньги покупали у неимущих все, что те могли продать. Продавались тюремные пайки сахара и хлеба, казенные вещи — чулки, простыни, платочки. Каждая лагерница жила сама по себе, жевала свою корочку хлеба с маслом или без масла, и не интересовалась, жует ли что-нибудь ее соседка. Удивительнее всего было для меня то, что уголовные — воровки и проститутки — были щедрее зэков политических.

С торговлей мы столкнулись сразу по прибытии в лагерь. Прибыв на место, каждая заключенная стремилась прежде всего послать весть родным. Нам было разрешено послать письма и даже телеграммы. Те, у кого были деньги, слали, те, у кого денег не было, продавали, что могли, чтобы получить денег на марку. У нас пятерых не было ни денег, ни вещей. Продавать пайку хлеба своим же товаркам-заключенным было противно... Но... «с волками жить — по волчьему выть». От всех моих вещей у меня остались шерстяной вязаный шарфик и шерстяные перчатки. Галя взялась их продать, и мы смогли послать письма родным. Написала я письмо и Таси-ной маме в Ленинград. Я быстро получила от нее ответ. О Тасе никаких вестей мать не имела. Каким милым было ее письмо. Попова предлагала мне помощь, спрашивала, можно ли послать посылку. Я не ответила ей, не хотела компрометировать ее перепиской со мной. Первое время в нашем бараке было больше продающих, чем покупающих. Женщины из Суздальской и Казанской тюрем сохранили свои личные вещи, они продавали их.

Я недоумевала: как могли лагерницы продавать свой паек, обходиться без него?

Среди бытовой и уголовной статьи проституция была очень распространена, но и среди 58 статьи процент нашедших себе покровителя и друга был достаточно велик.

Раньше на Колыму завозили только мужчин, потом появились и женщины. Но процент женщин был ничтожно мал. Женщина ценилась высоко. За обладание женщиной мужчины были готовы на любые преступления, нарушения. Женщин похищали, женщин насиловали и изувеченных бросали на трассе. Были случаи, когда женщин отбивали от конвоя и уводили на прииски, и там бросали толпе мужчин, становившихся в очередь. Почему-то такое массовое насилование женщины получило название «трамвай».

Была среди нашего этапа совсем еще молоденькая немочка с Поволжья. Белокурая, голубоглазая, тоненькая, как былиночка. Обвинили ее в шпионаже, статья ПШ, срок не то восемь, не то десять лет. Мы с Лизой стояли в столовой. Полными ужаса глазами указала она мне на такую же юную девушку. Обе они молоды, но как не похожи друг на друга: у той, у другой, какой-то вызывающий, дерзкий, даже нахальный вид, а Лизочка — сама робость и скромность. «Трамвай», — шепчет Лиза.

Месяцем позже я познакомилась с Аней близко. Я работала с ней в одной бригаде. В 1938 году с обвинением по 58 статье она была привезена на Колыму. Уголовные проиграли девушку в карты. Проигравший должен был поймать ее и сдать товарищам. Аню заманили во время работы в укромный уголок, и тут же двенадцать человек во время работы «использовали» ее. Когда вечером стали собирать бригаду лагерниц, чтобы увезти в зону, Ани не оказалось. Ее стали искать и нашли растерзанную, полуживую. В лагерной больнице, к общему удивлению, она оправилась. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Ее каждый раз спасали. Историю Ани знали все. Говорили, что она стала совершенно неузнаваемой. Я ее узнала уже спокойной, холодной, ко всему враждебной, презирающей и мужчин и женщин. Одевалась она вульгарно и крикливо, подкрашивала глаза, брови, губы. В лагерную столовую она заходила редко. Свою хлебную пайку отдавала безвозмездно кому-либо из товаров, широко делилась всякими лакомствами. Имела она одного друга или многих, я не знаю.

К моменту нашего прибытия на Колыму женщин стало значительно больше. Жить стало легче, но все же...

Наш барак повели как-то вечером в баню. Вели нас строем в сопровождении конвоя. Как обычно, женщины строя не выдерживали: одни спешили захватить шайки, места у крана, другие отставали. Случаев побега не было, надзор не докучал растянувшимся, разбредшимся женщинам. Только возле бани и зоны он равнял ряды, поштучно сдавал конвоируемых.

Отстав от основной массы эков, Надя, Зина и я брели к лагерю по какому-то закоулочку. Было сумрачно, близилась ночь. Внезапно из-за угла вынырнула машина. Нам показалось, что машина идет прямо на нас. Мы шарахнулись в сторону. Тут же раздался отчаянный крик Зины, и руки ее вцепились в мое плечо. Я и Надя закричали так же отчаянно, еще не понимая в чем дело. Из открытой кабины чьи-то руки волокли Зину в машину. То ли наш дикий крик, то ли то, что мы вцепились друг в друга, заставило шофера, пустив самую площадную брань, захлопнуть дверь и укатить. Произошло это совсем недалеко от зоны. (Зина была лектором по истории искусств в Киевском университете, к физической работе она приспособиться не сумела. Все годы жила она в лагере очень тяжело, но бодрости духа не теряла.)

Благом нашего барака было то, что у нас не было уголовных. Уголовниц мы встречали в столовой, в зоне.

На первых же порах нас ошеломили резко бросающиеся в глаза женщины — «оно». Противные, омерзительно наглые существа. В Магадане их было меньше. Их обычно высылали в глубинные лагпункты. Наглые лица, по-мужски остриженные волосы, накинутые на плечи телогрейки... Они имели своих любовниц, своих содержанок среди заключенных. Парочками, обнявшись, ходили они по лагерю, бравирюя своей любовью. Начальство, как и огромное большинство эков, ненавидели «оно». Лагерницы боязливо сторонились их.

Ошеломленные всем увиденным, мы сидели в своем полутемном бараке на нарах. Жить было непереносимо трудно. Заключенные стали мечтать о работе, о выводе за зону. Труд скоротает дни. Неожиданно из нашего барака начались вызовы в контору лагеря. Вызываемые возвращались мрачными. Они никому не говорили, зачем их вызывали. В один из дней вызвали Катю Зимянину и меня. Разговор со мной был краток. Сидевший за столом, заваленным бумагами, штатский спросил:

— Когда вы кончаете срок заключения?

— Через полтора года.

— Странно, что вас привезли на Колыму. Не хотели бы вы освободиться раньше?

— Я не думала об этом.

— Краткосрочникам мы можем предоставить льготы.

— Я не прошу о льготах.

— А вы подумайте об этом.

— Не собираюсь.

— Вы никому не скажете о нашей беседе?

— Обязательно скажу.

— Можете идти.

Таков примерно был разговор в конторе. Когда я вернулась в барак и рассказала своим ближайшим соседям о беседе, они потрясенно пророчили карцер и репрессии за мой вызывающий тон, но никаких репрессий не последовало. Вечером меня подозвала к себе Катя Кухарская,

маленькая, худенькая, с приятным спокойным лицом. Катя сказала мне, что была арестована в ссылке, в которую попала по делу анархистов. Одновременно с ней была арестована вся ссылка, было создано другое дело, и Катя получила пять лет. Что я — эсерка, Катя знала, об этом знали все в бараке. Я сознательно подчеркивала свою принадлежность к партии. Расспросив о моем вызове, Катя рассказала мне о своей беседе в конторе. Разговор был сходен с моим, но ей прямо предложили давать донесения о том, что и кем говорится в бараке. Катя отказалась. Теперь она опасалась последствий, но последствий тоже не было.

Зимянина о своей беседе в конторе никому ничего не сказала. Вернулась она в барак возбужденная, расстроенная и легла на свои нары. Не знаю откуда, но по бараку поползли слухи о том, что в каждом бараке и в нашем также, есть информатор. Возникали эти слухи легко, беспочвенно, без всяких оснований. Почему последовательные коммунистки боялись информаторов, я не понимаю. О Зимяниной упорно ходили слухи. Приятной, симпатичной она мне не была.

Неожиданно я встретила в нашем бараке с Таней Гарасевой. Как не столкнулись мы в этапе раньше, — трудно понять. С Таней был связан большой кусок моей жизни. Встреча в челябинской пересылке, в Чимкенте... Первые мои шаги в Рязани были связаны с ее родителями. Но и к Тане я подошла настороженно. Я знала, что Таня в былые годы дала письмо с отказом от прошлого. На этапе и в нашем бараке Таня никому не говорила, что идет по делу анархистов. Конечно, теперь она и не шла по их делу.

Окончив ссылку в Чимкенте, Таня вернулась домой. Прямо чудом излечилась она от туберкулеза. Жила и работала медицинской сестрой. На вопрос, за что ее арестовали, она отвечала, что арестованы все, кто был в ссылке когда-то, кто побывал в «минусе». Всем предъявили вымышленные дела, все получили новые сроки. Таня рассказывала о своем аресте, о своем следствии то же, что остальные: тюрьмы России забиты арестованными, в следственных камерах люди вповалку лежат на полу, никто не понимает причин своего ареста, никто не знает за собой вины. Таня рассказала о новой категории заключенных. О «женах». Им инкриминировалось, что они жены врагов народа. Из «жен» составляли эшелоны, для них существовали особые лагеря где-то на материке. Понять, что привело к массовым репрессиям не могла и Таня.

Теперь мы, социалисты, были маленькой ничтожной кучкой в арестантской массе. Ни о каком сопротивлении, ни о какой борьбе за режим не могло быть и речи. Жить, вернее выживать, — вот все, что оставалось нам.

С поступлением писем с воли стали мы узнавать о наших родных, друзьях. О всех, о ком нам удалось узнать, сообщалось одно и то же. Присуждены к десяти годам лагерей без права переписки.

Существуют ли такие лагеря? каков режим там? живы ли люди, осужденные на длительные сроки без права на переписку? Одни говорили, что в этих лагерях невероятно строгий режим, другие полагали, что таких лагерей вовсе нет, что все присужденные к таким лагерям просто уничтожены.

Я думала, где мои товарищи, женщины — эсерки, анархистки, социал-демократки? Почему я не встретила ни одной из них? Я еще не понимала тогда масштабов арестов. Не знала о массе лагерей, разбросанных по всей азиатской и европейской территории Советского Союза.

Оставалось одно — стиснуть зубы, сжаться и жить, если то, что окружало нас, можно назвать жизнью. Другого не оставалось. Стать молчаливым свидетелем происходящего или умереть.

Работа в стройбригаде

Двадцать дней шли к концу. Старые лагерницы не понимали нашего рвения к работе. Их в работе привлекал только выход за зону. Сочувственно покачивая головами, они говорили:

— На хорошую, легкую работу вас не пошлют. Легкой работы для тюрзаков не будет.

Они оказались правы.

Легкие работы в лагере предоставлялись только уголовным: воровкам, проституткам, убийцам. Презрительно смотрели они на нас — «врагов народа» — и с меткой иронией называли себя «друзьями народа».

Был при Магаданском лагпункте швейный комбинат, работа в нем была не легкая. В душных, плохо вентилируемых помещениях по 12 часов в день сидели женщины за машинами. Нормы были огромные. Сохранить работу в комбинате можно было только, давая норму. Боясь других

работ, женщины надрывались, а нормы ото дня ко дню росли. В швейкомбинат брали женщин с малыми сроками тех, кто имел КРД 10-й пункт, и, конечно, бытовичек.

Женщин нашего этапа разбили на две бригады, одну послали на строительство, другую на мелиоративные работы. Я попала в строительную бригаду.

В шесть часов утра, получив хлеб и суп в столовой, заключенные побригадно выстраивались у дверей вахты. С поименной переключкой нас выпускали за зону, конвой строил бригаду и вел на работу.

Магадан был тогда маленьким городком. Нас вели по пустынной дороге к строящемуся 50-квартирному каменному дому. Стройка была обнесена забором, у входа стояли часовые, надзор расхаживал по строительству. Рабочий день длился от 14 до 16 часов. Обед из лагеря привозили на строительство. Вернувшись в зону к девяти часам вечера, мы получали ужин и шли в барак спать. На строительстве вольных рабочих не было, все, начиная с инженера и кончая сторожем, были зэки. Вольными были конвоиры и Дальстроевское начальство.

Кое-кто из уголовных был расконвоирован и имел возможность выйти за пределы стройки в город. Работа на строительстве шла быстрыми темпами. Пятиминутные перекуры давались два раза — в десять утра и в четыре часа дня. С 12 до 13 был обеденный перерыв. Начальство и конвой подгоняли, но рабочие и сами жали изо всех сил. Сперва я не могла понять такой гонки со стороны заключенных. Я знала, что женщины моего этапа выкладывались на работе потому, что хотели своим трудом подчеркнуть преданность делу построения социализма. Но остальные?

Один каменщик объяснил мне:

— Из Магадана беспрерывно гонят заключенных на прииски. Там жизни нет. Там — гибель. Оттуда не возвращаются или возвращаются калеками, умирающими. Попасть на этап — все равно, что идти на смерть. Лучших рабочих начальство стройки отстоит, не пустит на этап.

Нашу бригаду поставили на бетономешалку — готовить замес. Женщины работали изо всех сил, но с замесом не успевали. Со стен неслась ругань, замеса не хватало. Тогда нас перебросили на другие работы: кого — куда. Я и еще три заключенные должны были разносить в ведрах воду. Каждая снабжала водой определенную часть строительства.

Каменщики возводили третий, четвертый, а затем пятый этажи. С двумя ведрами в руках непрерывно поднималась я по шатким досчатым трапам. Сперва даже лебедки для подъема тяжестей на стройке не было. Работа для нас, непривыкших к тяжелому физическому труду, была непосильной. Медлить мы не могли. «Давай воду. Давай кирпич. Давай замес», — кричали кладчики со стен.

Наряды начальники закрывали нам хорошие, вся бригада питалась по первой категории, но по ночам в бараках стоял стон. Я часто долго не могла уснуть и слушала, как измученные за день женщины стонут во сне. С отдельных нар доносился плач. У меня на обеих руках чуть выше кистей образовалось растяжение. Руки распухли, при малейшем движении слышался хруст. От боли я не могла расчесать волосы, застегнуть пуговицу. Я обратилась к лагерному врачу. Низенькая, очень полная женщина-врач, тоже зэка, обвиненная в троцкизме, отнеслась ко мне участливо. Она прибыла на Колыму одним этапом с Надей, дружила с ней, ей хотелось помочь мне, но она не могла: число бюллетеней было строго ограничено.

— У вас растяжение, — сказала мне Гуревич, — это очень болезненно, но освобождения от работы я дать не могу.

На мое счастье боль была мучительно остра при мелких движениях кисти, на работе, при резких, сильных движениях я переносила боль. В бараке я старалась не шелохнуть рукой, — одеться, причесаться помогала мне Люся.

Выше возводилось здание, крепче становились морозы, мучительней становилась наша жизнь. Вероятно, многие из нас свалились бы, но нам повезло. Строительство получило срочное задание — выстроить деревянное здание гостиницы. Оно должно было быть завершено к какому-то съезду и нас перевели на это строительство. Мы должны были конопатить стены, убирать стружку, мыть полы, рамы, окна. Работа стала значительно легче. Для конопатки стен привезли тряпье, утиль. Разгружая машину, мы были потрясены этим утилем. Нам сразу стало ясно происхождение его. Когда наш этап прибыл в Магадан, в бане нам велели сбросить нашу одежду на пол в кучу. На нас были затасканные в этапе арестантские одежды. Теперь перед нами были груды мужской одежды, совершенно целой, дорогие вещи. Очевидно, родные, собирая близких на этап, передавали им, что потеплее, и все это

теперь было свалено в кучу. Здесь было егеровское белье, шерстяные костюмы и, конечно, майки, кальсоны, свитеры, тужурки...

Первым нашим ощущением была боль при мысли о владельцах этих вещей. На многих вещах были метки. Мы не работали, мы со слезами на глазах копались в грудe утиля.

Сами мы были очень плохо одеты. У нас было по одной смене платья и белья. Белье раз в декаду меняли в бане, но, придя в барак с работы, мы не имели возможности сменить одежду. Кому-то из нашей бригады пришлось в голову отобрать лучшие вещи, взять себе. Сперва взяли немногие, затем все. Ежедневно мы тайком несли с работы в зону трикотаж. Несли себе, своим товаркам по нарам. Наш барак приоделся. Конечно, мы крали утиль, но его были груды, его хватало и для конопатки. Кончался один грузовик, привозили следующий. Очевидно, вещам, снятым с эков, не было конца.

Этап в Эльген

Магаданский лагерь — и женский, и мужской — жил под вечным страхом вывоза вглубь тайги на прииск. О жизни на приисках рассказывали ужасы. Только мне хотелось в глубину. Там была Надя Олицкая.

В начале апреля, когда весна стала ощущаться, когда мы уже чуть привыкли к лагерной жизни и к работе, нашу бригаду неожиданно сняли с работы и перевели в лагерь. Сквозь строй конвоя, с криками и руганью нас загнали в барак. У входа в барак поставили часового, который следил за тем, чтобы из барака никто не вышел. Привели и остальных наших женщин с других работ. Мы узнали, что всех тюрзачек везут в северное управление Севлага. Центром его был поселок Ягодное. Говорили, что нас направляют в совхоз Эльген, самый крупный лагпункт на трассе.

Вызывали нас по спискам. Группу человек в 40-50 вывели за зону лагеря и погрузили в стоявшую перед воротами грузовую машину, крытую брезентом. Брезент закрыли, чтоб мы не видели, куда нас везут. Перед лагерем стояли еще две такие машины.

В машине было тесно, темно и, несмотря на весну, холодно. На нас были ватные брюки, телогрейки, валенки. Но мороз крепчал, и мы замерзали. Брезент, натянутый над машиной, спасал нас лишь от колючего ветра. Конечно, по пути мы выискивали в брезенте дырочки и смотрели в них. Мы видели, что следом за нами идет такая же машина. Машины двигались по широкой прекрасной дороге. Мы знали, что трасса пересекает всю Колыму, ведет на север к бухте Амбарчик.

Уже к ночи машины остановились и нам предложили зайти в какой-то барак. В нем топилась железная печь-бочка. Ее огонь освещал помещение. Мы толпились вокруг, протягивали к огню руки. Многие разувались, грели портянки и пальцы ног. Здесь мы встретили женщин, погруженных во вторую машину, они нам сказали, что к утру готовят еще и третью. Настроение у большинства женщин было подавленное.

Через какие-нибудь полчаса мы снова сидели в машине и ехали дальше. Бескрайняя снежная равнина, сопки и сопки... Ни жилья, ни признаков жизни человека. Нам предстояло проехать на машине 500 км, если справедливы слухи о направлении нас в Эльген. Кое-где по пути нам попадалась встречная машина, кое-где к земле жалась затерявшаяся в бесконечных просторах сторожевая будочка.

Кто и когда проложил эту дорогу? «Инженеры, душечка», — сказал бы некрасовский генерал. Мы знали: трасса выложена руками и на костях заключенных. На второй день езды наша машина свернула с трассы, не замедляя хода, и загромыхала по выбоинам дороги. Вторая машина пошла по трассе дальше. Неужели нас разъединили? Может, никогда уже не увидим женщин с той машины.

Вскоре мы подъехали к домику и машина остановилась. Нам предложили зайти в дом и передохнуть. На пороге домика нас встретили люди в лагерной одежде, они приветливо махали нам руками.

Большое просторное помещение, заставленное столами. Рядом — кухня. Мы попали в столовую одной из дорожных командировок. Летом здесь столовались рабочие сенокосных бригад, зимой — бригады лесорубов. Конвой в помещение столовой не зашел. Мы остались с глазу на глаз с лагерниками. Первые эки, встреченные нами на трассе. Они были очень приветливы, тащили нам на стол стаканы горячего чая. Они говорили, что их столовая обслуживает всех приезжих, обещали приготовить обед.

Мужчины жаловались, что много лет вовсе не видели женщин. Как дорого им смотреть на нас, слышать звуки наших голосов. Час, а может быть, полтора, наслаждались мы теплом, чаем и предвкушаемым обедом. Солнце ярко светило, грело по-весеннему, женщины стали выходить на крылечко. Потом произошло какое-то смятение, женщины с крылечка бросились в помещение, сбились в кучу. Из уст в уста передавалось шепотом: «Держаться вместе, не выходить».

Две девушки подслушали разговор нашего шофера с одним из поваров. Нашу машину женщин шофер проиграл в карты. Сговорившись с конвоем, он завез нас в столовую по трассе. Нас, или часть из нас, хотят завести в командировку расконвоированных дорожных рабочих. Сперва нам просто не верилось в возможность подобного. Мы стали звать конвоиров, но конвоя нигде не было. Очевидно, лагерников смутило настроение женщин, они пытались шутить, затем перешли на грубые замечания и недвусмысленные предложения. Стали приставать то к одной, то к другой женщине, предлагая выйти за дом... От любезности и шуток они перешли к угрозам. Теперь они требовали, чтобы мы очистили помещение и срочно грузились в машину.

— Или выделяйте группу хоть человек в десять.

Мы же сгрудились в дальний от входа угол, не зная, что делать. И тут мы увидели машину, идущую мимо. Мы выбили стекла в окне и закричали о помощи. Должно быть, это был отчаянный крик. Машина, миновавшая уже домик, остановилась. Из машины вышел мужчина в военной форме. Тогда, крича и толкаясь, женщины кинулись из двери домика. С воплем неслись они к военному, обгоняя друг друга. Не скоро понял он, о чем толковали ему женщины. Лагерники, шофер и внезапно появившийся конвоир докладывали, что женщины не хотят следовать в лагерь. Но как и почему машина с женщинами оказалась здесь, никто из них объяснить не мог.

— Ваше счастье, — сказал, поворачиваясь к нам военный, — ваше счастье, что мне пришлось ехать мимо по вызову. Садитесь в машину. Мой шофер довезет вас до Эльгена, а ваш шофер и конвой прокатятся со мной.

Часа в три мы прибыли в Эльген. Машина, шедшая с нами, давно была на месте. Они недоумевали, куда увезли нас. Наши товарки уже устроились в бараке. Барак нам понравился. Высокий, светлый, с вагонной системой нар. Дежурившая в нем дне-вальная, тоже заключенная, встретила нас заботливо. Набежали женщины из других барачков, забросали нас вопросами о жизни в Магадане, сведениями с воли. Мы были для лагерниц Эльгена «столичными» гостями. Я спешила узнать о Наде Олицкой. Увы, мне сказали, что в лагере ее нет, что ее положили в больницу с сильным кровотечением.

Больница лагпункта была расположена за зоной. Попасть туда я не могла. Мне обещали завтра же передать ей мою записочку.

Приездом в Эльген наши мытарства не закончились. На следующее же утро нас снова по переключке вызвали на этап. Теперь нас везли на командировку лагпункта Эльген — «Седьмой километр».

Почему нас везут туда? «Седьмой километр» была штрафная командировка, где валили лес. До сих пор туда отправляли только уголовных штрафниц. Как заключенные Магадана боялись этапа на трассу, так же заключенные Эльгена боялись командировок. Страшила их и работа командировок — лесоповал, страшила и жизнь в маленьком, заброшенном в лесу бараке.

Штрафная командировка: седьмой километр

Все дальше от родного мира угоняла нас судьба. Маленькая, ничтожная горсточка людей, — подконвойных, подневольных. Мало было забросить нас через океан на Колыму, мало завести за сотни километров в глушь необитаемого края. Дальше. Еще дальше.

Величие и красота севера окружали нас и подавляли. Бескрайний простор снегов. Потом вдоль дороги появились заросли, но оставались они тонкой порослью. Лес все еще оставался впереди. Наконец, на повороте дороги мы увидели строения: два маленьких домика будто утопали в снегу. Из труб шел дымок. Вокруг — колючая проволока. У домиков нас согнали в кучу, пересчитали. Завели в домик, стоявший вне ограды. Был он разделен на две части. В одной помещалась столовая, в другой жил надзор. Нас провели в столовую.

Из кухни в прорезанные в стене окна нам дали по миске супа, по оловянной ложке, по куску хлеба. Нам заявили, что кормят нас «так», по доброте, на довольствие нас еще не зачислили. Завтра утром получим завтрак, пойдем на работу и питание впредь будем получать от выработки. После обеда нам хотелось побыстрее разместиться в бараке, отдохнуть, но нас из столовой не выводили. От толстой, добродушной поварахи мы узнали, что конвой никак не освободит для нас

помещение. На «Седьмом километре» к старому бараку пристроили новый. До нашего приезда старый барак стоял пустой. В новом жили штрафницы-уголовницы, работавшие на повале.

— Пришло распоряжение от уголовных вас изолировать и их перевести в старый барак, а они разлеглись на нарах, не хотят идти. Надзор их гонит, никак не справится.

Какую цель преследовала этим администрация, осталось нам неизвестным, но озлобление против нас среди уголовных было посеяно сразу.

— Проклятые враги народа, — кричали они нам, когда нас проводили мимо них к новому бараку.

Барак действительно был недавно срублен: и бревна, и стены, и потолок, и нары вагонной системы, все было из свежего чистого желтого дерева. Нас поразили барак своими ничтожными размерами. В стене, против двери барака, прорезано маленькое окно. От окна к двери идет совсем узенький проход. В середине прохода — маленькая железная печка с трубой, выведенной прямо в потолок. От двух других противоположных стен к проходу — нары. Пройти по проходу около печки мог только один человек. Гуськом прошли мы, занимая каждая по полке, — уставшие, ошеломленные новосельем и предстоящей работой в лесу. Нас пугало само слово «лесоповал». Из нас никто не только не валил леса но и не видел, как его валят. Большинство никогда не держало в руках ни пилы, ни топора.

Наутро после пробудки и завтрака начались сборы на работу. 9 апреля, — а на дворе 40-градусный мороз. Обмундированы мы были хорошо: ватные брюки, телогрейки, бушлаты, валенки, шерстяные портянки, шапки-ушанки, стеганые рукавицы. Все новое, все первого сорта.

Бригадир, — молодой парень, уголовный, — предложил желающим пойти на погрузку лесом тракторных саней. Требовалось восемь человек.

— Работа тяжелая, — предупредил он, — но первая категория питания обеспечена. Выход на работу в любое время дня и ночи. Трактор ждать не будет.

Пошептавшись между собой, восемь самых крепких девчат вызвались на эту работу. Остальных бригадир разбил на четверки. Каждая четверка получила пилу и топор.

Бригадир вывел нас на работу. Сперва мы шли колонной по четыре в ряд по проложенной тракторами дороге. Удивительно красив был рассвет, но нам, непривыкшим к 40-градусному морозу, трудно было любоваться природой, — мы то и дело терли щеки, лоб, уши, непрерывно рассматривали друг друга. С холодом было покончено, как только мы дошли до леса.

Бригадир свернул с дороги на узкую тропочку, потом зашагал по целине. Идти по глубокому снегу было трудно. Бригадир хорошо — он шел в одной телогреечке и был высок. Снег был ему чуть выше колен. Мы же напялили сверх телогреек бушлаты, а утопали в снегу по пояс. Спотыкались, падали, барахтались в снегу. Падение одной — останавливало других. Мы могли бы обойти упавшую, но мы шли по пятам за бригадиром, по его следам. Задышающиеся, добрались мы наконец до делянок. Четверку за четверкой ставил бригадир на работу.

Получив свою делянку, мы стали осматриваться. Тонкие, в 50 сантиметров в поперечнике, густо растущие деревья стояли вокруг нас. Ближе к краю делянки деревья стояли реже. Там росли большие развесистые березы. О них мы и не помышляли. Мы не думали, что можем свалить такое большое дерево. Мелкий лес казался доступней. Мы не думали о том, на каком лесе можно дать норму.

Мы должны были валить весь лес подряд. Сваленные деревья распиливать на трехметровки и штабелевать. Норма на пилу была девять кубометров. Собственно, она нас не интересовала. Мы даже не представляли себе, сколько это — куб. Нам, не всем, но большинству, даже захотелось попробовать валить лес. К тому же мы опять стали замерзать. В работе можно было согреться. Поначалу мы и не представляли, какие трудности ждали нас. Инструмент плохой — ни пилы, ни топоры не были наточены. Хоть стволы деревьев и были тонкими, но древесина была крепка, как сталь. Из-за вечной мерзлоты корни располагались поверхностно. Часто вместо того, чтобы быть срубленным, дерево выворачивалось из земли с корнями, цеплялось за вершины соседних деревьев и повисало на них.

Солнце поднялось высоко и грело сильно. Снег не таял, но в воздухе было просто жарко. Мы скинули не только бушлаты, но и телогрейки. Мы не умели валить деревья, мучились над обрубкой сучков. Не умели мы и штабелевать. Мы так ставили подпорки, что штабель, чуть поднявшись от земли, косился на бок и рассыпался. Часам к пяти вечера, когда бригадир пришел замерять работу, в нашем кособоком штабеле по его замеру оказалось полтора кубометра. В других четверках успех был такой же. Редко у какой четверки оказалось три с половиной кубометра.

Бригадир ругался, заявил, что мы лодыри и не хотим работать. Конвоир орал, что не поведет нас в зону, пока мы не дадим норму, что он оставит нас ночевать в лесу. Солнце склонялось к горизонту. Косые лучи его уже не грели. Мы снова надели телогрейки, бушлаты. В полном отчаянии от результатов замера, женщины сложили топоры и пилы. Норма казалась нереальной.

Уголовные женщины, работавшие по другую сторону дороги, собрались толпой.

— Дежуренький, веди нас домой! — орали они.

Стали подтягиваться к выходу из леса и женщины нашего этапа. Надзиратель стоял на тропе с винтовкой наперевес, загораживая дорогу. Уголовные затянули песню. Будь у нас карандаш и бумага... их песни надо бы записать. Протяжно и тоскливо женщины пели о своей судьбе, — судьбе проститутки, воровки, молодой девчонки, завезенной в колымский лес. Песня описывала жизнь девушки, узнавшей в 16 лет порок и тюрьму. Каждое слово было полно тоскливой и мучительной правды.

На небе стал виден серп луны. Так же внезапно песня кончилась, как началась.

— Хватит! — крикнула одна из уголовных. — Пошли в лагерь!

И она двинулась вперед, прямо на конвоира. Тот поднял ружье и выстрелил. Всего в каких-нибудь пяти шагах от конвоира девушка рухнула в снег. Сбившись в кучу, мы стояли у тропы. А надзиратель, повесив ружье на плечо, шагнул к лежавшей, пнул ее ногой.

— Эй ты, не придуривайся, вставай, — сказал он равнодушным голосом. И она встала. Усмехаясь, стяхнула снег.

— По четверкам разберись! — кричал надзиратель.

Утопая в снегу, мы построились. Пересчитав четверки, надзиратель повел нас в зону.

В столовой, как невыполнившим норму, нам выдали штрафной паек: миску супа и пайку хлеба в 300 граммов на завтрашний день.

В бараке голодные, усталые забрались мы на нары. Говорить было не о чем.

И потекли дни...

После подъема и миски тюремной баланды мы шли в лес. Работа не шла. А силы падали. Несчастные случаи сменяли один другой.

Когда-то вечером, когда мы уже разделись, развесили сушить одежду и легли на нары, в барак ввалился упитанный и пьяный человек. Это был начальник всего лагеря Эльген.

— Сгною! — кричал он, размахивая кулаками, на женщин, натянувших на себя одеяла. Долго молча выслушивали женщины пьяные крики. Наконец кто-то робко сказал:

— Мы хотим работать. Мы сами хотели бы дать норму, но она невыполнима.

— Ах, невыполнима! Так я заставлю вас ночевать в лесу, но норму дадите!

— Попробуйте, — сказала я. Добавить я ничего не успела. Крик начальника заглушил все мои слова.

— Кто сказал «попробуйте»?!

— Я, — ответила я.

— В карцер! Сию минуту одеваться и в карцер! Пока я одевалась, заговорила моя соседка.

— Олицкая хотела сказать, что мы...

— Поддерживаете!? В карцер! — гремел начальник.

В бараке наступила тишина. Мы оделись, и надзиратель отвел нас в карцер. В карцере было темно и холодно. Укрывшись бушлатами, прижимаясь друг к другу, мы согрелись и уснули. Утром, когда все были уже в лесу, нас почему-то выпустили из карцера, накормили и провели в барак. В бараке мы не дождались возвращения рабочих из леса, нас снова отвели в карцер. Так было все три дня.

Начальника сняли с работы за пьянку. Нас перестали водить в карцер и послали со всеми в лес. Пока мы сидели в карцере, женщины приспособились к работе. Убедившись, что на крупном лесе выполнять норму легче, они стали валить большие деревья. Выработка не доходила до нормы, но стала повышаться. Это не понравилось бытовичкам. Они не хотели работать, не хотели, чтобы и 58-я давала норму. В лесу, собравшись толпой, они двинулись на работавших женщин.

— Эй вы, враги народа, не трогайте крупный лес! Айда рубить мелочь!

Бытовички рассчитывали, что 58-я сдрейфит. Они просчитались. Измученные, издерганные женщины не отступили. Они тоже с топорами в руках двинулись навстречу уголовным. Впереди других шла Женя Шторн, маленькая, худенькая, под мальчика остриженная, курчавая женщина. Уголовные отступили.

— Ну и жрите его, хоть весь. Все равно передохнете.

На другой день Женя захватила с собой в лес простыню. Она разорвала ее на полосы, сделала петлю, закинула за сук толстого дерева у штабеля, залезла на штабель, сунула голову в петлю и прыгнула вниз. Бездыханной сняли ее из петли, отвезли в больницу. Жизнь ей спасли.

Женщины добились того, что инструмент стали лучше точить. Выработка росла, но к норме она не приближалась. Выручила женщин из неминуемой беды весна.

Встреча с Надей

Лагпункт Эльген был расположен рядом с совхозом Эльген, который выращивал овощи. Злаки на Колыме не вызревали. Даже овес сеялся только на зеленку. Основной культурой была капуста. В совхозе Эльген она и засаливалась. Всю зиму грузовики развозили квашеную капусту по приискам. Белокочанная засоленная капуста шла для вольных, зеленый лист — для эков.

На Колыму все продукты питания завозили с материка пароходами. Завезти овощи не было возможности.

Весной, как только начинались полевые работы, почти всех женщин снимали с лесных работ и переводили в полевые бригады. В этом и было наше спасение. Посильный для большинства женщин труд давал возможность выполнять норму. Мы получали более или менее удовлетворительное питание. И еще — на поле женщины могли поесть кроме пайка еще кое-что: весной — сажаемую картошку, осенью — капусту, турнепс, опять же картошку.

В самом начале мая группа женщин была возвращена в зону, направлена на полевые работы. Мои ближайшие товарки спаслись от повала, меня же спасла Надя. Вернувшись из больницы в лагпункт, Надя прислала мне с трактористом записочку. Она писала: «Притворись больной, от вас водят больных на прием в Эльген». На другой же день я срочно «заболела». Отказавшись идти в лес на работу, я бегала по бараку, держась за щеку. Я симулировала, как могла. Меня отпустили в Эльген к зубному врачу одну.

На Колыме, в глубинных командировках, строгого конвоирования заключенных не соблюдалось. Вольных поселков поблизости не было. Бежать с Колымы было почти невозможно. Мы слышали о побегах, но бежавшие или погибали от холода и голода, или возвращались обратно в лагерь. Позднее я сама видела безнадежно скитавшихся беглых.

Семь километров я шла по безлюдной и снежной дороге в Эльген. Сбиться с дороги невозможно. До рога, проложенная трактором, одна. По обе ее стороны целинная гладь снега. Ни тропы человеческой, ни звериного следа.

Хорошо было идти одной, чуть жутковато в неведомом краю, но после стольких лет пребывания на людях с неизбежными конвоирами за спиной... Торопило только желание поскорей встретиться с Надей. Я боялась, — что-нибудь помешает, не осуществится встреча.

Но все прошло удачно. Меня принял зубной врач. Потом меня пропустили в зону. Я разыскала барак Нади. Ее не было в бараке. Вообще никого не было, кроме приветливой старушки-дневальной, которая сказала мне, что Надя ушла в каптерку. Я пошла туда. «Как же, — думала я, — узнать Надю? Как различить среди других?»

Открыв дверь каптерки, я увидела перед прилавком немолодую полную женщину. Лицо ее было одутловатым, до прозрачности бледным.

— Олицкая здесь? — спросила я.

— Катя! — и Надя была уже около меня. Она сразу узнала меня по сходству с братом.

В бараке мы залезли на верхние нары. Мы смотрели друг на друга, говорили, умолкали и снова говорили...

Надя попала на Колыму раньше меня, в страшное время гаранинщины. Она в числе других женщин, осужденных по 58-ой статье, отсиживала в карцерах 1 мая, октябрьские дни. При ней из баракон уводили людей на расстрел по расчету при проверке: «Каждый десятый выходит в сторону!» Гаранинщина — это время, когда люди сотнями умирали от эпидемий, замерзали в палатках и бараках, когда утрами по дороге двигались подводы с мертвыми, когда голые трупы с подвод сваливали в облюбованный тюремщиками овражек. Его притрусилы сверху землей, когда он наполнился доверху.

На Колыме — вечная мерзлота. Запах тления не мешает жизни. Может быть, мерзлота сохранит эти братские могилы и когда-нибудь история раскроет их и воздвигнет памятник жертвам

страшных ошибок, страшных лет. Это не были годы войны. Это не были годы фашистских майданеков, это были лагеря смерти 1938-1939 годов.

Режим этот не применялся к уголовникам. Мерзли и они, но их не выстраивали на поверки, не рассчитывали под расстрел. Это была привилегия 58-ой статьи.

*

На Эльген попала Надя на год раньше меня. Все это время она работала на мелиорации. В условиях Колымы земляные работы очень тяжелы. Вечная мерзлота, галька, лом, подборочная лопата. Постоянно Надю клали в больницу с кровотечениями, а потом снова направляли на ту же работу. Так тянулось год. На этот раз Надя вернулась из больницы с радостной вестью — больница прислала заявку, Надю отсылали на работу сестрой. Самые страшные годы были у нее позади.

— Теперь, — говорила она, — вытащить тебя с лесоповала. Ты такая худая, желтая, прямо — доходяга.

Еще одно лагерное слово. Я думала, что только Колыма обогатила русский язык блатными словами. До лагерей я никогда не слыхала их. Увы, вернувшись после освобождения в Россию, я услышала эти слова. Они вошли в язык многих и многих. Удивляться не приходилось: добрая часть советских граждан побывала в лагерях.

Доходяга — человек, который дошел до предела жизни, стоит у грани ее. Доходяга не живет, он влачит свое жалкое тело, он доходит, он дошел.

Я видела много доходяг, особенно среди мужчин, которые быстрее женщин опускались, изматывались в условиях лагерной жизни. Конечно, и участь их была тяжелее.

Рядом с нашим лагпунктом находилась мужская командировка. В ней жили заключенные, обслуживающие лагпункт и совхоз: три или четыре агронома, несколько шоферов, плотники, слесари, каптеры, повара, нарядчики — человек сорок. В основном, это были люди, выкарабкавшиеся из доходяг. Начальник агробазы и старший агроном уцелели вообще чудом. Во времена Гаранина их уже приговорили к расстрелу. Приговор Гаранин не успел привести в исполнение, он сам был расстрелян.

Периодически, обычно весной, в мужскую зону пригоняли небольшую группу мужчин с приисков. Гнали доходяг, людей потерявших здоровье и силы на приисках при добыче золота. Мне приходилось видеть эти этапы. Под конвоем по дороге плелись оборванные, обросшие, грязные шатающиеся, изможденные люди. Шли они на дрожащих ногах до тех пор, пока не сваливались на дороге. Свалившегося пытались поднять толчками, окриками. Если заключенный не поднимался, его бросали, а этап уходил. На приисках доходяги становились балластом, не годным к работе. Прииск рад отделаться от них. Их гнали на более легкие работы: на сенокос для прииска, на заготовку дров, на подсобные работы к нам в совхоз. Большинство из них были сломлены и погибали, если не в дороге, то на месте. Нередки были случаи, когда изголодавшиеся люди погибали от еды, дорвавшись до хлеба. Есть они могли без конца и все, что им попадалось. Они варили хлеб в воде, чтобы он разбух, чтобы еды было больше. Разваренный хлеб комом ложился в желудки, и люди умирали.

Никогда я не забуду двух доходяг, двух сгорбленных стариков, с трудом передвигавшихся, опираясь на палку. Годами они не были стары, им не было и пятидесяти. Оба они были когда-то профессорами, читали лекции в вузах Москвы. С Колымы их послали на прииск, на прииске — в забой. Профессора не могли выполнить норму, сидели на штрафном пайке. С этапом других доходивших послали их с прииска в сенокосную бригаду. Им повезло, они свалились по дороге близко к Эльгену. Их подобрали и положили в нашу больницу. Там они немного оправились, и их перевели в мужскую зону. Им страшно повезло. Им досталась чудная работа, — так, по крайней мере, говорили сами профессора. Лагерь послал их собирать золу из печей. С ведрами, опираясь на палки, тащились они от печки к печке по агробазе, по зоне, по поселку. Они выгребали из печей золу и высыпали ее в специально расставленные бочки. Всюду им подавали — кто кусок хлеба, кто пару картофелин, а кто и миску супа или кусок сахара. По пути они обшаривали все помойки, вылизывая брошенные коробки из-под консервов, подбирали селедочные головы, огрызки, окурки. На моих глазах они окрепли, немного отъелись. Палочки они носили уже для вида, чтобы их не сняли с хорошей работы. Самым ужасным было то, что их психика была сломлена и, сколько я их знала, не восстановилась.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зачем я пишу эти строки? Кто, кроме бывших в лагере, поймет меня? Я закрываю глаза и вижу... Теплица, прямо у печи две согнутые, скрюченные фигурки там, под стеллажом, в приямке. Они спустились туда, чтобы погреться. Они протягивают к огню свои заостреннейшие на морозе, заскорузлые руки, разматывают грязные, вонючие портянки. Согревшись немного, они извлекают из прорех своей одежды и подносят к своим обрюзгшим, беззубым ртам такие объедки, которыми побрезговала бы любая собака. Если они сыты, бережно заворачивают свои сокровища, подобранные на свалке, и суют их за пазуху или в карман. При этом они осторожно озираются по сторонам, чтобы никто не заметил, чтобы не отобрал надзор при проходе через вахту, чтобы не выкрал сосед.

Они согрелись, они сыты. Что-то из прошлой жизни воскресает в них. Они даже хотят покрасоваться перед нами. Своими осипшими голосами они начинают вдруг читать стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока.

Я вглядываюсь в лица моих подруг по работе. Мы штампуем питательные горшочки для рассады капусты. Лицо одной из них страшно меняется, углы рта опускаются, губы начинают дрожать.

— Верочка, зачем так? — говорю я.

— Может быть, и мой отец...

Вера отбрасывает в сторону доски, замес и выбегает из теплицы. Не надо за ней идти. Скоро она вернется и станет к станку.

1947 год. Я только что освободилась из лагеря, я живу у Нади на прииске «Утиный». Прииск расположен в долине узенькой речки Утиной, протекающей меж высоких гор. Правый берег реки золотоносный. Когда-то здесь был прииск заключенных. Теперь его уже нет. Установлена золотопромывочная фабрика. Работают вольные — бывшие зэки. Утиная перехвачена плотиной. По склонам гор высечены дороги, по ним снуют грузовики, они подвозят породу. Издали, снизу, они кажутся маленькими спичечными коробочками. Вдалеке слышны взрывы, видны столбы взлетающей при взрывах породы. Освободившимся зэкам выезд с Колымы не разрешен, они стали вольными рабочими Даль-строа.

Я стою у домика конбазы. Рядом со мной стоит ее завхоз, молодой парень, тоже бывший заключенный, кажется, вор. Мы смотрим, как с горы спускается маленькая, согнувшаяся в три погибели человеческая фигурка. Кто-то тащит салазки, нагруженные дровами.

— Тяжело здесь с дровами, — говорю я, — с какой кручи приходится спускаться.

— Да, — соглашается завхоз, — там, у забоя Марии Ивановны, положе, но там никто не пойдет.

Я спрашиваю, что это за Мария Ивановна; я ожидаю рассказа о героическом подвиге и ошибаюсь.

Вы не слыхали? Это в пору Гаранина. Была здесь врачиха Мария Ивановна. Покойники-то в ее ведении находились. Без справки не хоронили...

Сначала их возили вон в тот овражек, — он махнул рукой, указывая куда-то в сторону. — Как засыпали до краев, сыпать стало некуда. Тогда стали землю взрывать. Заключенным кличку долго ли дать? И окрестили это место — кладбищем — не назовешь ведь? — ну, и назвали «Забой Марии Ивановны».

Зачем я пишу все эти строки? Разве надо помнить о печальных последствиях культа личности? Или в предвоенные годы культа личности еще не было? Выжившие — реабилитированы. Умершие — реабилитированы посмертно. Только списки невинно погубленных людей не опубликованы нигде. Только о последних годах и днях их жизни не знает никто. Тела их свалены в овражек...

«Прогресс человечества строится на костях и крови», — говорят одни. «Лес рубят — щепки летят», — говорят другие. «Революция не делается в белых перчатках», — говорят третьи... А что говорит народ? Простые люди? *Народ безмолвствует.*

Зачем я пишу? — Я не могу не писать! Может быть, это память о них, хороших и плохих, — безразлично.

Содержание

1. ДЕТСТВО И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Отец и мать. – Мечты и действительность. – Переезд в Курск. – Революция 1905 года. – Поступление в гимназию. – Акулина. – Отношение к религии. – Анка Большая. – Противоречия жизни. – Последние годы гимназии.

2. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

В Петрограде. – Февральская революция. – Снова Курск. – Сорочин. – Брожение и раскол в обществе. – В Харькове. – Октябрьская революция. – Катастрофа с папой. – После Октября.

3. ГОДЫ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Развал и разруха. – На работе в Райкоже. – Конец ученью. Тиф. – Разруха и репрессии. – Деникинцы в Курске. – Возвращение большевиков в Курск. Смерть мамы. – Демонстрация молодежи. – Брат – в партии победителей! – Арест отца. – Соглашатели и идейные.

4. ВРЕМЯ НЭПА

Переезд в Москву. – Процесс 1922 года над эсерами. – Хищники и прихлебатели. – На Пречистенских курсах. – Исключение. – Библиотечная работа. – Нелегальное студенческое движение. – Первый арест. – На Лубянке-2. – Допрос.

5. ССЫЛКА НА СОЛОВКИ

Свидание с родными. – На этап. – Товарищи. – В Ленинградской пересылке. Стычки с конвоем на этапе. – На Поповом острове. – Отступление: о Соловках. 19 декабря 1923 г. – Соловки. – Вова Коневский – на общем режиме. – В Савватьевском ските. – Эсеры и эсдеки. – Голодовка. – На мирных позициях. – Вывоз с Соловков. – На этапе в тюрьму.

6. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКИЙ ИЗОЛЯТОР

Борьба за права. – Первые зэки-коммунисты. – Мечты и планы. – Шура уходит на этап. – Неделю спустя – я на этапе в ссылку. – Челябинская пересылка. – И опять в дороге. – Кзыл-Ординская тюрьма.

7. В ССЫЛКЕ В ЧИМКЕНТЕ

Поиски нового пристанища. - Рождение нашей дочери. - Шура добился перевода. - Приезд Шуриной матери. - Жизнь и судьбы ссыльных. - Местное население. - И еще судьбы товарищей.

8. ПО «МИНУСУ» В РЯЗАНИ

Работа сестрой-няней. - Л. М. Каценеленбоген. - Невозможно смириться с такой жизнью. - Снова Шура с нами. - Приезд брата Димы. - Наша попытка идеологической работы. - Поездка к отцу. - Конспиративная поездка Шуры в Москву. - Смерть отца. Арест Димы. - Усиление репрессий.

9. НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Подготовка к переходу на нелегальное положение. – Отъезд. – Серпухов. - Смерть Муси. – Арест.

10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ.

Под следствием в Бутырках. - Сергей Сидоров. – Голодовка. - Перевод на Лубянку-2. - Снова в Бутырках — в общей камере. - Этап в Суздаль.

11. СУЗДАЛЬСКИЙ ПОЛИТИЗОЛЯТОР.

Ховрин и Берг. – Либеров. - Шолом Брухимович. – Колосовы. - Убийство Кирова. Волна арестов. - Женидьба брата Димы. - Антагонизм между социалистами и коммунистами. - И снова этап.

1937 ГОД

В Ярославский централ. - Усиление режима. - Новый срок. - В карцере. - Тянется время...

ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — НА КОЛЫМУ

«Оппозиционерки». - Нюра-Нэлля. - Зеленый лук. - «Враг народа» Тоня Букина. - «Крупный рогатый скот». - Жены своих мужей. - Мне страшно жить среди этих людей. - Владивосток. Пересыльный лагерь. - «Не рой другому яму...». - На пароходе на Колыму.

14. НА КОЛЫМЕ

Женская зона Магаданского лагпункта. - Работа в стройбригаде. - Этап в Эльген. - Штрафная командировка: седьмой километр. - Встреча с Надей.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ